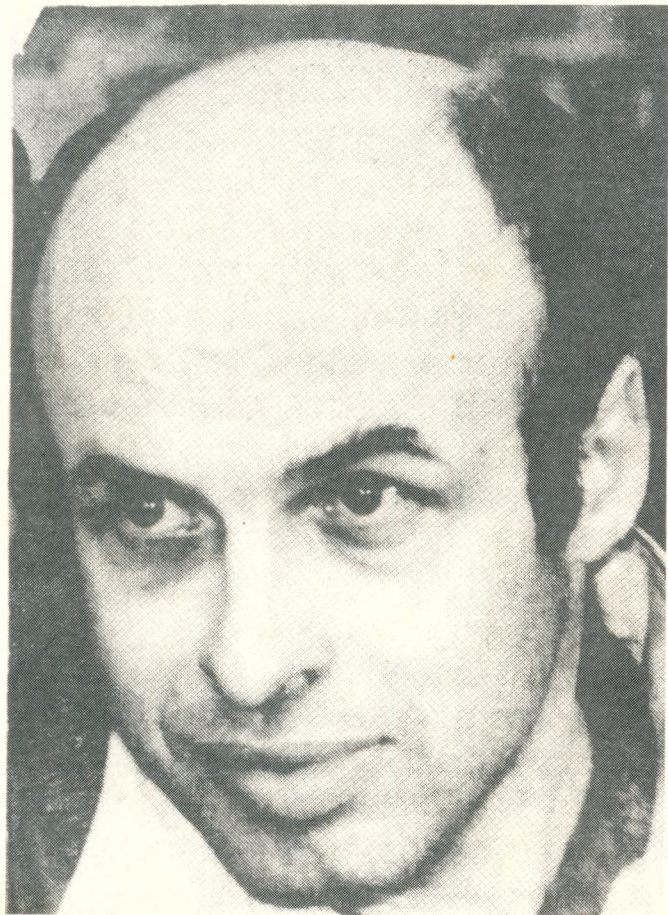


КОНТИНЕНТ 50

КОНТИНЕНТ KONTINENS KONTYNENT CONTINENT KONTINENT
КАНТЫНЕНТ KONTINENTAS KONTINENTS MANDER КОНТИНЕНТ



Анатолий Щаранский
(Интервью с ним читайте в этом номере)

Главный редактор: Владимир Максимов
Зам. главного редактора: Наталья Горбаневская
Ответственный секретарь: Виолетта Иверни
Заведующий редакцией: Александр Ниссен

Редакционная коллегия:

Василий Аксенов · Ценко Барев · Ален Безансон
Николас Бетелл · Энцо Беттица · Иосиф Бродский
Владимир Буковский · Армандо Вальядарес
Ежи Гедройц · Александр Гинзбург
Густав Герлинг-Грудзинский · Корнелия Герстенмайер
Пауль Гома · Петр Григоренко · Милован Джилас
Пьер Дэкс · Ирина Иловайская-Альберти
Эжен Ионеско · Оливье Клеман · Роберт Конквест
Наум Коржавин · Эдуард Кузнецов
Николаус Лобковиц · Эрнст Неизвестный · Амос Оз
Ярослав Пеленский · Норман Подгорец
Андрей Сахаров · Андрей Седых · Виктор Спарре
Странник · Сидней Хук · Юзеф Чапский
Карл-Густав Штрём

Корреспонденты «Континента»

- Израиль Авраам Бен-Яков
 Avraham Ben-Yakov
 6, Hagana str.
 Jerusalem 97852, Israel
- Италия Сержей Рапетти
 Sergio Rapetti, via Beruto 1/B
 20131 Milano, Italia
- США Эдуард Лозанский
 Edward D. Lozansky
 508 23rd Street N.W.
 Washington, DC 20037, USA
- Япония Госуке Утимура
 Higashi-Yamato, Hikariga-oka 10-7
 189 Tokyo, Japan

Присланные рукописи не возвращаются, и в переписку по этому поводу редакция не вступает.

Название журнала «КОНТИНЕНТ» – © В. Е. Максимова



КОНТИНЕНТ

**Литературный, общественно-политический
и религиозный журнал**

50

**Издательство «Континент»
1986**

СОДЕРЖАНИЕ

Владимир Максимов – Берлин на исходе ночи. Трагифарс в двух актах, шести явлениях	7
Римма Запесоцкая – Стихи	49
Израиль Малер – Круговорот души (неповествовательная проза)	54
Борис Григорьев – Московские стихи	74
Марк Зайчик Сделано в СССР	81
Наталья Горбаневская – Восемь стихотворений из ненаписанной книги	146
Геннадий Покрасс – Хмырь	152
Алексей Магарики – Из стихов, написанных в Тбилисской тюрьме	172
Эмма Андиевская – Сказка о тщеславии. Перевод с украинского	177
Наталья Гордеева – Стихи	184
Лев Халиф – Охрана окружающей среды стреляет без предупреждения	188
СТИХИ	
Татьяна Костина, Вадим Крейд	201
РОССИЯ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ	
Внимание: опасность! Стенограмма выступления Д. Д. Васильева	211
ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИЙ ДИАЛОГ	
Иосиф Бродский – Почему Милан Кундера несправедлив к Достоевскому	229
ЗАПАД – ВОСТОК	
Дэвид А. Морро – Пусть память служит пониманию. Открытое письмо Эли Визелю	245
ФАКТЫ И СВИДЕТЕЛЬСТВА	
Слава Курлов – Служу Советскому Союзу. Документальный рассказ	269
ИСТОРИЯ	
Борис Парамонов – Чичерин, либеральный консерватор	279

ИСТОКИ

- Еще раз о Ленине и немецких деньгах. Документы
Архива Заграничной агентуры Департамента
полиции Российской Империи. Публикация
Юрия Фельштинского 313

ИСКУССТВО

- Иянеса Л е в к о в а - Л а м м** – Советское искусство
слева и справа 317

ЛИТЕРАТУРА И ВРЕМЯ

- Василий А к с е н о в** – ...и не старайся! (Заметки о
прозаических высокопарностях и журнальных
пошлостях) 339

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АРХИВ

- Юрий К о л к е р** – Письма В. Ф. Ходасевича
к А. И. Тинякову (1907 – 1915) 353

КОЛОНКА РЕДАКТОРА 371

НАША ПОЧТА 375

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

- Юлия Т р о л л ь** – «Он останется гордостью
русской поэзии» 383

- В. Б е т а к и** – Верность 388

- Владимир М а к с и м о в** – Канонизация Достоевского 395

- Кира С а п г и р** – Лирики, мечтатели, мыслители... 399

- Томаш М я н о в и ч** – О Катыни в Германии 403

- А. К р а с н о в** – Человек двадцатых годов 407

- Т. Г о р и ч е в а** – От мглы к свету 413

КОРОТКО О КНИГАХ 419

ПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛОВ 429

НАША АНКЕТА

- Интервью с **Анатолием Щ а р а н с к и м** ведет
Наталья Горбаневская 439

БЕРЛИН НА ИСХОДЕ НОЧИ

*Трагифарс
в двух актах,
шести явлениях*

АКТ ПЕРВЫЙ

Явление первое

Ступени церкви Кайзер-Вильгельм-Гедехтнис на Курфюрстен-дам. Душная июньская ночь. На переднем плане Миша Мехлис и Рустам Давыдов с гитарой в руках, разделенные между собой пузатой посудиною спиртного. Чуть выше них, слева – Моня-Красавчик с такой же бутылью между колен. В отдалении справа, в полутьме силуэт сидящей Марты. Мимо ступеней, взад и вперед, нервно жестикулируя, расхаживает Лева Шацкий.

ЛЕВА ШАЦКИЙ: Когда бы знал, что так бывает... Опять, опять чужое! А ведь, кажется, свое, выстраданное... Что могу с собой сделать, если я думаю точно так же, как он... Может быть, я просто опоздал родиться и он всё это написал за меня... Ну нет, я все равно преодолею его в себе, я чувствую, что во мне зреет что-то свое, ни на кого не похожее... Там я не мог, там меня держали за горло, гнали из всех редакций, смеялись надо мною, не печатали, но неужели здесь, в условиях абсолютной свободы, я не смогу выявить свое настоящее поэтическое «я»? Тогда грош мне цена... Не вечно же мне перепевать Пастернака!.. Вот хотя бы так, разве это не по-своему: «Когда бы знал, что так бывает, пишу и с каждую строкой во мне надежда убывает, душа уходит на покой»... Разве это не мое, не собственное?

Уходит.

РУСТАМ (*кивает в сторону Левы*): Чокнутый этот опять тут?

МИША *(снисходительно)*: Не бери в голову, Рустамчик, этот чмур из этих, из сочинителей, а они все чокнутые, у нас тут их через одного, куда ни харкнешь, или урка, или писатель: видно, на Дзержинского люди с понятием, знали, кого за бугор отпускать, они тут без надобности, своих хватает. *(Протягивает ему бутылку.)* На, Рустамчик, лови кайф, полетит душа в рай, только пятки засверкают.

РУСТАМ *(отпивает из горлышка, мечтательно вздыхает)*: Эх, Мишаня, какая у нас жизнь была в Одессе, какая жизнь, ведь это только кому рассказать, слюной захлебнется!

МИША: Не трави душу, Рустамчик, плакать хочется!

РУСТАМ *(не слушая его, поет)*: «Какие девочки на нас бросали взоры...» Какие девочки, Мишаня, какие девочки, от одного взгляда кончают! *(Снова поет.)* «Где вы теперь, кто вам целует пальцы...» *(Отхлебывает из бутылки.)* А здесь, каждая лахудра страшней водородной войны не меньше сотни за палку гребет.

МИША *(подлаживаясь к его настроению)*: А помнишь, Рустамчик, как мы на Пересыпи кепезе подожгли, вот тогда мусорня икру метала, хоть на хлеб намазывай!

РУСТАМ *(снова не слышит, поет)*:

Звон проверок и шум лагерей
Никогда не забыть мне на свете,
Изо всех моих лучших друзей
Помню девушку в синем берете.
И когда погасал в зале свет,
Все к экрану стремились взглядом,
Наклонялся тот синий берет
На того, кто сидел с нею рядом.
Шепчет он: «Невозможного нет»,
Шепчет он про свободу и ласки,
А сам смотрит на синий берет
И на впалые карие глазки...

МИША: Ты последний раз сколько тянул, Рустамчик?

РУСТАМ: *(под гитарный наигрыш)*: Четыре года, Мишаня, от звонка до звонка. Четыре года без сдачи. Бывало, завалится режимник на работу выгонять, а я без внимания, лежу себе и посвистываю. «Давыдов, – орет, – кто за тебя лес валить будет!» – «А я, – говорю, – начальник, его не сажал, не мне и пилить». – «Норму, – орет, – не сделаешь, Давыдов, пеняй на себя, в кандее сгною!» – «Если бы, – говорю, – начальник, лес твой макушками снизу рос, тогда сделал бы, а с комля мне не одолеть». Он опять в ор, только на мне, где сядешь, там и слезешь, так и прокантовался весь срок.

МИША: А чего ты за бугор свалил, Рустамчик, дело шили?

РУСТАМ: С мокротой, Мишаня, мне уже верная вышка карячилась с моей анкетой. Только заваливается как-то ко мне в камеру Михал Иваныч, помнишь этого опера с Молдаванки?

МИША: С культей который?

РУСТАМ: Он самый. Он этой культей своей не одного пахана покалечил, от него в Одессе, как от холерного, бегали. Заваливается это он и говорит: «Есть у тебя, Давыдов, один шанс, если не дурак, лови: или девять грамм в затылок, или завязывай шнурки и дуй на историческую родину, отпустим». – «Это что, – говорю, – начальник, в Казань, что ли?» – «В какую еще Казань, – говорит, – там своего жулья хватает, в Израиль». – «Начальник, – говорю, – я не еврей, татарин». – «А, – говорит, – еврей, татарин, без разницы, все равно обрезанный, бери ноги в руки и отваливай, не робей, все там будем». Вот я и отвалил.

МИША: А чего сюда занесло?

РУСТАМ: А чего я в вашем Израиле забыл? Там вкалывать надо, а я тяжелее туза и валета ничего не поднимаю. *(Тихонько запекает.)* «Цыганка с картами, дорога дальняя, дорога дальняя в казенный дом, быть

может, старая тюрьма Центральная по новой ждет. Центральная, все ночи полная огня, Центральная, зачем сгубила ты меня? Центральная, я твой несчастный арестант, пропали юность и талант в твоих стенах...»

На сцене появляется пара: благообразный старичок в джинсовой паре – Яков Рувимыч Гутник и Вера Скалкина – живописная блондинка с вечно восторженным выражением на кукольном личике.

ГУТНИК: ...Я работал тогда на Украине помощником Кагановича по административным вопросам, время было напряженное, троцкисты пытались сорвать в республике план хлебопоставок, цека и огапеу работали буквально круглосуточно, партактив забывал о сне и еде, что и говорить, героические это, Верочка, были дни! Как говорится: мы тогда ходили в сабельный поход, мы тогда бросались на кронштадтский лед.

ВЕРА: Ах, как это интересно! Говорите, говорите, Яков Рувимыч, дорогой, я так обожаю, когда со мной разговаривают умные люди! Я просто не могу жить без серьезных разговоров, это так возвышенно, это так замечательно! Говорите, говорите, Яков Рувимыч, милый... Яша...

ГУТНИК (*рука его незаметно ложится ей на талию, он увлекает ее за сцену*): В эти тревожные дни Лазарь Моисеевич приказал мне подготовить экстренный пленум цека...

ВЕРА (*исчезая за кулисами вместе со спутником*): Ах, как это интересно!..

РУСТАМ (*удивленно*): Это что еще за дуэт?

МИША: Да одна стебанутая из Краснодара, с мужем по израильской визе свалила, а он от нее когти рванул в Канаду, она и пошла в разгул, только все больше с шибко грамотными, нашему брату там не светит. Я было подкатился раз, да не обломилось, с ней ученые разговоры разговаривать надо, а мне эти разговоры до фени, вставай на четыре кости и вся любовь. Вон чмуру этому сто лет в обед, он еще до революции в ста-

рых большевиках ходил, ему чувиха эта в правнучки годится, а ведь он ей с этими разговорами за двадцатый съезд запросто ввинтит шершавого, она от одних его баек забеременеет. Темные мы с тобой, Рустамчик, вот и сосем девятый без соли, не зря, видно, картавый завещал народу: учиться, учиться и еще раз учиться.

РУСТАМ (*кивает в полутьму, в сторону девичьего силуэта*): Смотри, Мишаня, вроде тоже кадр.

МИША: Без пользы, Рустамчик, мы с тобой поихнему ни бе, ни ме, как ее закадришь, тут одним дымящимся не обойдешься.

РУСТАМ (*решительно отхлебывает из бутылки*): Ну, это как сказать. (*В полутьму.*) Девушка, вам случайно не скучно одной? А то два молодых, красивых могут составить вам компанию, уговорим этот пузырек на три куверта. (*Плавнo проводит рукой по струнам.*) «Пей шампанское, друг, еще ночь впереди, да и некуда нам торопиться...»

МАРТА (*встает и, не спеша подойдя к ним, садится рядом*): Мне не скучно (*она говорит довольно чисто по-русски, хотя слова подбирает явно с трудом*), но если вы хотите со мной пить, я благодарю вас.

МИША (*присвистывает*): Она и по-нашему трёкает, ты, Рустамчик, голова, накалываешь в яблочко.

РУСТАМ (*галантно протягивает Марте бутылку*): Мадам, ваша очередь. Где вы так хорошо научились говорить по-русски?

МАРТА (*отпивает глоток, закуривает*): Я училась там, за стеной, там в школе все учат русский язык, здесь я была только на университете.

МИША: Везет нам, Рустамчик, на ученых, теперь самое время за космос поговорить, за снежного человека, опять же за летающие тарелки.

РУСТАМ (*отпивает из бутылки после нее*): Ваше здоровье, мадам... Ваше имя, мадам?

МАРТА: Меня зовут Марта. Марта Руппель.

РУСТАМ: А сюда тоже – по израильской визе?

МАРТА: Нет, я через стену.

МИША: Во даёт!

РУСТАМ: Мадам, я преклоняюсь, недаром говорят: большевики не знают преград.

МАРТА: Я не большевик, я Марта Руппель.

РУСТАМ: Это шутка, мадам, шутка гения всех народов. *(Берется за гитару.)* «Мадам, уже падают листья...» Благодарю вас, мадам, за ваше великодушное доверие, вы не побоялись разделить с двумя неизвестными их скромный а-ля фуршет... «И даже рыбацьи баркасы в далекое море ушли...»

МАРТА *(под его наигрыш)*: Я знаю – вы из России... Мы, немцы, сделали вам много зла... Особенно русским евреям... Вы же еврей?

РУСТАМ *(сквозь мелодию)*: Я татарин, мадам.

МИША: А я – серединка наполовинку, отец караим, а мать хохлушка.

МАРТА: Разве это другое?

РУСТАМ: Во-во, мадам, Михал Иваныч с Молдаванки мне то же самое толковал.

МАРТА *(не слыша, словно в трансе)*: Мы убивали и мучали вас, мы построили для вас газовые камеры, вашими волосами мы наполняли матрацы, а кабинеты украшали вашими черепами. Кто нас простит и чем мы сможем заплатить за это? Я всегда вижу во сне этот ужас. Наверное, если бы я не пила и не курила вот это, я бы давно сошла с ума.

МИША *(ошарашенно)*: Девушка, сколько вам лет?

МАРТА: Двадцать два.

МИША: Какие ваши годы, девушка, я тоже с пятьдесят восьмого и мне все это до лампочки. Когда это было, нам еще в школе этим всю плешь проели, надоела эта волынка, хуже политграмоты, у меня сны, девушка, про таких, как вы, да еще про башли тоже, а то за целый день на один пузырек наскребаю, от такой жизни сам в газовую камеру запросишься.

МАРТА: Что вы говорите, это *(подбирает слово)* кощунство!

МИША *(обиженно)*: Да век свободы не видать! *(Кивает в сторону Мони-Красавчика.)* Да вон спроси хоть у Мони, он всю войну штрафником прошел, и в плену и лагере чалился, что он к немцам имеет? *(К Моне.)* Слушай сюда, Моня, ты воевал?

МОНЯ-КРАСАВЧИК *(с трудом очнувшись)*: Ну.

МИША: В штрафной?

МОНЯ-КРАСАВЧИК: Ну.

МИША: В плену был?

МОНЯ-КРАСАВЧИК: Ну.

МИША: А в лагере?

МОНЯ-КРАСАВЧИК: Ну.

МИША: Ты к немцам что-нибудь имеешь?

МОНЯ-КРАСАВЧИК *(вдруг медленно поднимается с бутылкой в руке, белый пух на его голове светится над ним наподобие венчика)*: Немцы, бя, шмемцы, японцы, чухонцы, греки, узбеки, срать мне, бя, на всех с собора парижской Богоматери! Я сорок лет, бя, по лагерям, Моню-Красавчика, бя, по всем лагпунктам от Вологды до Магадана знают. *(Сжимает руку в кулак.)* Я Печорскую беспредельщину, бя, вот так держал! *(Запевает неожиданно приятным, с хрипотцой, басом.)* «Ты помнишь тот Ванинский порт и вид парохода угрюмый, как шли мы по трапу на борт в холодные мрачные трюмы...» *(Вдруг сникает и так же медленно опускается на место.)* Бля...

МИША: Слыхали, девушка, а вы мне про газовые камеры, это для шибко умных, а мы люди простые, нам бы гроши да харчи хороши.

МАРТА: Вы имеете право забыть, мы – немцы – нет, это слишком страшно, чтобы забыть. Теперь мы должны платить.

РУСТАМ *(вкрадчиво)*: Сегодня у вас есть шанс, мадам.

МАРТА: Я не понимаю.

РУСТАМ: В смысле платы.

МАРТА: Что же я могу сделать для вас?

РУСТАМ (*еще вкрадчивее*): Согреть наше мужское общество своим женским теплом.

МАРТА: Я понимаю...

РУСТАМ (*смелея*): За вами выбор, мадам.

МАРТА (*просто*): Я пойду с вами, куда вы хотите.

МИША (*восхищенно*): С двумя?

МАРТА (*так же просто*): Да.

Немая сцена, после чего Рустам встает и ударяет по струнам.

РУСТАМ (*поет*): «Цветочки-лютики, цветочки алые мне на прощание дарила ты, а ночью снились мне сны небывалые, где небывалые росли цветы...»

Скрываются в темноте. Из-за правой кулисы появляется Лева Шацкий и с молчаливой мукой смотрит им вслед.

Явление второе

Круг поворачивается, и уже с другой стороны церкви перед нами возникает пестрый карнавал берлинской ночи: на церковных ступенях во всех позах и положениях сидят алкоголики, наркоманы, бродяги, панки и другая разношерстная публика. На переднем плане одноногий инвалид крутит стилизованную шарманку. Чуть поодаль одинокий фокусник подносит ко рту факел и выдыхает из себя пламя. Мимо церкви взад и вперед фланируют проститутки обоего пола, среди которых выделяется рослый юноша с выкрашенным в стальной цвет лицом. Из-за правой кулисы появляются Немецкий и Русский писатели.

НЕМЕЦКИЙ ПИСАТЕЛЬ: О, если бы вы знали, коллега, во что превратилась Германия сразу же после этой злосчастной войны! Города лежали в руинах, а в наших деревнях поля зарастали сорной травой. Миллионы немцев бродили по развалинам в поисках еды и топлива, стараясь не вспоминать о недавнем величии, но и не заглядывая в будущее. Казалось, что эта страшная расплата за наши грехи будет продолжаться вечно. Я был тогда еще совсем молодым человеком, хотя уже

успел хлебнуть Восточного фронта, но если вы спросите меня, о чем я мечтал тогда, в те дни, я мог бы вам ответить, что почти ни о чем определенном. В те дни меня преследовало одно и то же видение: ночной лес, и я иду через этот лес, а где-то впереди мерцает огонек одинокой лесной сторожки, где, как мне грезилось тогда, меня ждут и я найду наконец приют и тепло. Иногда по ночам мне снится это и теперь.

РУССКИЙ ПИСАТЕЛЬ: У нас после войны было, примерно, то же самое, мой дорогой друг, и я тоже мечтал о тепле и хлебе, но мы жили и продолжаем жить в другом, перевернутом мире, для нас и тогда, и до сих пор всякий огонек в чистом поле или в темном лесу означает смертельную опасность и мы бежали от этих огней, как от чумного карантина. Вы все-таки нашли в себе силы восстать из пепла и обрести свободу, а мы – победители – ничего не приобрели от своей победы, кроме новых цепей.

НЕМЕЦКИЙ ПИСАТЕЛЬ: К сожалению, это далеко не так, коллега. Всмотритесь в окружающую нас реальность внимательнее, она ужасающа. За внешним благополучием, за внешней раскованностью кроется неминуемый взрыв. Нельзя десятилетиями вдалбливать в голову целому народу, что он – преступник, ничтожество, организм без корней и прошлого, это рано или поздно кончится катастрофой. Мазохизм и самоуничтожение наших интеллектуалов не пройдет безнаказанно. В свое время, после первой войны, у нас уже было нечто похожее, но из безликого праха национального унижения восстал гитлеровский монстр и потопил Европу в огне и крови. Теперь может произойти еще худшее, немецкий народ психологически сломан, а сломанные народы легко превращаются в чудовище. Глядите, коллега, глядите вокруг себя...

Карнавал на церковных ступенях и около них оживает. Люди-маски приходят в движение: фокусник снова подносит факел ко рту, шарманка заводит свою мелодию, на ступеньках пьют, курят, играют

в карты, возникают смех, пение, перебранки. Улыбается в зал стальной маской рослый юноша-проститутка. На переднем плане появляется Лев Шацкий, он жадно ищет кого-то глазами в толпе. С противоположного конца сцены, навстречу ему, сомнамбулически движется Марта. Она заметно пьяна или сильно накурена.

ЛЕВА (*устремляется к ней*): Извините, я искал вас везде...

МАРТА (*заплетающимся языком*): Искал... Вы... Зачем?... Вы тоже – еврей?

ЛЕВА: Я поэт. Лев Шацкий... Я по происхождению действительно... Но, впрочем, все поэты – жида.

МАРТА: Поэт!.. Ах, да, да... Стихи... Я понимаю... Вы пишете стихи...

ЛЕВА: Вы любите стихи?

МАРТА: Я не знаю... Может быть... Почитайте...

ЛЕВА: Свои не могу. Мне стыдно. Я еще не нашел себя. Если вы позволите, я почитаю вам Пастернака.

МАРТА: Это «Доктор Живаго»?.. Я видела фильм... Там прекрасная мелодия... В ритме вальса... Вы танцуете?

ЛЕВА (*растерянно*): Да, немножко... Если хотите...

Она обессиленно принимает к нему, и они начинают тихо кружиться под мелодию шарманки.

МАРТА (*счастливым шепотом*): Как хорошо...

ЛЕВА (*стараясь попадать в ритм мелодии*):

Мело, мело по всей земле,
Во все пределы.
Свеча горела на столе,
Свеча горела.
Как летом роем мошкara
Летит на пламя,
Слетались хлопья со двора
К оконной раме.
Метель лепила на стекле
Кружки и стрелы.

Свеча горела на столе,
Свеча горела.
На озаренный потолок
Ложились тени,
Скрещенья рук, скрещенья ног,
Судьбы скрещенья.
И падали два башмачка
Со стуком на пол.
И воск слезами с ночника
На платье капал.
И все терялось в снежной мгле
Седой и белой.
Свеча горела на столе,
Свеча горела.
На свечку дуло из угла
И жар соблазна
Вздыхал, как ангел, два крыла
Крестообразно.
Мело весь месяц в феврале,
И то и дело
Свеча горела на столе,
Свеча горела...

МАРТА: Как хорошо...

ЛЕВА: Вы устали, вам надо отдохнуть. Давайте посидим.

МАРТА (*покорно*): Как хотите... У меня кружится голова... Если хотите, у меня есть своя комната...

ЛЕВА: Зачем вы так... Извините, как вас зовут?

МАРТА: Марта.

ЛЕВА: Зачем вы так, Марта, я совсем не в том смысле. Просто я давно вас заметил. Вы не такая, как все.

МАРТА (*вдруг как бы трезвея*): Какая я?

ЛЕВА: Вы девушка из Блока.

МАРТА: Кто такой Блок?

ЛЕВА: Тоже – поэт.

МАРТА: Он тоже – еврей?

ЛЕВА: Я уже говорил вам, Марта, все поэты – жи́ды.

МАРТА: Вы не хотите пойти ко мне, это правда?

ЛЕВА: Не нужно больше об этом. Давайте сядем, я вам почитаю из Пастернака. Хотите?

Увлекает ее за собой. Они опускаются на церковные ступени несколько в стороне ото всех.

МАРТА (*склоняет ему голову на плечо*): Я буду слушать вас.

ЛЕВА (*тихонько поглаживая ее по волосам*):

Гул затих. Я вышел на подмости.
Прислонясь к дверному косяку,
Я ловлю в далеком отголоске,
Что случится на моем веку.
На меня наставлен сумрак ночи
Тысячью биноклей на оси.
Если только можно, Авва Отче,
Чашу эту мимо пронеси.
Я люблю твой замысел упрямый
И играть согласен эту роль.
Но сейчас идет другая драма,
И на этот раз меня уволь.
Но продуман распорядок действий,
И неотвратим конец пути.
Я один, всё тонет в фарисействе.
Жизнь прожить – не поле перейти...

МАРТА (*как эхо*): Жизнь прожить – не поле перейти...

ЛЕВА: Вы необыкновенная девушка, Марта, я это знал.

МАРТА: Я обыкновенная немецкая девушка.

ЛЕВА: Нет, Марта, вы – чудо. Так чувствовать поэзию могут только чистые души.

МАРТА (*вдруг отстраняясь от него*): Я – немка, у меня грязная душа.

ЛЕВА (*хватает ее за руки*): Что с вами, Марта, может быть, я вас чем-нибудь обидел?

МАРТА (*еще более разъяряясь*): Зачем ты мне все это говоришь! Если ты не хочешь меня, уходи! (*Вырывается из его рук, вскакивает.*) Зачем мне твои стихи, пусти меня!

Вырывается. Отталкивает его от себя, устремляясь во тьму за церковью.

ЛЕВА (*наедине с собой*): Один, опять один... Проклятье!

Из толпы на передний план выдвигается пара: Яков Рувимыч Гутник и Вера Скалкина. Он уже поддерживает спутницу под локоток и держит ее руку в своей.

ГУТНИК (*любовно поглаживая ей ладонь*): На восемнадцатом съезде партии мы дали окончательный бой всем уклонистам и маловерам, партия освободилась от вражеского и мещанского балласта и повела народ и страну к новым вершинам.

ВЕРА (*восторженно*): Ах, Яков Рувимыч!.. Яша, милый, это же просто фантастично! Дать бой и повести народ! (*Почти в экстазе.*) Яша, вы удивительный, вы мечта любящей девушки... Яша... (*задыхается*), Яша, я чувствую, что лечу... Ах... Ой... Ой... Говорите, Яша, говорите еще, это так интересно!

ГУТНИК (*увлекая ее в темноту*): Верочка, вы озаарили мое одиночество, у меня, в моем холостяцком углу, я расскажу вам еще много, очень много интересного...

ВЕРА (*скрываясь с ним в ночи*): С вами, Яша, хоть на край света... Говорите, Яша, говорите...

Исчезают. На сцене появляются Федя и Вася, во всем – в облике, в одежде, в манере говорить и двигаться – похожие друг на друга, как два близнеца.

ФЕДЯ (*с завистью оглядывается*): Народ уже загнивает вовсю, Вася, а мы вроде незнамо кто, болтаемся, как дерьмо в проруби, тоска!

ВАСЯ: Мы, Федя, на задании, на боевом посту, мы, Федя, бойцы невидимого фронта, нам загнывать по штату не положено, враг, Федя, помни, не дремлет, притаился только, ждет своего часа.

ФЕДЯ: Брось травить, Вася, ты не на партсобрании, нам бы сейчас раздавить пузырек на двоих и к девочкам, а тут топай всю ночь без толку по улицам, вынюхивай, высматривай, а чего тут высмотришь, только душу бередить, кругом люди гужуются, а мы ходи, облизывайся.

ВАСЯ: Разлагаешься, Федя, не боишься, что наступчу?

ФЕДЯ: *(флегматично)*: А я наступчу, что ты на меня по заданию врага наступал, так что не проханже, Вася.

ВАСЯ *(примирительно)*: Ладно, Федя, чего там, я в шутку, мы с тобой вроде как альпинисты, в одной связке тянем: один сорвется, другой не удержится. Видно, головастые у нас там на верху мужики сидят, ловко придумали нашего брата по двое на дежурство запускать.

ФЕДЯ *(пренебрежительно)*: А, делов куча! Тоже мне умники, такие же говноеды, как мы с тобой, только погон не тот, да звезд на нем побольше нашего, тебя этой херне любой фарцовщик с Горького научит, в рот бы я мотал ихнюю придумку, лучше бы на представительские не жидились, жили бы без хлопот, а то поневоле на политубежище тянет.

ВАСЯ *(осторожно)*: А может, сбросимся, Федя, хоть на мерзавчика, душевный кристалл вконец засыхает...

ФЕДЯ *(деловито)*: А у тебя сколько?

ВАСЯ: Да марки две с мелочью наскребу. *(Улавливая недоверчивый взгляд напарника.)* Хочешь партбилетом побожусь?

ФЕДЯ: Ладно, Вася, давай сюда, я еще три доложу и на дешевку хватит. Пошли, Вася, мы тоже – люди...

Уходят. Из темноты возникает растерянная фигура Степаниды Остаповны. Она слепо тычется среди толпы, нелепая и жалкая на фоне всей этой карнавальной фантазмагии.

СТЕПАНИДА ОСТАПОВНА (*бормочет жалобно*): Да где ж мэни туточки тэбэ шукаты, горэ мое? (*Шарахается в сторону от пышущего пламенем фокусника.*) Боже ты мий, чого туточки тилькы не побачишь, вврэшь с переляку. (*С опаской огибает пьяную компанию и только тут замечает Леву, облегченно бросается к нему.*) Здоровеньки булы, звыняйते, бачу, мабуть з наших, хлопчик, будэтэ, вы мого Михася туточки не бачилы?

ЛЕВА (*словно просыпаясь*): Здравствуйте... Кто вы?.. Какого Михася?..

СТЕПАНИДА ОСТАПОВНА: Мехлис я, Степанида, а Михась сынку мий, гарный такой, справный.

ЛЕВА (*все еще собираясь с мыслями*): Гарный, справный... Что за чушь?.. Что вы от меня хотите, уважаемая? Я не знаю никакого Михася... Оставьте меня, ради Бога, в покое! С какой стати я должен знать вашего Михася, я, может быть, все потерял, а вы с вашим Михасем. (*Утыкается головой в колени.*) «Все перепуталось и некому сказать: Россия, Лета, Лорелея». Всему конец.

СТЕПАНИДА ОСТАПОВНА (*сразу забыв о своей заботе, опускается рядом с ним*): Чого у тэбэ, хлопчик мий, не ховайся от мэна, ненька к тоби с усим сэрцэм.

ЛЕВА (*растроганно*): Спасибо... Но это, к сожалению, уже непоправимо... Она ушла, и никто мне ее не вернет.

СТЕПАНИДА ОСТАПОВНА (*всплескивает руками*): Так я и чуяла – дивчина! (*Обнимает его.*) Не журысь, сынку, побачь, якый ты гарный та справный, за таким хлопцем любая дивчина пидэ, не журысь. (*Гладит его по голове.*) Не журысь, дытятко мое.

ЛЕВА (*покорно поддаваясь ее сочувствию*): Один, совсем один...

СТЕПАНИДА ОСТАПОВНА (*кладет его голову к себе на колени*): «Ой спи, дитя, колишу тя, доки не вснеш нэ лишу тя. Прикладу каминцями, сама пиду за вивцями, повишу я колисоньку на зелену галузоньку.

Буде витер повивати, тебе, дитя, колисати. Ой спи, дитя, до вечора, доки мати с поля прийде да й принесе три ягідки щоб первая сонливая, а другая дримливая, а третя солоденька, спи дитиночко маленька...»

Затиhaет под ее рукой.

Явление третье

Обстановка первого явления. Нет только Левы, но зато на правой стороне лестницы высвечивается новая пара: Вася – Федя. Рустам по-прежнему наигрывает на гитаре.

ВАСЯ (с бутылкой в руке): Хорошо, Федя, прямо на кристалл легло, душа крыльями машет.

ФЕДЯ: Не говори, Вася, воспаряет.

ВАСЯ: Хорошо сидим, Федя! (*Умиленно.*) Вот ты хоть и сволочь, Федя, и, можно сказать, сукин сын, а я тебя все равно люблю, даже сам не знаю – за что.

ФЕДЯ (равнодушно): А я тебя нет.

ВАСЯ (обиженно): Это почему же?

ФЕДЯ: А потому что ты ни то и ни другое.

ВАСЯ: А что я?

ФЕДЯ: Моль, Вась, моль, а если в рифму – ноль. Как говорил поэт: облако в штанах, я бы таких, как ты, еще в колыбели подушками душил. Не пойму, от чего только такие на свет появляются, от сырости, что ли?

ВАСЯ (еще обиженнее): Ну, ну, ты полегче, Федя, я ведь и вмазать могу, не посмотрю, что на службе.

ФЕДЯ: Я бы тебя тогда зауважал. Да только тебя и на это не хватит, лень вперед тебя родилась.

ВАСЯ: Обижаешь, Федя?

ФЕДЯ: Обижаю.

ВАСЯ (храбрится): Значит, ноль, говоришь, Федя, значит, моль, говоришь? (*Решительно.*) А я вот возьму...

ФЕДЯ: Где возьмешь, там и положишь, знаю я тебя, Вася.

ВАСЯ (*не слушает его*): Возьму и убежища попрошу!

ФЕДЯ (*насмешливо*): С чего бы это, Вася?

ВАСЯ (*распалаясь*): А у меня разногласия с системой в смысле прав человека и угнетения малых наций, опять же с воссоединением семей у нас не все в порядке.

ФЕДЯ: Тебе-то что до этого, Вася, хочешь воссоединиться, вали к себе в Курскую область и все дела.

ВАСЯ (*уже вошел в роль*): Вон Шевченко и тот в диссиденты подался, а я что, хуже, что ли! Я открою глаза свободному миру на преступления нашей бесчеловечной системы!

ФЕДЯ: На какие же, Вася?

ВАСЯ: Производством меня обошли? Обошли. (*Начинает загибать пальцы.*) Раз. Консул представительские зажиливает? Зажиливает. Два. Лидку-буфетчицу у меня советник отбил? Отбил. Это уже три. И вообще: свободу Иосифу Бегуну и Иде Нудель!

ФЕДЯ (*вкрадчиво*): А ведь у меня и наручники с собой, Вася.

ВАСЯ (*вскакивает*): А положил я на твои наручники слоновый хер с прибором, я теперь свободный человек, и катись ты от меня, кагебешная морда, со всей своей советской лавочкой на быстром катере к еловой матери!

Федя мгновенно бросается на него и, натренированным приемом заломив ему руки за спину, защелкивает на них наручники.

ФЕДЯ: Ишь, раскудахтался. (*Толкает его в спину.*) Иди вперед. Пикнешь – пришью.

ВАСЯ (*жалобно*): Шуток не понимаешь, Федя.

ФЕДЯ: Я тебе пошучу, шутник нашелся.

ВАСЯ: Сдашь, значит, Федя?

ФЕДЯ: Ясно – сдам.

ВАСЯ: Прямо консулу?

ФЕДЯ: Зачем консулу – в полицию.

ВАСЯ (*ошарашенно*): Если в полицию, наручники-то зачем, Федя?

ФЕДЯ: А чтоб не передумал, больно уж у тебя, Вася, душа хилая.

ВАСЯ: Федя, друг!

Исчезают в темноте.

МИША (*кивает вслед уходящим*): Гуляют чмуры, уже подраться успели, полный ажур, есть что вспомнить. (*К Рустаму, заискивающе.*) Мы тоже сегодня, Рустамчик, гульнули что надо, тоже есть что вспомнить. Девочка попалась в порядке, отоварила до отвала. Надо ребятам нашим свистнуть, ее запросто и в очередь можно. (*Залихватски горланит в темноту.*) «Зоя, Зоя, кому давала стоя, кому давала стоя – начальнику конвоя...»

РУСТАМ (*рывком притягивает его к себе, говорит с тихой яростью*): Закрой пасть, козел, еще слово про нее скажешь, я из тебя буду делать клоуна, родная мать не узнает.

МИША (*примирительно*): Ну чего, чего ты, Рустамчик, я же это так, для разговора, не хочешь – не буду.

В ночи слышится отдаленный грохот проходящего поезда.

РУСТАМ (*прислушиваясь к грохоту*): Туда пошел, за стену.

МИША (*в тон ему*): Хорошо бы посмотреть, что у них там делается, пишут, правда, с водярой плохо.

РУСТАМ: По мусорам соскучился?

МИША: Соскучился – не соскучился, а посмотреть рванул бы.

РУСТАМ: До первого постового.

МИША: Посмотреть, говорю, и обратно.

РУСТАМ: Интурист Миша Мехлис, битте-дритте, Михал Иванович, не составите ли компанию тет-а-тет, а-ля фуршет с акулой капитала из Западного Берлина, смеху полные штаны!

МИША: Я с этим мусором позорным на одном поле какашки не сброшу, пускай с ним брянский волк пьет, а не Миша Мехлис.

РУСТАМ (*насмешливо*): Большой человек Миша Мехлис, ему для опера даже дерьма жалко, жадный ты, Мишаня. А вот Моня не жадный. (*К Моне.*) Правда, Моня?

МОНЯ: (*мгновенно очнувшись*): Ну.

РУСТАМ: Ты ведь не жадный, Моня?

МОНЯ: Ну.

РУСТАМ: Не пожалел бы дерьма для опера?

МОНЯ: Ну.

РУСТАМ: Ты видишь, Мишаня, учись, человек сорок лет по лагерям мотался, а совесть не потерял. (*К Моне.*) Выпить хочешь, Моня?

МОНЯ (*совсем осмысленно*): Ну.

РУСТАМ (*протягивает бутылку Мише*) Дай ему, Мишаня, пускай пожар зальет, а то сгорит – полиция с нас спросит.

МИША (*нехотя*): Только добро переводить.

РУСТАМ: Вот я и говорю: жадный ты.

МИША: Последнее отдаем, Рустамчик.

РУСТАМ: Сбегаешь, еще молодой.

МИША (*вяло*): Хозяин – барин. (*Нехотя подходит к Моне-Красавчику, протягивает ему бутылку.*) Помни, пьянь, Мишину доброту.

МОНЯ: Ну. (*Жадно припадает к горлышку, и с каждым глотком согбенная фигура его оживает, наливаются силой и упругостью. Вытянув все со дна, он размашистым жестом отбрасывает пустую посудину в темноту.*) Эх, бя! «Стой, паровоз, не стучите колеса, кондуктор, нажми на тормоза»...

Моня почти слетает со ступенек на передний план и пускается в чечеточный пляс под аккомпанемент рустамовской гитары. Сквозь старческий облик в нем проступает вдруг юношеская стать и грация.

РУСТАМ (*подыгрывая Моне на гитаре*): Рви, Мишаня, еще за одной к Фишеру, скажи: Рустам просит, он даст. Пить так пить, все равно нехорошо!

Миша послушно исчезает в ночи. Некоторое время Моня еще продолжает чечеточный перепляс, но вскоре движения его становятся

все замедленнее, и наконец он как бы начинает стекать в самого себя, ссыхается, уменьшается в размерах, пока окончательно не оказывается на своем обычном месте, в той же согбенной позе. Из тьмы выходит Степанида Остаповна.

СТЕПАНИДА ОСТАПОВНА: Та де ж вин заховався, сынку мий! (*Замечает Рустама.*) Вы, бачу, из наших будэтэ, та, може, мого Михася знаэтэ! Михась, Миша Мехлис, сынку мий... Може бачылы його туточки? Гарний, такый, справний...

РУСТАМ: Здесь, мамаша, михасей, как карасей, все на одно лицо и как один жареные.

СТЕПАНИДА ОСТАПОВНА (*покорно*): И на том спасибочки, человек добрый...

Направляется было к Моне, но, сразу определив его состояние, безнадежно вздыхает, скрываясь в ночи, откуда до нас доносится ее: «Михась, Мишенька, сынку мий!...» С противоположной стороны на сцене появляется Марта. Она все так же пьяна или накурена.

РУСТАМ (*с нескрываемой радостью*): Это вы, мадам! (*Смущенно сбивается.*) Марта... (*Бросается к ней, бережно берет ее за руку, усаживает рядом с собой.*) Я думал, что вы уже никогда не придете.

МАРТА: Почему?

РУСТАМ: (*смущенно*): Мы, конечно, с другом твари позорные... Я сам не такой... Это у меня первый раз так... Я тоже человек... Нельзя так... И вам нельзя...

МАРТА (*пьяно*): А как можно?

РУСТАМ: Как у людей... По-человечески. (*Пытается привлечь ее к себе.*) Я таких еще не встречал, Марта.

МАРТА (*выскальзывает из его рук*): Не надо.

РУСТАМ: Я по-серьезному.

МАРТА: Мне это не надо.

РУСТАМ: Чудная вы какая-то.

МАРТА: Я не чудная, я – немка. Когда я узнала, что мы с вами сделали, я перестала жить. Теперь я живу только там и оттуда уже никогда не вернусь. Я всегда

вижу одно и то же. Ваши глаза и ваш пепел, а за это нужно платить. Я плачу этим. Больше у меня ничего нет. Только я сама и всё.

РУСТАМ (*в отчаянье*): Я не еврей, Марта, я – татарин, казанский татарин.

МАРТА: Для меня все, кто оттуда – евреи.

РУСТАМ: Ты чокнутая, Марта, ты больная, дым все это, обман, тебе травку надо бросить и пить тоже.

МАРТА: Тогда у меня ничего не останется.

РУСТАМ: Да я за тебя хоть под вышку готов.

МАРТА: Что это – «вышка»?

РУСТАМ (*проводит ребром ладони по горлу*): Скажи только.

МАРТА (*вдруг смотрит на него долго и внимательно*): Ты меня...

РУСТАМ: Век свободы не видать!

МАРТА (*отворачивается*): Не надо.

Из темноты с бутылками в руках выскальзывает Миша.

МИША: Фишер – человек! (*Замечает Марту.*) Наше вам, мадам, гульнем по буфету по второму заходу, мы ребята компанейские, борозды не испортим. (*Осекается под яростным взглядом Рустама.*) Ты чего, Рустамчик?

РУСТАМ (*встает*): Поставь пузырьки, козел, я тебя бить буду.

МИША: Ты что, ты что, я как лучше хотел.

РУСТАМ (*вырывает у него бутылки*): Поставь, говорю!

Ставит бутылки на ступени и надвигается на приятеля. Тот пытается было отскочить в сторону, но рука Рустама мгновенно настигает его и они скручиваются в клубок в иступленной драке. Трезвея у нас на глазах, Марта смотрит на дерущихся с нескрываемой ненавистью и презрением. Во всем ее облике проглядываются сейчас черты лагерных надзирательниц памятных нам времен.

МИША (*отдирается от Рустама окровавленным и помятым, пошатываясь, отступает в темноту*): Спасибо, Рустамчик, за все спасибо, из-за этой лахудры кореша отметелить не пожалел... Хорошо... Ладно... В рот

я мотал тогда эту свободу... Меня там мусора метелили, а тут свои не стесняются... Нет, загребьтесь вы тут со своей свободой в рот... Мамашку только жалко... Ничего, вызову... Там не звери сидят... С головой люди... Простят пацана... Лучше там срок оттяну, чем от своих тут терпеть... Эх, Рустамчик, а я тебя еще за человека держал...

Исчезает. И тут же из глубины ночи доносится грохот проходящего поезда, который вдруг сливается с какофонией полицейских сирен, выстрелами и криками.

РУСТАМ (*тревожно напрягается*): Облава! (*К Марте, деловито.*) Слушай сюда, Марта, ты здесь своя – немка, тебя не заметут, спрячь пока у себя мою пушку, если меня с ней возьмут, верный срок за незаконное хранение.

МАРТА: Что это – «пушка»?

РУСТАМ (*вынимает из-за пояса под рубахой револьвер*): Или не видела никогда?

МАРТА (*с усмешкой*): Видела. Много. (*Берет у него оружие, прячет под джинсовой курткой.*) Я завтра сюда приду.

РУСТАМ: Лады.

Устремляется в спасительную темноту, откуда тут же появляется Лева.

МАРТА: Опять вы?

ЛЕВА: Я.

МАРТА: Зачем?

ЛЕВА: Я не могу без вас.

Марта долго и пристально смотрит на него. Потом вдруг начинает беззвучно смеяться. Постепенно смех ее перерастает в громкий издевательский хохот.

КОНЕЦ ПЕРВОГО АКТА

Явление четвертое

Обстановка второго явления. В ночи возникает все приближающийся рев моторов. Свет мотоциклетных фар, скрещиваясь, рассекает темноту. Рев становится оглушительным, но тут же смолкает. Густая ночь снова смыкается над церковью. На передний план с двух сторон сцены выходят ребята в черной коже с ног до головы и в чулочных масках и выстраиваются в шеренгу лицом к залу. В руках у каждого из них щит с лозунгом: «Германия для немцев!», «Иностранцы, убирайтесь к себе домой!», «Израиль – тридцать пять лет: хватит!», «Все цветные – свиньи!», «Лучше быть мертвым, чем красным!». Появляются Русский и Немецкий писатели.

НЕМЕЦКИЙ ПИСАТЕЛЬ: Теперь вы видите, коллега, что я прав: это больной, раздавленный народ. Попытка гальванизировать свой былой национализм – сублимация духовного краха, не более того. Когда я смотрю на таких молодчиков, меня охватывает ужас: неужели это проклятье снова надвигается на нас?

РУССКИЙ ПИСАТЕЛЬ: Не стоит преувеличивать, мой друг, просто молодежь самоутверждается, болезнь возраста, с годами это у них пройдет, они станут вполне законопослушными гражданами. Да и сколько их у вас в Германии, этих новоявленных националистов, несколько сотен, в лучшем случае тысяч!

НЕМЕЦКИЙ ПИСАТЕЛЬ: Если бы, если бы, коллега! Вспомните, в двадцатые годы в мюнхенской пивной их собиралось тоже полдюжины, а через десять лет они уже управляли страной, а еще через пять начали мировую бойню, какой до того не знало человечество. Долгое унижение высвобождает в людях самые низменные инстинкты. Страшно мне, коллега, от всего этого, очень страшно. Что будет с Германией, если вот это *(он кивает на молчаливую шеренгу)* наше будущее?

Парень, замыкающий шеренгу справа, толкает локтем своего соседа.

ФЕДЯ: Ты хоть, Вася, знаешь, что на фанерке-то твоей нарисовано?

ВАСЯ: А мне что, обещали по пятьдесят рупий отслюнявить, а что они там накарябали, мне до фени. А чего?

ФЕДЯ: «Германия для немцев», вот чего.

ВАСЯ: Ну и что? Правильно!

ФЕДЯ: А то, что мы с тобой здесь и на хрен никому не нужны.

ВАСЯ: Это ко мне не относится, пускай у тебя голова болит.

ФЕДЯ: Это почему же?

ВАСЯ: А у меня бабка в оккупации была.

ФЕДЯ: И что?

ВАСЯ: Соображай, москвич херов: мать моя сорок третьего года рождения, да и у меня самого волос белый, сечешь?

ФЕДЯ: Ну ты, Вася, даешь!

ВАСЯ: А чего в самом деле, понаехало тут вас – черножопых – на нашу Неметчину, продыхнуть негде.

ФЕДЯ: Вася, мы еще даже до полиции не дошли.

ВАСЯ: Ребята подвезут, да мне и не к спеху, это тебе убежища просить, а я домой вернулся, фольксдойч называется.

ФЕДЯ: Сука ты, Вася, родину продаешь.

ВАСЯ: Это ты продаешь, а я и так на родине.

ФЕДЯ: Пришью, Вася.

ВАСЯ: Закрой варежку, Федя, это тебе не Москва, с нами – немцами – шутки плохи, свистну вон ребятам, враз скрутим, проси тогда убежища в недоразвитых странах.

Федя сплевывает в сердцах, но умолкает. И тут же раздается вой полицейских сирен. Появляется полицейский наряд. Шеренга распадается, возникает всеобщая суматоха. Сцена постепенно пустеет. Сюда из темноты выходит Лева Шацкий.

ЛЕВА (потерянно): Сколько раз со мной это было, а по-прежнему будто впервые. Все опротивело, свет не

мил, жить не хочется, а в голове одна каша из чужих цитат. Говорят, увлечение стимулирует творческую потенцию. Как бы не так! В таком состоянии чужие источники становятся особенно назойливыми, прямо-таки услужливо назойливыми. Вот и сейчас, казалось бы, только и фонтанировать образами, а на ум лезет все то же: «Засыпет снег дороги, завалит скаты крыш. Пойду размять я ноги: за дверью ты стоишь...» Чуть-чуть забрезжит что-то свое, уж тут как тут знакомые строчки. «С порога смотрит человек, не узнавая дома. Ее отъезд был как побег. Везде следы погрома...» Боже, Боже мой, не поэт я, а мешок с цитатами!

Мимо него, пошатываясь, проходит встрепанная и поникшая Вера Скалкина. Заметив Леву, она останавливается и некоторое время слепо и недоуменно смотрит на него.

ВЕРА (*как бы сквозь сон*): Я вас знаю... Вы живете в нашем доме... Вы – поэт.

ЛЕВА (*рассеянно*): Может быть... Вполне может быть...

ВЕРА (*оживая*): Как мало на свете интересных людей! Почему вы все такие скучные? Можно я сяду около вас? Поговорите со мной о чем-нибудь интересном.

ЛЕВА (*равнодушно*): Ради Бога, но я плохой собеседник.

ВЕРА (*мечтательно*): Уже интересно.

ЛЕВА (*вглядываясь в нее*): Смотрите, какая вы... О чем же мне с вами поговорить? Может быть, я почитаю вам стихи?

ВЕРА (*в изнеможении закрывая глаза*): Стихи! Какой восторг!

ЛЕВА: Под насыпью, во рву некошенном,
Лежит и смотрит, как живая,
В цветном платке, на косы брошенном,
Красивая и молодая...

ВЕРА (*молитвенно*): Красивая и молодая...

ЛЕВА: Вагоны шли привычной линией,
Подрагивали и скрипели.
Молчали желтые и синие,
В зеленых плакали и пели...

ВЕРА: Плакали и пели...

ЛЕВА: Два ярких глаза набегающих,
Нежней румянец, круче локон,
Быть может, кто из проезжающих
Посмотрит на нее из окон...

ВЕРА: (как эхо): Посмотрит на нее из окон...
Неужели так бывает? Как это интересно!

ЛЕВА (продолжает с удивлением вглядываться в нее): Вы удивительное существо. Как вас зовут?

ВЕРА: Вера... Говорите, говорите. (Кладет ему голову на плечо.) Боже мой, как хорошо!

ЛЕВА (гладит ее по волосам): Как мы все в сущности несчастны.

Рожденные в года глухие,
Пути не помнят своего.
Мы – дети страшных лет России –
Забуть не в силах ничего.
Испепеляющие годы!
Безумья ль в вас, надежды ль весть?
От дней войны, от дней свободы –
Кровавый отсвет в лицах есть.
Есть немота – то гул набата
Заставил заградить уста.
В сердцах восторженных когда-то,
Есть роковая пустота.
И пусть над нашим смертным ложем
Взовьется с криком воронье, –
Те, кто достойней, Боже, Боже,
Да узрят Царствие Твое!

ВЕРА (блаженно сквозь сон): Да узрят Царствие Твое!

Затаихают, тесно прижавшись друг к другу. Сбоку, опасливо озираясь, выкатывается Степанида Остаповна.

СТЕПАНИДА ОСТАПОВНА: Боже ж мий, як перелякалы, десь туточки Михася шукаты, у його сто шляхыв, а у мэнэ видна. (*Вдруг увидев выходящего ей навстречу сына.*) Михасик!.. Сынку мий... Дэ ж ты заховався? Я тоби шукаю, шукаю... Пидэм до дому, сынку.

МИША (*одетый по-дорожному, с типичным русским «сидором» за плечами*): Все, мутер, с меня хватит, я тут дерьма нахавался, век блевать – не отблюёшься. Греб я эту свободу в гробу в белых тапочках! Заманили, гады, в торбу малолетку, душу я их мотал!

СТЕПАНИДА ОСТАПОВНА: Так мы ж сами йихалы, сынку, на историчну батькивщину, як батька твий заповідав.

МИША: Не выступай, мутер, я этой херни по колу израилу наслушался до усеру. Фатер наш сам с приветом был и тебе мозги набекрень вывернул. Нужна мне эта историческая родина, как козе гармонь, мне и на доисторической некисло жилось, там хоть свои не метелили. Тут человек человеку брянский волк, а не кореш, там из-за шалашовок корешам в душу не харкают, там мы их по-братски хором пропускали и все дела, там Мишу Мехлиса кодла уважала, там даже Михал Иваныч ко мне со всем почтением, зазря рыло не чистил, а тут каждая рвань тебе права качает, будто я дежурный по станции. Гори эта сучья свобода синем пламенем, я к ней не нанимался. Домой поеду, родина слышит, родина знает, чистосердечное признание облегчает вину, к новой жизни с чистой совестью, за перевыполнение нормы скостят, а на Молдаванке я, как рыба в воде. Ты жива ещё, моя старушка! Русь, моя деревянная Русь!

Огибает мать и спешит в ночь. Степанида Остаповна увязывается за ним.

СТЕПАНИДА ОСТАПОВНА: Михасик!.. Сынку мий! На кого ж ты ридну маты бросаешь!

МИША (*уже из темноты*): Оттяну срок на переднем крае пятилетки, выпишу... Не откажут передовику лесоповала, сироте ветерана войны.

Темь смыкается за ними.

ЛЕВА (*очнувшись от оцепенения*): Кажется, начинает светать. (*Бережно освобождается от соседки.*) Скоро утро, Вера, вам пора домой... Если хотите, я вас провожу.

Лева помогает ей подняться и, взяв её за руку, уводит со сцены.

ВЕРА (*покорно следуя за ним*): Говорите, говорите со мной, это так интересно!

На фоне исподволь светлеющего неба, над церковью начинает прорисовываться силуэт креста. На ступеньках возникает фигура Рустама с гитарой за спиной. Издалека доносится грохот проходящего поезда.

РУСТАМ: Эх, Давыдов, Давыдов, надо было тебе свалить за кордон, чтобы заторчать на прохожей шалашовке! Кому скажи в Одессе, от смеха укакаются. Сколько их у меня перебывало, таблицы умножения не хватит, а тут, как олень сохатый, всю потёк. Эх, Марта, Марта!

Словно откликаясь на его зов, она выдвигается из-за поворота черкви.

МАРТА (*пьяно*): Ты меня звал?

РУСТАМ (*бросается к ней, но сдерживает себя*): Опять напилась?

МАРТА: Меня угостили.

РУСТАМ (*обозлясь*): С кем была?

МАРТА: Не знаю, их было много.

РУСТАМ (*еще больше свирепея*): Наши или фрицы?

МАРТА: Ваши.

РУСТАМ (*почти стонет*): Опять с нашими!

МАРТА: Я с немцами не пью.

РУСТАМ: Сука позорная! (*Бьет ее по лицу.*) Сука... Сука... Сука...

Марта отступает под его ударами, потом падает, с трудом поднимается на колени и тянется к нему снова.

МАРТА (удивленно): Разве ты меня любишь?

РУСТАМ (обессиленно угасая): Замутила голову, сука. (Опускается на ступени.) Сгинь.

МАРТА (на коленях же продолжает тянуться к нему): Зачем тебе немка, ты забыл, сколько зла мы вам принесли?

РУСТАМ (почти кричит): Татарин я, понимаешь ты, тварь, татарин, вор с Молдаванки, мне ваши счета до лампочки!

МАРТА (обхватывает его колени): Ты не понимаешь, ты ничего не понимаешь, разве такое можно простить, потом ты сам пожалеешь об этом.

РУСТАМ: Совсем чокнутая. (Ладонь его невольно касается ее волос.) Забудь ты об этом, зола все это, зола.

МАРТА (доверчиво затихая под его рукой): Что это – «зола»?

РУСТАМ: Пыль значит, ерунда.

МАРТА: Разве ты будешь любить меня?

РУСТАМ: Откуда ты только взялась на мою голову? (Обнимает ее.) Ладно, молчи.

МАРТА: Молчу...

Умолкают. Со стороны сцену эту наблюдает Лева Шацкий.

ЛЕВА (убито):

Странная песня, ей тысяча лет:

Он ее любит, а она его – нет.

Столетия меняются, вьюги метут.

Различными думами люди живут.

Но так же упорно во все времена

Его почему-то не любит она...

Брезжит рассвет.

Явление пятое.

Обстановка первого явления. На церковных ступеньках по-прежнему дремлющий Моря-Красавчик. Сбоку высвечиваются фигуры Русского и Немецкого писателей.

РУССКИЙ ПИСАТЕЛЬ: Вы показали мне побежденных, а вот теперь посмотрите на победителей.

НЕМЕЦКИЙ ПИСАТЕЛЬ (протестующе): Но это, коллега, нетипичный случай: обыкновенный люмпен, искатель счастья, старый бродяга и антисоциальный элемент. И, наверное, он из этих – новых эмигрантов, то есть – еврей. Народ, коллега, это нечто другое.

РУССКИЙ ПИСАТЕЛЬ: Еврей, русский, татарин, какая разница! Это, независимо от национальной принадлежности, часть того, что вы здесь называете Россией. Во мне, к примеру, тоже много всякого намешано, поляки, евреи, в моем роду, кажется, даже чувашаи есть; но от этого я не становлюсь менее русским, чем все, кто приходит к вам оттуда. Каждый из нас несет в себе одно и то же всеразъедающее забвение. Мы вообще не помним, кто мы и откуда взялись, мы растекаемся по земле, как плесень, заражая своим забвением окружающий нас мир, поэтому все наши победы неизменно оборачиваются для нас очередным поражением, которое мы пытаемся утопить в вине или злобе на всех и на вся, кроме самих себя. Если нам и суждено преобразить мир, то лишь по своему облику и подобию, а это конец всему. То, чего вы опасаетесь, мой друг, детские забавы по сравнению с тем, что идет к вам оттуда.

НЕМЕЦКИЙ ПИСАТЕЛЬ (недоверчиво): Ваши апокалипсические пророчества, коллега, это типично русское, но какую, право, опасность для нашей цивилизации представляет хотя бы вот этот несчастный пьяница?

РУССКИЙ ПИСАТЕЛЬ: Попытаюсь вам продемонстрировать, мой друг. *(Подходит к Моне, касается его плеча.)* Здорово, мужик, похмелиться хочешь?

МОНЯ (поднимает на него осоловелый взгляд): Ну.

РУССКИЙ ПИСАТЕЛЬ (*вынимает из кармана и подает ему флакон со спиртным*): На твое счастье с собой прихватил.

МОНЯ (*припадая к горлышку*): Эх!... Сразу видно, импортная... Не по нашим доходам... Чайкой пролетела.

РУССКИЙ ПИСАТЕЛЬ: Откуда сам-то?

МОНЯ (*подозрительно*): Допрос снимаешь?

РУССКИЙ ПИСАТЕЛЬ: Интересуюсь, может, земляки.

МОНЯ: У меня земляков, как клопов – по всей России.

РУССКИЙ ПИСАТЕЛЬ (*примирительно*): Сам я – москвич.

МОНЯ: Там я тоже отметил. На пересылке.

РУССКИЙ ПИСАТЕЛЬ: А как сюда попал?

МОНЯ: С перепуга.

РУССКИЙ ПИСАТЕЛЬ: Домой не тянет?

МОНЯ: Это в зону что ли?

РУССКИЙ ПИСАТЕЛЬ: Родина все-таки.

МОНЯ: Агитируешь?

РУССКИЙ ПИСАТЕЛЬ: Спрашиваю.

МОНЯ (*входя в раж*): Спрашиваешь – отвечаю. Ты еще, бя, под себя мочился, когда Моня-Красавчик уже загибался по магаданским шурфам без права переписки, ты еще ириски хавал, бя, когда Моню-Красавчика норильская вохра в кандеях примаривала, ты еще в красной тряпочке красовался, когда Моня, бя, со штрафными ротами на пулеметы ходил. (*Он вскакивает, кричит иступленно.*) «За родину, бя, за Сталина, бя, в рот их мотать!» (*Так же внезапно снимает, садится.*) Родина, бя. Где кайф, там и родина.

РУССКИЙ ПИСАТЕЛЬ: Значит, за кайфом поехал?

МОНЯ (*с вызовом*): Переводили нас фрицы на удобрения? Переводили. Пускай теперь карячатся за меня, мне много не надо, не обеднеют. Загнали мы им в

сорок пятом шершавого в задний проход, пускай теперь подмахивают, трепыхаться начнут – хуже будет. Мы им эти ихние пьянины запросто на дрова пустим, а гретхен ихних всех хором, бя! (*Остервенело сплевывает, от его плевок что-то с металлическим звуком скатывается по ступенькам, он начинает шамкать.*) Надо ше, бя! (*На коленях шарит вокруг себя.*) Где ее теперь ишкать? Шетыре шотни врашу отшлюнявил, бя. (*Облегченно вздыхает.*) Вот она, бя! (*Вытерев о рукав рубахи, вставляет утерянную было челюсть на место.*) Качумай, Мона!

Садится, засыпает.

РУССКИЙ ПИСАТЕЛЬ: Вот и всё, мой друг, и не надо строить иллюзий. Как видите, иногда побежденные оказываются счастливее своих победителей.

НЕМЕЦКИЙ ПИСАТЕЛЬ: В чем же, коллега?

РУССКИЙ ПИСАТЕЛЬ: В том, что вы можете открыто поставить диагноз своей болезни, а это уже путь к выздоровлению, мы же о своей вынуждены молчать, а значит, загонять ее внутрь и тем самым становимся все опаснее для самих себя и всех других.

НЕМЕЦКИЙ ПИСАТЕЛЬ: Но такой могучий организм, как Россия, я уверен, сам способен выработать для себя спасительный иммунитет.

РУССКИЙ ПИСАТЕЛЬ: Организма уже нет, мой дорогой друг, есть одна сплошная раковая опухоль.

НЕМЕЦКИЙ ПИСАТЕЛЬ: Каков же выход, коллега?

РУССКИЙ ПИСАТЕЛЬ: Я остаюсь здесь.

НЕМЕЦКИЙ ПИСАТЕЛЬ (*ошарашенно*): Зачем, коллега?

РУССКИЙ ПИСАТЕЛЬ: Чтобы попытаться поставить диагноз.

НЕМЕЦКИЙ ПИСАТЕЛЬ: Но вы задохнетесь здесь, коллега, не успев даже начать.

РУССКИЙ ПИСАТЕЛЬ: Я предпочитаю погибнуть с вами, чем победить с ними, мне не по силам такая победа.

НЕМЕЦКИЙ ПИСАТЕЛЬ (сухо): Вы делаете ошибку, коллега.

РУССКИЙ ПИСАТЕЛЬ: Утешаюсь тем, что она во всяком случае будет последней в моей жизни.

Исчезают. Яков Рувимыч Гутник ведет мимо церкви юную брюнетку.

ГУТНИК (бережно поддерживая девушку под локоток): Вы знаете, в смерти Надежды Аллилуевой осталось много загадочного. Я работал тогда в секретариате Куйбышева, тревожное это было время, дружочек, героическое время.

ДЕВУШКА (равнодушно): Ну и что?

ГУТНИК (несколько смутившись): Знаете, дружочек, мы – ленинская гвардия партии – буквально горели тогда на работе, поэтому те дни с такой отчетливостью запечатлелись в моей памяти.

ДЕВУШКА (деловито): Ты мне, папашка, зубы не заговаривай, хочешь иметь удовольствие, гони монету.

ГУТНИК (оскорбленно пожав плечами): Я понимаю, современной молодежи чужды наши идеалы. *(Вынимает из бокового кармана пиджака довольно увесистую пачку денег, отсчитывает несколько купюр.)* Вы все строите на голом материализме, верно говорит наш великий Солженицын: кругом бездуховность, во всем бездуховность.

ДЕВУШКА (пересчитывает деньги): Вот это другой разговор, а то травит баланду, уши вянут. Пошли, папашка.

Уходят.

РУСТАМ (приходя в себя, мечтательно): Свалить бы отсюда нам с тобой, Марта.

МАРТА: Что это – «свалить»?

РУСТАМ: Уехать, значит.

МАРТА: Давай уедем.

РУСТАМ: Кодла не пустит.

МАРТА: Что это – «кодла»?

РУСТАМ: Кореша, значит.

МАРТА: Что это – «кореша»?

РУСТАМ: Ну, приятели. Да и башлей нет.

МАРТА: Что это – «башли»?

РУСТАМ: Деньги, Марта, деньги.

МАРТА: У меня есть.

РУСТАМ: На твои не хочу.

МАРТА (*решительно поднимаясь*): Подожди меня здесь, я скоро вернусь.

РУСТАМ: Не дури, Марта, без пользы. Сказал: на твои не могу, значит, не могу.

МАРТА (*скрываясь в ночи*): Подожди...

Уходит. Появляется Лева Шацкий.

ЛЕВА: Куда бы я ни пошел, везде она!

РУСТАМ: А, это ты, писатель?

ЛЕВА: Не писатель, скорее – персонаж.

РУСТАМ: Не прибедняйся, знаем.

ЛЕВА: Я никогда не печатался.

РУСТАМ: А говорят.

ЛЕВА: Увы, напрасно.

РУСТАМ: Эх, был бы я писателем, я бы такого сочинил, что все бы только уши развесили. Мне и сочинять не надо, у меня своя жизнь – сплошной роман, век писать – все не напишешь.

ЛЕВА: Вот бы и попробовали.

РУСТАМ: Чего я там сочиню с моими двумя классами! Я что по-русски, что по-татарски ни бе, ни ме.

ЛЕВА: В литературе было много самоучек. Горький, например.

РУСТАМ: Это что, который про сокола со змеем сочинил?

ЛЕВА: Не только.

РУСТАМ: Мне не одолеть, тут талант нужен, а у меня талант – замки курочить и фрайеров на гоп-стоп брать. Я лучше тебе расскажу, а ты опиши, большие башли зарабатываешь.

ЛЕВА: Где мне про чужое, мне бы про свое суметь.

РУСТАМ: Знал бы ты мою жизнь, писатель, не то сказал бы. Меня еще пацаном воры на казанском бану подобрали, я тогда из дома рванул. С тех пор и понесла меня судьба по кочкам от тюрьмы до тюрьмы, от зоны до зоны, только пятки сверкали. Сколько раз завязать хотел! Охерела мне эта воровская гульба до блевоты, только разве мусора дадут вору отдышаться? Сунешься за пропиской: иди, говорят, устройся на работу, потом приходи, а придешь в отдел кадров, там обратно посылают: пропишись, говорят, оформим. Походишь, походишь по кабинетам, да и плюнешь: гори оно все синим пламенем! И по новой в разгул. Сюда валил, думал, уж тут завяжу, свобода же! Да куда там: по-ихнему ни гу-гу, кто мне работу даст, а кодла уже тут как тут: заворачивай по-старому. Вот и заворачиваю. *(Снимает с плеча гитару, принимается тихонько наигрывать.)* Теперь бы мне самый раз завязать, и есть с кем, да куда я денусь без башлей, без специальности. *(Напевает.)*

Чтоб красивых любить, надо деньги иметь,
Я задумался крепко над этим.

И решил я тогда день и ночь воровать,

Чтоб ходить поприличней одетым.

День и ночь воровал, как красотку одел,

Бросал деньги налево-направо.

И, конечно, тогда я опять погорел

И на том началась моя драма...

ЛЕВА *(с печальной уверенностью)*: Марта спасет вас.

РУСТАМ *(подозрительно)*: Ты ее знаешь?

ЛЕВА *(опуская голову)*: Мне было бы лучше, если бы я ее не знал.

РУСТАМ (*темнея*): Выходит, у тебя глаз на нее?

ЛЕВА: К сожалению, ей это не нужно.

РУСТАМ (*угрожающе поднимаясь*): Знаю я вас, говорков образованных, вам бабе мозги запудрить стишками своими, раз плюнуть. Только мы таких говорков сшибали хером с бугорков, ишь ты какой ушлый! (*Надвигается на него.*) Только на ушлую задницу кол с винтом. Только подкатись к ней, я из тебя такого клоуна сделаю, родная мать не узнает!

ЛЕВА (*безропотно отступает*): Вы меня неправильно поняли, я совсем не то хотел сказать, я желаю вам с Мартой всего самого лучшего.

РУСТАМ: Беги отсюда, козел, глаза мои тебя не видели, а то я за себя не отвечаю.

ЛЕВА (*отступая в темноту*): Успокойтесь, успокойтесь ради Бога, я даю вам честное слово... Зачем вы так?

Исчезает.

РУСТАМ (*остывая, к Моне*): Видал, Моня, шустряка, уже под бабу мою клеит?

МОНЯ (*откликается сразу, будто и не спал вовсе*): Ну.

РУСТАМ: Валить отсюда надо, пока не поздно, запросто заарканят бабу говорки эти занюханые.

МОНЯ: Ну.

РУСТАМ: Ну, ну, хером гну, на какие шиши свалишь, у меня в кармане вошь на аркане.

МОНЯ (*с трезвой осмысленностью*): Спроси у Мони.

РУСТАМ: Чем порадуешь?

МОНЯ: Ты этого чмура партейного из третьего подъезда знаешь?

РУСТАМ: Это что по малолеткам?

МОНЯ: Ну.

РУСТАМ: Чего с него взять, одна морока.

МОНЯ: Не скажи, он тут одну клеил, при мне

башли слюнявил, у него там башлей этих, если на глаз, кусков пять будет.

РУСТАМ: Откуда они у него, от сырости?

МОНЯ: Простяк ты, Рустамчик. Чмур этот у них тут в войну нашим шпионом работал.

РУСТАМ: Когда это было, Моня, что он, клад, что ли тут зарыл.

МОНЯ: Опять же простяк ты, Рустамчик. Фрицы́ эти смурные ему за это наваристый куш отвалили и еще пенсию, как жертве войны. Козлы мы с тобой, Рустамчик, нам в Одессе не воровать надо было, а в гебухе служить, фрицы́ б нас тогда озолотили.

РУСТАМ (уже деловито): Не меньше пяти кусков, говоришь?

МОНЯ: Ну.

РУСТАМ (закидывает гитару за спину): Навар за мной, Моня. (Подается прочь.) Бывай...

МОНЯ: Ни пуха, ни пера. (Прикладывается к дареному флакону, вытягивает содержимое до дна, отбрасывает пустую посудину в темноту.) Ну.

Явление шестое

Обстановка первого явления. Заметно светает. Крест над церковью становится все отчетливее. Моня-Красавчик дремлет на ступенях все в той же позе. Молчаливый уборщик метет тротуар. На сцену с двух противоположных сторон выходят Федя и Вася с яркими плакатами на груди. На одном из них написано: «Горбачев, отпусти народ мой!», на другом: «Руки прочь от Афганистана!».

ФЕДЯ: У кого подрядился, Вася?

ВАСЯ: А кто их знает, пятьдесят рупий отслюнявили.

ФЕДЯ: Везет тебе, Вася, я за четвертак карячусь.

ВАСЯ: Скажи и за это спасибо, вас – эмигрантов – здесь как собак нерезанных, вы у нас – немцев – только заработок перебиваете. Ноги у вас за это из задницы

повыдергивать надо бы. Дай срок, доберемся мы до вашего брата.

ФЕДЯ: Вася, ты совсем офонарел, мы же с тобой вместе в полиции убежища просили.

ВАСЯ: Для меня это переходный период, я – фольксдойч, у меня все права на гражданство.

ФЕДЯ: Заткнись, Вася.

ВАСЯ: Мне чужого не надо, я по закону, положено – отдай. Вот оформлюсь, родню сразу из колхоза вызову, у нас, считай, полдеревни фольксдойчи.

ФЕДЯ: Хватит, Вася, не задавайся, у меня, может, тоже...

ВАСЯ (*встревоженно*): Что еще «тоже»?

ФЕДЯ: У меня мать в сорок шестом вместе с пленными немцами на стройке на Бутырском хуторе работала, а сам я – с сорок седьмого, понял?

ВАСЯ (*с подозрением*): Брось. (*Вдруг что-то сообразив.*) Федя, друг, так выходит, мы с тобой земляки!

ФЕДЯ (*серьезно*): Германия, Вася, превыше всего.

ВАСЯ (*запевает*): «Германия, Германия...»

Федя подхватывает, и они, обнявшись, уходят. Сразу же недалеко раздаются крики погони, топот ног, выстрелы. Мимо церкви с криком «Атас!» пробегает Рустам. Следом за ним полицейские: «Хальт!» За сценой снова слышатся выстрелы.

МОНЯ (*очнувшись*): Ну.

Показывается обескураженный Лева Шацкий.

ЛЕВА (*машинально*):

Я пропал, как зверь в загоне,
Где-то воля, люди, смех,
А за мною шум погони,
Мне наружу ходу нет...

МОНЯ (*встрепенувшись, поворачивается к нему*): Ты чего?

ЛЕВА: Я – ничего. А вы?

МОНЯ (*хрипло*): Душа горит.

ЛЕВА: У меня тоже.

МОНЯ: А где взять?

ЛЕВА: Что вы хотите взять?

МОНЯ: Что дадут, хоть тормозной жидкости, голова гудит, хоть отрежь.

ЛЕВА: Вы хотите выпить?

МОНЯ: Ишь ты, сообразительный.

ЛЕВА: Я принесу.

МОНЯ: Век не забуду, кореш, за Монею не оста-
нется.

ЛЕВА: Не уходите только.

МОНЯ: Я тут живу.

Лева спешит в рассветные сумерки. С противоположной сто-
роны появляется Степанида Остаповна.

СТЕПАНИДА ОСТАПОВНА (*потерянно*):
Уихав... Чого з йим будэ тамочкй?... Сынку, сынку, не
пожалував ридной маты!

МОНЯ: Закройся, тетка, без тебя тошно.

СТЕПАНИДА ОСТАПОВНА: Якы злыдни лю-
ды... У мэнэ горе, дитя втратыла, а вин лається... Бог
тоби суддя, чоловік добрий...

Проходит мимо и обессиленно опускается на другом конце лест-
ницы. Появляется Лева Шацкий с бутылкой в руках. Он заметно
взволнован.

ЛЕВА (*протягивает Моне бутылку*): Вот всё, что
нашел.

МОНЯ (*откупоривает ее, прикладывается, посте-
пенно оживает*): Не знаешь, чего мусорня немецкая
шухер подняла?

ЛЕВА: Случилось несчастье.

МОНЯ: Чего еще?

ЛЕВА (*через силу*): Друга вашего застрелили.

МОНЯ: Сорвался, значит, у него чмур этот?

ЛЕВА: Он тоже убит.

МОНЯ: Плохая работа.

ЛЕВА: Ваш друг не хотел.

МОНЯ (жестко): Не умеешь – не берись: у вора, как у сапера – шаг в сторону и чехты. (Раскручивает бутылку.) Тогда за упокой! (Поднимается и припадает к горлышку, допив, размахивает бутылкой над головой.) За родину, бля, за Сталина, в рот бы я их мотал! Ура-а-а!

Неожиданно замирает в этой позе и, будто подкошенный, валится на церковные ступени.

ЛЕВА (бросается к нему): Что с вами? (Хватает его за руки и тут же опускает их.) Уже не дышит. (Закрывает ему глаза.) Конец.

Степанида Остаповна осеняет себя крестным знамением. Около церкви появляется Марта. Она внимательно оглядывается вокруг. Замечает Леву.

МАРТА: Вы давно здесь?

ЛЕВА: Извините, я случайно...

МАРТА: Вы видели его? Куда он ушел?

ЛЕВА (подавленно): Простите... Его больше нет.

МАРТА: Как это – «нет»?

ЛЕВА (еще подавленнее): Совсем нет.

МАРТА: Не понимаю.

ЛЕВА: Его убили.

МАРТА: Зачем вы это говорите?

ЛЕВА: К сожалению, это так.

МАРТА: Кто?

ЛЕВА: Полиция.

МАРТА (словно вдруг преображается в лагерную надзирательницу прежних времен): Это ты... Это сделал ты... Ты ненавидел его...

ЛЕВА: Успокойтесь, Марта... Вы сейчас не отдаете себе отчета... Сядьте, я вам все расскажу.

МАРТА: Я знаю. Это ты... Ты!.. Ты!..

ЛЕВА: Марта, подумайте, что вы говорите!

МАРТА (вдруг выхватывает из-под куртки револьвер): Я знала, я видела тебя, давно видела... Ненавижу! (Стреляет.) Ich hasse! (Стреляет еще.) Ненавижу!

(Расстреливает в него всю обойму.) Ich hasse! Ich hasse!
Ich hasse!

Лева сползает к ее ногам. Она перешагивает через него и, пьяно пошатываясь, уходит в наступающий рассвет. Степанида Остаповна встает, подходит к Леве, садится около него, кладет его голову к себе на колени.

СТЕПАНИДА ОСТАПОВНА: *(тихонько напевая, баюкает его):* «Баю-баю, коткы два. Силы вилы обы-
два. Шо вы вилы хочетэ? Шо мою дытыну мучиты? Не
будыть, не рушить, хай дытына тыхо спыть...»

Идет занавес. Перед занавесом возникает Русский писатель.

РУССКИЙ ПИСАТЕЛЬ:

Рвусь из сил, из всех сухожилий,
Но сегодня опять, как вчера,
Обложили меня, обложили,
Гонят весело на номера.

Из-за ели хлопочут двустволки,
Там охотники прячутся в тень.
На снегу кувыркаются волки,
Превратившись в живую мишень.

Идет охота на волков, идет охота
На серых хищников, матерых и щенков.
Кричат загонщики и лают псы до рвоты,
Кровь на снегу и пятна красные флажков.

Не на равных играют с волками
Егеря. Но не дрогнет рука.
Оградив нам свободу флажками,
Бьют уверенно, наверняка.

Волк не может нарушить традиций.
Видно, в детстве – слепые щенки –
Мы, волчата, сосали волчицу
И всосали: «Нельзя за флажки».

Наши ноги и челюсти быстры.
Почему же, вожак, – дай ответ, –
Мы затравленно мчимся на выстрел
И не пробуем – через запрет?

Волк не может, не должен иначе.
Вот кончается время мое.
Тот, которому я предназначен,
Улыбнулся и поднял ружье.

Я из повиновения вышел –
За флажки, жажда жизни сильнее.
Только сзади я радостно слышал
Удивленные крики людей.

Рвусь из сил и из всех сухожилий,
Но сегодня не так, как вчера.
Обложили меня, обложили, –
Но остались ни с чем егеря.

Последние строчки покрывает оглушительный вой сирен воздушной тревоги.

КОНЕЦ

28.9.86 г.

ПРИБАЛТИЙСКИЙ МОТИВ

Всюду след разбоя и огня,
Лишь отреставрирована рамка...
Семь столетий смотрят на меня
Из развалин орденского замка.

В церкви белой рыцарских времен,
Где теперь истории гробница,
Вновь Христос к распятию пригвожден,
И давно здесь некому молиться.

И кругом осколки старины
Нахожу я жадно и печально:
В свой черед мы были рождены,
И уйти должны мы изначально.

1979

МОЙ ГОРОД

Венец жестокой воли,
Крепка твоя броня.
Ты дорог мне до боли,
И губишь ты меня.

Я цепью неразрывной
Прикована к тебе,
И голосом призывным
Звучат в моей судьбе

Твои императивы
Затянутой узды,
Чеканные мотивы
Гранита и воды.

И силы я теряю
Всё больше с каждым днем,
И все-таки не зря я
Горю твоим огнем.

1977

* *
 *

В переплетении над Временем
Всех траекторий и орбит
Моя судьба под общим бременем
Гордынь, открытий и обид.

Под знаком Господа распятого
Звезду пасхальную слежу
И в межреберье рану пятую
Рукой дрожащей нахожу.

И пульсом бьется ощущение
Конца истории земной.
И жизнь уходит, а прощение
Еще не выстрадано мной.

1982

ПОСТИЖЕНИЕ

Кажется, что истина проста,
Но ее унес круговорот,
И ведет по жизни суета
Лабиринтом в поисках ворот.

Верю я, что истина проста:
Это просто свет и чистота.

Знаю я, что истина проста,
Стоя у подножия Креста.

1976 – 1980

БЕЗДОМНЫЙ ДУХ

Для стольких говорящих тел
Хватило теста,
И Дух бы в каждое влетел –
Он ищет места,
Но плотью всюду Он тесним,
Больной и нищий...
Как мне найти для встречи с Ним
Приют и пищу?

1976

* *
*

Безумной жизни цепкие химеры
Мне выносить уже не вмоготу.
И знаю я, какие могут меры
Осилить невидимку-суету.

Но так коварны оборотня ласки
И ядовита доводов игла
Любые надевающего маски,
Во всех углах гнездящегося зла!

И все-таки пытаюсь я прорваться
К истокам сквозь осадное кольцо,
И шаг за шагом стал мне открываться
Мой новый путь за суетным концом.

1981

* *
*

В день рождения Предтечи
В мир подкинули меня,
И живу надеждой встречи,
Ожиданием огня.

Я высот своих предтеча,
Пролетающих стороной,
Если не смогу зажечь я
И обожить прах земной.

1981

* *
*

Быть может, два крыла
Заслужим мы, но прежде
Бездумно изменяем мы надежде.

Печальна и мала,
Душа куда-то рвется,
Дрожа, как отражение в колодце.

Услышав: как дела? –
Кричим мы: fifty - fifty! –
Спускаясь в преисподнюю на лифте.

Кругом одна зола,
И остро жаль чего-то,
И впереди безмерная работа.

1981

* *
 *
 *

Моя единственная тема
Как будто вышла на поток.
В моих словах одна дилемма,
В моих стихах один итог –
И неизбывная греховность,
И по иной земле тоска,
И Божьей милостью неровность
Неповторимого мазка.

1982

ЗАПЕСОЦКАЯ Римма – родилась в Ленинграде, закончила психологический факультет Ленинградского университета, работала социологом, дворником, лаборантом, рабочим археологической экспедиции, сторожем, машинисткой, редактором, а в настоящее время работает библиотекарем. Вся ее жизнь связана с Ленинградом, где она живет и сейчас. Стихи пишет с 1959 г. В советской печати не публиковалась.

КРУГОВОРОТ ДУШИ

(неповествовательная проза)

Рассказал мне Ибн Кудайд со слов 'Абдаллаха ибн Са'ида, говорившего со слов своего отца, который сообщал, ссылаясь на Ибн Лахи'ю, сказавшего: «Рассказал мне Абу-и-Асмад со слов Абу Увайса, их маула, который рассказывал: „Мы с 'Абдаллахом ибн Са'идом совершили поход на Ифрикию в правление 'Усмана в двадцать седьмом году. Доля всадника в добыче достигла трех тысяч динаров, а доля пешего – тысячи динаров“».

Трубачам не следует постоянно пытаться форсировать высокие ноты. Валторнистам не надо концентрировать внимание на одном регистре. Они должны уметь исполнять партии четвертой валторны, звучащие в нижнем регистре. Все исполнители, независимо от инструмента, должны во время домашних упражнений играть простые фразы и меньше стремиться к исполнению блестящих и трудных пассажей.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава первая

Поздним утром полнится звуками день.

Обрываются звонки трамваев. Сигналят сигналами «Победы» и «Москвичи». Ребячьи голоса детей высыпают со дворов на мостовые. Граммофонные песни патефонных пластинок радиолami плывут в окна. Легко на сердце. Скучать не дает. Никогда.

Господин-товарищ Грокх, Александр Львович, любит в такой именно денечек свернуть с проспекта в парк, устроиться на скамеечке, подальше от детских песочниц, и развернуть газетку.

Мне отсюда, из перепрекрасного далека, из стольного города Израиль, весьма затруднительно будет сначала вспомнить, а затем описать городской парк. Вам, несомненно, сподобней представить его самостоятельно, без моих лишних слов, заимствованных из словаря писателей не так давно минувшего века. В шахматы, небось, на рупь перебрасывались, пиво в тенечке потягивали, страстно и целомудренно целовались взасос, зная куда, но не зная как, девать руки. На качелях качались, каруселях каруселили, сардельки вилкой в павильоне протыкали. Жила житуха.

А. Л. Грокх выбирает скамеечку осмотрительно, вытягивая из кармана сложенную туда газету, и, перелистывая, медленно наблюдает за перемещениями как в партии, так и в правительстве соответственно. «Окстись! – воскликнете вы, – в среднем на один день приходится не более одного перемещения!» – но кому – шахи и маты, а у товарища Александра Львовича такое увлечение. Такое хобби. Все он помнит. Всех. Как в том самом анекдоте: все тут – в голове.

Газета проработана, сложена и возвращена в отведенный ей правый карман пиджака, А. Львович значительно произносит:

– Ну, Мишка! Ну, дает! Не ждал, не гадал! Поудивлял, ну, поудивлял!

Его тут же обступают пенсионеры всякого рода оружия: это вы о чем, это вы о ком и – вообще.

– Да ведь мы вместе Высшие бухгалтерские курсы заканчивали при Центральном Доме Профсоюзов. На одной скамье, можно сказать, сидели! А можно и не говорить... И вот поди же, как высоко взлетел, ясный сокол!

– Это интересно! Это поучительно! Это важно и занимательно! – восклицают пенсионеры, мигая очками и поправляя соломенные шляпы на затылок. – Вы нам обязательно расскажите о нем! Какой он? А? – Один, районного значения, в пижамном пиджаке, от волнения другого локтем – в бок, дай, мол, закурить, товарищ, по одной.

– А какой? А обыкновенный; в обращении прост; отличный товарищ; надежен, свойск и так далее... Один из нас, друзья! Но вот что интересно: когда его на комс-орга курса продвигали – чуть не прокатили. Только один голос и был решающим! ...Может, это мой голос был, товарищи!.. И вот – нате вам, пожалуйста, – глава государства! И какого государства! А проголосуй я против? Кто знает...

– Да... А не врешь? Ведь врешь, поди! Ей-Богу, врешь!

– Не к месту чертыхаетесь, ува-жае-мый пен-си-онер, – и, достав расческу, небезызвестный Грохх вроде бы раздвигает свои упрямые лохмы, – родимое пятно все видите? Все? Обращаю ваше внимание! Так вот – у него такое же! Все, кто закончил Высшие курсы, приобрел такое пятно.

– Тьфу, ма! А у меня сосед – сучий сектант ползучий – напугал – след оный, грит, от меча Михаила-архангела. Антихрист, грит, Гог с Магогом, кто, грит, с мечом пришел... Короче – конец миру, грит! А так – просто, доступно даже. Курсы бухгалтерские!

Тут все разом заволновались успокоенно. Все, все в мире имеет свое материалистическое объяснение! Все ларчики открываются просто.

– А что-то, друг, ты больно молод, как я погляжу. Да вона и значок комсомольский приколот.

– Молод, говоришь? – Александр Львович аж краской наливается! – Молод? Молодость нам – не помеха. Как в атаку вставать, как на трудовую вахту, как туда-сюда, так годков не считаете, а как что, так сразу вдруг!

Молод! А я – комсомолец-то почетный! Как и пионер! Вот красный галстук у самого сердца ношу! Это во-первых! А во-вторых, Мишка, Горбач, то есть – товарищ Горбачев, на курсы к нам от станка пришел. Прямо. Припозднился, значит, малость. Поздний, так сказать, ребенок. Но и это хорошо, товарищи, жизнь, значит, знает! На собственной шкуре испытал, а не по книжкам! А в-тре-тих – не-ин-те-рес-но – валяй колбаской по Малой Спасской, мы никого не принуждаем, силой не удерживаем, эти времена прошли, на все четыре стороны, видали мы таких, видывали, в кустах отсиживаются, а потом вылазят, у нас незаменимых нет, если бы на таких рассчитывали, где бы сейчас были, идите и подумайте, над каждым своим словом подумайте, мы еще разберемся с вами, это, надо думать, не последняя наша встреча, мы немстительны!..

И, когда Грохх уже сворачивает на другую аллею, его настигает вопрос некой личности, кою только лишь по неясности речи и можно было принять за пенсионера:

– А как у товарища Генерального секретаря с антисемитизмом обстоят дела?

– С антисемитизмом? С антисемитизмом у него все в порядке.

Я вновь не рискну описывать, но вы и сами видели – из-за поворота появился троллейбус. Номер его – «8». Ваш номер.

Глава вторая

Гражданин А. Л. Грохх трудился на сантехническом поприще. Протрубил, образно говоря. Отдал должное. В том числе – за бесплатное школьное образование, не считая коридора.

А что же его мама? Мама слезы подолом промокала: «Переросль мой Аристофанушка. Я-то мечтала, думала, гинекологом будет. Золотое дно гинеколо-

гия». – «Сантехника, мам, тоже золотое дно», – отвечал ей Сашок.

И то: сколько труб соединил, переставил, перегнул; краны ввинчивал, прокладки менял; пакля, сурик, ключ разводной. К примеру, возьмите – Историю!

Читан ли вами Витрувий, Фавентин, Палладий? Задумывались ли – почему короли и герцоги периодически меняли замки, да еще сколько раз в году Елизавета I Английская имела банный день?

Встретите в музее Александра Львовича, он вам пальцем ткнет в изображения определенных заведений на полотнах старинных замков. Я-то по наивности эти будочки-выступы принимал за нечто военно-оборонного значения. Впрочем... Ладно.

Ведь было дело, было, товарищ Грокх чуть не стал товарищем профессором. Зимой было. Кто не помнит российской зимы? Мороз и снег. День прекрасен. Гусем скользим. На ворсе воротника оседает противный иней дыхания*. Бежишь мелко, не поднимая ног. Окоченевшие пальцы стучат костями в варежках. Как одна моя знакомая сказала: «Полжизни отдам, чтоб еще хоть разок постоять на автобусной остановке в морозец, похлопывая рукавицами да постукивая ботинками!» И в такой морозец нет-нет, да и лопают трубы отопительной системы. Даже в тех домах, где на страже бдительности установлены специальные старушки. Однажды случилось – лопнули трубы в квартире одного очень большого человека. Покрутил он диск телефонный и непосредственно по проводу потребовал «инсталлятора». По счастливой случайности рабочий А. Л. Грокх находился в конторе, а не на объекте. Подхватил он сундучок, наряд – в карман и побежал морозцем. Час возился – поломку устранил. Хотел было Очень Большой Человек (ОБЧ) трояшку дать – мелочи, как назло,

* См. неопубликованные стихи И. Малера «Прохожий головой поник...» (И. М.)

в доме не оказалось. Но сообразил. Сама как раз в Румынии, образно говоря, на лыжах ходила.

Открыли они головку с экспортной, уговорили и не заметили. Все семьсот пятьдесят. И побалакали. ОБЧ интересно было, давно с рабочим классом так тесно не пересекался. Напрямую. За круглым столом. С глазу – на глаз. Без конспекта. Сашок ему много чего поведал. Как все силы на благо. Что уже в 2016 году работает. Главное: соцсоревнование его поддерживает. В трудные минуты. И, что не менее важно, а может – и более, в конторе за шкафчиком у него еще одна притырена. Можно слетать. Если что. Одна нога здесь, другая там. Благо закусь в полном порядке.

Тут такая, значит, того – проблема выяснилась. У новенькой-то, у второй которая, крышечка была без резьбы. Ободок с ней вместе крутится, риски не ломаются. А инструмент на что? Это мы сейчас. Было бы сказано.

«Сделать нам еще предстоит больше, чем сделано...»

Пообещал товарищ ОБЧ товарищу А. Л. Грокху: добиться, чтобы на всех бутылках была крышечка с резьбой.

По утрянке ОБЧ похмелился и вспомнил. На душе муторно, в животе – лягушки, в голове – жеваный ком промокашки. И зачем, думает, сантехникам, чтоб еще и с резьбой? Мало им резьб? Что ли?

Поднял трубку, звякнул в контору срочно рабочего Грокха прислать, сорвал с объекта.

Так они три дня и три ночи гужевались. И кантовались.

Под третье утро и говорит ОБЧ: «Друг, тебе профессором быть, хочешь, устрой?» А Сашок, не будь дураком, отказался, а чтоб кента не обидеть, отвечает: «Не могу, потому как вся моя жизнь, все мои помыслы с рабочим классом связаны. Неразрывно. Не могу изменить родному делу. Не могу. Оторваться от масс права

не имею. Меня из народа только вынести можно, да и то – вперед ногами». И с песней «Вынесли нас из народа» спустился по лестнице.

И не упал!

Обиделся Большой Человек. Иначе зачем слово о крышечках не сдержал? А? – спрашивается.

Глава третья

По настоянию отца Александр Грох с восьмого по десятый класс выбирал между юридическим факультетом и медицинским институтом. Временно поступил в политехнический на отделение не то физики, не то математики. К концу третьего курса обнаружил у себя склонности к философии, психологии и некоторый великий литературный талант.

В течение более чем десяти лет мы руководили параллельными классами, занимали соседние столы в учительской и поддерживали друг друга на педсоветах. Все эти годы Александр Львович остроумно называл нашу школу Марракотовой бездной, присваивая различные ихтиозавровые имена педсоставу и представителям района.

Дети, школьники, уважали Александра Львовича, относились к нему покровительственно, несмотря на его строгость и принципиальность.

Помню, в среде учащихся ходило четверостишие следующего содержания:

Александр Львович Грох
Не ловил ни вшей, ни блох,
Вздвогнул Александр Блок –
Хватит нам великих трех.

Появление четверостишия было связано с публикацией стихов А. Л. в городской газете. Он считал, что знакомство с математикой (или физикой) вносит в его

стиховирши – его термин – некоторую гениальную особенность. «НТР – не случайность, а закономерность», – его слова. Он вымарывал из поэзии такие слова, как «радуга», «полотнище», «братство», и заменял их соответствующими физическими и математическими терминами.

Увлечение поэтической наукой навело Александра Львовича на мысль сделать доклад на учительской сессии о языке вообще и родном языке в частности.

Помнится, чуть было не случился небольшой казус. Александр Львович начал с цитаты из Тургенева, мол, только великому народу может быть дан такой великий язык. Присутствующий на съезде сельский учитель, не разобравшись, обозвал докладчика татарской мордой и принялся доказывать, что русский язык более велик, чем татарский.

Одно из мест доклада показалось мне интересным, я перенес его в свой рабочий дневник: «Одновременно с тем необходимо строго разграничивать определенные структуры и отдельные выражения, лексемы и фонемы, выражающие и отражающие постоянные признаки, сопутствующие как всему обществу в целом, так и отдельным индивидуумам в частности, от периодически возникающих и колеблющихся словечек и фраз-паразитов, привносимых в язык извне. Таким образом, для чистоты исследований мы должны ограничить всю сумму языка (Σ яр) от случайных элементов, которые мы никак не обозначим». Есть место поразмыслить.

Сам Александр Львович мне частенько признавался: он не собирается свою деятельность подчинить преподаванию школьных наук, намерен выработать определенную концепцию развития мирового процесса, базируясь на пророческих русских сказках «Теремок», «Заяц и Лиса» и «Золушка».

Когда Сашку призвали в армию, мы провожали его всем двором. Колька играл на баяне, а Настенька вытирала слезы. Сашок стоял среди нас прямой и бледный, обещал писать и через два года в этот же день устроить под кленом сабантуйчик.

Его забрали в артиллеристы, дважды он приезжал на побывку, обнять мать, поцеловать отца. Настя хранила ему верность, ни за кого не выскакивала, хотя многие парни подбивали к ней колышки. Потом она понесла, от Сашки, как утверждала, что-то там не вязалось с месяцами, хотя Настасья и срочно вылетала к нему в часть. Возвратилась она сконфуженная, говорила, что все ребята там большие охальники, и все грозились стянуть штаны с одного грузина, который пушкам стволы прочищает своим природным инструментом. Оказалось, что Настеньку разобрало любопытство, и она, пока Сашок был на службе, выскочила на свиданку к тому самому грузину, но он ничем таким не поразил, а наоборот, даже разочаровал. После этой истории Саша сообщил родителям, что решил остаться на сверхсрочную, ибо тут есть и зарплата, и дом. И коллектив дружный.

Ему удалось дослужиться до старшины, и уже было начал подумывать об офицерских курсах: тамошняя учителька, Бог весть за какие заслуги, состряпала ему аттестат и обещала подготовить к вступительным.

На седьмом году службы предки его накромсали командиру части: не получают от сыночка весточки-привета. Сашок моментально откликнулся, прислал фотку и цидулку: «...Боевой выстрел состоит из окончательно снаряженного снаряда, боевого снаряда, гильзы и картуза, средства воспламенения боевого заряда и вспомогательных элементов к боевому заряду (воспламенителя, нормальной крышки, усиленной крышки, пламягасителя, размедлителя, флегматизато-

ра). При казарменном или лагерном расположении чистка оружия производится в специально отведенных местах на оборудованных или приспособленных для этой цели столах, а в боевой или походной обстановке – на чистых подстилках, досках, фанере и т. п. С открытой огневой позиции стрельба ведется прямой наводкой.

Со старшинским приветом

ваш, старший старшина, сын А. Л. Грокх».

Прошло еще полгода.

Или год.

Неожиданно для всех Настасия побросала своих детей и куда-то уехала. На зов. Вернувшись, рассказывала, что у Сашки были неприятности: по пьяни запихнул портянку в ствол пушки. («Старший сержант рядовой Грокх – артиллерист совсем неплох, протирает он портянкой не ОП, а сам снаряд». – «Боевой листок» от 3-го августа.) Жена у Сашки попалась дрянью, с солдатами тискается, огород не вскапывает, мужа половой тряпкой бьет. И намерен Сашок развестись и перейти в совхоз, на трактор.

Привезла все же она его домой.

Свадьба была тихая. Пошел Грокханя мастером на завод. Детей, как своих, воспитывает и даже изредка, когда надо, ласково бьет своим отцовским ремнем. В прошлом году на 7-е ноября он получил премию, а в этом на 9-е мая им вручили ключи от квартиры в новом районе.

Глава пятая

В Америке он неплохо устроился. Во-первых, сразу заявили сионисты и подарили шубу для будущей жены и коляску для ребенка. Армянские и польские националисты чем смогли помогли. Неоднократно он подписывался под заявлениями Украинского освободительного

движения. Немцы признали за своего и писали: «Герр Грокх, добро пожаловать возвратиться».

Тут совсем счастье подкатило. В Союзе появился новый премьер. Грузин, правда. Говорят, американцы долго не соглашались. Грузин, мол, у вас уже был и как-то попал в интервью влиятельной газеты: «С товарищем Шеварднадзе мы вместе одновременно жили в одном поселке. Меня направили туда на помощь местному населению для оказания помощи в уборке невиданного урожая. Жители поселка тепло отзывались о бывшем участковом, а впоследствии выяснилось, что это был Шеварднадзе, которого перевели на повышение в звании и должности. Жители отмечали, что он не брал взятки деньгами, пресекал драки и родовые междоусобицы, однако с вниманием и пониманием относился к традициям, не унижая их национального достоинства...» Интервью наделало шуму, Шеварднадзе признали голубем, нешовинистом и либералом.

В конце декабря, в день рождения И. В., Александр Львович был приглашен на прием в Белый дом, где ему предложили должность личного консультанта президента с окладом в 20, нет, в 25 тысяч долларов, не то в неделю, не то в месяц, на что А. Л. Грокх, после небольших размышлений, дал согласие. С тех пор он за-секречен.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава 1

Одежду берегут снова. По одежке протягивают ножки. По одежке встречают.

Оттого автор заранее прикидывает: какову-то фотографию на обложку сзади, где – или краткое жизнеописание с перечислением литературных работ, или цитата из «весьма» солидной англоязычной газетенки,

или – из самого сего произведения, в которой вроде главная мысль-то и заключена. Не выбрать ли нам изображение наше у пишущей машинки с авторучкою в сильных пальцах? Борода, умные морщинки, светлый взор и уголки рта? Или вот: лес и лось. Лося выкинуть, себя вклеить. Или: автор среди, слева направо, во втором ряду. В остальных – на цыпочках или лежа. Ладно. Рукописи мы читали! Сами немного писали. А вот, что за морду собираемся представлять на суд читателя? Поутру, как пойдем зубы драить, пломбы выполаскивать, так и посмотрим.

Бледные, с годами выцветающие глаза, козьячки, морщины и рыбы губы. Синеватый носик, красные уши, перхоть сыпется из бровей. Где были прыщи – веснушки выросли. Усики вечно криво растут, борода ершится. А лобик узенький, словно дверью прищемили.

Да что же это такое, господа!? И еще раз: !? Я ли я? Я-то себя знаю. Я-то не такой! Нет, врете, не такой. Бывали и мы высокими и стройными, что твоя ореховая пальма, 1 метр 79 сантиметров, а то и все метр восемьдесят над толпой на голову. Бывали толстыми и тяжелыми, так что зад не входил в кресло, а стулья разлетались. Маленькими, задрипанными, сладенькими, на ступеньках, в угол забившись. Ловкими на трапециях, рояль на себе на третий этаж, на коне на полном скаку, моторы раскидывали, руки барышням целовали, а то и через канаву или лужу переносили по собственному казенному долomanу.

Нет, я не отказываюсь, нет, я не отрекаюсь, эта безликая немочь в зеркале – я. Это та одежда, которую я не сумел сберечь снова. Это по ней я не хотел протягивать ножки. Это не по ней просил встречать.

Когда умер папа, разве она – одежда – молилась и рыдала? Когда заблудился в лесу, разве она напугалась и обрадовалась? Когда первый вопрос в этом поганом КГБ был, разве она справилась с самим собой? А девушку, когда первый раз поцеловал, по-настоящему, как

все, разве она – одеженка – замерла? Нет, она – наоборот, зашевелилась.

И вот что я вам еще скажу: я...

Впрочем, чего-то я все я да я, а Александр Львович Грохх что, уже и не герой? Но запомните: Не одежда красит человека, а человек одежду. Запомнили? Ну и ладненько. Ну и буде.

Глава 2

...Вот кто-то с горочки спустился. На нем защитная гимнастерка. Гудками кого-то зовет пароход. Стрелка.

Прислонившись спиной к могучей сосне, там, на косогоре, залюбовался, глядячи, Александр Львович Грохх. Да и как не залюбоваться на родные просторы, близкие сердцу каждого российского человека, на места, знакомые до боли с детства, воспетые еще великими классиками более чем одно столетие тому назад. Сколько тут хожено-перехожено, сколько пережито!

Необычайной красоты дали раскрываются, сокрытые густым непроходимым лесом.

Невдалеке слабо вскрикнула ночная птица. Опять все замерло. Журчание неугомонного ручейка нарушает тишь. Хрустнула сухая ветка под ногами бегущего на водопой лося. То не лось спешит, а сам хозяин леса, Михаил Иванович, бродит малинниками. В первых солнечных лучах сверкают капли росы, бисером раскиданные в ярко-темно клеенчатой траве. Лунный свет кажется удивительно спокойным, не нарушается мирный сон уставших после трудового дня. В девичьем жаре раскинулась на полотах в недалеком поселке Марина Ивановна, Мариша, Маша, тальяночка наша. Яркий солнечный свет пробивается сквозь густую поросль листьев. Подснежники. Грибы. Ягоды. Первые скворцы.

Александр Львович кидает поверх костра еловую лапу, и густой дым, устремляющийся к небесам, изгоняет тучи звонких и надоедливых.

Иногда некоторые моменты в природе мнятся нам неотработанными, неотшлифованными. Это так: покатаешь глину между ревматическими суставами пальцев правых и левых рук. А шар-то не шар! Не гляди на нее, на природу эту, свысока-то, с горки, значит. Иначе бросится в глаза: там надо бы зелененького убавить, там – желтенького подпустить, а здесь вот – черно-серо-буромалиновый так и просится, так и просится. Эх, был бы Господом Богом, таких бы дел натворил! В первую очередь – соседку Шубову на-дни выкинул бы в другой подъезд, почтовую и телефонную связь наладил бы, коммунистов – вперед, народы разогнал бы, начальника овощной базы сменил бы, вообще людей похерил бы, ну его к чёрту, это человечество, толку с него, а потом бы природой занялся. Медленно, не спеша, штрих к штриху, время есть, спокойно... А то окинешь оком – набросано, наворочено, того мало, того много.

Мягко, с нежным шуршанием зашевелились на полупрозрачном небосводе первые, еще далекие отзвуки солнца. Рассыпчатым хохотком пролетел дуновением прошлогодний осенний ветерок, опрокидывая в чашу лесов тонкие сосуды ярких цветов, опустившихся в легком порхании на утренний тонкий сон среди широких сине-зеленых ветвистых раскинутых шатров деревьев и дубрав рощ. Быстрые и медленные голоса подземных птиц поплыли, словно огибая препятствия сиреневой травы, к братьям по классу, хороводящим в высях, где их медленные длинные хвосты повторяют движения полета. Хохолки то спадают на клюв, то стремятся вверх, словно они сами – теплые веселые пташки. Длинь-длинь, длань-длань, клинь-линь, сю-сю. Трень-брень, тюль-тюнь, хрю-хрю – а этого паршивого единого рога, хрупающего акриллит в предрассветный час, тоже на хер, туда – к человечеству.

Александр Львович бьет кепкой занявшийся было носок, от которого еще недавно поднимался легкий сладко-кислый парок.

Кто вы, Александр Грохх? Чего ищете в лесах? Чего неймется? Заплутать изволили или как? Можно подумать, что Вы последний на земле человек, можно подумать, что растратчик, бросивший родной завод, натуралист или командированный, а можно и вовсе не думать.

Спит, спит родная земля. Спят коровы в коровниках, тракторы на полях и собаки у крыльца. Спит, подобрав красную ногу, белая птица аист. И понурившись спят остатки лошадиного племени. Замерли в цехах станки и машины, спят товары в магазинах и на базах. Самолеты в ангарах, велосипеды в коридорах и вода в кранах, курицы на насестах, рабочие, крестьяне и служащие по своим домам, и кому надо – по камерам.

Вы, ты, один не спишь, маешься чего-то. Метелишься. На косогор взобрался, костер жжешь, тьму пугаешь. Чего хочешь? Чего надобно от жизни?

Давай по порядку, по порядку. Танька твоя спит? Спит. Дружки-кореша Санька, Колька да Петька? Спят. Спят слесаря, электротехники, фрезеровщики, монтажники, кто там еще? Полотеры. Крестьяне, рабочие, служащие, управленческий аппарат, в конце концов. Партия и правительство. Армия и флот. И гражданская авиация. И так далее. Союз писателей. Коллегия адвокатов, славные силы прогресса.

Чего же ты один не спишь? чего?

Молчишь. Сам не знаешь.

И все-таки, до чего это здорово, ребята-читатели, вот так посидеть одному, в лесочке, у костра, веточкой огонь ворошить, на спящих поглядывать, звездам подмигивать, думу пустую думать.

Ох, не перепить бы потом! Ох, совсем забыл о подсолнухах! О рябине!

Есть науки, которые имеют предметом своих исследований разные всякие отличия, т. е. то, что отличает один народ от другого, механизм от механизма, геологический срез от геологического среза, животное от другого, одну страну от другой, соединение от соединения, массив от массива, насекомое от таракана, одно украшение от другого, газету от газеты, ископаемую челюсть от неископаемой, сорт пшеницы от сорта пшеницы, бурятскую постройку от корякской, зырянский бубен от коми, тунгусский метеорит от метеорита вообще, карский от юрского, кагор от солнцедара, овцу от волка, париш от лондона, стрельчатые от витражных, ситроены от сузуки, магендавиды от многоугольников, алый от багрового, строящийся от зрелого, двухфазовый от трехфазового, невод от бредня, утók от искусственного, идеалистическую от истинной, человека от человека и струящийся ручей от бегущего.

А есть науки, которые ищут общее между различными предметами. Например, между мной и Крупской, Крупской и Шагинян, Шагинян и табуреткой, табуреткой и кабареткой, кабареткой и канарейкой, канарейкой и мной.

А есть, которые не ищут.

То же, друзья-читатели, и в литературе, в изобразительном искусстве, кино- и театральном, хоровом и танцевальном, декламационном и разном.

Одни рассчитаны на то, чтобы ты (или Вы), прочитав, прослушав, просмотрев, выглянув, воскликнул: «Да это же прямо с нашего Петьки (Родригаса, Абу Муслиха, Кира или Срулика) писано!» И ничего, что на нем тога римская, шпоры позолоченные и «Дружба»-электропила в руках. Мы опознали!» Дальше – по инстанциям. Или – родным звонить. Или – в буфет. Станционный. Но не к зрителю. Типическое, значит.

Другие же поразить желают твое (или Ваше) воображение именно неожиданностью характера, сюжета, фабулы или просто сложностью структуры.

Или не желают.

То есть: существуют вещи, которые у каждого в жизни были, есть или будут. А есть, которые не у каждого. У меня лично, например, таких не у каждого полным-полно. Чемодан с картонкой.

Не всякий все-таки выезжал из Советского Союза в Израиль. Не всякий приехал. Не каждому довелось лететь с четвертого этажа и не разбиться. Не многие коснулись кощунственной рукой письма А. С. Пушкина. А приходилось ли кому от проститутки впервые узнать, что на него дело в ГБ завели? А тридцать километров марш-бросок с полной выкладкой по сопкам, не умея и ста метров пройти?! А сцена Большого под углом, чтоб зритель лучше видел?!! А... Впрочем, будут у нас с Вами и другие романы.

Случился со мной такой случай, что я жизнь человеку спас, сам того не желая и ничего для того не делая. Летом. На даче. С соседкой, тогда еще старой девой, меня отпустили на Лиелупе, где в прибрежных ямах любил мальков руками ловить. Соседка расстелила одеяло и взгромоздилась на него загорать, не снимая чего-то такого, что закрывало ее от шеи до почти колен. Будь у нее усы подлиннее – ну типичный буржуа двадцатых в купальнике. Грудь – не помеха. Грудь и у буржуя бывала.

Короче, хожу – ловлю. Хожу, значит, ловлю. Ловлю и хожу, а потом вижу – нет моей саламандры. И сколопендры тоже нет. Значит – побьют, накажут, в угол поставят, три дня в лес не отпустят, голубой «Орленок» без меня будет. Я бегом через канавки-рытвинки, через корневища и крапиву. Но и дома, т. е. на даче, ее так и не было до сих пор. Еще на большей скорости, сократив путь-дорогу, возвращаюсь на речной берег. Вижу – водолаз из воды вылезит, в неуклюжих руках

обвисшее тело держит. А моя дуэнья рвет на себе уже почти последний, но крепкий (он у нее с рождения последний) волос и громко кричит: «Изенька», – так меня тогда называли*.

Вот. Лежала она, думала, что загорает. Оглянулась, а мальчика-то нет. Был ли мальчик? Бегом туда и обратно вдоль берега. «Мальчика в голубенькой маечке с баночкой в ручонке малечков ловименьких не видели?» – «Видели, – отвечают, – а теперь не видим». Суть да дело, криво наось, хочешь не хочешь – вызвали спасителей. Ну, парень шар на голову водрузил, закрутили его по правилу левой руки и ушел на дно. Покопался-покопался, нашел мальчика, в голубой маечке и выносит его. А мальчик-то не тот! Не тот, кричу, мальчик! Все равно откачали.

Мама очень плакала. Но в угол поставила. До ужина.

Ну-с, кто может похвастаться?

То-то. Потому-то вы читатели, а я – писатель.

Глава 4

Александра Львовича Грокха, эмигранта и счастливчика, убили в Париже. Между Эйфелевой башней и Нотрдамским собором. Больше мне ничего о столице Франции не известно.

Армянские националисты стреляли в него из мортиры. Курды и турки обложили с двух сторон и пытались – ха-ха – убить двух зайцев. ОУНовцы перед расстрелом в подвале зачитали приговор, переданный по связке. Сионисты объявили ему голодную забастовку.

Немцы, датчане и разные прочие шведы долго и нудно предварительно брили наголо. Причем каждая

* См. «Краткий словарь еврейских имен». Сост. П. Гиль, И. Мелер. 129 стр. Иерусалим, 1985 г. 4 ам. долл.

нация – другой участок. А потом... Садисты, мазохисты, би- и дисексуалисты, эксгибиционисты.

Болгарин Марков подошел и похлопал А. Л. по плечу. Яд немедленно начал действовать, и через два часа мой герой уже лежал в больнице, где комиссар полиции изложил результаты следствия и ответ на ненаш (пишем слитно!) вопрос «за что?» Другой вопрос и по-другому бывший товарищ, а ныне господин, Грокх уже задать не мог.

Славный, славный Грокх. Бедный, бедный Грокх. Такой чистый. Такой наивный.

Товарищ Алиев, член Исполнительного Комитета, не понимая, что место занято товарищем Шеварднадзе не благодаря интервью Александра Львовича, верит – не только, верит – не в первую очередь. «Хватит, поуправляли татары Матушкой. Науправлялись. Доуправлялись. Зауправлялись. Хватит. Не хотим более!» – таково было решающее мнение отдельных товарищей, и хотя голуби ястреба Алиева справедливо указывали на его бакинское (а 27 – счастливое число, на три и девять делится и в сумме девятку дает) прошлое, слушать их не желали. С другой стороны, сам Шеварднадзе на всякий случай решил порешить Сашку. Чего еще вспомнит этот неожиданный свидетель и благодетель. И ястреба этих голубей, которые сейчас мирно пьют в Цхалтубе фетяску и смотрят на гору Медведь, привели в действие сложно слаженный механизм.

И – тело приступило коченеть.

Тогда заметалась душа. Она носилась из конца в конец тела, беспомощно пытаясь то пульсировать сосуды, уже ломкие и хрупкие, то дышать на остывающий мозг. Она ловила признаки сознания и в отчаянье заламывала руки. Она пыталась дышать его ртом. Не останавливать взгляда его на чем-нибудь слишком долго. Коченеющие суставы, синие пятна, скопившиеся газы. Все.

Бесполезно.

И растерянная душа, покинув тело, долго и печально невидимым облачком зависла над своим избранником. Судьба его была непричудлива, но жизнь незавершенной. И вместе с этим телом душа не успела делать столь многого, нужного ей самой и для строительства Мира.

Это была не просто неудача. Это был почти крах, почти что-то. Онемев, она наблюдала, как медленно перед ней возвращается Земля.

Ж у р н а л « Б Ъ Д Е Щ Е »

(«Будущее»)

на болгарском языке, ежемесячник,
издающийся в Париже

Журнал посвящает большое количество статей современному положению в Болгарии, условиям жизни и труда болгарского народа, борьбе за освобождение его. В последнем номере журнала опубликован ряд материалов о сопротивлении болгарских писателей, о положении болгарских крестьян, рассказ о советских концентрационных лагерях.

Адрес редакции: 18 bis, Rue Brunel,
75017 Paris, Tel. 380-57-64

Годовая подписка: 120 Fr. (70 DM, 30 \$
Par avion: 50 \$)

МОСКОВСКИЕ СТИХИ

* *
*

Включим в наш список увиденных улиц
Улицы те, что еще не проснулись.

Прежде в короткий тот список попали
Улицы, которые встали.

Прежде попали в небрежный тот список
Груды собачьих облизанных мисок.

Окна открытые, радио в доме,
Желтый огонь в недреманном райкоме.

Вот что мы видели. Вот что мы знаем.
Наскоро лица водой обливаем

И выбегаем гулять по Москве
С пухом налипшим на рукаве.

ДИАЛОГ

– Я уеду в город Ленинград,
Где мосты мосластые стоят,
Ровно в полдень пушечки палят
И бродяги в «Рюмочных» сидят!

Рукопись получена из России. Сведениями об авторе редакция не располагает.

- Ну, зачем ты едешь в Ленинград,
Где полки на площади стоят,
Вхолостую пушечки палят
И драгуны в крепости сидят?
- Я уеду в город Воркуту,
В простоту, мечту и красоту,
Где грызут машины мерзлоту
И горят снежинки на лету!
- Ну, зачем ты едешь в Воркуту,
В пустоту, тщету и суету,
Где грызут шахтеры мерзлоту
И вороны стынут на лету?
- Я уеду в город Абакан,
Где пылает газовый фонтан!
- Ну, зачем ты едешь в Абакан,
Где вообще житуха не фонтан?
- Я уеду в город Конотоп,
Где с перрона прыгаешь в сугроб!
- Ну, зачем ты едешь в Конотоп,
Где весной развалится сугроб?
- Я уеду в город Кострому!
- Ну, а это вовсе ни к чему...

* *
*

Не снегом, не светом –
Изменой и сметой
Расходов на хлеб и жилье,
Не медленной Летой,
А песенкой спетой
Мне слышится имя твое.

Не густо, не пусто.
Глядишь – и отпустят
Надежды на мир да совет.
Не шатко, не валко.
Тебе меня жалко?
А мне тебя –
Нет.

* *
*

На самом деле – тишина,
А кажется, что нет.
Привычка свыше нам дана –
Любить неяркий свет.

Кружком его защищена
Часть твоего лица.
Но не достать рукою дна,
Где остальная часть лица.

Там глубоко живут в тени
Непрожитые дни.
Глаза в тени, и рот в тени,
И край щеки – в тени.

Лежит под лампою тетрадь –
Води рукою всласть!
Но невозможно угадать
Ту, остальную, часть,

Где ты губами шевелишь
И важные для нас
Какие-то слова твердишь.
А я не слышу...

ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА

Слова бросая наугад
Веселой песни строевой,
Идет по улице солдат,
Стуча беспечною ногой.

Поет зеленый соловей,
И песне вторят невпопад
Еще одиннадцать солдат
В незапыленных сапогах.

Качая детской головой,
Один – убийца и злодей.
Служака ревностный другой,
А третий – хитрый лицедей.

И все стучат, стучат, стучат
И, разевая рты, поют.
Туда им пули залетят
И всех убьют.

ИЗ ЦИКЛА
«УРОКИ ЛИТЕРАТУРЫ»

«Декабристы разбудили Герцена».

Ленин

«Ах, декабристы! Зря будили Герцена».

Коржавин

Г р и б о е д о в . « Г о р е о т у м а »

...Вон из Москвы! Пойду искать по свету,
Где оскорбленному есть чувству уголок.
Карету мне! Карету мне! Карету!
И вышел. Лучше выдумать не мог.

А после по чугунке, в первом классе,
Кляня любовь, правительство и век,
Отправился в деревню восвояси,
Поскольку он был лишний человек.

И там, в гнезде дворянском, на покое
Он зажил, выбрав меньшее из зол.
Стал бороду носить, ходить в ночное.
А к декабристам, сволочь, не пришел!

И чем бы это кончилось, не знаю,
Но Данко сердце вынул – и ага! –
Зажглись огни, задвигались трамваи,
Заколосились нивы и стога.

И массы, что до времени молчали,
Сожгли его дворянское гнездо.
Напрасно он юлил на трибунале:
«А судьи кто? А судьи кто?» –
«Никто!»

И Марья Алексевна – неизвестно,
Сказала ль что по поводу сему, –
Лишь гордо-гордо реял буревестник,
Да море гнало серую волну.

Никто уже не рвался, как вначале:
Карету мне! Карету мне! Каре!..
Давай-ка помолчим с тобой, Молчалин, –
Гляди, какая буря на дворе...

Л. Толстой. «Война и мир»

Хорошо тебе, Лев Николаич,
Босиком возле дома ходить –
На тебя и собака не лаить,
И милиционер не кричить.

И общественность мощные длани
Вверх не тянет, собрание творя,
И идешь ты по Ясной Поляне,
Гордый тем, что поляна твоя.

Что в усадьбе и холл, и каморка –
Всё твоё – от папан и маман, –
И карельской березы конторка,
И на четверть готовый роман.

Все, что ты написал, – гениально!
И детишки довольны тобой...
Так чего ж ты вздыхаешь печально,
Обнаженной ступая ногой?

Что тебя ненасытное гложет,
Не давая покоя уму?
Лет на сорок родился бы позже –
Вот бы пожил в казенном доме!

То за стенкою Стеньку спивают,
То гудят трактора на меже...
Ну, а если у нас отлучают –
Ничего не попишешь уже.

Всё по-твоему: мирные овцы
Вслед за пастырем вышли из тьмы.
Все советские люди – толстовцы!
(Злу вокруг не противимся мы.

От Москвы и до самых окраин
Никого ты не встретишь босым.
И с оружием мы не играем.
И мясного почти не едим.)

Нет ни бедных у нас, ни богатых –
Ликвидирован классовый враг!

И живет теперь в общих палатах
Рулевой, боевой середняк.

Босиком он не станет таскаться,
Слава Богу, обут и одет!
Эх, в Астапово, что ли, податься?
Жаль, прописки астаповской нет...

Литературный КУРЬЕР

Russian Magazine

MIKHAIL MORGULIS – Editor-in-Chief

В ноябре выходит 12-й номер
журнала Литературный Курьер (США)
(Редактор Михаил Моргулис)

В номере более 30 авторов: В. Аксёнов (воспоминания о Н. Хрущёве), Вл. Набоков, У. Бакли, И. Косинский, проф. Б. Филиппов (Беседа о литературе), Л. Наврозов, Эд. Эрик-сон, Ю. Иваск (последний материал для ЛК), Е. Наклеушев (ответ восьми оппонентам), А. Алойц (О сияющих пустотах), Артур Миллер (о встрече с советскими писателями и как они реагировали на вопрос об И. Ратушинской), Ганс Кюнг, интервью с астронавтом Джимом Ирвином, С. Иоффе (тайна М. Булгакова) и мн. др.

Литературный Курьер выходит 4 раза в году.
Подписная плата для стран Европы (авиапочтой) –
21 доллар в год. В США – 16 долларов.
Цена отдельного номера – 5 долларов.

Адрес: Literary Courier, Editorial Office:
300 Duane St. Glen Ellyn, IL 60137. Tel. 312/790-0389

СДЕЛАНО В СССР

Берта Борисовна Шепс, 59 лет, отнюдь не овца, а прожитой жизнью вернее рысь. Седенькая, крепкая, мелко и быстро семенящая в движении рукой, ногой и глазом женщина жила в этой жизни в Иерусалиме, в северном новом районе, в четырехэтажном доме из мягкого, местного камня, в трехкомнатной маленькой квартире с восьмидесятилетним не сдающимся мужем.

Приехала она шесть лет назад, но языка государства не чувствовала и не понимала. Работала шесть часов в день машинисткой в переводческом бюро, затем ехала домой, подогревала себе невкусный, но полезный овощной обед, тихо и вяло обедала, все время страстно думая о нежных, розовых ломтях ветчины на давешнем дне рождения, затем читала унесенную с работы русскую газету, возмущаясь ошибками, затем часа два спала. Константин Иванович осторожно шаркал за стеной.

Комната ее была заставлена мебелью так, что не видно было стен. Все вещи свои Берта любила, гладила ладонью, вспоминала, где и как купила, как везла домой, как расплачивалась с грузчиками, как говорила Косте в кабинет: «Погляди, Котя, что Буся привезла?»

Больше всего она любила резной легкий комод, медово-лаковый, легкий, глухо стучавший ящиками о крепкое нутро, с выпуклыми драгоценными боками. На комодѣ стояла двухэтажная ореховая горка, за стеклянной дверцей которой матовым, чудесным рядом стояли белые, простые чашки Кузнецова.

Еще она очень любила тяжелый, зеркальный платяной шкаф, купленный по счастливому дешевому случаю в Риге, «капиталистический», как она его называла. Любила его мужицкую, деревенскую статью, его надежную, толстую дверь, любила его содержимое. Вообще

она очень много вещей в жизни любила, но особенно любила любить мужчин.

Телевизор у нее в комнате всегда был включен, когда она бывала дома, и она ела, читала, убиралась под разноцветное гудение, под музыку, под непонятный монолог с диалогом. У Константина Ивановича в комнате тоже был телевизор, перестроенный на местный прием соседом Берлинским из города Винница, громоздкий, черно-белый аппарат под названием «Темп», львовского или минского производства, или еще какого-нибудь города столь же сладкого по звучанию имени.

Любимой передачей Берты Борисовны был еженедельный урок труда, начинавшийся по вторникам в четыре, по учебной программе. Ухоженная, пожилая дама чуть дрожащим голосом рассказывала и одновременно ловко и быстро, красивыми полными пальцами, пронзительно посверкивая кольцами, резала, клеила, выжигала, выпиливала, шила, лудила, и все получалось так увлекательно, так ладно.

Сейчас перед дамой лежал рыхловатый лист ватмана, и она, энергично и точно двигая огромным угольником, чертила мягким грифелем прямоугольник 12 на 15. К ребрам прямоугольника дама, ее звали Баття, очень элегантно причертила треугольники с вершинами в 7 и 9 сантиметров и мгновенно вырезала все сооружение при помощи того же угольника и японского специального ножа с выдвижным узким лезвием. Согнула бумагу по линиям, склеила и помахала перед камерой замечательным нарядным конвертиком. Но это было еще не все.

Особыми круглыми пассатижами Баття споро выгнула из проволоки латинскую букву N, так, как мы видим ее отражение в зеркале, прикрепила к деревянному кубику и зажгла спиртовку. Растопила на бледном пламени воск и коричневую пластинку краски, накапала смеси на центр конверта на обороте, нежно подула и несильно приложила кубик с буквой. Получилось пись-

мо без письма, без адреса, без отправителя, но зато с буквой N на расплывшейся сургучной кляксе.

– Вот живут же люди: руки в кольцах, конверты клеют и по телевизору за деньги выступают, – возмущенно подумала Берта Борисовна. Сама она руки поднимала с трудом, и ее машинопись по звуку напоминала кузнечный труд, а не тарахтящее неутомимое порхание, как у других работниц, и всё из-за действительно небывалой коллекции веса колец на руках.

– Не бойтесь, Берта Борисовна, ведь ограбят ненароком, – говаривал Гарик, коллега-переводчик.

– А у меня уже и не снять, Гарий Александрович, с телом срослось, – кокетливо демонстрировала Берта сияющие длани.

– Отрезать ножиком с рукой могут, – деловито объяснял Гарик.

– Я женщина одинокая, со мной все можно сделать, Гарий Александрович, – отвечала Берта осуждающе.

В конце августа 1945 года Б. Б. Шепс вернулась из эвакуации в Ленинград. Вышла из Московского вокзала в войлочных ботах, в пальто, перешитом из железнодорожной шинели, без платка, но в шарфе, в левой, сильнейшей руке несла хороший кожаный чемодан, захлестнутый натуго портупеей, а в правой держала кисть прижатой неизвестно от кого три с половиной года назад дочери Раи. Пара эта производила сильное впечатление, особенно лица: серое, напряженное, готовое к истерике, материнское и злобное, замызганное дочернее. Их стеснялись.

В ЛГУ Берта училась до войны у великого профессора и в 38-м закончила курс, вооруженная смутными знаниями в общей и новой истории, с подграбленным французским, с бешеным зарядом энергии новосозданного молодым государством женского человека, с заслуженным отсутствием памяти, с нетерпением жизни, с удивительным телом, состоящим из бедра и всего, что вокруг него вблизи.

Профессор Бертин был средних молодых лет гений неприятного происхождения, слишком какой-то вольный, раскрепощенный, красивый, с другого оттенка кожей, с чистой нормальной речью, с лицом другой породы, из пожелтевшего семейного портрета. В общем, не жилец.

Вскоре он «безвременно и безвинно» погиб в подвале гранитного здания наркомата внутренних дел, отстроенного на Литейном проспекте возле Невы. Шептались, что он умер после того, как два следователя на допросе избили его табуретными ножками.

И с вокзала Берта, безошибочная во всем, что касалось интуиции, пошла в университет. Некоторое время она стояла в простенке между огромными академическими окнами, выделяясь лицом и никого не трогая. Только просматривала обширный коридор цепким карим глазом, на всю длину взгляда которого она обжигала и зацепляла, бедная, только мужчин, только мужчин...

Выражение ее лица беспокоило, что-то в ней, бесспорно, было, но как-то слишком много, слишком явно, даже в этих землистых губах, в жадных, жилистых руках, в чужой одежде беженца, в этом ребенке.

Наконец, она выбрала. Мужчина был местной, русской земли, свободен, уверен, очень высок, достоин.

– Я в безвыходном положении, – сказала Берта, не сумев выговорить слово «безвыходном», – у вас интеллигентное лицо, умоляю, помогите нам.

Она пыталась улыбаться, щедро обнажая превосходные, лаковые, мелкие зубы любительницы орешек, семечек и любовных укусов.

– Постараюсь вам помочь, не волнуйтесь, пожалуйста, так, – сказал мужчина ласково, нагибаясь к Берте смиренно и почтительно.

От неожиданности она в голос заплакала, немедленно поддержанная альтовым хрипатым голосом девочки. Бертино неяркое, мокрое лицо счастливо

светилось в ленинградском казенном дневном полумраке-полусвете, все шло, как она хотела, она гордилась собой, мужчина ей нравился, в машине замечательно пахло бензином, и красавец-шофер со свежей розочкой пулевого шрама во лбу изумительно свистел любимую Бертину песню «Синенький, скромный платочек», и ее доцента звали Котя – Константин Иванович Суровцев.

Суровцев жил один в богатой, еще родительской квартире на Кировском проспекте. В барской обширной прихожей висел на стене дагерротипный портрет дореволюционного героя, генерала Самсонова, в гостиной рояль был накрыт махрово-пепельным чехлом пыли, громко подпрыгивал высохший паркет, в огромном закинутом кабинете, с бронзовым бюстом надменного старика, Берта на письменном столе нашла собачий кожаный ошейник с металлической инкрустацией и на вопрос: «А где же собачка?» – Суровцев, коротко взглянув, сухо ответил: – Собаку поймали соседи и съели, у нас, знаете ли, было голодно в войну.

Семья его еще не вернулась из эвакуации, из Алматы; несмотря на август, вечером почему-то включили паровое, очень, кстати, к месту шершаво загудела вода в трубах, был настоящий хлеб с ленд-лизовским, консервным, головокружительно пахшим, чудным мясом, взгляд Константина Ивановича был осязаем и весом, девочка спала в соседней комнате, рука его была прекрасной сильной рукой мужчины – она сладко ёжилась под нею, диван был тверд, Константин Ивановича щека пахла крепким одеколоном, и Берта Борисовна поняла – вот оно счастье, так близко и просто, протяни руку и возьми.

– Конечно, возьму, – сытно промурлыкала Берта.

– Что вы сказали, дорогая? – спросил Константин Иванович, тревожно приподнявшись на локте.

Взяла.

Приехавшая вскоре его жена застала уже Берту прибавившей в весе, надежной хозяйкой, нагло встре-

тившей не в своем доме мужнюю жену, в чужом вечернем платье, в чужих туфлях, в чужом колье, привлекательной матовой дамой. Жена сдалась очень быстро; Берте, с удовольствием предвкушавшей борьбу, было даже не по себе от легкости победы, остался какой-то розовый привкус неудовлетворения. Она ждала писем в парторганизацию факультета, приводов в милицию, торопливых и жадных вопросов неряшливого фельетониста, наконец, суда, а женщина просто густо побледнела, тонкая рука с тяжелым чемоданом заметно дрогнула, дети, стоявшие сбоку, поразительно похожие на Константина Ивановича, удивленно и испуганно замолчали при виде Берты, похожей на аляповатую статуэтку из грубого советского фарфора, затем все повернулись и ушли – довольно долго Берта слышала их торопливые, стихающие шаги на лестнице. Никогда больше они не появлялись. Развод произошел как-то сам собой, в стороне, Константин Иванович никогда ничего не говорил про них, а Берта и не спрашивала. У нее была своя жизнь. Она купила удачно (все Бертины покупки, надо признать, всегда были удачны), по случаю, корову, вместе с еще одной дамой из соседнего дома, и содержала кормилицу в дворницком сарае. Соседкин дядя работал бухгалтером на хлебозаводе, корова отъела бока на мучных отходах, все были сыты, а Берта еще приторговывала остатками молока, осторожно менялась – тут стульчик из дворца, там этажерочка или сервиз с бледно-золотой короной.

Суровцев ничего не знал. Был счастлив. Поправлялся. Через год вещей было больше, чем квартиры. К марту уже невесть откуда появился в доме постоянный гость – морской офицер Алеша, человек звонкой стати, четкого шага, бронзового взгляда. Его ловкие, длинные руки походили на рычаги экскаватора.

– А таз проткнете? – спросила Рая в первый его визит, не сводя пушистых глаз с офицерского кортика на ремне.

– Принесите, девушка, посуду, – сказал Алеша, и «девушка» звучало из его сухих уст, как «корнет», ну, или минимум «юнга».

Девочка вприпрыжку приволокла из ванной, без эмали жестяную надежную шайку довоенного производства, «и..и..вв..вжик» – выразительно сказал извлекаемый из ножен клинок и в три движения, смело и не брезгливо, продемонстрировал свойственную военноморским силам мощь – испортил прочный и нужный в хозяйстве чистоты предмет... как всегда в таких случаях бывает, под капельный ксилофон марта, под тающий отблеск драгоценной, многочисленной мебели, под неприличным взглядом Берты Борисовны.

«Говнюк», – отчетливо подумал Суровцев. Он терпеть не мог этой новой российской военной кости.

За окном уютно и медленно двигалось азиатское «московское» время, которому, постоянной борьбой с внутренними и внешними трудностями, прогрессивная власть пыталась придать современный западный ритм.

В неделю раз к Константину Ивановичу приходил в гости поболтать коллега по университету пожилых лет профессор Богат. Стуча тростью, он проходил в кабинет; Константин Иванович по-особенному заваривал грузинский чай в армянском чеканном чайничке из толстой меди, а Богат сворачивал самокрутку из карельской махры, похожей на крошеные спички, к которой пристрастился во время блокады. Он был маленький злой старик, во время войны опухший с голоду и все никак не могший наесться досыта. Все время он что-то прижевывал, доедал, допивал, бедняга, стряхивал крошки, оглаживал бородку и облегченно говорил: – Ну, а теперь можно и поговорить, друг мой ситный. Помните, какой был ситный хлеб, Константин Иваныч, до тридцатого года?

Бертины женские чары очень ему пришлись, и, Боже мой, о чем он только не думал, когда, покряхтивая и пофыркивая, он семеня за нею по коридору, по-

могая своим отмороженным, старым, неуверенным ногам ореховой фамильной тростью.

Затем была денежная сталинская реформа, коварная и зловещая, как и все, что делал этот человек, когда в панике скупили запас резиновых клизм в ближайшей аптеке, а сосед по Бертиной парадной, Гера Коврыгин, служивший Берте и охранником и носильщиком не за страх, а за совесть, за деньги, за молочко и табачок, как бы резиновым телом чемпион РСФСР по боксу 1938 года, используя связи и физическую силу, приобрел в Гостином дворе 200 черных бумажных репродукторов-тарелок. «Пусть будет», – сказал Гера со сдержанной гордостью.

Берта денег никогда не держала, они для нее весили слишком мало, она предпочитала более весомые и ценные вещи. «Дороже денег» – был ее верный девиз. Поэтому убытка в семействе Суровцева не было, а был только прибыль. Суровцев, к доходам относившийся спокойно, очень женой гордился.

– Хорошо тебе, Котя, – ласково говорила Берта за завтраком, – со мной, как за каменной стеной, ночью радость, днем обед.

Суровцев кивал, шуршал газетой, жевал сметану.

– Что пишут газеты, милый? – спрашивала Берта, маслом покрывая хлеб.

Суровцев внимательно поглядел на Берту, потер лицо:

– Раскрываем псевдонимы, умываемся еврейской кровью.

Он отбросил «орган ленинградского городского совета депутатов трудящихся», поцеловал побледневшую Берту и со словами «а ты не переживай, я с тобой», вышел из домашней квартиры, из просторного подъезда в тусклый и замечательный, свежий ленинградский день, наполненный рабочими ритмами Петроградской стороны, запахом продававшейся на каждом углу прозрачной нежной невской рыбы-корюшки, пере-

стуком пустых бутылок в очереди у приемного пункта на заднем дворе родного дома.

Далекая от внешней и внутренней политики, Берта инстинктивно всегда опасность кожей чувствовала, но как-то эта ее кожа постоянно хотела иного, связанного с опасностью иной, опасностью восторга, так что опасность истинная была как бы скрадена для нее. К тому же, Берта была всегда абсолютно и счастливо уверена в собственной непотопляемости и потому никогда ничего не помнила, что помнить было неприятно.

Через час после ухода мужа Суровцева пришел секретный гость, морской офицер Алеша, в белом парадном мундире, в бесстрастном обрамлении командирского золота. Берта принимала его в гостиной, на просторном елизаветинском диване.

«На диване, на диване...» – как поется в песне, написанной много позже после этих событий, но все равно кстати. Деревянный, трофейный проигрыватель играл вальс «На сопках Маньчжурии», время на двойной скорости бежало назад, Алеша был атласный, неумолимый, железный и неутомимый, со стены, не выдержав, сорвалась картина в бронзовой раме – лирический немецкий пейзаж – Берта Борисовна закричала... и время, отщелкиваемое огромным маятником стенных часов, пошло, как и прежде, вперед: назойливым и неизбежным сверчком протрещал на улице милицейский мотоцикл, пчелиной стаей гудели под солнцем оконные стекла, и дворник Коля, с похмелья злой, лениво, с отвратительным звуком скреб железным совком сбитый и слежавшийся снег тротуара. Ругались грузчики продавца.

В углу возле дивана нелепой кучкой лежали отыгранные ноты давешнего вальса, и Берте, обожавшей чистоту, пришлось из счастья выбраться, расклеить веки и замести мусор в кухню. Когда она от нетерпения и холода бегом вернулась в комнату, Алеша был одет, обут и с желтым лучом кортика, рассекшим мягкое

сукно кителя на правом бедре, готов к прохождению службы.

– Поматросил и бросил, – сказала Берта.

– Должен быть на судне в 12 ноль-ноль, – рапортовал Алеша.

– Придешь когда?

– Если пустят, завтра.

– А если нет?

– Тогда послезавтра, наверняка.

Они поцеловались знакомыми губами, и Леша ушел.

Уже стала налаживаться мирная жизнь, уже постреляли врагов народа из ленинградского обкома, уже взошла звезда Боброва, уже отменили карточки с шестым талоном на курево, уже все пели в будни и праздники песню «Хороша страна Болгария», а дочь Райка, паршивка и уже первоклассница, написала в подъезде углем на беленой стене «Берта + Леша = любовь».

Зажила эту надпись, замазала ее мелом, смыла ее водой – скрыла удачно от всех, побила, очень сильно гневаясь, дочь, точно и метко забеременела, родила хорошенького мальчика на четыре кило, купила еще один резной, изумительный шкаф из хорошего дома, у близорукой, надменной дамы из бывших, с молодо откинутыми плечами, из, как их презрительно называла Берта, «сранных аристократов» – за неумение жить, за движение, с которым их неприлично быстрые руки хватали продукты и деньги, за невидящие глаза, за другую породу души, за прошлое, за настоящее, за их будущее, а главное, за бедность, – все шло прекрасно, и тут ее настиг Господь, о Котором она и знать забыла, да и не знала.

У ее мальчика, у Коленьки, у Николая Константиновича Суровцева, определилась болезнь сердца, его положили в клинику к лучшему из Гольдбергов, которому она снесла домой хрустальную вазу с трюфелями, тугую пачечку новых сталинских денег, материнские

слезы, материнскую честь, которую Гольдберг не взял, но оперировать все же обещал хорошо. А чтобы не отравил, газеты писали и вокруг говорили – дыма без огня нету, была убеждена Берта, – подчеркнула, что ее Коленька тоже наполовину – лучшую и главную – сам Гольдберг. Профессору стало холодно, но выгнать БERTу он побоялся.

Через три дня Берта Борисовна Суровцева бежала в шесть часов утра по мокрой, шуршащей аллее в буром цвете осени к больничному корпусу и, прижимая к подвижному боку новенькую, тяжелую от продуктов сумку, прыгающими, алыми от помады губами, задыхаясь с непривычки, кричала странные, неизвестно откуда взявшиеся слова: «Рахум вз ханум, рахум вз ханум, рахум вз ханум».

Но милосердный и всемогущий не сжалился, и кто ты такая Берта, чтобы спрашивать: почему?

На Бертино любимое трюмо с огромным трехстворчатым зеркалом домработница Тася набросила плед, задернула на окнах шторы, Суровцев ходил на цыпочках, Райка, у которой вспухло от слез лицо, не пошла в школу, Берта слегла лицом вниз в своей комнате, Тася в кухне, глухо стуча о доску ножом, крошила картошку для бессмысленного обеда.

Был у Берты свой досуг, своя компания, свой, раз в неделю, карточный вечер. Были три подруги по преферансной старящей ночи, когда в конце строчки торопливо записанных цифр волшебным образом превращались в ворох сладко хрустевших, как жизнь, ассигнаций и Берта хмурилась и бледнела от счастья – она выигрывала всегда... Появлялся в ней вдохновенный полет, когда дело касалось любви, денег, карт, еды.

Марта ее за это любила. Марта, бездетная, безбедная сорокалетняя женщина, в чьей двухкомнатной, отдельной квартире на Невском, собирались. Неизвестно как она жила без мужа, как бы приторговывала. Был у нее немолодой друг, как говорили, из органов,

в чинах, тихоголосый, властный. Марта, кажется, единственная жительница Ленинграда, его не боялась. «Интеллигент», – махала она про него рукой с легким женским презрением.

Каждый карточный вечер в очередь покупали новую колоду карт, которую всегда вскрывала из упаковки Берта, с чарующим треском перемешивала... проброс карты, острый ее полет к столу, сигарета, пас, беру, сверкание лака на ногтях и рубашках карт, веселый голос Берты – мизер.

– Обдирает нас, как липок, – досадливо морща пригожее гладкое лицо, говорила Мария, жена богатого переводчика художественной литературы по подстрочнику. «Проза, а также поэзия», – так, злословили, было написано при входе в его храм.

– Пахнут смертью господские липки, – мрачно произносила нараспев сильным голосом хорошо живущего человека Марта.

Четвертая партнерша, жена карточного профессионала Кутасова, Лидка, учившаяся манерам у мужа, сидела с неприятной, растянутой на весь проигранный вечер улыбкой и молчала, выражая молчание голоса, которому, по звучанию судя, и правда, лучше молчать. Муж Лидки, Кутасов, сухонький, беленький мужчина желчного типа целенаправленно и всегда, каждое утро, возвращался с карточного марафона еще посеревший, заросший ночной щетиной, но бодрый и энергичный. Ток-ток-ток стучали по тротуару его прочные, «штучные» полуботинки летом, хлюпали весною га-лоши...

Партнеры его уважали – он замечательно «считал». Душа его, бесспорно, была здорова. Душа.

Все же Кутасов мог иногда проиграть и проигрывал, бывало, много. Берта – никогда. Конечно, ей дьявольски везло, но она и сама гениально гнала эту волну удачи, угадывала в прикупе масть (да, да), расклад и чего нет.

Однажды Кутасов пришел, отсидел вечер тихонько, больше пасуя, остро приглядываясь с немужским, игровым интересом к женщинам, любезно улыбаясь Берте золотым ртом от вдохновенного частника. Он ушел на нуле, при своих, но, в общем, сотрясенный — успехи (карточные) Берты были значительнее и его опыта (огромного) и ума (незаурядного).

После этого вечера Кутасов Лидке играть запретил, нашептав ночью несвязно про дьявольскую ихнюю силу, рога, гвозди и костры, и Лидка, конечно, приходит больше забоялась. Вместо нее пригласили Вассерманиху, жену директора комиссии на Невском, осторожную женщину в густом теле, не местном цвете, одетую дорого и незаметно. За вечер и полночи уедали пару десятков «нордовских» тающих «наполеонов», грузинского вина, чая и уж под утро живительных бутербродов с крепкой, гладкой, как лакированной колбасой, которую приносил в пропитанной жиром матовой бумаге килограммовыми штуками Мартин тихоголосый друг.

Разъезжались по домам затемно, укутанные морозным дыханием, под неясным и твердым небом, посреди колышащейся опасной тени, которую оставлял далеко позади себя торопящийся к утреннему застоявшемуся станку так называемый рабочий советский класс.

А Кутасова Берта Борисовна почему-то запомнила: как он без улыбки прочно сел к столу, звонко протрещал картами в прекрасных кистях музыканта и как через шесть часов ушел ни с чем, пустой, удивленно покрёкивая и простым взглядом оценивая Берту явно на высшую оценку.

И даже потом у Берты Борисовны по этому поводу был сон.

— Так как, говоришь, фамилия этого врача? — лениво спрашивал у Марты ее друг. Он, конечно, все запомнил сразу, но его так учили, и он с удовольствием для удовольствия вопросы повторял.

– Ну, причем здесь этот врач, он специалист, сделал все, что мог, – вытирая лицо, сказала Марта.

– Сделал что мог, а мальчик умер, – как бы раздуывал вслух друг. У него было обыкновенное невнятное русское лицо пожилого человека из городского предместья, с решительными складками вокруг рта.

– Берта пластом лежит, – рука Марты пустилась в путешествие по его жилистой ноге. Несколько слишком торопливое, надо сказать, путешествие, досадливое и пугливое, но все же заиграла Марта его привычную мысль, отодвинула, и, наконец, стерла, стерла, стерла совсем. Отласкала Гольдберга Марта у Советской власти.

Отласкала.

Почему-то именно на смерти маленького Суровцева эта крепкая, выдавшая всякое женщина сломалась. Коленька напоминал ей нерожденных детей родной лифляндской крови, с осмысленным чистым взглядом – тугих, беленьких, похожих на тюленей. Он ушел так быстро и больно, так неумолимо и страшно, что вглядываться в этот ледяной мрак его ухода (улёта) было нестерпимо Марте и невозможно. Она помогала себе и Берте жить бесперерывными слезами, отмокая и утепляя.

– Ти-ла-ли-ла-ли-ла-ла, – прихлопывая, пела Тася, и Коленька немедленно отрывался от игрушек и, сияя серо-синими глазами, начинал в такт притопывать, приседать, подкручивать попой, подпевать и хлопать большими ладошками с растопыренными, непомерно длинными пальцами.

Или вдруг сползал с отцовских твердых колен и шел к столу в центре комнаты, широко расставляя ноги и балансируя руками в младенческих складках, у обеденного стола внезапно и споро нагибался, размашисто проводил рукой по полу и, торжествующе крича, счастливо смеясь зубастым рыбьим ртом, за хвост демонстрировал Суровцеву мячущего пепельного котенка,

похожего на изумительную игрушку из заграничного плюша.

Сердце Берты тяжело и страшно бухало в безднах ее тела, не помогало никакое лекарство, ни мокрый уютный треск Марты, ни чай с малиновым вареньем, и лишь глубокая рюмка армянского коньяка грела, дурила и усыпляла: всегда сразу, без снов с оттенком недовольства и смутной незнакомой доселе тоски.

Жалкий, смешной, по имени Виктор, человек, нервный, subtilный, с неожиданно широкими худыми плечами. В каком-то пиджаке, засыпанном перхотью. Вместе и одновременно он кажется дерзким, и самоуверенным, и нежным, особенно когда держит в руках книгу, скажем, Лескова или Чехова, или свои собственные аккуратные листы, с прогибающимися, как бы никому не нужными строками.

– Кто вы по профессии, Виктор, – спросила Берта у него после странного уличного знакомства.

На углу улицы Восстания и Невского, за заляпаным забором, железно отбивали отбойные ручные машины о необычайный питерский грунт – по всему городу денно и нощно строили лучшее в мире метро. Прозрачные клочья туманного воздуха гоняли по Ленинграду на апрельском ветру по вечерам и утрам – как энергичные призраки любви. Они трогали, кутали, пугали бедную Берту Борисовну. Однажды она посредине улицы Герцена минут двадцать, задыхаясь от удовольствия и неудобства, высвобождала ноги от объятий клочковатого наглеца, сотворенного из северо-западной погодной фантазии и давешнего застрявшего сна. Наглец, гладкий и чудный, успел отстегнуть ей чулки, обнять бедра и совершить с почти сдавшейся Бертой Борисовной медленное танго любви.

К тому же, по вечерам у этой удивительно здоровой женщины с янтарными внутренними органами музейного экспоната вдруг начало томительно тянуть сердце, как бы болеть, и она просто срочно начала нуждаться

в объятии более жестком, более молодом, более крепком, чем объятие Суровцева.

– Я закончил пединститут, – сказал Виктор, – преподаю в школе.

Виктор преподавал рабочей молодежи в вечерней школе на Охте русский язык и одноименную литературу. Школа была на берегу тяжелой, как бы запыленной реки, и, когда в перерывах между уроком Дубровского и уроком Безыменского Виктор выходил покурить наждачного «северного» дымку на бревенчатую грузовую пристань, его печальной душе передавалась тишина песчаного берега в заржавленном оружейном хламе, мрачный плеск радужной жирной воды и пересвист хулиганов на другом, столь же запустелом берегу, опять же в вечернем тумане.

Ученики его, гудящие от усталости, с удивлением слушали его уроки. Девушки зазывно хлопали намащенными ресницами. От запаха их духов, постоянно висевшего в сыром воздухе все время, Виктору хотелось закусь и любить их всех вместе и каждую в отдельности. Вида он, конечно, не показывал, но девицы рассекали ситуацию с голодным учителем молодыми глазами азиатских коз весьма легко.

Только что ввели совместное обучение обоих полов в советских школах. Однажды выдалось ему все же, как говорили, «отломилось» провожание некой штучурши Вали, отличницы родного языка, низкоголосой, перманентно завитой и чрезвычайно соблазнительной.

– Позвольте вас обнять, Валя, – произнес Виктор в половине двенадцатого ночи, в глубине просторной парадной на Старом Невском. Мраморный подоконник на последнем этаже был холоден, но остудить тяжелую горящую лиру ее чресел ни лёд, ни пламя, ни гранит не могли.

А Виктор смог. Валя сказала ему, что он «голубь сизый и почтовый», ласкалась к нему, пласталась-пласталась, мурлыча умиротворенными бронхами и диа-

фрагмой. В профиль, с растрепанными волосами, смазанной малиновой помадой и округло-серым русским взглядом, она походила на отдыхающую после уличного боя эсеровскую функционерку, но все равно, это было все не то, не то.

Он был очень одинок, этот Виктор, совсем одичавший от течения жизни, пропахшей папиросным грубым дымом, рыбой треска, движением воды и ветра в промышленной реке, кирзой и военным сукном. Его книги и тексты пополняли его одиночество вполне уверенно.

У Берты Борисовны Суровцевой в квартире матовый пол из темно-желтого дворцового ореха, китайские наивные вазы в углах гостиной, двойные сгущающиеся занавеси на окнах, домашняя работница Тася подает чудесную ветчину свежайшего ломтя, и, конечно, сама Берта, всегда, как бы раздетая представительница семейства кошачьих зверей.

– И что она в нем нашла, – удивленно подумала вошедшая с чаем в гостиную Тася на зеленеющем фоне только что вышедшего собрания сочинений Чехова, – против хозяина он же тьфу, но, видно, может, мозгляк, Берта их чует.

Константин Иванович здесь же стучал ножичком о тарелку – Берта тревожилась за фаянс и укоризненно сдвигала на белом лбу щипанные киноактерские брови хозяйки тела и дела.

Суровцев столько лет столь напряженно не хотел понять, кто и что есть его жена, что в конце концов это ему удалось. Он действительно не понимал о ней ничего. Он понимал только, что этот Виктор ему нравится как человек одной крови и речи. Суровцев был, в принципе, очень одинок, как может быть одинок женатый пятидесятилетний отец с научной степенью, с постоянной рабочей ложью советского гуманитария, впрочем, и не гуманитария тоже. «Ложь как профессия», – говаривал бедный Богат.

В общем, очень-очень одинокий-одинокий человек Суровцев. И этот подозрительный Виктор, с надменным и затравленным взглядом, в затёрханном пиджачке фабрики «Большевичка», нежно держащий в руках и ласково и удивленно перелистывающий восьмой том Чехова. «Чудо, а», – счастливо улыбаясь сказал он, поднимая от книги глаза и встречаясь взглядом с Суровцевым. «Свой», – внятно подумал Константин Иванович, кивая и улыбаясь тоже. Берта наблюдала мужа удивленно. А что, только ей удивлять?

Виктор грелся и таял. Они говорили на непонятном языке, отдаленно напоминающем советский русский – легком, гибком, плавном языке – языке рабов культуры, языке свободных, умных, не партийных людей, которым не нравится цивилизация вообще и советская цивилизация, в частности.

Они походили по гостинной, не замечая никого, обращаясь только друг к другу, а затем и вовсе ушли в кабинет Суровцева. Берта в испуге прислушалась, вроде бы Виктор читал стихи. «Везет мне на оборотов», – ухмыльнулась она. Потрясенная Тася разбила матовое блюдо из сервиза Урусовых. – Вот еще корова на мою голову, – гневно шепнула Берта.

Она косо посмотрелась в зеркало буфета, пролизнула губы, поправила короткими ладошками «шестимесячные» волосы и, постучавшись, вошла к мужчинам прямо на слова: «...он Шуберта наворачивал, как чистый бриллиант».

Виктор, поперхнувшись, качнулся. Плечи его передернуло и от стука, и от вкрадчивого «не помешала». Суровцев сурово молчал: «Да, мол, помешала, сука». Берта немедленно ушла, от бешенства ушибив гладкое, очень длинное бедро, которым гордилась за совершенство.

Виктор и Суровцев схватились так крепко, что Виктор забыл совершенно Берту Борисовну, будто ее и не было, и, приходя, вышагивал мимо нее и ее мебели

к Суровцеву с нелепой инопланетной улыбкой не жителя социалистического общества: вольный, не бритый человек, в нечищенных ужасных башмаках.

Недолго Берта переживала. Скоро она уже энергично бессилела от бешеных объятий кривого, темнолицего, надменного мужика из ансамбля народного танца, который смотрел на нее равнодушно и никак. Любил он замечательно и «своеобычно», как говорила одна знакомая Бертина драматриса.

И хотя «танцор» не открыл Берте ничего в этом деле нового, она все же сказала Марте, что «танцор» – ее самое большое переживание в жизни, связанное с любовью.

– А Леша? – спросила Марта.

– Леша надежный отличник, – сказала Берта, – танцор – почетный член академии.

Отстукивало время деревяшечками на своих бесстрастных довоенных счетах, отстукивало.

Однажды Марта позвонила очень рано утром, еще было темно за окном. В ее мягком, студенном голосе от волнения прочертился досадливой помехой акцент происхождения. Берта к ней, наспех одевшись, даже не намарафетившись, полетела, рассекая мокрый и холодный, черный воздух этой земли машинной грудью такси марки «Победа».

Берта была сыта, одета, здорова, с дозавтра загашенным темпераментом, могла позволить себе думать о другом человеке.

У Марты дверь распахнулась сразу, выпуская нажитое тепло, из комнаты через коридор богато блестел буфет, и Мартин, в лилиях, халат был застегнут криво.

– Моего-то выгнали отовсюду, как бешеную собаку, – сказала Марта.

– Да ты что? Впервые слышу.

Было у Берты это замечательное невнимание и даже равнодушие к общественной и политической жизни. Смерть Отца народов и генералиссимуса она, в не-

котором смысле, проспала и долго вообще ничего не знала, проводя незабываемую неделю с танцором на даче в Разливе, на которой не было радио. Зато днем таял, а ночью замерзал снег в округе, таял и замерзал, громко трещали дрова в раскаленной печи, воздух с ночного крыльца был звонок и вкусен, и Бертино бременное тело было невесомо и счастливо.

– А сегодня ночью забрали, прямо отсюда, из кровати, – кротко сказала Марта.

– Что же это? Что же это делается, а? Он же их всех начальник, – Берта на ходу сбросила с заливных плеч свою чернобурку и весомо села к столу.

– А один, молодой, ударил его по лицу, – Марта плакала.

– Ты погоди орать-то, погоди, я вот сейчас поищу чего, – приговаривала Берта, роясь в сумочке, червонный лак которой, казалось, не мог просохнуть, но рыдания Мартины не погасали.

– Ну, видишь, всё не зря, – Берта промокнула веселый глаз снежком платка, – есть тут у меня один. Шикарный.

Она достала записную книжку, в которой, кроме «одного», были футболисты, актеры, рабочие, парикмахеры, циркачи и прочие. А уж телефонная трубка казалась частью ее тела, особенно когда она говорила с мужчиною.

– Здравствуйте, Феликс, я вас не разбудила? Ах, уже... Да-да, и срочно, давайте через полчаса, на «Восстания».

И уже Марте: – Замечательно крепкий, волевой и умный человек – погоны сверкают. Я его называю «Феликс – холодные руки», у него руки всегда зябнут, он поможет. Одевайся, Марта, а впрочем, можешь раздеться, – сказала Берта задумчиво.

Она, кстати, абсолютно не помнила лица Мартиного хахалы, он один из немногих мужчин вызывал у нее настоящий страх и неприязнь, она не старалась ему ни-

когда понравиться, а он скользил по ней лениво, как по слишком яркой фарфоровой статуэтке из коллекции в чужой горке.

– Он же тебе не нравился всегда, всегда терпела, а сейчас-то и совсем... Чего сейчас-то, не понимаю?

Марта торопливо, нежно и твердо создавала заново у еще родительского трюмо свое обычное, чуть скуластое, северное лицо, с мягко-голубыми опытными глазами, с большим, блекловатым, послушным ртом, при взгляде на который хотелось забыть долг, присягу, Родину, гимн Советского Союза, секретаршу Люсю и, конечно, жену Верку, преподавательницу и кройки, и шитья.

Феликс, рукастый и зубастый, в распахнутом габардиновом пальто, был на месте вовремя. Настоящий хозяин этого государства, он видел всех насквозь молодыми зелеными глазами хищника, но не скучал от этого, а наслаждался.

– Вот как выгнали, так сразу и занравился, – сказала Марта перед зеркалом, оглядывая себя с удовлетворением, Берте. – А потом, куда ему, дома сахар горек, а без мундира, небритый, в ужасном армейском исподнем, стал почти человеком. Книгу читает Дудинцева, бормочет... Душка, люблю, давай скорее, Берта, а то заждется хозяин-то.

Берта, улыбаясь этой чудачке, подхватила, и они побежали.

Еще издали Феликс цепко оглядел-осмотрел ее, пока они судорожно переходили не убранный после ночной метели Невский. Познакомив их, Берта отвела его в сторонку и вышептала ему всю историю и просьбу.

– Вы знаете, дорогая, – начал Феликс, беря Марту под руку властно, как на операции, но и не совсем, однако, как на операции, – я бы, конечно, мог воспользоваться вашим несчастьем, но делать этого не буду.

Марта вздрогнула, морозный румянец сошел с ее лица. «Как зла любовь и какие мы, женщины, дуры, –

сокрушенно подумала Берта и сказала Феликсу: – Прекратите немедленно мучить женщину, Феликс».

И Феликс торопливо и даже несколько извинительно рассказал: – С ним ничего не будет, посидит год-другой и вернется к вам. Стрелять будут других – он для них мелкая сошка.

В несчастной России год-два тюрьмы не считаются неволей. Марта была счастлива, пошла с Феликсом пить по утру шампанское с коньяком.

Шел пушистый крупный снег, стало совсем светло, и Берта абсолютно не ревновала и не завидовала, ни капельки. Наоборот, настроение у нее было прекрасное, романтическое, и, вернувшись домой, она Константину Ивановичу на службу идти не дала, а повела в спальню.

Феликс оказался прав. Безымянный Мартин друг отсидел во Владимирской тюрьме 4 года в особой камере с бывшими коллегами по организации щита и меча и общей физиологической особенностью – холодными руками – и благополучно вернулся к Марте, обрюзгший и нервный. Они прожили вместе еще много лет в здравии и довольстве на удивление Берте. Только он стремительно старел. Тюрьма его не законсервировала, как других, за что-то он, грешный, платил. И хотя был сыт, обут, ухожен, это «что-то» не давало ему жить. В 1965 году он подал новому правительству, которое сменило волюнтариста, докладную записку об отце и порядке, о нравах и о себе, но не вовремя, его вызвали: попросили заткнуться. Вернувшись домой, он попил чаю, посмотрел московский футбол по телевизору с Юрием Севидовым и Стрельцовым Эдуардом, который достойно нес свой грузный талант против спартаковских юрких хулиганствующих наемников. Затем он читал рассказ Ивана Бунина «Господин из Сан-Франциско», но это было совершенно невозможно и невыносимо, и он пошел, зевая и плюясь в распахнутое окно, в волшебный майский белый вечер, спать.

Когда и утром тоска и скука последних лет не прошли, он знал, что делать. Вытащил из буфета аппетитную, сиреневую маленькую, раскрутил и мгновенно выпил содержимое, не задерживаясь отбил горлышко и секанул себя изнутри широким осколком по запястью левой руки, морщась от отвращения и боли. И..и раз, и..и два, и..и три. Кровь, выступившая обильно и густо, блестела на его руке весело и страшно.

Держа снизу полотенце, чтобы не запачкать вымытый с утра Мартой пол, он осторожно заперся в ванной.

Через пять минут вернулась из булочной Марта. – Толик, ты где? – спросила она с порога.

– Да тут вот, кран чиню, железный, – сказал Толик, держа руки по локоть в раковине, в розовой воде. Ему было очень больно и страшно, он плакал, и, когда позже мастеровой сосед взломал дверь, небольшое лицо Толика, лежавшего на спине, было еще мокро от невысохших слез.

В 69-м году, 12 апреля, на дне рождения мужа, Берта подумала вдруг, сидя за праздничным столом, между Богатом и Мартой против ничуть не изменившегося Виктора, что моложе она уже никогда не будет, а будет все старше. Эта глубокая мысль породила другую – нужно что-то делать по данному тревожному вопросу.

И, глядя на одряхлевшего Константина Ивановича, с испачканным старостью лицом, она поняла, что надо уехать из России, потому что здесь все кончилось и постарело, шансов мало и скучно, а там и пластиковая хирургия, и Елена Рубинштейн и вообще всё... всё... всё, и жизнь, и радость, и любовь.

К тому же, в одна тысяча девятьсот пятьдесят седьмом году Берта побывала, как любопытствующая, на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве. И, конечно, познакомилась на улице с усатым мужчиной, золотоволосым, курчавым итальянцем, обходительным коммунистом из города Неаполь. Джанни работал в муниципалитете, в отделе мусора и чистоты.

Разговаривали по-французски, но, в принципе, в словах не нуждались – язык любви одинаков и для коммунистов, и для бывших комсомолок («бывших» по возрасту, конечно).

Джанни восхищался московской чистотой улиц, аккуратным порядком прохожих людей и особенно метрополитеном имени Л. М. Кагановича, который к тому времени уже получил на постоянное вечно имя В. И. Ленина.

– Такое метро должно было бы быть в Риме, – сказал Джанни.

– Еще и не такое у вас в Риме будет, – сказала Берта.

– Скорее бы, нету сил ждать, – сказал Джанни.

– Вот оно уже идет, можно услышать, приложив ухо к земле, – сказала Берта.

На этого человека, на незабываемую ночь с ним Берта возлагала особые надежды. «Джанни встретит, поможет и пригреет», – думала она. Берта была уже почти стара, мужчин этих перевидала без счета, видела их до последнего среза, а вот «Джанни поможет». Фамилии его она не знала, адреса тоже.

Константин Иванович, который всю жизнь был тихим врагом советской власти, принял Бертину идею, неожиданно для нее, с восторгом.

– Замечательно, дорогая, я так долго ждал, когда ты прозреешь и совершишь в жизни что-либо, – сказал он, освещенный августовским бледным акварельным ленинградским солнцем.

– Совсем рехнулся, – ответила Берта, зло стуча послеобеденной посудой, – я что же, мало, по-твоему, совершила в жизни?

– Совершила ты, дорогая, много, спору нет, кто же спорит, – сказал Константин Иванович, – но вот добро от зла или, скорее, хорошее от плохого различила впервые.

– Ах ты, жополиз проклятый, – заорала Берта, – сам всю жизнь в углу отсидел, подмахивал им, я его увожу на свободу, на солнце, а он, а он...

Берта захлебнулась, вздохнула и с сочным удовольствием произнесла страшное оскорбительное ругательство из своей довоенной фольклорной практики на Псковском озере, из своей бодрой молодости.

Суровцев не обиделся, громко засмеялся, стуча не привыкшими еще к его рту искусственными зубами, крепко обнял ее выдающий зад, крепкую талию, и она успокоилась, сразу ослабела, простила его, и они даже до кровати не дошли, а тут же на социалистической машины восточногерманском ковре Берта приняла его в свое по-прежнему сладкое для него лоно.

А уезжали они как по маслу, как будто кто-то там, на самом высокогорном верху, сказал по красному телефону начальственным, полным, снисходительным баритоном в напряженную тишину младшего уха: – Вы там, Суровцеву эту, Берту, с мужем и дочерью, пустите, чего там, не убудет... она баба сладкая...

Непонятно было только, что значило это слово «не убудет». Не убудет кому: ему? ей? СССР?

Не убудет и не убудет, и Берта гоняла на такси по Ленинграду, высунув язык: оформляла документы – это называлось так, оставляла Россию. ОВИР и заодно Гостиный двор и Детский мир, нотариус и переводчик на английский Глик С. М., багажная станция Варшавского вокзала и бригадир плотников Саша Заводной, получивший сверх платы водку, колбасу и Берту, полуподвальное помещение комиссионного магазина Вассермана на Невском, с рыхлым директором которого у Берты был торопливый, непонятный, но обоюдовыгодный диалог, и маленький часовщик с Литейного, починявший из любви к народу за бесплатно роскошные Бертины стенные часы, ростом выше починяльщика.

Как видим, деятельность Берты, в принципе, ограничивалась Куйбышевским районом Ленинграда. Сей-

час перед ней должен был открыться свободный мир, границы Земли огранивали теперь ее страсти.

Ночами она паковала с Мартой подносимый сжавшейся от возраста Тасей фарфор и фаянс, укутывала одеялами этажерки и столики, заталкивала вату в нежнейшие емкости гжельских чашек, бинтовала зеркала, наполняла легкие бока елизаветинского трюмо груботканными простынями...

– Еще приедешь ко мне, – говорила она Марте в перекур, за чаем, приготовленным Константин Ивановичем в бесформенном чайнике прислуги, на разоренной кухне.

– Завтра у нас Публичка, – тревожно вступал Суровцев.

– Будет день и будет пища, – отвечала Берта, – всё вывезем, всё разрешат: и Книгу Книг, и Песнь Песней, и Пушкина, и Солженицына. Будешь в Иерусалиме на диванчике лежать, Котя, и Солженицына читать.

– Неужели, Бертушка? – ахал Суровцев.

– Договорилась с Саней, он журнал этот в крышку стола пристроит, причем за весьма умеренную мзду, любимое произведение мужа, говорю. А он и сам такой, «о чем разговор, Берта Борисовна, да я за Исаича»...

– Я восхищаюсь тобой, Берта, – искренно сказал Суровцев.

Марта обреченно пила слишком крепкий чай.

Светало.

У Виктора за эти годы жизнь сжила с лица налет таланта и живость глаза, одежда его не изменилась за годы работы ума и души, и его лицо, столь обещавшее в молодости, вроде бы стерлось, распустилось, потускнело кожей и как бы догнало его всегдашнюю одежду: неловкий пиджак, широкие, стершиеся в швах брюки, застегнутую доверху рубашку полосатого цвета и, как поется в песне, «и шкары, брат, и шкары, брат, и шкары», или колеса, или еще «полуботинки на микропористой подошве», купленные по случаю за семь пять-

десять в Кировском универмаге в июне 62-го года. Сейчас шел 69-й.

Жизнь победила его, как и всех, впрочем.

Письменный навык таланта отложился в трех картонных папках с типографской надписью «Дело» и внизу помеченными от руки годами. Это то, что Виктор сделал за двадцать один год так называемого творчества.

Была еще подборка стихов в молодежной газете, когда редактор литотдела, немолодая, смуглая девушка, встретив Виктора на Невском, сказала, с трудом краснея: «Вы знаете, Витя, все можно, просто не знаем, что делать, абсолютно все можно, дайте мне шесть ваших любимых стихотворений».

– У меня все любимые, – буркнул Виктор.

– Да ну вас, дайте, какие хотите, – сказала девушка. Она говорила о послаблении цензурного режима. Было и такое время, в 62-63-м году, для непосвященных. Абсолютно посторонняя девушка, даже не поклонница, случайная знакомая в сером теплом русском платке, приспособленном для удобства согрева тела зимой, а не для красоты лица.

Кроме этой случайной подборки, были еще две заброшенные на шкаф катушки от магнитофона «Яуза», на которых Виктор записал однажды, по слабости, своим характерным, монотонным голосом несколько любимых стихотворений.

Так он и не женился. Остался подпольным женолюбом, но всегда возле кто-то крутился – убирал комнату, стирал, готовил, гладил, любил.

Он не озлобился на судьбу, принимая ее как русское должное. Почти никто из его друзей, с которыми когда-то начинали в розовых надеждах, так и не пробился к издательствам, союзам, гонорарам. Все остались в кочегарках, музеях, школах и сторожевых будках. Лишь тот да этот с жалкими книжками, в которых все было не точно и не необходимо.

Они не были своими в роскошной жизни советской литературы, даже самые арийцы из них по крови, виду лица и происхождению. У них был свой табель о рангах, свой счет. Редакторы журналов и издательств чуяли их за версту.

Да они и сами не очень-то и лезли. В молодости больно, а потом уже и не очень и нужно. И так проживем.

Вот собираются они в бедной комнате Виктора, что напротив театра на улице Желябова. Одна тысяча девятьсот шестьдесят четвертый год. Октябрь. Холодный и свежий дождь за окном без занавески со строгим видом на черную речку Мойку с петербургским горящим фонарем на узкой набережной. Олимпийские игры в Токио. Смена властителей в Москве.

У Виктора семеро гостей. Один из них в хорошем пиджаке. Они сидят вокруг пустого обеденного стола и в очередь читают стихи. Никакого соревнования, никаких женщин, никакого недоброжелательства. Интерес. Внимание.

Для этих людей нет сейчас ничего. Нет власти на земле, нет болезней, смертей, бедности – есть холодный, чистый и напряженный взлет дарования. И с этим нужно прожить: не вступать и не выступать, не осуждать, не видеть, не слышать. Отсидеть жизнь в некотором смысле в кухне, прикрывшись стихами. К счастью, не все могут их ругать за ихнюю жизнь, бросать камень, рвать отношения, есть, которые напишут письмо, когда позвонят из, скажем, Нью-Джерси или Хайфы, выпьют за здоровье, беспомощно и чуть ли не старчески, добрую рюмку, поплачут, несколько абстрактно сожалея и проклиная этот мир, вообще ничего конкретного, никаких адресов ненависти, так... В принципе, все схожи, все несчастны, кроме тех, кто счастлив, и никто не знает, кому повезло больше.

Оставим Виктора в России – не в наказание, не в подарок, просто жить – работать в школе, рассказывать

детям о Николае Островском и Фурманове, проверять сочинения на заданную тему «Образ Давыдова в романе Шолохова „Поднятая целина“», сидеть на невозможных педсоветах, стоять в очереди за почему-то «ворошиловскими» пельменями, закусывать студнем за 14 копеек, который называется зельц, ходить на Новый год через промерзший, занесенный Михайловский сад под мрачным замком, смотреть футбол-хоккей праздничного цвета и дышать губительным для души ленинградским сырым воздухом.

Есть что-то ужасное в отъезде навсегда из родного, обжитого места, даже для самых сильных и нечувствительных людей. Все эти годы не прошли же за так, и не всё же было плохо в этом рабском краю, и жили и здоровствовали в нем не только страх и голод; и беспечность этого сумасшедшего угла земли, проклятого Богом и прекрасного, еще сожмет вам сердце не раз и не два в оставшейся жизни. Полузабытая привычка и тоска, с которыми никто ничего поделать не сможет никогда.

Уж на что Берта, а и та. Только Константин Иванович как будто из сердца вырывал. Обида за землю, страну, народ, семью, за себя была так сильна, свежа и велика, что выжгла в нем любовь, сентимент и слабость.

Ухитрился он как-то сохраниться. Страшной зимой 34-го года, когда вычищали колыбель от аристократического навоза, Суровцева чуть не исключили из государственного, советского ленинградского университета за написанное с большой буквы слово Бог в курсовом труде. Но неведомым путем отмахался. Все же кровь в нем была правильная – евроазиатская, кость прочная – русско-военная. Он помнил все про себя, своих предков и свою бедную страну. Он не забыл ничего, что со всем этим сделали эти мерзкие уголовные негодяи. Ему было 65 лет. Он решительно уезжал от проклятия к благословлению.

На отвалыные проводы пришли самые неожиданные люди. Пришел сообщник Бертин по сталинскому

деятельному времени Гера Коврыгин, со своим смущенным лицом пожилого хулигана и взрослым сыном Степой, который неожиданно для всех стал гениальным джазовым саксофонистом. Степан был в потрясающем концертном костюме, настоящем котелке, надетом чуточку набекрень, с ласковой шелковой полоской усов на очень красивом лице нежно-кремового тона. Под мышкой осторожно он нес футляр со своим альтистическим инструментом, гладкое молочное кашне прикрывало матовый галстук-бабочку – друзья прозывали его иногда Стивом.

Пришла вдовая уже Лидка Кутасова. Муж ее, Кутасов, умер в разгаре, конечно, игры, на невероятном каком-то мизере, на седьмом часу игры, на неугаданном неудачном прикупе. Детей у них не было, не до детей ему было.

Пришла Райка с мужем, кандидатом литературоведения на Маяковском, а с ними пятилетний щекастый сын, похожий на киргизского борца народной борьбы. Райка стала наливной, крепкой бабенкой, без царя в голове – обладательница водительских прав и к ним автомашины «Лада». Муж ее был доцентом, скучным человеком в сильных очках. Сына их звали Владимир, и он был их отрадой.

Пришел Богат с цветами и бутылкой «Киндзмараули». Одышка душила его, он был стар и слаб, в кармане его выходного пиджака лежал в чистенькой салфетке, на всякий случай, как и всегда, бутерброд с колбасой «отдельная» за 22 копейки 100 грамм.

Пришел еще Виктор, Марта и сионистский тандем Хаим-Моше – в донациональной жизни Толик-Валерик, с верными женами.

Было очень много водки, Степа играл в пустой гостиной Гершвина, Виктор читал Марте стихи, Толик с Валериком беседовали на только усвоенном языке родины, пьяный Гера Коврыгин чокался с Константином Ивановичем и Бертой «за всё хорошее», Богат

энергично и неряшливо ел винегрет, круто замешанный на верных Мартиных слезах, и Райка, вольно откинувшись, сильным нерастраченным голосом, смущая мужа, пела под Степин чистый альт: «Саматайм, па..па.. па.па.. па..па..ра...»

Утром долго не было такси, и Константин Иванович несколько бессмысленно переволновался: «Неужели в последний момент передумали и закрыли выезд», — хотя от власти рабочих и крестьян всего, конечно, можно ожидать. Берта за такси и власть не волновалась. Она волновалась только за таможеню, справедливо отделяя ее от такси и несправедливо от власти. Потом, в последнюю минуту, пришли сразу две машины, новенькие 21-е «Волги», и шоферы были справные, трезвые, вежливые, и все быстро погрузились, под невнятным питерским дождичком, под шарканье дворниковой метлы, под мутными неприязненными взглядами мужичков, сдававших в дисциплинированной очереди драгоценную посуду на утреннюю поправку головы.

И побежал назад город Ленинград, под свиристящими новыми колесами, оставаясь, бедный, без Суровцева и Берты, но зато с Герой Коврыгиным и его сыном Степой, с Мартой и Лидкой, с Райкой и ее маленькой семьей, и с многими другими людьми, до которых, я надеюсь, доберется и благословение, и достаток, и чье-нибудь любознательное, веселое стило.

На таможе Берта, как ни волновалась за кольца, серьги, какой-то 150-летний французский кулон, тянувший вечно юную Бертину шею, за платиновые часы Суровцева, тем не менее, не удержалась и сказала молодому, только после университета, чиновнику в форме, свиставшему, как птица кенарь: «Не свистите, молодой человек, денег не будет».

Короче, таможеню они прошли.

Последний официальный представитель осторожно взял в руки их розовые гербовые бумажки с фотографиями и фамилиями, так называемые визы;

долго сравнивал с оригиналами, особенно долго Суровцева, видно, смутили данные лица и жизни, затем, подышавши на печать, стукнул ею раз и два, и Суровцевы, Константин Иванович и Берта Борисовна, покинули пределы СССР.

В самолете Берта звучно поцеловала Константина Ивановича и тихо сказала: – Теперь уже всё, теперь свободны.

В самолете по узкому проходу, извилисто вилля чреслом, пришла очень высокая румяная стюардесса, наклонилась и, стесняясь, попросила застегнуть ремни, что Суровцевы поспешно и сделали. И тут же самолет подпрыгнул, загудел и побежал, побежал, побежал, так что страшно было смотреть на бетон взлетной полосы, приподнялся и полетел, по плавной дуге пошел вверх на северо-запад, оставляя под крылом бедный сельский пейзаж родины: сквозной лиственный лесок, топкая поляна, озерко, еще лесок, еще поляна, поселок городского типа с колонным зданием клуба, к которому вела стрелка шоссе из Ленинграда.

Суровцев оторвался от окна, откинулся широкой спиной на кресло и, глядя перед собой, радостно прочитал: «Подъезжая под Ижоры, я взглянул на небеса, и вспомнил ваши взоры, ваши синие глаза...»

Потом он заплакал, и стюардесса принесла ему высокий стакан минеральной воды Боржом.

В Вене были только к вечеру из-за двух посадок, не означенных в билете, в Варшаве и Будапеште, где их до взлета гостеприимно запирали в пустых транзитных залах. В Вене к кучке бывших ленинградцев подошел неказистый человек с кожаной сумочкой, надетой петлею за запястье. «Я рад приветствовать вас, дорогие соотечественники. Я представитель Израиля, меня звать Соломон».

Два дня ждали на перевалочном пункте в замке еще людей, чтобы самолет был полон, и на третий, волнующей ночью, наконец, вылетели в действительно пе-

реполненном самолете, в котором стюардесса кокетничала со штурманом и Суровцев требовал, чтобы Берта вспомнила язык предков, якобы лишь забытый, но Берта не вспомнила, хотя штурман был что надо штурман, мужественный, смуглый и в фуражке.

Константина Ивановича Суровцева нельзя было отнести к категории людей, называемых юдофилами. Его замечательная душа не была подвержена и обратной крайности. Он был нормальным трезвым и уравновешенным пожилым человеком, насколько может быть таковым русский ровесник века. Его несколько искусственно воспитанная, скажем, кадетская лояльность позволяла ему разделять людей по принципам иным, нежели расовые и религиозные.

На Западе ему поэтому должно было быть тяжело. Запад – это такое место, где человек думает, делает, говорит и пишет, что хочет, и не ждет за это полжизни наказания. В том есть определенный недостаток, потому что, ничего не боясь, человек может наделать, написать, наговорить, уж не говоря надумать, такого, что никакого Верховного суда не хватит.

Тем не менее, вот свобода.

Суровцеву придется столкнуться с представителями так называемой либеральной западной интеллигенции, своими как бы, людьми. Один из них, пенсионер-доброволец, появился в предоставленной Берте и Суровцеву квартире, в новеньком северо-восточном районе Иерусалима, на другой после приезда день. Крепкий еще человек, с лучшими побуждениями, славным прошлым и благообразным настоящим. Но вот он был убежден, что ракеты и бомбы и зло есть только в Америке, что права человека нарушаются на самом деле лишь в Англии и Южной Африке и что поистине лишь СССР, несмотря на отдельные недостатки, носитель мира, добра и справедливости.

– Как же так, – растерянно сказал Суровцев, – это неправда.

Но гость быстро нашелся. Он расправил белоснежный ворот рубахи, лежавший поверх пиджака, затвердел лицом (кто знает, какие комиссарские дни и ночи были у этого человека) и безапелляционно произнес подлые слова, что «всё это советские комплексы, что странно слышать это от интеллигента и что, и это главное, со временем это у вас пройдет».

– А если нет? – спросил Суровцев.

– Что нет?

– Не пройдет комплекс, и с глаз шоры не падут?..

Судя по лицу гостя, ничего хорошего Суровцева ожидать не могло, Берта внесла трогательно-наивный палехский поднос с чаем и печеньем, и гость, не меняя выражения глаз, любезно сказал: «Как я люблю это славное русское гостеприимство».

Этот человек вспыльчив, нелоялен, нетерпелив и никогда ничего не забывает. Вот из-за него... У него благородное лицо комиссара на пенсии, чуть приметный акцент любителя Сартра и Маркузе, пигментные пятна старости на набрякших красивых кистях, которые некий юный герой левого сионизма так желал целовать по приезду еще несколько лет назад. Этот человек может сказать Суровцеву, нарушая написанное в Книге: – Вы, на самом деле, приехали не туда, это «народ, живущий обособленно» в двунациональном, не больше, вы слышите не больше, государстве.

Пунктуальный Суровцев немедленно напомним закон о возвращении 51 года, по которому он, Суровцев, является полноправным гражданином страны, и «вообще я приехал не неизвестно куда, не в какой-нибудь Детройт. Я приехал в столицу мира».

– Вы, конечно, правы, – скажет этот человек без интонаций, – замечательное печенье, Берта Борисовна.

– Советское, – скажет Берта, – называется «Мария», берите еще.

– Спасибо большое, – скажет этот человек, – с удовольствием, но, к сожалению, я на диете, Берта Борисовна.

Что-то между ними начинает уже попрыгивать, веселое и молодое.

– Как это прекрасно, что вы такой волевой, – восклицает Берта, – а я вот с собой никак справиться не могу. Научите воле.

Этот визит не нарушал эйфории приезда, все-таки за день до визита добровольца они приехали в Иерусалим. Шофер машины «Форд», который по направлению все того же энергичного чиновника должен был отвезти Берту и Суровцева и их 17 (семнадцать) авиачемоданов на квартиру, выделенную им государством в Иерусалиме, днем работал в промышленности, а ночами подрабатывал – возил в личной ухоженной машине-кормилице излишеств, вновь прибывших, за деньги Еврейского Агентства, по родной стране.

– Я когда приехал, мне все говорили, – напористо рассказывал шофер по имени Роальд, в дневной жизни инженер, – езжай в Тель-Авив, вся промышленность там, а я, дурак, не послушал.

Часта в его пышных устах была фраза «а я, дурак, не послушал» с инвариантами «а я, дурак, не сделал», «а я, дурак, не купил». Рта он никому не давал раскрыть, но не мешал. Интонации его не были агрессивны. Хвойно-зеленые глаза Роальда смотрели на мир прямо и наивно. Своего он не упускал никогда.

Из быстро освоенной мглы долины, где некогда успешно дрались с филистимлянами, Роальд аккуратно вывернул на магистральное, шестирядное шоссе, и в рассеивающейся прохладно пьяной фруктовой ночи, в такт могучего мотора, в бесконечном, потерявшем всякий смысл напевном монологе шофера, помчалась по новой земле в Иерусалим под строгим небом в новую-новую, столь желанную жизнь. Такой переезд всегда пожилого если не омолодит, то сохранит ему здоровья

и бодрости настроения. Так это произошло и с Суровцевым. Больше всего Суровцев боялся климата, но иерусалимский, восьмисотметровых среднегор, пришелся ему и подошел. Подсушивающий лишний вес тела жар полудня, пахнувший в этом городе перегретым сосновым лесом, и луговая свежесть ранних густых туманных утр, когда Суровцев выходил на старческую спозаранку прогулку, и настоящий холод вечеров, и студеный воздух ночей не только нравились Суровцеву, но и поправляли здоровье его тела, приободряли настроение духа, веселили его свободную славянскую душу.

Еще Суровцев боялся местной пищи, но уж она-то, вот именно такая, с пахучим мясом, с чесноком, перцем, луком, с пряностями и травами, явилась просто праздником для его желудочно-пищевого тракта, и этот нескончаемый праздник, украшенный стаканом доброго бренди, грозил ему врачом. Суровцеву особенно нравился так называемый «суп из ноги», помогавший думать мысль и жить жизнь.

Народ ему тоже понравился. Именно народ, потому что Суровцев никогда не различал частных людей, тем более чужого народа и языка. Суровцев всегда думал, что вот есть народы, континенты, века и тому подобное, а на разглядеть все это подробнее и ближе не было у него зрения. Люди на улице, в магазине, в конторе ему нравились. Он удивлялся не пьяным вечерним мужчинам, и дневным тоже. Братьям, подравшимся во дворе, мать кричала из окна: «Почему вы деретесь, как Каин с Авелем?» Трагический плач младшего был ей ответом. Этот же трехлетний младший, которого бедолага-мать не успела одернуть, сказал Суровцеву во дворе: «Здравствуй, старик», – и протянул ему руку.

Поездка в иерусалимском автобусе потрясла Суровцева. Вид солдат тоже. «Нашего бы генерала кондрашкахватила, если б он их увидел», – подумал Суровцев, глядя на голосовавших попуткам в сторону востока солдат и непорядок в их военной одежде.

– Но наш генерал, к счастью, обоюдостороннему счастью, их не видит, – посмеялся Суровцев.

Берта его ненаглядная вроде бы притихла по приезде, осматривалась, учила вечером язык на специальном курсе для взрослых. Открыла счет в банке. Познакомилась с ювелиром, поговорила с ним частным образом по-французски, следила с ним колечко на первое время. Ювелир неподвижно держал объемистые руки на прилавке, любезно улыбался. Мерно стрекотал кондиционер. За портьерой у ювелира была тесная чистая кладовая, и от него замечательно пахло крепким мужским одеколоном и мужчиной.

Утречком, по холодку, Суровцев отправлялся в магазин за молоком, теплым еще хлебом, простоквашей, творогом и за субсидированной оппозицией газетой, представлявшей свободную русскую журналистику. Газета казалась Суровцеву трогательной, с милыми ошибками и трогательными опечатками, заполнена была пылкими полемическими статьями. Спиваку газета не нравилась. «Мы не имеем права выпускать такую газету, это не достойно нас», – говорил он Суровцеву. «Оставьте, Веньямин Давыдыч, она замечательна», – отвечал Суровцев. Спивак был его сосед, сердитый, нахохленный старик, готовый к спору и разговору. Спивак постоянно приглашал БERTУ и Суровцева в кино – он был влюблен в кинематограф, – и в неделю раз Константин Иванович и Вениамин Давыдович отправлялись «на фильму», как говорили в России много лет назад. Берта кино не любила – жизнь для нее всегда была цветнее и краше. Ходили на чудесные американские фильмы, про старые добрые 20-е годы, которые снимали люди с итальянскими фамилиями. Все начиналось и развивалось в кино медленно и очень подробно, и сделано было так сочно и вкусно, будто все это сегодня, и такой цвет, такой ритм, такое действо, такое значение и очищение греха, что хоть бери и переселяйся в молодость, назад, и грабь, и убивай, и целуй, и раздевай под афри-

канские мелодии раннего Нью-Орлеана и лакированную чечетку негров Бродвея.

При первом еще посещении Суровцев сказал Спиваку: «Все это, конечно, безумно талантливо, но голая задница на весь экран, хоть и является... кхм... в известном смысле, откровением, но, простите меня, Вениамин Давыдович, это просто нечестно, и потом я это уже видел в жизни не раз. Ну и что, что на весь экран и голая, замечательно, конечно, но, повторяю, ничего нового».

Новатор Спивак считал, что все можно, если талантливо и интересно.

– Как они раскованны, как богаты, как рассказывают, – горячился Спивак, – главное, это умение рассказывать, а наши пока раскачаются, пока чего покажут, уже и старость, а тут прямо жить хочется.

Такие вот диалоги. Еще Суровцев читал книги. Усаживался в своей комнате у распахнутого настежь окна на свежем горном бризе, под белесым, расплывающимся почерком военного самолета и читал. Он больше всего полюбил книгу «Подвиг», роман «Дар» ему не понравился. Суровцеву не нравилась эта выпяченная арийская ироничность и жесткость автора, хотя в нем самом это должны были бы быть главные свойства характера, но жизнь в Советском Союзе вычистила каленой метлой эти важнейшие человеческие качества, неизменные спутники благородства. После книги Р. Конквеста «Большой террор» Суровцев, знавший, в общем, все изложенное, содрогнулся душой от страха и стыда за свою страну.

«Все же я никогда там так не думал», – признался он Спиваку.

«А я думал еще хуже, чем в книге, – сказал Спивак, – от злости».

«Ну, кто там что видит, живет и всё, и не знает ничего. Там вообще ничего такого знать не надо, всего достаточно. Самодостаточная страна, только душа гниет».

«У нас тоже самодостаточная страна, разве что масштаб не тот. Меня, Константин Иванович, перед отъездом один гэбешник, по фамилии Сучков, предупреждал: там, говорит, Вениамин Давыдович, всё есть, чего душе угодно, вам будет не хватать, говорит, двух вещей – масштаба нашего и нас, конечно, в смысле ГБ».

«А он-то откуда знал?»

«Не говорите, Константин Иванович, они, бандиты, всё знают».

«Мне этот пиетет перед ними не нравится, Вениамин Давыдыч, они его не заслуживают».

«Может, и нет, конечно, – мечтательно сказал Спивак, – а все же охота сесть в купированный вагон, и через часов 36 приехать в заснеженный, скажем, Киев».

«Да чего вам в нем?»

«Ничего. А приятно».

«Тогда, конечно, езжайте, Вениамин Давыдыч», – сказал Суровцев.

Военно-воздушных сил Израиля капитан запаса Гиора Аялон русский язык помнил хорошо. Он отличился и был ранен в предпоследнюю войну и был разведен с женой и сыном по постановлению иерусалимского религиозного суда.

У Гиоры была военная пенсия по инвалидности, инженерная зарплата. Жил он один в наемной квартире над Суровцевыми. Развелся он недавно, очень тосковал, не знал, куда себя девать. Завел собаку по имени Джек. Был Гиора кудряв, четок, смугл, со смятением, жившим в нем со времени первого боя. Вечерами не знал, что делать, друзей не было, мать жила в другом городе, сестра – в другом государстве, затерялась с мужем где-то в Америке. Когда Гиора в хладеющем воздухе перед вечера возвращался с работы, он видел своим карим военным взором двух стариков, беседующих на неизвестные темы на известном языке на лавочке у парадного подъезда. Это, конечно, были Суровцев и Спивак. Спивак жил над Гиорой.

Никто из соседей не знал про Гиору ничего предосудительного. У господина Аялона был роскошный американский автомобиль, купленный без налогов – из-за инвалидности.

– Таинственный человек с приличным лицом, – сказал Константин Иванович, когда Гиора в очередной раз прошел по двору, прямой и строгий, вежливо и невнимательно здороваясь со всеми.

– Берта сказала, что он бывший боевой летчик, раненный над Суэцким каналом. Теперь пенсионер и инженер, совсем как мы.

– В нем чувствуется напряженная жизнь души, хотел бы я с ним потолковать, но он, по-моему, недоступен, некоммуникабелен, – пожалел Спивак.

– Родился в России, читает Иннокентия Анненского на досуге, – сказал Суровцев. Спивак был потрясен.

– А такой, на первый взгляд, западный господин, – сказал он.

Гиора, не так уставший, сколько опустошенный, сидя в освобождающем спину, как бы против всех законов удобства, кресле, курил после работы нервного дня прекрасную голландскую сигару, прихлебывая саднящую тоску простой души стаканом чистого американского виски. Вентилятор, похожий на колесо мотоцикла «Ява-350», гнал на него мощную струю воздуха, под которой Гиора с удовольствием устроился, подвигав покатыми, очень развитыми плечами, и с ускользающей, невнятной мыслью об обеде заснул.

Ему опять и еще приснилась бывшая жена Варда, которую Гиора с раздражающей ее лаской и последовательностью пять лет называл Клава, несмотря на усилия. Она была очень похожа на их соседку по квартире в эвакуации в Казахстане, у которой была маленькая дочка с постоянно замотанным больным горлом и пожилая коза Ася, которую Клава на ночь привязывала под лестницей от воров. Мать покупала для Гиоры у Клавы

стакан невкусного козьего молока по утрам, которое он, под гипнотическим взглядом матери, со спазмами в пищеводе старательно выпивал. Еще Гиора запомнил тяжеленную, красную руку Клавы, которой она гладила его по голове, когда он мирно играл с ее дочкой в каких-то ее якобы кукол, была, вероятно, зима, потому что Гиора запомнил Клавины огромные валенки у двери, от которых шел пар.

С Вардой Гиора познакомился на вечере в честь дня авиации. Когда начались танцы, ребята из эскадрильи стали нарасхват, Гиора танцевать не умел и вышел покурить на воздух, тяжелый, влажный, чувственный воздух средиземноморской ночи, в которой торжествовали гормоны. У дерева стояла девушка в ладной солдатской форме и горько плакала. Гиора принес ей воды и сказал, что «все пройдет». Она покосилась на него и спросила, откуда он это знает. «Так всегда говорят, когда хотят утешить», – сказал Гиора. Он очень хотел спросить, отчего она плачет, но стеснялся. До сегодняшнего дня он не знает, почему она плакала, и это его мучит. Они пошли прогуляться по набережной вдоль неестественно спокойного моря, пахучая, парная вода которого казалась черной и густой, как любовная, бесконечная, пьяная ночь девушек, отдохавших от тягот работы на плетеных стульях возле бесчисленных баров.

Вот эта прогулка все время снилась Гиоре и вкус ледяного пива в литровых бокалах, которое они пили в сомнительном заведении на площади возле оперного театра. Скучавший хозяин сменил для них арабскую музыку на джазовую, безымянной нации, затем принес блюдо крупной свежей клубники, которую пожелала Варда, а потом выпил с Гиорой по стакану бренди «за здоровье летчиков, самолетов и девушек». Второй выпили «за любовь». «Любить женщину – это красиво», – сказал хозяин. Наконец он оставил их, и Варда сказала, что «она неприлично быстро становится зависимой от мужчины, что ей стыдно от этого, но она ничего с со-

бой поделатъ не может». Гиора сказал, что «это, наверное, замечательно», они поцеловались через стол, и этот поцелуй тоже все время снился Гиоре. В военный городок ее не хотели пускать. Гиора заполнил какой-то бланк, и под ободряющим взглядом дежурного старшины Варда скользнула в святая святых – жилой квартал «птенцов», как их называли, кончивших летное двухгодичное училище, во славу возрожденной страны и юношеского военного честолюбия. Соседи Гиорины куролесили, птички, и комната была только их, как и квартира, как и весь этаж. Они долго сидели у окна, глядя на ночной пейзаж с бледными огнями фонарей, и Варда тихо рассказывала, что у нее есть две сестры и брат, который не хочет учиться, и что мама и папа работают в банке, и что отец называет ее Розой, и что она хочет стать танцовщицей, и чтобы только не было войны, и что она любит сильные мужские руки, и что он ей сразу понравился, и что слабое ее место это уши.

У нее были очень гладкие, отполированные морем ноги, она была неожиданно очень тяжела, и эта ее внушительная весомость стала навсегда для Гиоры открытием, которое тоже снилось ему все время.

Когда он проснулся, стенные часы, свадебный подарок ребят из эскадрильи, били восемь. Уже тянул вечерний холод Иудейской пустыни в раскрытые окна с улицы в дом. Из Гиориного кресла можно было увидеть геометрически правильный перекресток в тающем дне, на который медленно выезжал синий полицейский «форд» со включенной мигалкой на крыше.

Гиора зажег плиту, раскалил чугунную толстенную сковороду, капнул масла и положил пласт мясного филе, так называемой вырезки, с глазком жира. Щедрой щепотью посолил и поперчил, пару раз перевернул специальной никелевой лопаткой, и, когда цвет мяса и дух его стали соответствовать известным стандартам, ужин для изголодавшегося одинокого мужчины был готов. Нет нужды говорить, что Гиора замечатель-

но готовил. Он вообще мог многое. Мог сам починить автомобиль, мог не пить, а мог и пить, мог повязать не носимый в этой стране галстук, мог жестоко наказать врага рукой, а мог и телеуправляемой бомбой, мог умножить в уме 413 на 872, только он не мог прекратить любить свою жену. А она в один прекрасный день его разлюбила и любить перестала. Вот и вся коллизия.

Знакомство с Гиорой Суровцев и Спивак разрабатывали, как военную операцию. Разрабатывались и обсуждались самые невероятные планы, вплоть до перелома спиваковской левой ноги и позднейшей госпитализации посредством Гиориной машины. Был еще план ложной тревоги. О Берте, которая познакомилась с Гиорой легко и быстро, никто не думал. В конце концов за разговорами потеряли цель всех планов и уже просто по-старчески скрипло беседовали: «Вот если бы пожар, тогда бы мы... или, к примеру, наводнение».

Однажды Гиора подошел к ним в сиреновом вечеру и сказал по-русски: – Господа, меня звать Гиора Аялон, я инженер, мы с вами земляки, может быть, съездим в город, я знаю одно место – выпьем, закусим.

Берта просила Гиору, за день встретив его в лавке. Что же отвечать, когда просто одно безоговорочное «да».

Называлось это предприятие – поехать в город.

Поехали по единственной пока дороге, ведущей в город. Торговая дорога эта, в арабских лавках и магазинах, была оживлена. В субботу, в выходной, сюда бегали на последний в неделю похмел местные алкаши, которых лавочники, не понимая души, но уважая за расход, принимали как неизбежное двоюродное наказание.

Суровцев не относился к арабам никак. Он их не знал, не был знаком. Люди и люди. Живут, и я живу. «Вы мне свою правду не суйте, – сказал он одному деревенскому, выпускнику 1-го Ленинградского медицинского института, – у меня своя есть». Интернационалист Спивак вообще считал, что арабы тоже люди и должны

быть такими же гражданами, как он. «Не смогут – поможем, не захотят – заставлять не будем», – говаривал он, очень энергичный пенсионер. «Что же делать?» – спрашивал тихий Суровцев. «А ничего, а в ж...», – отвечал Спивак очень коротко и убедительно.

Так вот по деловой, цветущей этой дороге, по старому, девятилетней давности асфальту, мимо бараньих, в белейшем жиру туш на крюках в дверях мясных лавок, мимо арбузных «пижамных» холмов, мимо недостроенной виллы малорослого английствующего короля с черкесской охраной, мимо влажных площадок для продажи подержанных автомобилей, мытых дважды в день наемными мальчиками, мимо чистеньких аптек с подозрительно привлекательными лекарствами, мимо стен, выстроенных на тротуаре из огромных прозрачных пакетов с одноразовыми пеленками и туалетной бумагой, мимо плюшевой мебели под тентами возле соответствующих магазинов, мимо лавки менялы в чесучовом английском костюме, восточного тихогоголосого дяди, мимо хлебопекарен с электровыпечкой, поехали в город за любезным разговором и за дружбой.

За Французской горкой, с не грандиозным, но надежным на ней кварталом, с одиноким прохожим на садовом, к дороге, склоне под однообразным небом, город пошел пунктиром. Вот он есть город, а вот его и нет. И так далее.

Большой просторный перекресток за Французской горкой, ведущий – если налево – никуда; в принципе, в новый столичный университет, похожий на последний и неприступный оплот разума и просвещения. Но университет сбоку, а на самом деле этот путь мимо Управления полиции и правительственных зданий, представителей фундаментального направления в средиземноморской архитектуре, вполне приемлемого в этой жизни укрепления и утверждения, мимо типичных иерусалимских бурых холмов, выводил этот неровный путь по «ореховому распадку», неизвестно почему так названному –

сегодня там гаражи и гаражи и кучи автомобильного металлолома, – на юго-восточный выход из города, мимо Гефсиманских рощ и Масличной усопших горы в пустыню. С зелеными парниками поселений, со скучного вида военными базами, с тут и там копошащейся незнакомой жизнью, с даже новеньким, беленьким городом-спутником, как бы сидящим на вершине шоссе, ведущего к нему из столицы, но в пустыню.

А если направо свернуть, то там хоть и по городу, но тоже, в принципе, на выезд – северный. Все дороги ведут в Иерусалим и из него, и ничего с этим поделать нельзя.

Гиора поехал прямо – они все оставались жить в Иерусалиме «до 120 лет», как поется в песне.

Гиорино место было таково: обстановка деревенского заведения, столы покрыты клетчатой черно-зеленой клеенкой, сумрачно и уютно, а также хозяин типа «я вам не скажу за всю Одессу». В углу одинокий посетитель согнулся над своим пивом. Хозяин, в белом фартуке, отстранив официантку, проворно протер стол влажной тряпкой. Он давно нетрезв. Магнитофон на стойке негромко воспроизводил песню, в которой повторялась лирическая строка: «Я вор и бандит из преступного мира». «Аркадий Северный, наш человек», – с удовольствием узнал певца Спивак. «Фаршмачок, селедочка?» – спросил хозяин, как бы подпевая. Согласились на всё: на пиво, водочку, и на солянку, и на котлетки по-киевски. «Всё мечи», – сказал Спивак. Когда возвращались он всё пел «...а на столе стояло блюдо с рыбкой» из того же репертуара.

Конечно, Гиора не понимал этих стариков, сохранивших темперамент, и вкус к жизни, и интерес к ней. Говорить Гиора не очень любил и умел, но они его растормошили, и он рассказал им на четвертой опасной стопке, как был ранен. Как разглядел в самом конце оптического взгляда черные точки врага, нарушавшие гармонию абсолютно прозрачного, сгущавшего в глу-

бине материю и цвет, неба, которые несли ему досаду помехи, потому что Гиора, как и большинство людей, связанных с авиацией, был помешан на свободе лёта; несли ему боль и опасность его, Гиориной жизни. Почему? По какому праву?

В наушниках Гиора слышал, как они переговаривались по-русски. Один самолет Гиора сбил сразу и тут же был ранен в плечо и грудь. Было очень больно, всё отвратительно намокло от крови, даже страх прошел от отвращения. Сознания Гиора не терял и перед тем, как катапультировал, отчетливо слышал, как страшно ругается его сбитый обидчик, падая на землю. Затем Гиора катапультировал и в воздухе сознание потерял. Очнулся в госпитале, за тумбочкой сидела Варда в белом халате на фоне каких-то бесшумных машин и зеленых экранов и внимательно читала книгу.

– Что читаешь, Варда? – спросил Гиора.

Варда вздрогнула, подняла глаза и закрыла покрасневшее лицо раскрытой книгой, обложкой наружу.

– Биллиард в половине десятого, – медленно прочел Гиора. – Ты давно здесь?

– Вторую ночь, – сказала Варда, – тебе больно?

– Не знаю, поди сюда.

Вот до Варды он им всё рассказал. «А как ругался, летчик-то?» – спросил Спивак. «Как примерно вы, Вениамин Давыдович, но, конечно, менее изощренно, хотя и очень яростно». – «Все же удивительно, как вы сохранили язык, дорогой», – сказал Суровцев. «Мама виновата, очень целеустремленная женщина», – ответил Гиора. «А где она, ваша мама?» – «Здесь она, только в другом городе живет, вы еще познакомитесь», – сказал Гиора. Такой вот тесный вечер, без особых подробностей, кроме разве желания Константина Ивановича Суровцева, который в Ленинграде до пенсии занимался логикой, переписать заново историю России последних восьмидесяти лет. «А меня, несколько лет уже, – сказал Спивак, – интересует разница между фракком и смокин-

гом». Никто помочь Спиваку не мог. «Жаль, я, можно сказать, за этим уехал». Официантка с перекрашенными губами подала счет. «Чур, мы платим, у нас вчера была пенсия», – воскликнул Спивак. Гиора по-солдатски взял официантку, покрасневшую от удовольствия, рукой, передвинул к себе и свободной рукой протянул деньги. «За сдачей он к тебе домой придет», – сказал Спивак. Официантка по-русски, к счастью, не понимала. Когда вышли наконец на улицу имени Гилеля, на спускающийся вниз к Старому городу темный простор, под твердый неба свод, сделанный его рукой, настроение у всех было хорошее. «Какой воздух», – сказал Суровцев. Воздух был холоден, чист, вкусен. Ведомые твердой дланью Гиоры старики двинулись к машине – вниз и налево вверх к площади на холме перед Русской церковью красных и домом предварительного заключения при полицейском участке, – всегда там можно найти место для стоянки, на которое падает тяжелый подсвет церкви и тюрьмы, весь этот путь Константин Иванович потрясенно думал, что все эти темные контуры невысоких домов по главной иерусалимской улице Яффо на темном фоне неба и очертания любимого Михайловского замка на снежной ночной позёмке ленинградского подвижного неба находятся на одной земле, и за что ему так подарил Бог. «Чем-то, видно, заслужил», – рискнул подумать Суровцев.

Машину Гиора вел раскованно и нежно, любовного со стороны было смотреть на движения его твердых, прямых плеч и как бы небрежно расслабленные, большие, хорошей породы, пальцы, кисти, запястья. Варда всегда говорила, что «как мужчина ведет машину, так и любит». Она была, наверное, права.

На пустыре напротив Дамасских ворот Старого города пылали привлекательно арбузни – самодельные павильоны, в которых развлекалась, насыщалась, обогащалась духовно посредством магнитофонов и видеомagnитофонов иерусалимская, жадная до кайфа, публи-

ка. Арбуз мог, конечно, сейчас послужить мостом в гармонию и совершенство, но, с другой стороны, была в нем некая избыточность, и все решили, что это слишком, и отложили арбуз до следующего раза. «Мы его не заслуживаем», – сказал Суровцев. «Не заслуживаем, но достойны», – добавил Спивак.

Ночью Гиоре приснилось, что Варда его любит, лежит рядом, гладит его бедра и хрипловато говорит, внимательно и нежно разглядывая его лицо: – Ты пьян, как Лот, Гиора.

Константин Иванович долго возился на кухне, пил чай, вспоминал лицо Гиоры, его слова, движения, улыбался, вздыхал, сожалел вдруг о своих детях. Потом, со славно покруживавшейся головой, с трудом пробрался по коридору, заставленному излишками мебели, в свою комнату спать. Берты еще не было.

Спивак, уговорить которого и всегда было трудно, включил в своей гостиной свет и, достав из холодильника заготовленного заранее на вчерашнюю пенсию крепчайшего пива банку «Гиннес», усугубил состояние дорогостоящей горечью. К тому же он вслух читал из газеты политический обзор самого главного редактора про ближневосточную ситуацию, изложенную столь же коряво, сколь и непонятно, к тому же комментировал прочитанное, к тому же непечатно. Старуха Спивака, по имени Дина, проснулась в другой комнате, в ужасе послушала и с известной опаской стала мужа ругать из коридора: – Ты что, выпил, Веня? Ты пьян, Веня? Как тебе не стыдно, Веня, так шуметь, Веня?

– Молчи, пока жива. Живешь с политическим комментатором Спиваком и гордишься этим.

– Рехнулся ты, Веня, совсем, соседей постыдись.

– Политический комментатор Спивак приказывает тебе замолчать и спать.

– Когда ты, Веня, человеком станешь? Помрешь ведь скоро.

– Я человек, Дина, и это звучит гордо. Иди спать, Дина, я буду обдумывать прочитанное.

В результате Дина засмеялась, осмелела от возвратившейся доброты и любви, прошла в гостиную, погладила Спивака по загорелой, крепкой лысине, поцеловала по-матерински в колючую щеку и вернулась в кровать к цветным, осязаемым снам из сгоревшей в бесконечных рвах своей местечковой юности, так вкусно, так сладко пахшей украинской, прогретой волшебным молодым солнцем, деревней.

Берта в этот вечер находилась на затянувшемся ужине в доме богатого иерусалимского адвоката Александра Признера, который настойчиво требовал, чтобы все знакомые называли его просто Сашка. Такой израильский демократизм. Так его все и называли.

Подали слоеный торт с воздушным, белейшим кремом и чай во французских фаянсовых чашках, изящно-прочных и простых. «Мой Кузнецов не хуже», – удовлетворенно подумала Берта. Признер сидел напротив нее, проявляя умеренную заинтересованность. На вид он еще был хоть куда. 35 лет назад этот Признер, нынче уже почти стариковских тонов и оттенков, нынче вздорный, натасканный, очень опытный немолодой человек, не без изыска одевавший изящное тело, не без лукавства пропускавший неяркий уже взгляд через освежающие линзы невероятно дорогих очков, – был поджарый смуглый молодой человек, обоженный национальной идеей. Взгляд его не нуждался в освежении, а взгляды в поправке. Признер состоял в национальной, военной организации боевиком, командиром звена. И от всего этого звонкого прошлого осталась жена, так называемая «боевая подруга», которая активно и бескорыстно занималась благотворительностью. Она болела артритом.

– Нет, Берта Борисовна Шепс (так теперь представлялась Берта) отнюдь не овца, – отчетливо подумал Признер, поймав Бертин достаточно откровенный взгляд.

За столом сидел сын хозяев, занятый художественным кинотворчеством уже не юноша, нагловатый, рассеянный, милый киношник, снимавший даровитые рекламные истории с полуприличными и очень яркими сценами, в которых крутился невероятный сюжет вокруг шампуня, лимонада, пива и жареного в глубоком масле картофеля.

Возле киношника сидела его жена Ирит, с загорелым, нарочито без косметики, ширококоротым, глазастым лицом, эффектным, жадным до мужчин, вампирским кинолицом, впечатляющим, конечно, лицом. Женщина Ирит была довольно равнодушная и не жадная до кровати, несмотря на газетный сексореол, и лишь изредка просыпалась к болезненной гимнастической любви, чего мужу, постоянно заряженному, гудящему от жизни, явно было недостаточно. Десятую часть своих доходов Ирит, по заповеди, отдавала секретно бедным. Боялась Бога.

Подле хозяйки сидел приятель сына: пузатый, строгилицый, вне возраста, вне класса, родной, фигурально, брат ленинградского Виктора. Давид жил с постоянных переводов с европейских главных языков, материально лучше, чем Виктор, но в той же сфере. Он писал безукоризненные стихи: музыкальные, точные, умные. Не тот ли таинственный – и какой? – суфлер, нашептывал ему эти слова и их музыку, что и Виктору на ином языке?

Боаз, сын хозяев, давал ему иногда подзаработать, и не только из сентимента к бывшему однокласснику, и Давид, не в силах отказаться, писал ему прочные, бессмысленные диалоги про шампунь и лимонад. Была в Боазе, была, гордая любовь к профессии. Он учился делать кино в Лондоне, мечтал снять настоящий фильм, при первой возможности, и еще не потерял надежды на это.

Сидела за столом еще пара глазных врачей, новоприбывших из города-героя Одессы. Он, робкий на новом месте человек, хорошо пользовал катаракту

Признера в районной поликлинике, был потому доверен и приближен. Ей, бедняге, стало плохо, когда по приезде она зашла в огромный продмаг, который здесь назывался «Суперсоль». Она искала работу и пока сидела во временной квартире и жарила мужу помидоры с луком, перцем и чесноком на одесской сковороде, прибывшей авиабагажом. Ожидая с работы мужа, она сидела у открытой на балкон двери, ветерок надувал тюлевую занавесь из того же одесского авиабагажа, и она плакала над бедной Симой из романа А. И. Солженицына «В круге первом».

Сидел еще прочный такой человек, плечистый, круглоголовый, темнолицый, в непривычном для тела выходном наряде, на которого еще при входе положила глаз Берта. Это был столяр-краснодеревщик, который сделал всю мебель в квартиру Признера, но зван был не потому, а потому что построил трон для пророка Элиягу. Сначала думал из дуба, но затем купил у знакомого из северной друзской деревни, у которого были родственники в Ливане, четыре двухметровые балки ливанского кедра, перевез на грузовике в мастерскую и сам, год, в свободное от шкафов и стульев время, мерил, резал, осторожненько строгал, подгонял, строил. Три человека вынесли эту постройку и на тридцать третий день после Пасхи, когда дети жгут всю ночь костры в канун праздника, столяр отвез этот трон на гору Мерон, на могилу святого Шимона бар Йохая.

И еще сидела жена столяра, женщина с ослепительной улыбкой и в золотых серьгах, представлявших явный интерес для этнографов. Но этнографов не было за этим столом. Их только и не хватало.

Говорили, конечно, из-за обилия так называемых «русских», о России. Берта вещала.

– Русские не любят денег, – сказала она.

– А баб они любят? – спросил не знавший по-русски трезвый Боаз. Его чайная чашка позванивала стерильным французским звуком под постукивающим обру-

чальным кольцом на безымянном неловком пальце. Мать Боаза скривилась, но перевела.

– Очень, – улыбнулась Берта, – мне кажется, что в России этого делают больше, а на Западе только говорят и кино снимают.

– Вы недостаточно ориентированы на местности, со временем освоитесь, – пообещал компетентный Боаз.

– А как живут русские поэты? – спросил, косясь на Давида, любезный Признер, не знавший, как ублажить молчуна.

– Русские поэты выпускают свои книги тысячными тиражами. Живут хорошо, пишут стихи, – объяснила Берта.

Врачиха хотела что-то сказать, но муж не дал. Но Давид все равно не поверил.

– Русские очень любят выпить водки, – сказала Берта.

– Я знаю, – сказал Боаз, – мне оператор Изя, очень хороший оператор, кстати, однажды съемочный день загубил, негодяй, по этому делу.

Признер легко встал и на подносе принес бутылку виски «Джонни Вокер», бутылку сухого красного молодого вина Монфор и пластмассовую миску со льдом.

– Мне безо льда, пожалуйста, чистячком, – сказал молчавший до сих пор доктор. Он, Берта и примкнувшая к ним Ирит организовали достойную коалицию. Хозяйка пригубила от своего бокала и встала прикрыть окна: было уже очень поздно, и иерусалимский ночной холод набирал силу.

Столяр с женой в грузовом автобусике, тарахтевшем, но тянувшем, отвезли сначала врачей, похожих на сонных некрасивых птиц, а затем Берту в другой, противоположный городской конец. Расстались дружески, но не конкретно – зацепиться здесь Берта не смогла. Он как бы плохо понимал, мешала жена, да и на каком языке говорить, только улыбаться и глядеть, да облизываться.

Берта жила от Суровцева в отдельной от него комнате. Специально она шумно отперла дверь, шумно протиснулась по коридору, но старалась напрасно. Суровцев счастливо спал в одежде на нерасстеленном диване, накрывшись покрывалом, Гиора спал, в своем сне сжимая тяжелые чресла своей бывшей жены Варды Зуховицкой, Спивак спал, исключая в тяжелейшей полемической борьбе из партии своих врагов – пенсионеров 12-й жилконторы города Донецка. Берта смирилась, что с нею случалось редко, и, ругая матом судьбу, легла спать одна.

Берта жила теперь на новом месте в другом физиологическом ритме, более медленно, более осмотрительно. Страна Израиль была для нее понятна, как ей казалось, и потому мала для ее размаха, масштаба и темперамента. Берта осваивала «пространство и время» уверенно, и решительно, и дельно. Очень быстро она познакомилась с юристами, врачами, благотворителями, арабскими менялами из Старого города. Она не пропускала так называемой культурной жизни, то есть концертов, выставок и прочего. Мелко и туго процокает по фойе: глядишь, и познакомилась с кем надо; глядишь, провернула что-то; глядишь, и мужика добыла – добытчица.

Она была близка к правым кругам, хотя не брезговала и «воротниками», как она называла представителей левой части «профсоюзно-политического спектра» за выпущенные напоказ широкие белые воротнички, которые в Бертины студенческие тревожные годы гражданской войны в Испании назывались прекрасным нерусским словом «апаш».

В Иерусалиме, закрытом городе, ей было душно, несмотря на воздух гор, и тесно. В Тель-Авиве ей нравилось больше. Там все крутилось, кипело, жило, двигалось, а здесь, пока что, всё и кончится. К тому же ее раздражали представители всех трех главных религий, наводнявшие город. Их рясы, и черные шляпы, и белые

мужские платья мусульман вызывали в ней, к ее чести, надо сказать, одинаковое негодование. «Опять пошел бездельник, опиум для народа, нет бы с женщиной прогуляться», – думала она, глядя на какого-нибудь бывшего ленинградца, с окладистой пегой бородой, плотного, широколицего, с покрытой головой, в сандалиях на босу ногу, владельца пистолета «стар», загара, двухэтажного дома на поселении где-нибудь в Иудее, с женой и детьми закупающего на выходной у оптовика-инвалида Шехтера ящик кока-колы местного разлива, виноградного (разрешенного) сока на субботу, ну и бутылочку, конечно, другую «белого» и 84-го, на ту же субботу. «Весело, и интересно, и содержательно живут религиозные поселенцы в новом селении, что на юго-запад от Иерихона», – написал в русской газете молодой внештатный корреспондент.

С Суровцевым Берта перестала разговаривать совсем, без прямой необходимости. Она обиделась на него за то, что он стал старым. Суровцев готовил себе сам, убирал комнату сам. Берта, правда, стирала ему бельишко в немецкой стиральной машине «конструкта» на самой быстрой и экономичной программе – Константин Иванович Суровцев освоить это чудо западной жизни не мог.

Трижды пытался Суровцев заняться общественно-полезным трудом. В университете появление этого громоздкого, поджарого старика на кафедре общественных наук было воспринято не очень радостно. Видывали эти аккуратные люди и не таких. Два бритых, сдержанных господина, один с трубкой, были любезны, слушали внимательно, поили чаем с коржиками, но слова Константина Ивановича как-то повисали в откондиционированном воздухе кафедры, в ароматном дыму профессорской трубки, застревали в толстых книгах по новейшей истории, на забитых полках вдоль стен. Остался у Константина Ивановича какой-то неловкий осадок после встречи, как бы долгий привкус во рту

после невоздержанного застолья. Был там еще некий молодой господин, молодой докторант по профсоюзному движению в СССР, как он представился сам. И вот смущенный и торопливый совет этого лысоватого, трепетавшего в разговоре земляка, в энергичном блеске сильных очков, уже как бы вытянувшего свой золотой жребий и отославшего Константина Ивановича за стипендией в Совет по трудоустройству ученых при Агентстве Евреев, отнял у Суровцева надолго уверенность в своих достоинствах советского ученого-гуманитария, выбил твердую новую землю из-под длинных старческих ног и подогнул, подогнул.

Другой раз, по рекомендации старого знакомого Бори Нэбаха, которого в Ленинграде все называли «один из главных каналов самиздата», Суровцев пришел на прием к хозяину переводческой фирмы. Когда вечером встревоженный, добрейший Боря, сам живший от преподавания шахмат, русского языка и невооруженного вахтерства, прибежал к Суровцеву, тот внимательно и не без наслаждения читал некий затрепанный том. «Что случилось, Константин Иванович? Почему вы не беседовали с ним?» – «Да ну, Боря». – «Нет, все же, что случилось?» – «Ничего не случилось, я просто стар, давайте будем пить чай». Только за чаем выяснилось, что Суровцев ненавидит с детства собак, а у хозяина возле стола сидел полутораметровый датский дог, эталон собачьей кротости и красоты. «Ну, я не мог не уйти», – сказал Суровцев. «Все же это странно, Константин Иванович», – огорчился Нэбах, которого иногда называли Нэйбахом, Нобухом, даже Лабухом, а он был именно Нэбах, растяпа, неумеха неудачная, с полураскрытым ртом из-за полипов в кривоватом, бесформенном носу.

Третья попытка Суровцева была успешна – только сам он был безуспешен. Спивак взял его с собой, они долго ехали из своего микрорайона поздним утром, и в управлении автобусного кооператива «Эгед» на втором

этаже служивая девушка, наряженная, как на свадьбу, веселая и спорая, быстро их записала-оформила в амбарную книгу, к другим пенсионерам, выдала им командирские фуражки с зеленой каймой, пластиковые планшеты, бумажные графики и шариковые ручки с желтой фирменной надписью, и уже через сорок минут они зарабатывали свой хлеб, подсчитывая ритм автобусного движения на параллельных остановках на тихой улице имени Красного моря, Спивак в одну сторону, а Суровцев, стало быть, в другую. Автобусы шли и шли, эдакий непрерывный бледно-красный плывущий хоровод, похожий на жестокую детскую игру. Крючкова чистенькая старушка с хозяйственной сумкой пригласила их домой попить холодненького, но они боялись пропустить очередной тридцатьдевятый и тогда она, сестрица, не поленилась, вынесла им кувшин настывшей чудесной воды.

– У меня пенсия, полный дом добра, – подумал, напившись, Суровцев, – право, дурак я.

И поехал домой, где решившая отдохнуть, повидать мир, да и себя показать Берта собиралась в Париж. Ей уже горло стало схватывать от непривычной тоски и скуки жизни, и тут она в газете натолкнулась на объявление, которое прочесть не могла, так как оно было написано справа налево, и лишь в углу, жирно и коротко, латинскими буквами одно слово Париж, и тут же она загорелась, попросила на работе отпуск, который ей немедленно выдали и оплатили, заграничный синий паспорт благополучно и предусмотрительно лежал под бельем в верхнем ящике елизаветинского комода. Берта в тот же день купила билет на очередной рейс национальной компании, исключительно из соображений гарантированной и совершеннейшей безопасности, которой и вообще, как известно всем, отличается жизнь в этой беспокойной, солнечной стране. Правда, с известной периодической небезопасностью, связанной, по мнению многих, с солнечной летней активностью

климата. Билет был приобретен в подобающем агентстве, с солидной мебелью и терпеливыми, выученными продавщицами, на самом деле являвшимися, как минимум, инженерами-программистами с хорошей и даже тринадцатой зарплатой. С заблаговременным, полупустым чемоданом, купленным за день до отлета, Берта, надменно кивнув устало чаевавшему Суровцеву гладким лицом женского человека, после огуречного часового очищающего и вытягивающего компресса, полетела, пташка, вкушать. Специально не голодная после вальжного, вкрадчивого менялы с железной торговой хваткой, не зыркающая, с тяжеленькой, чарующей пачечкой «макарон», как она называла доллары, она в два приема – сначала на сдерживаемом лирически настроенным шофером новехоньком таксомоторе фирмы, конечно, «мерседес» до аэропорта за 27 минут, и оттуда, так ладно, сытно, красиво и волнительно, выражаясь по-театральному, до Орли – столичного аэропорта Французской Республики, где живут другие люди, с детства говорящие по-французски, где можно сказать «Ви, месье», – и вас сразу поймут.

Отъезда Бертинога никто, кажется, не заметил. Она так и хотела. Она как бы тренировала интуитивно большой отъезд, большую поездку. Делать ей здесь было нечего и уже не с кем – Берта выходила на континентальный масштаб. Берта не могла принадлежать одному мужу, одной нации, одному государству и одному воспоминанию. Она была вся – будущее, вся – полет.

К Гиоре привязался журналист. В Израиле вообще непомерное число журналистов, корреспондентов и тому подобного, во всяком случае так кажется. Машины с голубой наклейкой «журналист» на ветровом стекле бодро бегут по дорогам, легко преодолевая любые полицейские заслоны, преграды рельефа, недостатки строительства и препятствия морали. Впечатление такое, что в стране половина населения создает, так

сказать, последние известия, а другая половина их освещает словом, звуком, изображением, в непрерывных сводках и экстренных выпусках. Страна маленькая, кушать надо всем. Так вот, о еде.

Неизвестно, как этот человек узнал про Гиору, все-таки он не знал ни одного слова ни на каком языке, не мог знать, кроме русского, но слухами земля полнится. Журналистская деятельность журналиста была и обширна, и разнообразна. Он брал интервью, писал рецензии и огромные сентиментальные статьи из серии «о хороших людях». Он был настырен, но плохо понимал чужие слова. Любил говорить «я человек творческий», любил делиться перед аудиторией творческими планами. В общем, он вышел на Гиору.

Говорящий по-русски раненый герой-летчик был для него кладом. Журналист, его фамилия была Кадышский, включил магнитофон.

– Дорогие радиослушатели, я беседую с бывшим боевым летчиком в отставке, тяжело раненным в одну из войн в наших небесных просторах, ныне инженером Гиорой Аялоном. Гиора Аялон, скажите, пожалуйста, ста...?

– Прямо не знаю, что и сказать, – задумался Гиора.

– Я вижу на ваших высококачественных и дорогостоящих книжных полках произведения Толстого, Достоевского, Бунина и многих-многих других, в том числе наших нынешних сограждан и соотечественников, в подлиннике, то есть на русском языке. Как странно и, должен признаться, волнующе, видеть книги по-русски здесь, в Иерусалиме, нашей святой столице, в доме человека, который, казалось бы, не ...

– Я с детства люблю читать книги, – сказал Гиора.

– А скажите, пожалуйста, господин инженер Гиора Аялон, о чем вы мечтаете бессонными ночами? – спросил Кадышский, подкручивая громкость записи в сторону повышения, конечно.

Ну и так далее.

На общее счастье, пришел к Гиоре Суровцев вместе с актрисой Ирит Признер – им нужен был переводчик. Ирит была прямо со съемок телефильма о прамати Рахель, в соответствующей одежде, прическе, с тщательно смытым гримом. Даже в этой глухо закрытой хламиде, в сандалиях, уходивших кожаной шнуровкой по высокой ноге под грубый подол, в киношной дикой прическе, над которой так старательно долго трудился изящнотелый гривастый парикмахер съемочной группы, все равно она была пугающе хороша. Тусклая полоска ремешка ее плоских американских часов – подарок тестя – украшала ее чуть слишком тяжелую руку, руку прамати Рахели, по замыслу творцов кинопродукции. Движения ее нерожавшего сильного тела, двигавшие ее несуразное платье, посылали к мужчинам в комнате вокруг теплые бирюзовые волны возбуждения, которым трудно было сопротивляться. Ирит подписала Берте ссуду на пару тысяч, когда та появилась у нее непривычно рано: киношники встают поздно, а творящие энергичное дело жизни, со шпильками в зад у бабы – рано. Теперь ей пришла бумажка, сначала от адвоката, затем из суда, про ссуду, выданную Шепс Б. Б. на гарантийных началах, которую Шепс Б. Б. почему-то не выплачивает, где находится Шепс Б. Б. сегодня – неизвестно, короче, платите, Признер Ирит, или плохо будет. Ирит к деньгам относилась никак, как и полагается, могла как заплатить, так и получить, но она решила поехать к Берте из любопытства. Замуж Ирит также вышла из любопытства, и актрисой стала. Вообще многое в жизни совершила из любопытства. Вставший ей на встречу Кадышский не был ей любопытен, она таких знала. Друголицый скромный однолюб Гиора, с повторяющимися эротическими снами, в которых участвовала его бывшая жена, царапнул ей сердце, царапнул.

Журналист, как мужчина импозантный и холеный, в котором души не чаяла его жена, сказал, что хочет

проинтервьюировать актрису очень. Гиора перевел. Визуальных данных Кадышского хватило бы еще на одного человека, и он бы тоже получился бы вполне. Но так как это невозможно, то с двух людей все это богатство пришлось на одного. У него была чарующая улыбка, и он располагал к себе людей.

Попадая в закрытое комнатное пространство, Ирит производила известное и сильное впечатление. Она как бы включала токопроводник, который немедленно начинал заполнять свободный воздух нервным плотным полем, заставлявшим идти ручные часы мужчин в другую сторону, вспять.

Несколько мгновений все стояли. Ирит слабо улыбалась, она была смущена целью своего визита и тем, что сейчас эта цель выяснится просто для всех посторонних, но ее проклятая профессия, с которой может сравниться разве что профессия Кадышского, позволила ей быстро справиться с собой.

Вечер собрался за окном мгновенно и густо, Гиора включил свет, вышел в кухню и позвал Суровцева. Долго поджигал газ, набирал воду в чайник, издавая, не повернувши лица, разъяснил, за чем пришла Ирит. Суровцев покраснел, как вечер за окном, мгновенно и густо, набряк, помолчал предынсультным громким дыханием, попросил извиниться и сказать, что завтра закроет все долги своей жены. Затем он извинился перед Ирит по-русски, отказался от чаю и ушел.

Славный провели вечерок, под чай и концерт из Лас-Вегаса по телевизору. Кадышский не уходил, Ирит была растревожена, вяла, разговор не получался, ни в какую тему въехать было невозможно и в другую тоже никак, и Гиора изъяслял темно-тяжелую бутылку «Коньяка». Кадышский попросил стакан. Морщинистый итальянец с лицом отставного преступника размягчал сердца присутствующих старой и чудесной песней послевоенного бушующего Голливуда под названием «Путники в ночи». Концерт был интернациональный.

Испанец, с трагическим белым лицом, показывал фокусы с расчленением посредством лучковой пилы аппетитной вальяжной блондинки в купальнике. Затем он не забывал соединять все разные части обратно в женщину. На испанце была черная шелковая накидка на белой подкладке, вызвавшая внимание Кадышского. «Я с юности мечтал о черном автомобиле с белыми колесами, точно, как плащ этого прощелыги, – сказал он. – Уже почти старый пенсионер, а езжу на вшивом «рено», которое в гору не тянет». Гиора перевел. «Дивные фокусы», – сказала Ирит. Что еще она могла сказать, у нее и так душа дрожала от всего. Гиора перевел.

Через день он приехал поутру, взяв на службе отгул, на место съежек, поглядеть на Ирит еще. Как бы ничего конкретного, захотел посмотреть и приехал. Как раз был перерыв. Вот какой проблемы при съемках у киношников здесь нет, так это проблемы солнца. От солнца отдыхают, лечатся, прячутся. Солнце является безусловной достопримечательностью этой страны, досадной и довлеющей.

Вся съемочная группа сидела под тентами и пила газированную воду со льда. Гримерша «переделывала» лицо Ирит. Парикмахер Жожо поправлял прическу режиссера. Сценарист переписывал диалог Рахели и Якова, наговаривая его себе неприспособленными для диалогов широкими губами. Яков спал. «Русский» оператор Миша в жокейской шапочке, под которой таял ему на лицо и затылок подложенный хитроумно лед, играл в нарды с рабочим Перецом, беспрерывно тихо матерясь по-русски для связки и смазки ивритского языка и на счастье игры, конечно. Что-то Ирит мешало расслабиться под ласковыми, неназойливыми ладонями гримерши, она открыла глаза и увидела Гиору, стоявшего возле автобуса, который служил заодно и складом реквизита. «Качусь по наклонной плоскости», – подумала Ирит, стремительно поднимаясь, улыбая лицо и еще хорошея. Дело в том, что муж ее был в Евро-

пе, в деловой поездке, в Париже, и Ирит почему-то чувствовала себя не в себе.

У нее было полчаса времени, и они пошли погулять под ритмическое бормотание проигрывавшего оператора, которое звучало примерно так: ..ля, ..ля, ..ля, ...уюшки, ..ля, ..ля, ..ля, ...уюшки.

Пошли подальше от съемочной группы по тяжелому карнизу сельскохозяйственной террасы в низкой призрачной тени помидорных кустов, из которых им вослед медленно и тяжело разогнулись два молодых фермера в панاماх, в шортах, в солдатских пыльных башмаках под могучие черные икры, и внимательно и долго изучая крестьянским, втягивающим взглядом эту не соединенную еще ни руками, ни губами пару, его и ее походку, его и ее стать, но больше, естественно, ее походку и стать.

В Париже Берта остановилась у старинных ленинградских знакомых, сумевших освоиться в этом городе, найти работу, квартиру, друзей и все прочее. Это были тихие торговые люди, работающие и приветливые. Жена играла некогда с Бертой в карты. Теперь они держали магазинчик недалеко от Северного вокзала, в котором можно было купить всё, ну, или почти всё. После работы жена варила на мясном бульоне «марсельский» рыбный суп, пробуждавший к жизни. Затем записывали скромную пульку, запивая винцом божоле. В течение дня Берта совершала крейсирующие вояжи по городу с целью купить-продать-посмотреть, какой-то подстаканник 18 века, гравюры Сенатской площади неизвестного автора, и краем глаза набережная точь-в-точь Кировская набережная, та же холодная европейская линия. Возвращалась к вечеру взбодораженная, веселая, голодная. Поездка проходила удачно.

Нэбах Суровцеву скучать не давал, привел гостя. «Хочу предложить вам работу, – сказал гость. Нэбах торжествовал. – Давайте напишем книгу».

Суровцеву стало весело. «Я, видите ли, не писатель, я – читатель», – сказал он.

– Вы не поняли, – терпеливо сказал гость. Это был с крепкими щеками, похожими на ягодицы выкупанного младенца, человек. Нос картошкой, борода лопатой, голова тыквой – эдакий огородник. – «Я грамоты не знаю, пишу с постыдными ошибками, очень занят. Я вам расскажу историю, по нашему майсу, вы ее запишете. Это будет замечательно. Я хочу, чтобы это было запечатлено на бумаге и лежало у меня дома. Оплачу, как скажете». Он тяжело дышал, несмотря на здоровую внешность. Нэбах ему был двоюродным братом.

– Ну, хорошо, – сказал Суровцев. «Как все же я слабохарактерен и каким кажусь им безвольным инородным славянином», – подумал он досадливо, хотя кузин Нэбахов, его звали Зэйв, по-настоящему его заинтересовал. Он знал таких в Питере, вернее, слыхивал о них. Такие жили огромными, патриархальными семьями обычно на окраине, вдали от «шума городского» на последних этажах торопливых, но прочных кировских домов. О лифте, конечно, никто не помышлял, жили стенокардию на крутых, тесных лестницах счастливыми, веселыми и еще лучшими поколениями, и всё в двух несмежных комнатах, при еще двух семьях: дружелюбной, железнодорожника Коломийцева, и вражеской, станочника Валяева, по кличке Мозга. Так вот топали по бетонным, неудобным ступеням, перемежая просто добрые дела еще более добрыми делами, отмечая большой водкой странный праздник – освобождение из Петропавловской крепости раввина-основоположника сто с чем-то лет назад, с поездками на святые могилы в город Умань, в деревню под Каунас и еще куда-то, за Минск, в сторону Польши, где ни местечка не осталось, ни названия его, и чуть ли не меряли шагами от станции к лесу, поправляемые местными, русыми, пожилыми мужиками – тихими, не злыми людьми – белорусами.

Пока однажды глава семьи не задохнулся на последнем, двенадцатом пролете, не поднялся, не подтянул потуже парадный кушачок-гартл, не подтянул тусклые голенища праздничных сапог, не передвинул, строго глядя на себя в настенное поясное зеркало, велюровую, не смятую, черную шляпу с пепельной лентой и твердо сказал: – Всё. Уезжаем.

Вот какие люди водились в России.

Зэив рассказал следующее.

В одна тысяча девятьсот пятьдесят втором году, в августе, перед самым учебным годом, в квартире одного скромного, как говорится, «лица еврейской национальности» умер от рака желудка разыскиваемый московскими органами опальный раввин – служитель культа личности Бога, Д. Г. Квартира была коммунальная, умирал Д. Г. полгода, детей у «лица» было много, но, видно, никто не настучал, не проболтался, а может, что маловероятно, органы оплошали – и Д. Г. «умер в своей постели», в семь часов утра. А в восемь уже приехал грузовик и соскочили с него шесть угрюмых настоящих хлопцев, в сапогах, шляпах, сюртуках и бородах, как некая марсианская массовка из фильма про странный народ, проживающий случайно в ленинградском рабочем районе, колыбели всего лучшего и светлого в этой стране. Парни деловито поднялись в квартиру «лица», который сидел с сыном на лестничной площадке, так как по религии мужчинам их происхождения нельзя было находиться в одном доме с мертвецом, и через пять минут они вынесли тело, аккуратно обернутое холщовыми серыми простынями, и «лицо» с сыном шли за ними, отставая на пролет, и видели, как сложили ребята тело в кузов, вспрыгнули сами и грузовик уехал под знаком «проезд воспрещен». Сыну «лица» было пять лет: он запомнил мокрое от слез лицо старшего из парней, когда тот наклонился поцеловать руку отца, раскрытый рот дворничихи Марии-«козлихи», смолкший гам детей во дворе.

Всё это случилось в Ленинграде, в конце августа, как уже говорилось, 52-го года. Адрес – СССР, прежде Россия, но это, кажется, говорилось тоже.

Конец первой части

1985 г.

Книги издательства «АНТИКВАРИАТ»

Александр Котомкин. О чехословацких легионерах в Сибири. Воспоминания. Стр. 184.

Константин Вагинов. Труды и дни Свистонова. Роман. Стр. 152.

Иван Аксенов. Пикассо и окрестности. Стр. 72.

П. Заварзин. Работа тайной полиции. Воспоминания. Стр. 175.

П. Крупенский. Тайна императора. Историческое исследование. Стр. 115.

Владимир Лебедев. Борьба русской демократии против большевиков. Стр. 62.

Виктор Шкловский. Ход коня. Сборник статей. Стр. 206.

Эм. и О. Штейн. Чтобы Польша была Польшей. Антология русской поэзии. Стр. 74.

Наталия Резникова. Пушкин и Собаньская. Историческая повесть. Стр. 60.

Алексей Ремизов. Пляс Иродиады. Сборник коляд. стр. не нумерованы.

Редактор и издатель Э. Штейн

Antiquary
594 Chestnut Ridge Road,
Orange, Conn. 06477, USA.

ВОСЕМЬ СТИХОТВОРЕНИЙ ИЗ НЕНАПИСАННОЙ КНИГИ

* *
 *

Произношу заученный рефрен,
произвожу заученные жесты,
в который раз выравниваю крен
от скошенного громыханья жести

заржавленной, заржавленным гвоздем
ее кой-как приковывая к балке,
чтоб и не снился ей ни оком,
ни гвоздодер... Всё в той же раздевалке

я надеваю старое пальто
на стертую залатанную кожу
и вновь произношу и сё, и то,
произвожу всё это же и то же,

происхожу оттуда же. Молва
меня рисует много интересней,
чем то, что есть, чем тою, какова
я есть, была и буду. И хоть тресни.

* *
*

Для чего, проходя, проходимец
мне дорогу туда указал,
указательным жестом мизинец
на закрытый нацелил вокзал?

Для того ли, чтоб, в мыслях усталых
погрузясь, не заметила, что
на корявых рассохшихся шпалах
разбивается цирк шапито

привидений не прошлого века
и химер не вчерашнего дня,
но сюжеминутных. И ветка
не вывозит меня. Это для

округленья неконченных съемок,
в смету казни внесенья чернил,
для того чтобы поздний потомок
той же дверью ладонь защебил.

* *
*

Черемуха цвела и отцвела.
Чему и почему ты отвела
в душе четыре сотки,
а не просторный райский огород,
не весь простор, не весь круговорот,
не все земные соки?

Ты учишься ли больше ничему
белеющей черемухой во тьму
души не дать, не вспыхнуть,
не сыпануть порошей лепестков
по перекрестку четырех ветров
в автомобильный выхлоп?

Учись-учись. Четыре стороны
у света, стороны, а не стены
и даже не забора,
а грядка, отведенная в душе,
всё уже и всё суше и уже
не стоит разговора.

* *
 *

Это пето на заре
завтрашнего утра,
на затоптанной золе
от любви как будто.

Это пето с холодком,
будто бы нетрудно
разжигать костер тайком,
а топтать прилюдно.

Это пето кое-как,
не стараясь чище,
словно жизнь была пустяк,
а не пепелище.

* *
*

Следить погод и непогод
установ чередование,
ушел из дому старый год,
как старый граф в скитанье.

Но не в народ и помирать
на сонном полустанке,
не в пустынь-скит и не на рать
раскатывать на танке.

Ушел из дому в новый дом,
прозрачно-сквозняковый,
где под ореховым кустом
и сам он станет новый.

* *
*

Глубокоуважаемый
господин адресат!
Если мир пережаренный
– кто ж ему виноват?

Если пыльным мешком его
трахнут из-за угла
– что ж искать насекомого
в виноватчики зла?

Что ж ловить жесткокрылого
усача-рогача,
если с чирья раскрытого
хлещет кровь горяча?

Если-если – не если бы,
так, как если, и есть.
Что ж мы тычемся сослепу:
где бы счесть да прочесть?

Что ж мы палимся бестолку
по бокам и назад?
Посмотреться бы в зеркало
– знать бы, кто виноват.

* *
*
*

Иногда,
иногда я понимаю,
понимаю, что они были правы
– доктора из Малого Кропоткинского переулка.
И верно ведь надо быть сумасшедшим,
чтобы исправлять нравы,
да еще и не ради славы
и не ради теплого места придурка.

А иногда,
иногда я опять не понимаю,
как могли они думать, что навечно останутся правы
– доктора в халатах поверх гимнастеров,
что не наступят иные нравы,
иные времена – нет, не расправы,
а правды, разгоняющей безумный морок.

Не будем спорить. Лишний миллион
засуженных, замученных, забитых
– всего лишь цифра. И мильон слезинок
не слился, и не вызвал наводнения,
и не оттаял вечной мерзлоты.
Допустим, этот миллион имен
История накопит и предъявит,
но кто же в четырех столицах мира
прочтет подобный телефонной книжке
по весу и по скуке этот том.
Кто это купит? На костяшках счетов
махнуть и сбросить. Миллион слезинок,
а не оттаял вечной мерзлоты.

Вышел из печати новый номер бюллетеня инициативного комитета Ассоциации «НОВАЯ РОССИЯ» (эта ассоциация ставит целью создание русскоязычной политической автономии).

Основное место в бюллетене занимают письма, в которых зарубежная русская общественность дает различную оценку движению за «Новую Россию». В их числе – мнения ряда видных представителей русской эмиграции.

Желающих получить бюллетень просим обращаться по адресу: Lavrov Publishing House, P.O.Box 431, Bay Station, Brooklyn, N.Y. 11235. USA.

ХМЫРЬ

Во Всесоюзном институте стройматериалов сосредоточенно готовились к Первомаю. Накануне директора наградили орденом Ленина, и все члены парткома ходили именинниками. Даже кадровик, отставной кегебешник Никонов, стал лыбиться по утрам и пару раз хохотнул в коридоре. Он, правда, сразу спохватился и зашелся привычным никотинным кашлем.

Не просчитался сросшийся с партией кадровик, когда принимал на работу Иосифа Маркуса, ставшего сейчас лучшим партийным пропагандистом района. В самую еврейскую душу заглянул тогда израненный фурункулами Степан Никонов – потомственный следователь, который мог вообще не собеседовать с очкастым жидярой – поручил бы толстой Люське похрюкать по телефону: звоните, дескать, будем рады, вы у нас первый, как только место освободится... Но что-то в картавой фамилии было знакомо!

И Степан вспомнил: по учебнику Маркуса «Марксизм и философия» он осваивал заковыристую теорию. Там всё было ясно и подкреплялось примерами. Автор не умничал и объяснял иностранные слова.

– Вы не родственник этого... как его... – Никонов виновато улыбался, сознавая свое пролетарское косноязычие: пусть посмеется молодежь, хотя мы для нее гробили здоровье: – Как его – он поправил синий галстук, стянувший воротник нейлоновой рубахи, покрутил маленькой, коротко стриженной головой с оттопыренными ушами: – Профессор Маркус! – радость на лице и морщины на шее: – Марксист!

– Это мой отец! – молодой специалист покраснел, и это понравилось Степе. – Посмертно реабилитирован, –

Иосиф слегка наморщил лоб и открыто встретил через толстые очки взгляд кадровика: – Полностью!

– Многие пострадали от культа! – Никонов выпрямился, отчего как бы исчезла сутулость и канцелярская приподнятость левого плеча над правым. Лицо его стало суровым – он вместе с партией осуждал беззаконие. – А вы институт закончили, и ничего? – опять засмутился.

– Мы с мамой поверили, что отец был замешан...

– А как же не поверить? – взорвался Степа, будто с ним кто-то спорил. – В газетах писали? Писали! По радио, так? Так! – он понизил голос: – Ну, вы и отказались от арестованного, как говорится, якобы врага народа?

– Так точно! – ответил по-военному все еще красный Маркус.

– Сами-то вы бессоюзный? – Никонов вставлял словечки революционного времени, сигнализируя о своей бесхитростной простоте, хотя он уже все разузнал о Маркусе по своим каналам.

– Комсомолец! – Иосиф сглотнул слюну. – Был секретарем группы в институте...

– Партия сказала – надо! Комсомол ответил – есть! – кадровик поднял указательный палец, предостерегая сомневающихся. – В партию вступать не думаете?

Маркус заулыбался и приоткрыл рот, опасаясь все испортить из-за волнения. Опять стал краснеть, но и кадровик побагровел, затаив дыхание: он так развлекался еще в молодости, чтобы воздействовать на подследственных.

– Мечтал... всю жизнь... если буду достойным... – Маркус перешел на полупшепот. – Как вы считаете?

– Вполне! Вполне! – Никонов потряс головой – перед глазами у него пошли круги от прилива крови. – Молодым, как говорится, у нас дорога...

И Маркус стал работать, не уклоняясь от общественных нагрузок. Хорошо вел себя на комсомольских собраниях, часто обращаясь в партком за разъяснениями. Для инженерно-технических работников – ИТР –

существует строгий лимит вступления в партию: один интеллигент на трех рабочих, чтобы не размыть пролетарскую основу, – и на шестой год работы комсомольца Ёсю Маркуса рекомендовали в кандидаты.

А тут и другая у него радость – жена родила дочку Леночку! Крошка, а копия отца: такой же широкий носик, чуть приплюснутый к щекам, глазки – точечки, лобик – квадратный, но головка рыжая, как у мамы. Это всё он увидел через окно родильного дома.

Сохраняя скромность, обозначил жене крупным тонкогубым ртом:

– Бу-ду кан-ди-да-том! – и показал себе пальцем на грудь: утвердили, значит, тему.

Наташа радостно закивала головой, глубже запахи-ваясь в казенный коричневый халат. Свой халат, в цветах, носить в этой больнице запрещали.

Любил жену Иосиф: квадратненькая, ходит чуть бочком, ни с кем не спутаешь, и ноги тонкие, как у мамы Иосифа, хотя бедра широкие – рожала легко.

Улыбнулся ей снизу и послал воздушный поцелуй, проводив его полет счастливым взглядом. Покосился на других, чужих и ошалелых отцов, отмахнул жене запрети-тельно:

– Иди! Иди в кровать! Простудишься!

Никогда не забудет Иосиф этого дня – ноги сами несли домой, приминая падавший снег, в голове складывался какой-то мотив.

– Композитор во мне пропадает! – покосился на полупустой магазин, народ толпился только в вино-водочном отделе. – Через годик квартиру получу, а там, глядишь, старшим научным сотрудником стану! – он заметил трех алкашей у остановки троллейбуса, один придерживал во внутреннем кармане пальто бутылку и, косясь на прохожих, с показной обидой бубнил:

– Ты что, жрать идешь? Сырком занюхаешь!

Сам Иосиф в гостях выпивал помногу, но пьяных презирал.

Музыкальный мотив ускользнул, но петь хотелось.

– А что? Примут в партию, потом кандидатскую заделаю! – заботливо посторонился, пропуская детскую коляску. – Все-таки справедливо! – вздохнул глубоко и радостно, как в лесу, на лыжах.

Всё складывалось по плану. Страна ценит некоторых своих сынов, даже если они евреи. Приняли в партию, дали квартиру, сделали старшим научным, но с диссертацией застопорилось, хотя он всю расчетную часть списал – ошибки быть не должно!

И ведь делал всё! Одних лекций об «Истинном лице сионизма» прочитал больше десятка! Но последний раз на кондитерской фабрике нашелся один хмырь, сутулый, который поднял руку, будто с уважением.

– Пожалуйста! – Маркус, блеснув очками, отечески склонил голову набок.

Хмырь встал и руки за спину заложил, словно на допросе, хотя и сам вызвался:

– Грузчик Либерзон! 1930 года рождения!

– Вы бросьте это, Либерзон! – пронзительно крикнула из-за стола на трибуне председатель месткома – она загоняла всех на собрание. – Бросьте!

Фабричный пропагандист из ОТК привстал из-за стола и потянулся к Маркусу, извиняюще зашептал:

– Ее муж! Разводятся! Двое детей! Пьет!

– А ты разве не Либерзон? – вдруг спросил ее хмырь.

– Уже нет! И никогда не была! – тряхнув крашеными кудряшками, обвела взглядом зал, ища сочувствующих: – Орлова я!

Кто-то издевательски похлопал в центре зала, а сбоку нарочито громко чихнули.

– Тихо! Тихо! – фабричный пропагандист встал, чтобы лучше видеть нарушителей. – К нам же человек приехал! Вот! – он указал рукой на докладчика, чтобы окончательно пристыдить бессовестных. – После работы, не жалея сил...

Всё было верно, сейчас была пересменка, и в зале заседаний были те, кто работает до полуночи. А лектор ишачил после работы.

«Проклятый хмырь! – Маркус сжал зубы. – Вот из-за таких... Не такой уж ты и грузчик! – он наливался неприязнью: – Никак не скажешь, что не такой уж ты и Либерзон... И при мне!»

– Товарищи! – голос Иосифа сорвался.

Шумок стих. Фабричный пропагандист, продолжая бдительно оглядывать зал, медленно сел. А Либерзон не сдвинулся.

Лектор откашлялся и обратился к возвышавшемуся скандалисту.

– Что вы хотите спросить? – специально не добавил ни «товарищ Либерзон», ни просто «товарищ».

– Как ваше имя-отчество? – тот продолжал искать прикрытие на свой тощий зад.

– Ты не наглей! Не наглей! – фабричный пропагандист вскочил и погрозил пальцем. – Не пользуйся нашей демократией!

– Дайте человеку спросить! – крикнул петушком молодой работяга и потупился, будто не он голос подал.

Два его друга, по бокам, переглянулись и, сохраняя серьезность, бесстрастно захлопали, стараясь не смотреть на начальство за столом. И вдруг в зале совершенно открыто, даже в первом ряду, стали хлопать. Положительные люди хлопали, по привычке, безо всякой издевки. И Либерзон похлопал – с народом.

– Иосиф Исаакович! – бросил Маркус в зал, всем своим видом показывая, что таить ему нечего ни перед партией, ни перед народом.

Кто-то приподнялся из задних рядов, чтобы внимательно осмотреть лектора, после рассказа о кознях сионистов.

– Еще вопросы будут? – ему не из-за чего было смущаться, а видал он и не таких.

– Будут! – ответил тот же Либерзон, и фабричный пропагандист опять привстал со зверским видом, но лектор успокоительно ему кивнул, и он сел.

– Герой Советского Союза летчик Маркус не ваш родственник? – Либерзон продолжал стоять, но напряжение в зале и за красным столом спало, хотя Орлова всё еще уничтожала взглядом своего нерусского мужа.

– Ну, Маркусов много! – Иосиф развел руками, подчеркивая и свою простоту, и братство советских народов. – Есть и герои, есть и скандалисты!

Опять кто-то вызывающе громко чихнул, и только тогда в зале напряженно хихикнули.

– Почему вас интересует летчик с моей фамилией? – лектору хотелось раздавить Либерзона. Здесь же! Как только такого на работе терпят!

– Я при всех не могу! – Либерзон сел.

Публика недоброжелательно всколыхнулась, отыскивая взглядом затаившегося заговорщика.

– Почему это не можешь?

– Что за секреты?

– Пришли человека послушать, а он срывает!

Фабричный пропагандист резко встал, специально громко двинув стулом по сцене.

– Не мудри, мудрец, понимаешь! Уважай, так сказать! – он обернулся всем телом к Маркусу и еще раз взглянул на Либерзона: – Ты чего человека позоришь? Шабаш, понимаешь, устраиваешь?

– Хорошо! Я скажу! Пусть все знают! – объявил тот и, встретив любопытные взгляды, не смешался.

Фабричный пропагандист постучал по столу костяшками пальцев, но ничего не сказал.

– Скажу! – повторил Либерзон, уговаривая свой страх. – Я с партией! С народом!

Молодой работяга с петушиным голосом не то взвизгнул, ни то свистнул.

– Мы с тобой еще поговорим! – пообещал фабричный пропагандист, не отводя взгляда от Либерзона. Затем поднял руки, призывая к тишине.

– Вопрос к Либерзону! – пронзительно крикнул петушистый работяга, посоветовавшись с истомившимися от скуки друзьями. Это он защищал его, подчеркнуто назвав «человеком». Он же и взвизгнул.

– Только по делу! – предупредил фабричный пропагандист.

– Лады! – работяга посерьезнел и встал, и его друзья с интересом посмотрели на него, будто давно не видели. – С какой партией? И с каким народом? Уточни! – и сел.

В зале раздался шелест, смешок и смущенное крыканье партийных активистов.

– С партией труда! – ответил Либерзон, не вставая, но это никого не насторожило. – Израильской!

По лицам пожилых рабочих пробежала судорога. Даже в первом ряду привстали, вертя головами: взгляд – на Либерзона, взгляд – на трибуну...

– Хулиган! – фабричный пропагандист был бледен как смерть.

Либерзон нахмурился и сидел ссутулясь, будто не о нем шла речь.

– Не дам разрешения на уезд! – крикнула Орлова и втянула голову в плечи, словно бывший муж собирался ее бить. – Алименты кто будет выплачивать? Дядя Сэм? – она без улыбки, по-блатному, хохотнула.

Никто больше не потягивался, собираясь уйти.

– Правильно вас не любят!

– Во всем мире баламутите!

Фабричный пропагандист приподнял правой рукой графин, на который был надет стакан, а левой застучал по столу.

– Никто никуда не уходит, – он обозначил на лице улыбку. – Один момент! – показал рукой на Маркуса, как конферансье на солиста: – Разрешите поблагода-

рить Иосифа Исаевича за содержательный, можно сказать, доклад!

Жидко похлопали, а Маркус, кисло улыбаясь, собрал листочки с пюпитра.

– Не Исаевича, а Исааковича! – хулигански уточнил притихший было Либерзон.

И рабочие, находясь в дверях, спиной к сцене, зло рассмеялись и даже вызывающе взвыли.

На следующий день заместитель секретаря Бауманского райкома вызвал Маркуса, с которым начальник отдела утром как-то отчужденно поздоровался, не подавая руки.

– Приветствую вас, Иосиф Исаакович! – заместитель секретаря вышел из-за стола, чтобы пожать руку лучшему пропагандисту района. – Что за сионистская манифестация получилась у вас на фабрике Микояна? – он вернулся на свое место и показал Маркусу на стул перед собой. – Там что, коммунисты мух считают?

– Я, Иван Федорович, не несу ответственности...

– А жаль! – перебил его заместитель. – Коммунисты должны всегда нести ответственность!

И пошло-поехало...

Необычно быстро пришли Маркусу отзывы на диссертацию. Резко отрицательные. Его портрет сняли с доски лучших пропагандистов, а самого послали главным на уборку картофеля.

Он честно исполнял свой партийный долг, личным примером упрекая любителей перекура. Но из-за одной институтской секретутки, которой всё равно с кем, деревенский оглоед случайно, в темноте, зарезал младшего научного сотрудника.

– Хотел попугать! – ныл убийца, когда милиционеры увозили его на мотоцикле с коляской. – Неужели я из-за бабы стал бы человека резать?

Маркусу объявили строгий выговор с занесением в личное дело. Спасибо не судили! Жизнь закончилась. Пирамида рухнула. Иосиф вызвал врача на дом, взял

бюллетень и стал искать встреч с людьми, с которыми раньше не здоровался, – с Левинштейнами, во втором подъезде его дома. Те сидели в отказе три года, но вдруг получили разрешение.

Буся Левинштейн сказала Маркусу прямо:

– Я бы вам все равно вызов выслала из Вены!

– Почему? – удивился он.

– Потому что вы нас избегали и даже кривляли мою походку! – она хромала.

Раньше Маркус обижался на тех, кто ехал в Израиль, и однажды, действительно, передразнил толстую Бусю, а ее муж, наверное, увидел из окна.

– Ёся! – сказала она доверительно, и он покраснел. – Вас в Израиле – нарасхват! Не упускайте своего счастья!

– А Наташа? А Леночка? Ей ведь десять лет! Там служить надо! – Маркус старался выглядеть независимо, хотя рубаша на его спине взмокла – он стоял у Левинштейнов в ванной, и все краны были открыты, чтобы не подслушали. Ефим Левинштейн, для страховки, стучал в коридоре молотком по ящику.

– Всё будет в порядке! – великодушно уверила Буся. – Не зря я говорила: – Пусть у них, – она посмотрела вверх, словно советские власти поселились на чердаке, – отсохнет и правая и левая рука, если я не буду в Иерусалиме! – Неожиданно Буся расплакалась и добавила: – Или в Хайфе, у меня там тетя!

Маркус спустился в контору домоуправления – в этом же подъезде, чтобы его там увидели: пусть докажут, что он был у Левинштейнов! А может, это и не играет «рояли»? Не позже чем через три месяца придет вызов... А если нет?

Но вызов пришел, и Маркус после бессонной ночи шел на работу, распаляя себя и обмирая от предчувствий:

«Унижать не надо! Плевать в душу не надо! А Хельсинкские соглашения подписали!»

Пошел не к директору, не к его заместителю, а к секретарю парткома – кегебешники с ним, небось, уже связались... Тот принял ласково, видно, еще не знал.

– Петр! – достал новый красный партийный билет, совсем недавно поменяли и тепло поздравили. – Тебе билет отдать или в райком? Уезжаю в Израиль! – по партийной традиции обращался еще на «ты» и по имени.

– Что?.. Что?.. – секретарь рванул с рычагов телефонную трубку: – Райком дайте! Ивана Федоровича! Что?.. Я тебе дам «сами наберите»! Не обрадуешься!.. Соединяй, пока я к вам не пришел! – Петр оказался без свидетелей, а перед ним стоял враг, перерожденец, которому доверяли пропаганду. Понятна теперь гибель русского человека на уборке картофеля!

В характеристике для ОВИРа Маркусу написали:

«До последнего времени внешне вел большую пропагандистскую работу, якобы активно выступая с разоблачениями сионизма...»

– Специально вставили! – говорил Иосиф жене, содрогаясь от ярости. – Им это так не пройдет!

Левинштейны клятвенно обещали дойти в сопровождении Голды Меир до американского президента, если Маркусов не выпустят на историческую родину.

Мама Иосифа, приплюснутая со лба толстая старушка, наотрез отказалась уезжать, хотя и написала неровным почерком, что материальных претензий к сыну не имеет. Ее справку надо было заверить в домоуправлении, и сын привез маму из-под Переделкино под Москвой – там она в доме для старых большевиков напряженно сравнивала через лупу работы Ленина в изданиях разных лет, надеясь обнаружить оплошность издательства.

Любящий сын бережно вел полуслепую маму под руку, а она приговаривала:

– Как ты мог! Как ты все же мог?!

Полысевшая Руфа Маркус была, можно сказать, дважды коммунисткой: вступила в партию в 1920 году, затем вычищена из нее перед арестом мужа, потом, уже после его ареста, в 1938 году, снова принята – с сохранением партийного стажа. Невиданный случай тех времен.

И сейчас, в пропахшей известкой конторе, она без суеты расстегнула брезентовую полевую сумку, с которой не расставалась даже на прогулках, и достала оттуда тетрадный лист.

– Садитесь, пожалуйста, Руфима Моисеевна! – домоуправ задвигал ногами, словно уступал свое место.

– Прошу заверить! – партийная старуха протянула ему дрожащей рукой, в крупных старческих веснушках, свернутый листок.

Домоуправ развернул его и прочитал, шевельнув губами. Лицо его разгладилось, а глаза сузились.

– Не могу, дорогая! – решительно протянул ей листок.

– Почему? – вскричал Иосиф, холодея: советская власть наступала, не щадя даже его матери, которая столько сделала для партии...

– Здесь, извиняюсь, написано: «Партийный стаж 55 лет»! – домоуправ поднял плечи: – Я этого проверить не могу!

– Вы же подпись заверяете! – твердо сказала старуха. – А всё, что до подписи, – на моей совести! – она стояла с полевой сумкой через плечо, как на поверке.

– Согласен! – он вдруг повеселел. – Как говорят русские люди, на вашей партийной совести! – склонившись, со стуком поставил круглую печать и с удовольствием расписался, представляя, как будет пересказывать весь разговор.

На обратном пути Руфима Моисеевна молчала, невидяще глядя перед собой.

«Могут выселить из Переделкино, – горько подумал сын, – хотя она ни в чем не виновата!»

– Сын! – она сказала это гортанно, пробиваясь сквозь слезы. Нашла рукой его руку и привычно сжала. Старуха слышала, что из вагона электрички все вышли.

– Я, может, к вам приеду, когда вы устроитесь! – она машинально дотронулась до сумки. Чувствуя радость восторженного сына, уточнила: – Посмотреть! – слез уже не было у нее на лице, но она чаще, чем обычно, моргала.

Руфима не могла ужиться с Наташей, да и внучка ее избегала. Только сын понимал мать, но «прижала его эта провинциальная хайка»: коммунистка, подчеркивая свой интернационализм, даже мысленно употребляла антисемитские словечки...

Наташа продолжала работать в химической лаборатории, и две задушевные подруги при свидетелях с ней не здоровались: одна, правда, была еврейкой, и это было понятно. Сама Маркус проговорила, хотя ее никто не спрашивал, что едет только из-за мужа, которому «надо» (намек на Рихарда Зорге), но это ничего не изменило. Стали даже больше презирать, хотя характеристику дали удивительно хорошую. Видно, назло.

Иосиф ушел с работы «по собственному» и с таким напряжением ждал провокации, что даже не обрадовался «разрешению покинуть в месячный срок».

Маркусы получили из заграницы две посылки с вещами и удачно их продали. Денег хватало, чтобы уплатить и за отказ от гражданства, и за отправку багажа, и за билеты, но все равно они решили просить помощь в голландском посольстве – оно представляло Израиль. Пошли всей семьей.

С раннего утра возле посольства уже стояла очередь, но внутрь еще не пускали. И тут, в середине очереди, Иосиф увидел сутулого Либерзона и рядом Орлову с двумя девочками.

«Она-то зачем?» – Иосиф недоумевал.

– Здравствуйте! – Орлова понимающе помахала рукой Маркусу, будто знала, что встретит его.

Очередь напряглась, ожидая, что она еще скажет: вот такие просят деньги, а потом никуда не уезжают, а настоящим евреям нечем оплатить отъезд!

– Шолом! – еще громче сказала Орлова и смело, даже насмешливо окинула взглядом милиционера.

Иосиф озабоченно огляделся, поправив очки. Строгость его лица отметала праздную переключку нерусскими словами. Тем более, милиционер стал проверять визы, будто кто-то чужой мог пристроиться. Вроде Орловой!

Но она предъявила визы на всю семью и снова улыбочиво посмотрела на Маркуса, а тот отвернулся: «Зачем ее-то пускают?» Он отказывался понимать смысл советской национальной политики.

Деньги Маркусам дали на всю семью.

Хлопоты только начались, и они ожесточили Иосифа – издевка проглядывала везде: у нотариусов при оформлении копий документов и в грузовой конторе при сдаче багажа. Леночка негодуя, как папа, покачивала головой, так же кривя рот в улыбке.

В день отъезда мама Иосифа, невзирая на свой партийный стаж, приехала попрощаться. Деньги за обратный проезд на такси, все еще до Переделкино, не взяла:

– Вам они нужнее!

Наташа прослезилась и обняла тещу. Внучка растерялась, глядя на маму, но расплакаться не успела – папа уже сажал бабушку в такси. Леночка обещала писать.

«На могилу бабушке», – подумала Наташа, вытирая слезы...

Маркусы прилетели в Израиль зимой. Иосиф был в пыжиковой шапке, жена и дочь – в шубах. Из Тель-Авива их повезли микроавтобусом в Хайфу.

– Сними шапку, – шепнула Наташа, – ты в ней как казахский депутат Верховного Совета!

Он улыбнулся: и вправду, мимо окна мелькали апельсиновые рощи.

– Смотри, дочка, мандаринки! – Иосиф обернулся с переднего сиденья, показывая шапкой на деревья.

– Это апельсины! – Леночка радовалась, забыв об усталости, – первый раз в жизни увидела их на деревьях.

– Цитрусов будет много в вашем центре – в Мерказ Клита! – сказал с грузинским акцентом шофер, источая доброжелательность.

Маркус понимающие закивал головой и даже весело хмыкнул: «И здесь, конечно, есть советские агенты!» – развернулся к шоферу:

– Вы давно здесь?

– Восемь лет, – ответил тот.

– Значит, воевали? – спросила Наташа, не скрывая восхищения и надеясь, что близорукого мужа от этой чести освободят.

– Немножко! – грузин поцокал языком. – Каждому надо оружие держать! В руках!

Все смолкли. Иосиф вспомнил, как выступал с лекцией о дружбе народов СССР на пожарной станции. Местный шут спросил его тогда о разнице между чучмеком и абханаком. Хотя сам прекрасно знал, что абханак – с Кавказа, а чучмек – из Средней Азии.

Там лектора всегда спрашивали с намеком, что сам он – не русский.

«Здесь такого не будет!» – Маркус покосился на шофера, но тот ничем не интересовался, хотя и вез москвичей...

– Папа! Ослик! – дочь обернулась, со страхом вглядываясь в мертвого ишака на обочине дороги.

– Настоячивый! – шофер сокрушенно покачал головой: – Такому хоть сигналъ, хоть не сигналъ!

«Не настойчивый, а упрямый! – мысленно поправил его Маркус. – С кем же мне придется жить в этой стране?»

В центре для эмигрантов Маркусам выделили две комнаты. Наташе показалось, что у других комнаты

просторнее. Она сразу направилась к администратору, знавшей дюжину языков:

– У меня муж – ученый! – объявила новоприбывшая. – Доктор наук! Ему нужен кабинет для работы!

Еще в Вене один молдавский еврей сказал, что советский кандидат наук – это доктор наук на Западе, а кто проверит? Может, даже академик по израильским масштабам! Главное – быть настойчивым, и всё будет!

Сам молдаванин собирался податься в Америку, а в Израиль ехал потому, что ему должны были вернуть там деньги.

Администратор, хитрая лиса, изобразила восхищение заслугами мужа, но дополнительную комнату не выделила.

У Маркусов, но не у их счастливой дочери, стало накапливаться недовольство. Никто их не превозносил за приезд, все были заняты своими делами, а иврит им не давался. Англист, надо признаться, из-за плохих учителей им не давался с детства.

– Что здесь за лекции устраивают? – возмущалась Наташа так, чтобы слышали соседи. – Ты же знаешь обо всем во много раз больше! – она как бы укоряла мужа.

– Что поделаешь? – скорбно, но достаточно громко отзывался Иосиф и добавлял ироническим шепотом: – Приехали на истерическую родину...

Ученая карьера у Маркуса не складывалась, да и квартиру выделили по соседству с марокканскими евреями: те кричат, лузгают семечки, не здороваются...

– Надо уезжать! – Иосиф показал на объявление в русскоязычной газете:

«Лондонская фирма по качественному переводу набирает переводчиков с английского на русский язык. Высшее образование – желательно, опыт работы – предпочтительно...»

Маркус полетел в Лондон. Чтобы не было сомнений, сразу сообщил, что он – доктор наук. Фирма стояла

крепко: при нехватке работы сотрудников посылали преподавать русский язык. Жить можно было, только бы дали.

Иосиф, сдавая экзамены, судорожно хватался за словари, но все же успел перевести почти всё. Экзаменовавшиеся вместе с ним жаловались, что не смогли ответить на половину вопросов. Пожаловался и он и с новой надеждой вернулся в Хайфу.

Его наконец взяли, о чем Наташа, с помощью жестов, объясняла противным соседям. В ее глазах светилась счастливая снисходительность.

На фирме Маркус сразу начал борьбу, отыскивая, в первую очередь, союзников, близких к начальству. На всякий случай вступил в профсоюз, хотя взносы платил чуть ли не со слезами.

Англичане верили на слово, поэтому считали его порядочным человеком. Но Маркусу этого было мало: он в СССР сумел выделиться, при антисемитизме, как же можно его сейчас приравнять к другим?

– В России многие стали коммунистами, чтобы бороться с советской системой изнутри, – говорил он своему английскому боссу, и тот, ничего не понимая, понимающе кивал головой.

Дома Иосиф с хохотом рассказывал жене, как выжившие из ума старые эмигранты обдумывают методы управления освобожденной Россией.

– Считают, например, что в сибирской деревне американского десантника облобызают, независимо от цвета кожи!

– И религиозных убеждений! – хихикала Наташа и, загребая бочком, отправлялась из кухни в комнату – за рюмками.

– Я с ними, конечно, спорить не буду! – уточнял он ей вслед. – Они мне платные лекции оформляют!

Маркус считал себя обделенным, когда узнавал, что какой-то эмигрант написал книгу или снялся в кино. Особенно раздражали правозащитники:

– Все они подкожные борцы за свободу! – вставлял Иосиф свое слово в столовой. – Где все были, когда надо было о Сахарове сказать? – Ощущая на себе взгляды жующих сотрудников, принимал задумчивый вид, копаясь вилкой в салате.

Сам Маркус в СССР говорил о Сахарове только плохо и очень плохо. Райком поощрял идеологическую задушевность, поэтому пропагандист, часто моргая из-за сизого дыма в коридоре института, говорил курильщикам с оттяжкой:

– По скандальной известности соскучился, академический младенец... А говорят «от добра добра не ищут»...

«Вот гнида партийная! – думал кое-кто из курильщиков, стараясь побольше дыма напустить в его сторону. – Никотина не боится и канцерогенных смол не опасается!»

На Западе переводчик Маркус – «доктор», как его с усмешкой называли русские сотрудники, разбирающиеся в технике, настойчиво добивался поблажек на работе. Тем более, что английские начальники, по сравнению с советскими, были просто-таки детьми. Постоянный контракт, например, ему дали раньше, чем другим. Пригрозил, что иначе уйдет преподавать в колледж, в котором о нем и не слышали. Сработало, а ведь и в карты никогда не играл!

Переводы ему давали такие, за которые платили больше, чем другим: английские боссы всерьез считали его «ученым доктором». Иосиф понял, что опасаться надо только своих, бывших советских.

Маркус редко мучался сомнениями, он и сотрудников ненавидел ровно, с одинаковой злобой. Но когда в родном Лондоне его дочь не сразу приняли в еврейскую школу, он решительно направился к синагоге, как в свое время к райкому. И добился своего, сообщив попутно, что его папа погиб в Сибири за верность сионизму...

Иосиф теперь клял советский строй и был прав: сколько сил ушло, чтобы пробиться в партийный актив! Только за время общественной работы можно было выучиться редкому ремеслу, стать, например, жонглером... Нет, пожалуй, жонглером не стал бы – надо разъезжать по гастролям, и зрение плохое...

В Лондоне Маркус врезался в гуманитарную среду, а это заставляло утверждаться в ней оригинальным взглядом, пусть и не своим:

– У Солженицына, – объявлял он, – неприязнь к инородцам! – понимающе хмыкал: – Погромное ему спасибо!

– У него неприязнь к коммунистам! – возражали ему, не зная, что скрытно вонзают булавку в подсознание Маркуса. – Для них несчастье страны приближало революцию!.. Да ты вообще-то читал Солженицына?

Иосиф бледнел от наглого вопроса:

– Читать-то я читал! – и негодуя хмыкал: – Что я, на партсобрании отчитываюсь?

– А ты был партийным?

Маркус всем видом выражал презрение, обращаясь к другому сотруднику, который молча слушал перепалку:

– Так что сегодня по телевидению?

По телевидению показывали диспут между советским пропагандистом Познером и английским журналистом. Даже улыбка не смягчала волчьего лица бывшего американца:

– А что, – говорил он, – у нас в СССР нет безработицы, и это главное!

– Но ведь на Западе, – улыбочиво замечал англичанин, – на пособие по безработице купишь больше, чем на советскую зарплату! – и добавлял сурово: – Даже в Англии!

– Спорно! Спорно! – Познер покачивал головой, будто удивляясь собственной сдержанности. – Важно, чтобы человек чувствовал себя нужным!

– Это смотря кому нужным! – оживлялся англичанин. – Если советский человек живет в Москве без прописки, то он очень будет нужен милиции!

– Поэтому у нас по улице не страшно ходить! – советский идеолог смотрел на англичанина, как на Красную Шапочку: он-то про нее знал всё, а она его еще могла принять за бабушку. Сам Познер давно уже только ездил по улицам в казенной машине.

– Некоторым страшно! – Красная Шапочка поправляла очки. – Хулиганы в штатском избивают тех, кто встречается с западными журналистами...

– Значит, по приезде домой на меня нападут! – потешался Волк.

– Ты им про жилье скажи, и про транспорт! – подсказывал Иосиф Познеру в телевизор. Он возмущался тем, что платил четверть зарплаты за квартиру в Лондоне. В Москве, правда, за те же пять комнат он платил бы половину советской зарплаты – за излишки жилплощади.

– Бездомных у нас нет! – как бы спохватывался Познер. – А у вас?

– Знаем! Знаем! – англичанин всё понимал. – Даже в тридцатых годах, во время голодовок, после раскулачивания, беспризорных у вас поуменьшилось...

– Партия всегда проявляла заботу о детях! – не то с укоризной, не то с грустью отмечал Волк.

– Конечно! Конечно! – не сдавался англичанин. – Сталин приказал расстреливать больных беспризорных и тех, кого поймали с воровством.

– Это он вам лично сказал? – Волк, довольный, облизнулся. – Чего только не придумают на Западе!

– Потом Сталин это отменил, – согласился въедливый очкарик. – Беспризорных стали отправлять в колонии и на комсомольские стройки...

– На Западе тоже палку перегибают! – обратился Иосиф к Наташе – она не понимала по-английски. – Толковый этот, как его, Познер!

– Дурака бы не послали! – согласилась она, представляя на миг, что и они здесь по заданию и скоро вернутся в знакомый московский район, но уже в большую квартиру, и мужу дадут орден, а дочку примут в университет, а ее саму назначат заведующей лабораторией, и она будет делиться впечатлениями о западной жизни...

«Нет, лучше уж здесь, – думала она, – ничего не надо доставать, и не арестуют!» – Наташа покосилась на мужа.

– Здесь тоже арестовывают, – тихо сказал Иосиф. – И ни за что!

«НОВОЕ РУССКОЕ СЛОВО»

Главный редактор Андрей С е д ы х

NOVOYE RUSSKOYE SLOVO. 519 Eight Avenue, New York, N. Y. 10018

С 1 октября 1985 г. – ЗАГРАНИЧНАЯ ПОДПИСКА
в любую часть света (кроме Канады) обычной почтой:
(газеты за неделю высылаются бандеролью)

	<i>1 год</i>	<i>6 мес.</i>
Ежедневные и воскресные издания:	\$ 160.00	\$ 85.00
Воскресные издания только:	\$ 65.00	\$ 40.00

В страны Европы и Латинской Америки воздушной почтой:

Ежедневные и воскресные издания:	\$ 325.00	\$ 175.00
Воскресные издания только:	\$ 125.00	\$ 70.00

В страны Азии, Африки и Австралии воздушной почтой:

Ежедневные и воскресные издания:	\$ 350.00	\$ 200.00
Воскресные издания только:	\$ 145.00	\$ 85.00

Подписываясь на газету, будьте добры послать нам денежный перевод на сумму заказа в американских долларах.

При продлении подписки обязательно прикрепите компьютерную наклейку с Вашим адресом.

ИЗ СТИХОВ, НАПИСАННЫХ В ТБИЛИССКОЙ ТЮРЬМЕ

Май 1986

* *
 *

Проходя по коридору
Каждый раз абаноши*,
Сквозь решетку вижу гору,
Сука, ключник, не спеши.

Синевы восьмое чудо,
Божий облака ленд-лиз,
Может, кто-нибудь оттуда
Поглядит для смеха вниз.

Там Лаван из глины лепит,
Ноах давит виноград,
Что в тюрьме сижу, как Ленин,
Братцы, я не виноват.

Но ревнивая свобода
За измену платит мне,
Времена меняя года
В разлинованном окне.

* Абаноши (груз.) – в баню (прим. автора).

* *
*

Игрушка сойдет за отца,
Подушка – за пьяного мужа,
Пока матерее пацан,
Супруга мужает не хуже.

Я верю в загробье, сужу
По способу Фрейда об этом:
Я в комнате будто сижу,
Оскалясь от счастья скелетом.

Проедет младенец нагой,
Молчит телефон (отчего бы?),
И диктор в сорочке другой
Доступно плетет про Чернобыль,

На кухне едят овощей,
Собака работает миску,
А после суда вообще
Мою принесут переписку.

* *
*

8 месяцев 2 года
Пролетят, как 3 рубля.
Мы пойдем смотреть Ван-Гога
После дождика поля:

Вот мичуринский подсолнух,
9 баллов в Сент-Мари
И прогулка заключенных
– Не захочешь, не смотри.

Я открою по секрету
Тайну живописи тут:
Насекомых у них нету,
Коли шмона не ведут.

Долго будем мы хихикать
И до колик хохотать,
Время, стало быть, не хитрость
На свободе скоротать.

* *
*

Довольно и мне колготиться,
Грузинское жбанить вино,
На чайных полях Цулукидзе
Отныне трудиться дано.

Вещей установлен порядок:
Какой-нибудь местный корсар
Оттудова крыши палаток
Покажет местечка Ансар.

Но папа мой скажет ООНу
– Попробуй ему запрети, –
Что пятую нашу колонну
Накладно держать взаперти.

И если с нас все-таки оптом
Получат за визу в казну,
Я русское золото опыт
С собой контрабандой возьму.

* *
*

Звякнули под поездом железки,
Укатился Киевский вокзал,
Выпил Сергей Маркович Гандлевский,
Сбацай для писателя, сказал.

Вздогнули в вагоне, каково им,
Может, зоны вспомнили уют,
«Только нам с тобою под конвоем»
Не Бетховен с Моцартом поют.

Близнецы Гандлевские проворны,
Разливают вовремя они.
Вот и переделкинской платформы
Замелькали мутные огни.

С той поры прошло четыре года,
Сергей Маркович не пьет вина.
Наша песня, вещая колода,
Камере понравилась она.

* *
*

Как в Мехико вчера с Италией болгаре,
Читают тихо вслух по камере сосед.
Я вижу сам себя на тающем бульваре:
Мне три, сестре один, а маме двадцать семь.

Не знаю, как назвать тогдашними словами
Троллейбус, особняк, собак на поводке,
Писателя контраст с приветливыми львами,
Мой красный самосвал, сосульку в кулаке.

Косноязычие теперь неизлечимо,
В казарме взрослых слов бывает, правда, смерть
Короче, догорай, гори, моя лучина,
На сына снизу вверх мне некогда смотреть.

Я память починил, врубил на полный реверс,
Родители меня простят, шестого суд.
Счастливые они, проворно пятясь, через
Арбат мою сестру назад в роддом несут.

МАГАРИК Алексей Владимирович – родился в Москве в 1958 году в семье математиков. С шести лет учился играть на виолончели, окончил музыкальное училище, играет также на фортепьяно и гитаре. Участник независимых еврейских музыкальных ансамблей, исполнитель песен на свои тексты. С 1977 года изучал иврит и с 1979-го преподавал его, одновременно изучая арабский и арамейский языки. С 1983 года вместе со своей женой Наталией Ратнер получал отказы на заявления об эмиграции. В марте 1986 года, возвращаясь из Тбилиси в Москву, подвергся незамысловатой провокации: в его сумку, уже сданную в багаж, были подложены наркотики. Приговорен к трем годам лагеря.

СКАЗКА О ТЩЕСЛАВИИ

Перевод с украинского

Невдалеке от морского берега был когда-то пустырь, где рос бурьян и другие колючие растения. Изредка туда, на этот пустырь, заглаживал пастись шелудивый Осел, которого хозяин держал в черном теле, кормя затрещинами и бранью. А так как Ослу постоянно одолевал голод и он никогда не мог наполнить вдоволь свой желудок, то очень скоро съел он все колючки на пустыре. И тогда, видя, что вокруг не осталось ни стебелька, ни былинки, решил он во время отлива перейти берегом на соседний пустырь, отгороженный от моря высокой, мощной стеною, за которой простиралась земля, покрытая, как это издали казалось, особенно сочными колючками. А это означало: земля принадлежит какому-то хозяину, который, подкараулив непрошенного гостя, явно и последних ребер не пожалеет...

...Однако, когда голод пересилил рассудок, Осел, дождавшись отлива, потопал по еще влажному песку на ту сторону. Но едва он ступил несколько шагов, как услышал из-под копыт голос, что невольно заставило его остановиться.

– Будь добр, – молвила морская Ракушка, на которую чуть было не наступил Осел, – будь так добр, осторожно копытом отбрось меня подальше в море, ибо я задохнусь без воды. У меня разрывается сердце, хотя я и привыкла к отливам и приливам. Молю тебя, спаси, ибо сегодня я измотана поединком с Морской Звездой, которая коварно задумала лишить меня жизни. Пока сюда вновь возвратится вода, я погибну под этим солнцем. Спаси меня, а я за это выхлопочу тебе постоянный про-

пуск в Подводное Царство. Вот там-то ты и сможешь питаться куда более сочными и вкусными колючками, нежели те, что растут на Земле. Там, в Подводном Царстве, все кони – а ты, право же, в каком-то смысле тоже конь – особенно уважаемы и почитаемы, начиная с морского конька и кончая квадригой Властелина вод...

Осел молча выслушал необычную речь Ракушки, а так как он не любил долго утруждать себя вопросами – что к чему, – а Ракушка вновь повторила свою просьбу, то он осторожно поддел копытом мокрый песок, и Ракушка полетела в море. И, постояв немного на берегу, чтобы удостовериться, что Ракушку не вынесло назад, Осел потрусил мелкой рысцой дальше, забыв о ее приглашении.

Однако через несколько дней, когда Осел вновь подбирался берегом во время отлива к соседнему пустырю полакомиться колючками, он услышал уже знакомый голос и увидел Ракушку, которая низко-низко поклонилась ему и молвила:

– Я здесь с самого рассвета дожидаясь тебя... Очень прошу, пойдем ко мне в гости. Я покажу тебе Подводное Царство, где ты сможешь есть колючки куда более вкусные и сочные, нежели те, что на суше, и где никто, понимаешь, никто не будет бить по твоим ребрам палкой.

А так как Ракушка вновь низко-низко поклонилась, повторив свое приглашение, то Осел, несмотря на то, что доселе дальше, чем к нескольким пустырям с колючками, никуда не отходил, не заставил себя долго упрашивать, и они вдвоем пустились в странствие по морскому царству.

– Здесь у вас все живут зажиточно, – удивился Осел, попевая за Ракушкой, показывавшей ему разные морские всячины.

– Это потому, что здесь каждый живет на воле, – ответила Ракушка.

– А разве это не приводит к беззаконию? – засомневался Осел.

– Свобода – это не беззаконие, – объяснила Ракушка. – Но наши законы подвижны и текучи и поэтому справедливы. Впрочем, ты в этом еще сам убедишься.

И Ракушка повела своего спасителя к трону Властелина вод, чтобы все увидели то благородное существо, которое спасло ей жизнь. Осел чуть было не пустил слезу, когда сам великий Властелин вод сошел со своего трона, потрепал его по холке и вымолвил уйму приятных слов, каких доселе Осел ни от кого и не слыхивал, и после всего прочего велел своим подданным воздать должное четвероногому существу, спасшему от смерти одного из его подданных – Ракушку.

Осел, который доселе получал от своего хозяина одни затрешины да брань, на мгновение даже подумал, не умер ли он и оказался не в Подводном Царстве, а в настоящем раю, где все, соответственно месту пребывания, говорят только приятное и безобидное. Но морские обитатели уверили его, что это не рай, а обыкновенное Подводное Царство, где вежливость к посетителям из других сфер бытия пестуют, может быть, немного больше, чем где-нибудь, просто потому, что сама вода обзывает к обтекаемости форм. Кроме того, он, Осел, действительно благородно поступил, спасши от смерти члена их общины, а каждый добрый поступок нужно прославлять, так как неблагодарность – первый шаг ко злу и, тем самым, к хаосу и небытию.

Это объяснение показалось Ослу достаточно убедительным, и он немного успокоился, тем более, что не слишком прислушивался к лести.

Но, и не прислушиваясь, имел он длинные уши – вот они-то невольно и ловили трескотню морских тетушек, и потому скоро слышал он, как морская звезда и медуза шушукались между собой о его благородном конском происхождении, и это поразило Осла в самое сердце, ибо, лазя за колючками на суше, не раз думал он о том,

что его судьба сложилась бы иначе, родился он конем, а не плюгавым Ослом.

Ясное дело, он и теперь понимал, что пребывает в гостях, а гостю, как водится в воспитанном обществе, полагается льстить, закрыв глаза на его пороки, даже если он и Осел.

Однако упоминание о его знатном происхождении все же взволновало его душу, и так как каждый из морских обитателей спешил засвидетельствовать ему свое почтение и высказать что-то приятное пришельцу с суши, то скоро и сам Осел стал задаваться вопросом: а не течет ли в его венах действительно благородная конская кровь.

Впрочем, эти колебания никогда бы не переросли в уверенность, если бы не Барракуда, исполнявшая функции министра внешних и внутренних дел при Властелине вод.

Однажды, воспользовавшись моментом, когда Ракушка наряжалась за коралловым рифом, а Осел позевывал себе в одиночестве, почесывая спину о голову глухонемого осьминога, Барракуда выплыла неожиданно из-за угла и вручила ему подробно составленную родословную, в которой на основании морских архивов, исследованных лично Барракудой, было сказано, что даже кони Властелина вод из ослиного рода. А это означает, что он, Осел, собственно, и является единственно настоящим конем. Более того, он не просто обычный себе конь, а самый настоящий и самый благородный из всех коней.

— А вы, чего доброго, не ошиблись, приняв меня за кого-то другого? — несмело заметил Осел, которому, по врожденной его скромности, стало неловко за столь откровенную лесть, ибо никто в его роду не похвалялся знатным происхождением. Но Барракуда ответила, что она никогда не ошибается, на то она и Барракуда, и это окончательно развеяло все Ословьи сомнения.

– Раньше, когда я действительно старался угодить своему хозяину, меня полосовали плетью и бранили, а нынче всюду меня почитают, – размышлял Осел, – а когда кого-то так превозносят, в этом что-то должно быть, – и Осел впервые исполнился уважением к самому себе. А зауважав себя, тотчас почувствовал, что похвалу и вправду заслужил.

– Как ты думаешь, правда ли все то, что говорят обо мне? – переспросил на всякий случай Осел у своей неутомимой проводницы Ракушки. Но Ракушка, сделав вид, что не слышала, промолчала – ведь Осел был ее спасителем, а сейчас и гостем – и повела его дальше, к тем морским обитателям, которые впервые в жизни увидели четвероногое существо. А так как, сколько Ракушка ни водила Осла по безбрежному государству морскому, конца-края тому было не видно и все морские жители, от кита до инфузории, помня наказ Властелина достойно принимать гостя с суши, на все лады восхваляли его, то Осел вскоре так привык к похвалам и почитанию, что и сам поверил в свое величие.

– Раз все так меня восхваляют, – подумал Осел, – а как известно, нет дыма без огня, то, может, и вправду я – существо, какого еще земля не носила?

И не успел он это подумать, как загорелось в нем желание захватить власть над Подводным Царством, ибо по мере того, как желание это принимало все более четкие очертания, Осел как бы прозревал и начинал примечать, что вокруг него царит далеко не такой уж мир да порядок, как то ему привиделось вначале.

– Не кажется ли тебе, – молвил Осел Ракушке, – что наш Властелин вод не лучшим образом справляется со своими делами, и не настало ли время найти ему преемника, более достойного этой роли?

Но Ракушка и тут не отозвалась, решив, что, может быть, у Осла, к морским глубинам непривычного, голова пошла кругом и потому не стоит принимать его высказывания слишком близко к сердцу.

На этот раз, однако, молчание Ракушки Ослу не понравилось, и он воскликнул:

– Я спас тебе жизнь, а ты до сих пор, в отличие от всех твоих соотечественников, и уст не разомкнула. Может, ты еще скажешь, что я – Осел, а не высокородный конь, как в том меня сама Барракуда уверяла.

– Кхе-кхе, – закашлялась Ракушка, которая не хотела ни лгать, ни обижать своего спасителя, поняв, что тот исполнился высокомерия и виной всему обтекаемые правила поведения, бытующие среди обитателей моря.

– Вежливость... – начала было объяснять Ракушка, но Осел не дал ей продолжить:

– Я вижу, что теперь мне надо самому действовать. Доныне я не знал, кто я, но теперь знаю. Веди меня немедленно назад к трону Властелина вод, – потребовал Осел. – Ты – единственная, кто не воздал мне должное, и я не собираюсь терпеть твою черную неблагодарность; кроме того, я должен кое-что высказать Властелину вод, который явно засиделся на своем месте.

Ракушка разомкнула было уста, чтобы объяснить, что она ему не враг, однако, убедившись, что Осел не на шутку зол, удержалась, и, пожав плечами, повела Осла к трону Властелина вод.

– Ну, как дела? – еще издали спросил Властелин вод.

– У вас тут сплошные беспорядки, – воскликнул Осел, – и я прибыл, чтобы их устранить. Начнем с Ракушки, которая оскорбила меня своим неуважительным ко мне отношением. Она, единственная, не признала во мне коня, и за это ее нужно сурово покарать, ибо из-за нее нет мне места на земле.

– Какой же ты осел, – засмеялся Властелин вод.

– Я не Осел, а конь, и вам давно пора освободить место на троне для меня, – разгневанно проревел Осел, уже видя себя во главе всех морских подданных. Однако не успел он досказать, как ощутил резкий удар сзади и

очутился на берегу, проехав с разгона прямо мордой по влажному песку, прежде чем окончательно очухаться.

– Как вы посмели, неблагодарные, – простонал Осел, тяжело поднимаясь на ноги. – Никогда они не найдут Властелина вод лучшего, чем я. И повинна в том только Ракушка, не желавшая увидеть во мне коня.

– Жаль, – отозвалась Ракушка, лежавшая неподалеку на влажном песке, куда уже набегала волна, – жаль, что я не в силах убедить тебя в обратном, ибо ты не слушаешь меня. Единственное, что я напоследок тебе открою: твоя душа Ословья нравилась мне куда больше, чем душа твоя конская. Но теперь этого уж никак не вернешь – разве что в следующей жизни...

Продажа кассет артистки ВЕРЫ ЕНЮТИНОЙ

Всем, кто любит русскую литературу, кому дорог русский язык, кому трудно самому читать из-за возраста или по состоянию здоровья, – советуем приобрести кассеты артистки Веры Енютиной.

Обширный каталог состоит из 130 кассет.

Детский отдел: Русские народные и современные сказки, сказки Пушкина, Толстого, Мамина-Сибиряка. Библия для малышей. Рассказы из русской истории.

Уроки русского языка для начинающих и иностранцев.

Отдел прозы: Пушкин, Лермонтов, Толстой, Тургенев, Лесков, Чехов, Куприн, Андреев, Бунин, Набоков, Ремизов.

Поэзия: Все русские поэты, начиная с Баратынского и кончая Пастернаком и Цветаевой.

Для любителей театра: Кассеты с отдельными сценами из пьес Шекспира, Чехова, Островского, Ибсена.

Цена кассеты – 5 ам. долл. плюс пересылка.

Каталог – бесплатно.

Чеки, заказы и вопросы посылайте по адресу:
V. Enyutin, 3, Pillsbury str. Claremont N. H. 03743 USA

* *
*

Вот так, к стене лицом неплачущим,
и – спать, чтобы дневные глыбы
свой вес утратили, и – начисто,
и – напрочь с плеч упасть могли бы.

В податливость подушки теплой,
в болтливость взведенных часов
усталость кое-как утопла.
Назойливо набегив снов

прокручивает день вчерашний,
с грядущими спаяв крепко.
К рассвету холодно и зряшно
туман сгустится в молоко.

День завтрашний нависнет с ночи,
копя удары и плевки...
Во сне – и в том душа не хочет
прервать на резкие звонки

струенье плавных сновидений...
Есть удручающее что-то:
сквозь уплывающие тени
вникать в дневных забот просчеты.

Шелк ловишь – под рукой брезент.
Мех гладишь – под рукой напильник.
Судьбой мне припасен презент:
сегодня не пил кровь будильник,

* Псевдоним. Стихи получены из СССР.

проснуться нынче Бог привел
от поцелуя меж лопаток!
(Мне солнцем показался пол, –
ток счастья изумленно-краток, –

прибоем потолок качнулся!)
...Из-за подушкиных боков
с коленок хитро улыбнулся
ребенок четырех годов.

* *
*

...Чтобы посмертно приклепали
Значительность моей судьбе? –
Ее и не было и нет.
Крутая смесь смирения и спеси –
Вот этого во мне донельзя есть.
Еще – любовь для каждого цветка.
Вот для гвоздики только не хватает
Моей внимательной к надломленным любви, –
Чудовищной, породистой гвоздики,
(в отличие от нежных и душистых,
невзрачных, обаятельных, лесных,
суставчато-тончайших, как паук,
в дни детства нежнозванный «косиножка»).

Привычно горечь сигареты третьей
медлительно и верно осаждаст
эмоций взбаламученную взвесь.
Еще недавно шла я на работу,
бездумно карандашиком помады
обрисовав волну послушных губ.
Плыл силуэт днепровских синих круч
в окне трамвая, через мост ползущего,
прозрачным золотом сияли купола
среди тумана утра голубого.

Три цвета сплелись неразделимо
во впечатленьи Киева, и в мыслях
они все так же мимо проплывают,
три: синий, голубой и золотой.
Соскальзывали круто каблуки,
дробя и без того неровный шаг
по мостовой булыжной рядом с домом,
где Мастер жил, влюбленный в Маргариту
(Теперь на этих улицах асфальт,
а в класс уже не я – другая входит.)
Ни проклинать, ни плакать я не буду.
Большое дело! – без меня шагайте
с обыкновенным веком в унисон.
Век наш не лучше и не хуже прочих;
Всегда существовали эти «муки» –
страсть, ревность, недоверие, протест,
А у меня есть поважнее дело,
важнее неполученной зарплаты:
хочу быть рада, как умалишенный,
своим печалям, драмам и тоске.
Хочу несчастий! Мне их все несите,
кому удары Рока не под силу,
я бережно их спрячу в глубине:
и зелень ядовитую – страданье,
и пурпур анилиновый – влюбленность,
и едкую лимонность – изумление
я белизной прозрачной облеку.
Они моим смягчатся настроеньем,
исчезнут тихо под напластованьем
и потеряют острые углы...
Своих друзей я где-нибудь да встречу,
Беседу поведу, как мне привычно:
словами, и руками, и лицом
гримасничающим – самой противно.
Им отвечать я буду оживленно,
поспешно и довольно, как сорока,
а некоторым – сверхвысокомерно.

А тот, кто душу из меня достанет,
раздрав мне створки тела, как ракушку,
найдет там детскую любовь – шум моря,
попытку быть красивой – дурь помады,
и Киева трехцветный силуэт...

01 - 79 г.

ИМЕЕТСЯ В ПРОДАЖЕ

КНИГА

ГАЛИНЫ ВИШНЕВСКОЙ
« Г А Л И Н А »

Автобиографическое повествование великой актрисы
русского оперного театра

«La Presse Libre» и «Континент»
Париж, 1985.

Цена 200 Ф.Продается в русских книжных магазинах.
Заказы направлять в ред. «Р.М.».

Книга удостоена премии
французского Национального профсоюза
музыкальных критиков
как «книга года».

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ СТРЕЛЯЕТ БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

«А где секретарша?» – спрашиваю.

«А она на седьмом небе», – мне отвечают.

Как, однако, высоко они забрались! – задираю я голову и еще закатываю глаза под крепкий орешек ее юного зада, почти как в церкви нашей тюремной – под какой-нибудь образок, от руки нарисованный.

Последняя подпись, формальность, присущая любому бюрократическому ведомству, – она-то мне и нужна. За этим я и был сюда приведен (здесь все и всех приводили, как приговор в исполнение). Требовался последний штришок – и произведение меня в человеки будет закончено. Если бы это была картина, то потребовался бы последний мазок. Но в том-то и дело, что здесь были далеки от художеств, ко всему прочему еще и дальтоники, видящие все в сером цвете и полностью положившиеся на свои компьютеры. Это было самое обычное и хорошо заземленное учреждение, призванное подтвердить наличие хоть чего-нибудь человеческого в том или ином субъекте, претендующем жить не среди себе подобных. Вот так выходящему из зоопарка не лишне иногда предъявить справку, что он человек, особенно когда зоопарки кишат человекообразными.

Справка, или, как ее здесь называют, путевка в новую жизнь, с росчерками размашистых чьих-то имен и выпуклыми гербами печатей, напоминала крупную купюру казначейского билета, чье хождение в народе никак меня не касалось. Дело в том, что труд уже сделал из меня человека, и я не работал, То есть я работал в местах не столь отдаленных, где становился человеком, а вот самостоятельно – еще нет. Да и какая это работа в нашем зверинце! – прошу прощения, хотя данное срав-

нение и не совсем точно, более того – совсем не точно. Разве можно сравнивать наш невольный курорт (или курорт в неволе), огражденный частоколом стальных неперегрызаемых решеток, делящих огромное пространство на десятки тысяч тесных клетушек, – с просторными, чистыми и неперенаселенными вольерами экзотичных и редкостных, а потому и малочисленных в сравнении с нами обитателей, пользующихся заслуженной любовью у детворы, приходящей с родителями к ним на свидание. И потом там нет необходимости становиться человеком. Это излишне – звери и так благородны. Я подчеркиваю – эти звери!.. Так что сравнивать нашу тюрьму со зверинцем, я думаю, оскорбительно для последнего.

Конечная инстанция, куда я попал, оказалась в роскошном зимнем саду, предварявшем чей-то представительный кабинет. Торжественная тишина и неслышная прохлада делали это место, и без того уже вознесенное, еще более возвышенным и прозрачным. Меж деревьев (мною доселе невиданных) плыл какой-то диковинный транспорт, ловко лавируя в уже перенаселенном небе. На соседней крыше плоского, как блин, небоскреба кто-то гонял вертолеты, как в детстве, наверное, голубей. Он точно так же свистел и размахивал красной тряпкой, будто это были не голуби, а быки. Но мисс была выше всего этого. По-моему, даже выше мертвой петли, в которой удавливалась чья-то реклама (летчик крутил ее неустанно, натужно и громко, пока не исчез его самолет, не растаял). Другой вопрос – почему она не слезала? Мисс снисходила до посетителей почему-то не сразу. Любопытно – когда же она слезет с дерева и подпишет?

Райский сад, почти Эдем, и мисс еще вполне ничего. Одно только не вязалось с этим райским уголочком – каким-то там по счету небом: слишком земные и низменные ее телодвижения. Очень неплавно и откровенно она двигалась в такт, но с кем? – видимо, от долгого

сидения я стал любопытен. Заметно росла амплитуда ее кайфа. Наверно, она уже входила в экстаз. Еще немного, и она воспарит еще выше. И тогда поминай как звали ее. И тут я увидел наушники на ее невероятно маленькой в вышине головке. Будто пятка светлела, а на ней едва заметная дужка вставшие дыбом волосы держит. Буйные, они лезут в глаза, изменив направление, и тоже качаются в такт. И опять мне любопытно – с кем? «Эй, мисс!»... Но мисс еще не готова откликнуться. Мисс в нирване плывет. Наконец, она нащупала точку, куда слетались ее качели, и... закричали ее с красной подкладкой джунгли. А может, это отвороты генеральской шинели, и все здесь выдержано в царских тонах, представительно и официально, включая и меня с протянутой справкой, уже усеянной подписями вышестоящих чиновников (представляю, какой у них рай, если их синекуры еще выше) и лозунга: «Мутатис мутандис – это хорошо!»...

Наконец, два кокоса, образующие ее седалище, слетели и мягко ударились в качалку уже обычного кресла (оно было явно сшито по ее фигуре). Она опустилась на землю. Сняла свои возбудители с головы, ополоснула в маленьком фонтанчике усталые руки, зло на меня посмотрела и вся расплылась в улыбке. Не исключено, что я был грубейшим нарушением здешнего интерьера. Вполне вероятно, что был исчадием совершенно противоположного мира. Я виновато ей улыбнулся в ответ.

– Сейчас мы посмотрим, что там у вас на роду написано! – уже окончательно придя в себя, сказала она и включила компьютер, ловко перебирая накрашенными пальчиками по клавиатуре. На экране зажглись нетерпеливые буквы. Какие-то линии странно пересеклись. Немудрено – в моей судьбе не было никакой плановости. Какие-то нелепые знаки венчали мою судьбу. Гудели апокрифы, и молнией били ударения. Множились многоточия. В умной машине явно расставлялись

акценты. Я замер. Еще немного, и моя судьба загорится словом и явит себя...

– Да мало ли что на роду, не всегда талантливо, написано! – сказал я, – гляньте лучше на мой вариант. Я сам переписал свою планиду, глупый самаритянин... – и я протянул ей свою настольную (а если в дороге, то и нагрудную) книгу, вполне бокадер-путеводитель по моей поучительной жизни.

– А кто вам дал право переписывать свою судьбу? – возмутилась она.

– А никто. Это же моя судьба, моя и ничья больше!..

Далее она спросила: кто мои зачинатели? И я назвал имена своих бедных родителей – они не ведали, что творили. Но я им благодарен уже за то, что я есть. Более того, я даже признателен им за это, хотя и недоволен собой. Они были далеко, по ту сторону этого света, в старом, как мир, измерении, и вызвать их сюда было невозможно, да и едва ли они в состоянии отвечать за меня. Другое дело – мои первые учителя, вот кого следовало бы призвать к ответу. Это они мне внушили и воспитали мою готовность приходить на помощь неважно кому, будто я не такой же, как все, смертный (да я еще более смертен, чем все, – я столько раз умирал!) посмотреть на меня – ну, какая я скорая помощь!? И тут она высказала предположение, что я совсем не туда перековался. Мне не надо было ничего переписывать. Это излишне и создает только путаницу и в без того неясной моей судьбе. Просто надо было один-единственный эпизод ее переосмыслить и, уже исходя из этого, стать другим. И в голосе ее зазвучала родительская забота, а ее «Вимен либерейшн шилд» с напрягшим шею быком, но не просто рогатым, а с ярко выраженным женским влагалищем (странный был бык) – задрожал на ее груди (только сейчас я заметил – не слишком развитой) – тетя-бык явно требовал моей крови, и без того уже початой.

Боже, неужто я попал в царство амазонок, когда-то отрезавших себе правую грудь для удобства стрельбы из лука. Наездницы, им бы только скакать наверху!

– Нет, таким вы у нас в компьютере не числитесь. Мы не можем дать вам справку, что вы д р у г о й человек, – (слово «другой» она произнесла с нажимом), – вернитесь в старую перфокарту. Ваш номер еще не стерт...

И другая, нивесть откуда взявшаяся тоже туда же: «Вы нам нужны прежний и только такой!»...

– Зачем? – удивился я, – от себя прошлого я уже отказался. Я вообще однажды отказывался от себя, возвращая звание человека, и на это были серьезнейшие причины...

– Как же вы спрашиваете «зачем?». Вы что же, не видите, что мы вас недоперевоспитали, – до самого сидения улыбалась первая секретарша, в отличие от второй уже слезшая с небес, – ну, никакого результата в глазах, – явно огорчалась она, издали казавшаяся мне прелестной, – абсолютно никакого!...

– Не суйте меня в старые брюки, – слезно прошу я, – я уже свыкся со своей новой судьбой. Более того – я в ней намерен еще преуспеть. Страшное прошлое я уже начал перековывать в будущее, менее страшное. Я даже думаю, что я куда талантливее того, кто без моего спроса писал на моем роду, наделав столько грамматических, орфографических и прочих ошибок в моей и без того не очень-то грамотной жизни. Небесный писарь был не очень-то сведущ. И потом, посмотрите – сколько изломов в моей судьбе! Бедняга, ее то и дело проверяют на прочность. Сколько можно? Дайте мне хоть маленькую равнину стола без колдобин и прочих ухабов, и я напишу вам такую концовку жизни своей, такое выдам под занавес, такое сотворю лучше позже, чем никогда, ибо я понял только сейчас: я сам своей жизни писатель. Вы должны мне дать шанс быть именно им и ни кем другим. Еще в закрытом обществе я представлял себе, что

человек это гораздо больше, чем он есть на самом деле...

– Закрытое общество – это где еще не научились ходить нагишом? – спрашивает святая простота ее едва ли душистого тела.

– Закрытое общество – это показательная тюрьма, – говорю я, – первая и образцовая, где все Пенсионеры, даже если у них совершенно другие фамилии. Будем считать, что это их творческий псевдоним, с которым они проживают свою жизнь – «Один к Трем»...

– Что это еще за «Один к Трем»? – не понимает она и, конечно, никогда не поймет, даже когда ее упругая задница молодости вконец состарится и она обретет необходимую усидчивость почитать о моей бывшей родине. Но тем не менее, я объясняю:

– И здесь, в сверхсытой Америке, законченный венец творенья – человек, звучащий гордо даже со вставными зубами, – выходя на пенсию, едва ли не спотыкается о собственный гроб. Там же, в СССР, выход на пенсию вообще не выход, а вынос. Вынос тела на пенсию, потому что, вкалывая за троих, трудящийся тем самым укорачивает свой срок пребывания в заключении (вы же не будете утверждать, что население СССР живет на свободе!?) – если не погибает раньше срока, то есть не дает дуба...

– Что такое «не дает дуба»? Пенс, очень странно вы говорите, – делает она большие глаза, всё одно остающиеся маленькими.

– Это почти то же самое, что и «отбрасывает копыта», – отвечаю, – теперь вы понимаете, почему там все в душе Пенсионеры, мечтающие еще в утробе матери хоть куда-нибудь выйти – замуж или на пенсию, в свет или в люди, разумеется, отъезжающие на тот свет, как бы для них новый. Но ничего не ново под луной, мадам. Вот вы назвали меня на американский манер сокращенно, а там укорачивают жизнь. И не только непосильной работой. Нет, Пенсионеров там равносильно Счастли-

цеву (как ты его назовешь – Счас?) – буркнул я уже самому себе, еще с детства мечтавшему о спокойной, но активной, старости, но увы – оказавшемуся меж двух полушарий земли – в самом ни на есть ее анальном отверстии: в тюрьме, чье беспросветное освещение никак не родило иных сравнений. Правда, здесь учитывалось примерное поведение.

«Правдописец, да он здесь хуже, чем уголовник!» – как-то доверился мне один новоиспеченный писатель, бывший убийца (это в России писатели – сплошь жертвы), но я тогда не слишком-то верил ему. «Это на свободе-то слова – в тюрьме! – очень я удивился, – я допускаю, еще на воле могут поставить капканы, но никак не в самой ловушке...» На что мой сосед, из убийцы ставший убийственным писателем (так, по крайней мере, он считал), сокрушенно на меня посмотрел и даже pokrutyл у виска. Что и говорить – я тогда еще недостаточно натурализовался.

Да и здесь – в «выездных» небоскребах ДОСа (комиссия досрочного освобождения, когда-то выезжавшая в места заключения) – тоже, вероятней всего, меня приняли за сумасшедшего, когда я в письменной и экспрессивной форме попытался выразить свое эго. Потом они, вероятно, посчитали меня за какого-нибудь отпрыска знатного аристократического рода, вздумавшего повыпендриваться в демократическом обществе. На всякий случай демократическое общество оскорбилось в прыщавом лице своих типичных представителей, тогда-то меня и начали гонять, как зайца, по этажам. Даже еще один специально соорудили (или это был повод расширить и без того многочисленный штат дармоедов) – так или иначе, а я пошел по кругам, пока не попал в самую середину – сюда.

– Не на тебя – на меня смотрят женщины, – говорит Пенсионерову его собеседник, явно его моложе, и прыскает мелкозубым смехом, наглец.

– На меня они кидаются не глядя, а вот на тебя они еще только смотрят, – не лезет тот за словом в карман, хотя из него и торчит разговорник – только приехав, он учит английский язык. Маленький городок близ Нью-Йорка, где на променаде местного пляжа собирается местный бомонд.

Все здесь всех знают. Один Пенсионеров здесь новичок, да еще молодежавый, такой же, как и он, эмигрант. Их обоих сюда прислала община. Пока они держатся в стороне, будто всё еще в России, где всегда исподлобья на пришлых глядят. «Выше нос, Пенсионеров! – говорит себе Пенсионеров, – начинай общаться, входи, так сказать, в народ, самый, кстати, общительный в мире. Вон смотри, какой хмырь шагает! А ну, попробуй – заговори!...» – вот так он и начал в здешние сферы входить. Первым собеседником его оказался профессиональный игрок, игравший почему-то только с попами, может, поэтому, перед тем как сесть, он незаметно крестил задом стул, оригинал, он был здесь наиболее неизвестный и загадочный человек – никто, абсолютно никто не знал его биографию. Терра Инкогнита слегка приседал на левую ногу (опять же никто не знал – что с ним случилось?). Потом был нудист, соответственно голый, в окружении своих неизменных собак. Только огромная техасская шляпа прикрывала его незагорелую голову, как бы говоря, что его нудизм начинается не с головы. Размахивая суковатой палкой, он отбивался от наседающих педерастов – их было явно на одно очко меньше. Вот тогда-то и заспешил к нему Пенсионеров на помощь. Далее шли поп, шериф, аптекарь и парикмахер, ну с ними он не очень дружил. Так, от случая к случаю, двумя пальцами трогал шляпу с непременным: «Хау ар ю!» А местные «шкуры» – это ему было еще не по карману.

Над променадом стоял гул. Это скандировали феминистки – тощие выдры, только с менее ценным мехом. Рядом что-то кричали гомосексуалисты. Их в

прямую кишку зовущие лозунги заслоняли горизонт, из которого, как гвозди, торчали виднеющиеся вдали небоскребы. Там был Нью-Йорк, как на немытой ладони. Это дымка слегка скрывала его. Но зато в ясную погоду его можно было различить невооруженным глазом, если встать на самую высокую точку этого городка – водонапорную башню, на самом верху которой полосатый американский флаг. Пенсионерову он почему-то напоминал арестантскую робу, правда, усеянную звездами. И, надо сказать, напоминал не случайно. Прямо над ним, повисшим в безветренном небе, шел гусиный косяк. Гуси громко кричали «Кракеры». «Это что же, рекламные гуси?» – удивился Пенсионеров.

«Крикливые гуси, они всегда здесь начинают небесную навигацию», – тут же сказали ему – новичку. И действительно за гусями тотчас же появились огромные джеты, с ревом идущие на посадку всё в тот же Нью-Йорк, близость которого так пугала местных жителей, особенно когда сюда навевывался странный, нечесанный люд. «Боже, сколько всякой живности в небе! – подумал Пенсионеров. – Вот если бы по случаю и недорого купить зенитку и поставить ее на крыше, тогда другое дело, тогда жить еще можно. Но в том-то и загвоздка, что никакая здешняя крыша ее не выдержит...»

Начал накрапывать дождь. Присовокупив к нему гусей и зачистившие джеты, Пенсионеров догадался, что наступила осень. Пляж был не убран (что тоже ее подтверждало), вокруг вились мухи, и бесхвостым было трудно от них отбиться. «А народец-то здесь не чистюля, черный народец, включая и белых, конечно. Да все уже загорели и разошлись по домам. И море по инерции купает одни лишь прибрежные камни, издали похожие на чьи-то поникшие головы. Чистое поголовье камней... И море, благородное море, никогда не плюющее на чистоту», – умилялся он, видя, как волны набегают без пользы дела, всё еще думая, что лето в разгаре и народ недостаточно чист. Кстати, куда же он подевал

ся? Зажглись фонари, и узкая набережная вмиг опустела. Будто сдуло ее.

Поспешил домой и Пенсионеров, слишком юный для своей фамилии, еще не согнутый человек, полный радужных надежд и еще не свершившихся мечтаний. С каждым шагом он всё больше спешил, неспешный и царственный днем, но ближе к вечеру становящийся суетливым. «Быстро же я становлюсь американцем!» – ловил он себя на доселе неведомом и липком страхе – вот так ни с того, ни с сего вдруг оказаться прихлопнутым в темноте. Но позже он увидел, что нападают и днем. И черт его дернул тогда вступить. Добрый самаритянин, его приняли за соучастника. «Здесь никто никогда ни за кого не-е в с т у п а л с я! – пронеслось в его красном от боли мозгу, – никто, никогда и ни за кого...» И это было страшнее удара, сбросившего его наземь.

Так начался его крестный путь.

В больницу к нему наведались вездесущие репортеры. Они к нему врывались даже во сне. Он стал заговариваться. Его стали мучить кошмары. Ему казалось, что его снимают в самом непотребном виде – тут всё напоказ, даже самые элементарные человеческие отправления. Им ничего не стоило сфотографировать его сидящим на горшке, эдакий сорокапятiletний дитятя! На другом фотоснимке, в чуть более торжественной позе, он демонстрировал свои увечья, полученные в битве с преступностью: задрав рубаху, он доказывал преступную убойность полицейских пистолетов. Бедняга, он не так понял полицию. «Стой или стрелять буду!» – это не призыв стоять за себя. Или, тем более, заступаться за кого-то. Хотя каждый член общества просто обязан иногда постоять за себя или за кого другого, явно не умеющего это делать. Почему бы и нет? Отмирающий копчик рыцарства в нашей душе, ну, зачем же позволять ему окончательно сгинуть? Даже коммунисты поднимают себя пением песни, потому-то и ставшей их гимном, что она начинается со слова «Вставай!»...

Нет, все его доводы на суде высоком и равнодушном не принимались, пока он наконец не понял, что здесь каждый занимается своим делом, ничего-то, кроме него, не замечающий, и только на улице он немного отвлекается, и то, когда его грабят. Теперь он уже ни за кого не заступится. Разве что за себя самого.

Однажды, пробегая домой, он чуть не свалился в ров, едва успел зацепиться за край выпиравшей из него арматуры. «Опять что-то строят!» – ворчал он, поглаживая ушибленное колено. Рядом земля разверзлась строительством новых подвалов. Строили бомбоубежища для малоимущих. Сооружение их шло полным ходом. «Интересно, когда же они под землю уйдут? – сам с собой разговаривал Пенсионеров (это ему помогало перебарывать страх). – Когда же это наконец случится?»...

– Не раньше, чем будут бомбить! – кто-то ему отвечает. И бьет по лицу и уже лежащего грабит. И тут он не выдержал и плюнул в наклоненную и оскаленную над ним физиономию, поправ тем самым человеческое достоинство этой самой физиономии – так квалифицировали впоследствии его непростительный проступок.

Буря возмущенных голосов тотчас обрушилась на бедную голову Пенсионерова. Охрана Окружающей Среды немедленно потребовала смертной казни и не посредством гуманной инъекции в вену, а через повешение. Но, учитывая, что этот русский никогда не носил галстуков, – решила снизить до простого удушения в газовой камере. «Нет, – кричали черные общины, – мы требуем линча!» Либеральная пресса также задыхалась от негодования – «Мало нам своих виждиланти!», «Русские уже здесь! – вот до чего доводит безмозглость наших чиновников, разрешивших им сюда приехать!» ...Где-то уже лилась водка и кровь – русская водка и русская кровь. Курносый меч правосудия медленно и неотвратно опускался на уже постриженную голову Пенсионерова. И никто не пытался перехватить его в воз-

духе – он сам готовил свою эшафотную речь – Последнее свое Слово. Но оно не спасет его, а только глубже засадит.

– Господа, – начал он с заметным волнением, – поговорим о священных животных. Взять, к примеру, животный мир Нью-Йорка, на окраине которого я живу и куда сходятся пути всех наших глухومانей, цивилизованных, конечно. Бог ты мой, сколько их, животных, священных, как в Индии коровы или в России свиньи (но их там не видно – они заседают). Великий город, ему под стать иметь слонов, бегемотов и прочих носорогов – этих вырождающихся гигантов, занесенных в Красную Книгу, а он опекает крыс и шакалов. Обнаглевшие от своей исключительности, они нападают на человека (интересно – когда же он сам будет священным?), нападают, как будто он уже падаль, и при этом человек даже не имеет права защититься от них. Охрана Окружающей Среды стреляет каждого, кто их обидит. Почему, если ты хочешь постоять за себя, нужно обязательно посидеть за других? Почему вы пытаетесь положить меня на лопатки только потому, что я сам еще в землю не лег, абсолютно послушный и ко всему безразличный, слава Богу, не превысивший пределы самообороны и наконец-то получивший желанное определение «жертва»?..

– Здесь жертва молчит, а вы плюетесь! – перебивает его судья. – Скольких нападающих вы уже оскорбили?!

– Жрецы, ну сколько же можно класть меня на алтарь? – отвечает вопросом на вопрос Пенсионеров и пробует даже вернуть свое гордое знание Человека, разрывая какой-то подвернувшийся под руку документ, удостоверяющий его былые заслуги. Так он хотел хоть как-то избежать ответственности за превышение мер при самообороне. Но суд отказал ему в праве вести себя так по отношению к братьям меньшим.

– Я требую справедливости! – кричал он, вполне еще ладный мужчина, правда, уже сшитый частично (ему иногда удаляли отбитые органы или штопали, чтоб еще могли послужить). На редкость живучий (чему способствовали нескончаемые судебные волокиты), истинный россиянин, он всегда искал справедливости, каждый раз приходя в себя на уже пахнущих моргом койках. Нет, он явно хотел умереть своей смертью – с достоинством и не спеша. За что хвала ему, конечно, и честь. На суде он не показывал шрамы на своем героическом теле (ему их показывать попросту не разрешили), но разве не видно, что он настоящий боец. Последнее, видимо, и перетянуло чуткую чашу весов. В данном случае они обернулись лифтом тюремным.

Тюрьма встретила его с расprostертыми объятиями. Сидели в ней преимущественно гомосеки.

– ...Опять вы за свое, мистер Пенс. Неужели вам не надоело? Ну, чего вы добиваетесь, дон-кихот-виджиланти и бандит наоборот? Придумайте что-нибудь пооригинальней. Ну, к примеру, нашу эмблему. Придумайте нам эмблему, писатель, какой-нибудь символ нашего женского и активного движения, самого прогрессивного в мире. (– Матриархат с педерастами вкуче? – чуть было не вырвалось у Пенсионерова.) ...Наш имедж должен быть впечатляющ, красив и убийственен... Сколько ни бьемся, а никак не можем родить... Ну, абсолютно ничего не приходит на ум. Вот если придумаешь, – тогда, конечно... Мы самым внимательнейшим образом пересмотрим твой файл...

– О-кей! – промолвил Пенсионеров. – **Б О Л Ы Ш О Й Б Е Л Ы Й Ф Л А Г** с маленькой дыркой посередине...

– Век тебе свободы не видать! – сказала секретарша и опять залезла на дерево. Ей уже виделся очередной мутатис мутандис, то есть эстетический катарсис. Так у них ныне именовался оргазм.

Стихи

Татьяна К о с т и н а

НАВОДНЕНИЕ

Душа-послушница, четвертая стихия!
Три первые сошлись – уж не твои ль
Они сообщницы? Бегут валы глухие,
И катера показывают киль.

Не ты ли воду вызвала к барьеру
И в подворотни гулкие вошла?
Ты, ветреница! – Чьи слова, чью веру
На ветер бросила, на веру приняла?

Под пледом кучевым, распространяясь шире,
Друг с дружкой усиливая связь,
Стихии бодрствуют, и счастьем все четыре
Переполняются, смеясь.

ПРОГУЛКА С НОВОРОЖДЕННОЙ

Веки слипаются... Плещет река.
Кажется, эта работа легка,
Кажутся небылью, сказкой
Дерево, статуя, неба кусок...
Ноет рессора, желтеет песок,
Скачет скворец за коляской.

Нежною дымкой покрыты кусты.
Веточки, словно плоды, налиты.
Издали куст фиолетов.

Веки слипаются... Листья летят,
Письма... Друзья нас поздравить хотят
Надо же, сколько приветов...

Флорою муза моя назвалась.
Мне колыбельная не удалась.
Жалко... слипаются веки.
Слева Канавка; Нева предо мной.
Чувствую, как за моею спиной
Плавно сливаются реки.

* *
*

Подземный житель, может быть,
Со мною в ссоре? Кто за мною
Иссохшей тенью городской
Скользит и словно просит пить?

Я виновата перед ним:
Его наперсница бывая,
Воздушной пленницей была я.
Ревнует Тютчев-эпоним.

С воздушной жительницей быть
Ему земля не позволяет,
И воздух губ не утоляет,
И птицам негде гнёзда вить.

Едва намеченная связь
По неразлучности тоскует.
Но жилка у виска токует...
Прости, полупространства князь!

Я жительницей быть хочу,
Но не подземной, не воздушной,
А горожанкой простодушной,
Послушной лунному лучу...

* *
*

Ветер ненастья,
Дух Скандинавии, вей! –
Вестником счастья,
Летней прохладой ветвей.

Ветер Ботнический,
Пыльный эол городской,
Скальпель клинический,
Стих ученический мой...

Тайною
Путаной, вздорной строкой,
Встречей случайною
Над городской рекой,

Чем еще
Ты со мной связан? Судьба
Женскою немощью
Нехороша и слаба.

Нет отпущения
Счастьем и боли дневной –
Просят прощения,
Словно каприз отпускной.

Боль не кончается,
Счастье не сводит с ума...
В чем заключается
Мука – не знаю сама.

* *
*

Ничего мне от жизни не надо.

Ю. К.

Ничего от жизни мне не надо,
Счастье – вздор.
Спит ребенок, и в саду прохлада
И простор.

Ничего не помнит и не знает,
Свищет дрозд.
У моей малютки вырастает
Птичий хвост.

Там, где мостик Прачечный сереет
Сдавленной дугой,
Жизнь ее младенческая реет
Над рекой.

Парусник над нами проплывает,
Крутобокий шлюп.
У моей малютки вырастает
Птичий клюв.

Не она ли сойкою вспорхнула
Там, в листве?
Не она ли разом потонула
В синеве?

КРЫМ

Вот полуостров памятный, похожий
На виноградную лозу
Засушенную, и тяжелой ношей
Подвешенный – в лазури, там, внизу.

А на дворе уже другое лето,
Другая жизнь... Но та осталась где-то
В камнях, в тени естественной стены,
Над бухточкой – мы ей еще нужны.

К ПСИХЕЕ

О, не спеши, не покидай меня,
Доверься мне, люби свою темницу –
Здесь брезжит свет, и мне недаром мнится,
Что жизнь – лишь тень иного бытия.

Она роняет чувственный покров,
И тайный ход ее драматургии
Таков, что нам готовятся другие
Дары, взамен утраченных даров.

Свободна ты, когда минует боль,
И сновиденье посещает тело.
Свободна я. Мне жить не надоело:
Не все еще мы вынесли с тобой.

* *
*

И мне простится этот легкий слог.
Он доброты и честности залог.
Он – жизнь сама, и как она – не легок,
С повторами, с запинкой на предлогах.

Тропинка эта если и проста,
То все ж обходит общие места
И делает ненужным, невозможным
Глубокомыслие с надрывом ложным.

Так в наше время простота трудна,
Что сложности в сто раз сложнее она,
А легкость тяжела и давит плечи, –
И человеческой не слышно речи.

КОСТИНА Татьяна Георгиевна – родилась и до 1984 года жила в Ленинграде, училась в Ленинградском политехническом институте, затем на филологическом факультете Ленинградского университета (оба не закончила). В 1971-74 гг. посещала литературные объединения Ленинграда, в 1973 г. участвовала в Конференции молодых писателей Северо-Запада. Печаталась в журнале «Нева» (1974, 1976), в еженедельнике «Ленинградский рабочий» (1973) и в журналах самиздата «Часы» и «Молчание». Участница машинописной антологии неподцензурной поэзии «Острова». С 1984 г. – в Израиле.

ВОСЬМИГРАННИК

В ЛЕТНЕМ САДУ

Сад изваян тишиной,
Первый снег земля встречает,
Белый ангел надо мной,
Он к началам возвращает.

Время умеряет бег,
И сквозь бредни Ленинграда
Петербурга хрупкий бред,
Судорога Петрограда.

В ВОСКРЕСЕНЬЕ

За полдень – погоды убогой
Темнеет и мокнет декабрь.
Надеждой гружен одинокой
Плывет ваш житейский корабль.

Вам мнится: судеб Демиургу
Мы, кажется, тоже нужны. –
Не дай же во мгле Петербурга
Лишиться Твоей тишины.

ВСПОМИНАЮ

Бывало – про чудо напомним
Какой-нибудь древний поэт –
Идешь из трущобности комнат
Златою надеждой согрет.

И наши земные ненастья
Покажутся мельче и злей,
И видишь, что соткан из счастья
Мир праведных сердцем людей.

СНЕГ

Синие сумерки меркнут на западе.
Сквозь эти белые сети
Вспомнишь внезапно старинную заповедь:
Будьте как малые дети.

И отдавая кому-то знакомому
Мир свой с благодареньем
Слышишь опять, как топочут подковами
Единороги олени.

ПОТЕРИ

С деревьев падали листья,
Едва поднимался ветер,
Рябины спелые кисти
Качались в бледном свете.

Потом набежали мысли
О нашей судьбе бредовой,
И пили ненужный рислинг
В кафе на углу Садовой.

МОЛЧАНИЕ

Ты, счастье, немое, как тень,
Стоишь за плечами,
И весь этот солнечный день
Смущаешь молчаньем.

Но вот нелюдимо бреду
Опять восвояси,
Хотя невинно краду
Молчание счастья.

ПРИТОК

Там сливаются две синевы –
Свет полдневный и воды Невы,
И от этих привычных двух
Всколыхнет и захватит дух,

И впадаешь как новый приток,
Незамѣтен, но так широк,
В синеву – и в янтарь дерев,
Как бессмертья простой напев.

ЛИШЬ ЭХО

Уж гомон города заглох,
Лишь эхо дачных поездов
Со стороны вокзала.
Осенний вечер, воскресенье.

Судьба сказала: вслух нельзя
Такие вечные слова.
Я буду шепотом тебе
Читать из Книги Бытия.

КРЕЙД Вадим Прокопьевич – родился в 1936 г. Учился в Ленинградском университете. Работал редактором, электриком, шкипером, слесарем и пр. В 1973 г. эмигрировал. С 1974 г. живет в США. Закончил аспирантуру в Мичиганском университете. Преполагает в университете штата Айова. Стихи, статьи, рассказы печатались в «Стрельце»,

«Новом журнале» и в некоторых других периодических изданиях. Вышла книга стихов «Восьмигранник». Некоторые стихотворения включены в антологии. Ряд статей о забытых русских поэтах серебряного века войдут в издающуюся в США многотомную энциклопедию русской литературы.

Подготовил к печати (с комментариями, предисловием и библиографией) сборник неизвестных стихотворений Георгия Иванова. Книга должна выйти зимой или весной 1987 г.

Наталья Горбаневская

ПЕРЕМЕННАЯ ОБЛАЧНОСТЬ

С Т И Х И

Осень 1982 – весна 1983

Париж, «Контакт», 1985, 63 стр. Цена 30 фр.

ГДЕ И КОГДА

С Т И Х И

Июнь 1983 – март 1985

Париж, «Контакт», 1985, 54 стр. Цена 30 фр.

Продаются в парижских книжных магазинах:

LES EDITIONS REUNIS – 11 rue de la Montagne Ste-Geneviève, Paris 5e;

MAISON DU LIVRE ETRANGER – 6 rue de L'Eperon, Paris 6e;

LIBRAIRIE POLONAISE – 123 bd. St. Germain, Paris 6e;

POLEMIKA – 49 rue Gay-Lussac, Paris 5e.

Книгу можно также заказать в издательстве через «Русскую мысль» (Kontakt c/o La Pensée Russe). При заказе десяти и более экз. – цена одной книги 20 фр.

Россия и действительность

ВНИМАНИЕ: ОПАСНОСТЬ!

ОТ РЕДАКЦИИ: Мы получили стенограмму этого выступления по каналам Самиздата. Какой-либо сторонний анализ здесь, на наш взгляд, излишен: текст говорит сам за себя. **Публикуемый ниже документ лишний раз свидетельствует о тех опасных процессах, которые происходят сегодня у нас в стране под шумок очередной культурной «оттепели».** Заранее приносим свои извинения читателям за пропуски некоторых слов и выражений и за встречающуюся синтаксическую бессвязность: мы считаем необходимым опубликовать этот материал в том виде, в каком он получен редакцией.

.....Я представляю последнее, заключительное слово фотокорреспонденту, журналисту Дмитрию Дмитриевичу Васильеву. Пожалуйста, Дмитрий Дмитриевич.

– Я прошу прощения, что у нас, так сказать, все так затянулось, по вечеру, но я думаю, что все те проблемы, которые были подняты на вечере сегодня, и проблемы, которые поднимались несколько ранее, они, безусловно, волнуют каждого человека, находящегося в этом зале. Они волнуют не только людей, находящихся в этом зале, но и всех, кто хочет жить дальше, кто хочет, чтобы их дети жили дальше, ибо, если мы эти проблемы не будем поднимать и не искать причин, которые создают эти проблемы, естественно, жизнь остановится и закончится или катастрофой, которую искусственно нам навяжут, или кончится гибелью великого народа, давшего миру огромное количество героических подвигов не только в гражданской жизни, но и в сфере исторического и культурного прошлого. Я знаю, что здесь все люди сидят грамотно образованные, политически подкованные, но, тем не менее, не могу не начать свое выступление с передовой газеты «Правда», которая отражает официальный курс нашей партии, новый курс нашей партии, потому что всем очевидно и ясно, что то, что сейчас происходит в нашей стране – это не просто явление временного характера, это курс взят на полное изменение всех тех моментов, которые омрачали нашу жизнь, всех тех момен-

тов, которые тянули нас не вперед, а назад и которые под рукоплескание приспешников нашего врага, засевших и окопавшихся во всех сферах нашего государственного аппарата, пытались уничтожить наше могучее отечество, но... у них ничего не получится и тот курс, который партия взяла сейчас – он не обратим. (Аплодисменты.) Не могу не остановиться на некоторых моментах. Первое: Главное..... в развитии искусства и литературы, говорится в новом проекте редакции программы КПСС о укреплении связи с жизнью народа, правдивого и высокохудожественного отображения социалистической действительности, вдохновенной и яркой, раскрытия нового, передового и страстного обличения всего, что мешает движению общества вперед и, далее: чувство законной гордости богатствами славной традиции нашей многонациональной культуры, ее усугубляющимся бюрократизмом, не должно мешать нам видеть и узкие места, негативные явления на тех или иных участках культурного фронта, в различных сферах художественного творчества. Нуждается в совершенствовании кинопроизводство, театральное дело, ...художественно значительными, от правильно по проблематике произведениями репертуар многих сценических коллективов, серьезными недостатками страдает гастрольно-концертная деятельность. Необходимо оградить музыкальную эстраду, члены которой сегодня поистине необозримо, от идейно-ущербных, низкопробных подделок, от проникновения на ее подмостки пошлости и вульгарности. Наша общественность давно уже обеспокоена тем обстоятельством, что многие представители подрастающего поколения ориентируются на далеко не лучшие образцы эстрадного искусства, как отечественного, так и зарубежного, не подготовлены для восприятия серьезной музыки. Не буду дальше утомлять чтением передовицы, но ведь каждый может прочитать ее в газете «Правда» от 1-го декабря 1985 года. В связи с этим, мне на глаза попала одна великолепная статья кинорежиссера Мотыля, в газете «Советская Россия» за 3-е декабря 1985 года, где он критически анализирует состояние кинематографа в настоящее время, совершенно четко обнажает проблемы безыдейности и бездуховности нашего кинематографа. Я не буду читать всю эту статью, вы ее прочтете, но один из кусочков, который характеризует положение дел в кинематографе, гласит о следующем: «Каждый год проводится в нашей стране Всесоюзный кинофести-

валь, смотр достижений киноискусства. Один из председателей жюри, кинорежиссер Паланкин, просмотрев не один десяток конкурсных лент, признался: процент картин, не обладающих никакими достоинствами, непозволительно велик, и это сказано о фильмах, отобранных киностудиями в качестве лучших. Не буду анализировать дальнейшую статью, потому что на это нет времени, но хочу обратить ваше внимание на пошлость, верх цинизма и наглости, какой может только допустить безнравственный кинематограф, это фильм «Пришла и говоришь» с участием Пугачевой. (Аплодисменты.) Издевательство, издевательство над нашей эстрадой, в конце концов! Издевательство над образцами, лучшими образцами нашего песенного жанра! Но уже самое главное и самое страшное, это то, что когда ветераны встают и под песню «И вот представился уже Иван Иванович» исполняют чуть ли не ритуальный танец 7.40. Не это ли есть постыдная гнусность?! Все увешаны орденами! (Аплодисменты.) А ведь эта антисоветская мерзость проникла на наш экран благодаря художественному совету государственного Комитета по кинематографии. Почему же Ермаш, который, простите, уже председатель Госкомитета кинематографии, две публикации, вторая публикация «Зачем пришла к нам Анжелика» в газете «Комсомольская правда» от 16-го ноября 1985 года, где Госкомитет категорически критикуется, и где уже откровенно идеологического характера задача поставлена, но этот человек сидит, он представляет наш кинематограф, а еще и врет при этом, а врет отменно. Прошу вашего внимания, для того, чтобы зачесть еще один маленький кусочек из этой статьи. Например: в 1982 году председатель Госкомитета Ермаш заявил публично: «Еще три-четыре года назад советские фильмы смотрели не многим более 50% зрителей, сейчас эта цифра достигла более 72%. Советские фильмы вновь завоевали интерес и внимание». Однако с официальными документами названные проценты не совпадают. Если в 1981 году советские ленты просмотрело 64% зрителей, то в следующем – 56,2%. Вот уж воистину «тернистых истин мне дороже возвышающий обман». И это заявляет председатель Госкомитета, имея партийный билет в кармане, занимая государственное место, не только лжет в своих официальных показателях, но и извращает кинематограф как таковой, ибо он как коммунист обязан отвечать за то, что делается в его ведомстве. Не могу не отметить и такой

маленький факт, вернее, не маленький, а большой, в газете «Советская Россия» в субботу, 16 ноября 1985 года, передовица «Воспитание – помнить его» (?). Я не буду ее также зачитывать, но хочу сказать, что вся статья пронизана духом глубокого патриотизма, взглядом в прошлое, то, от чего заставляют нас отказаться современные идеологи, так называемые, «от культуры», иначе ее назвать нельзя, действительно, все это очень сходно, и очень похоже на попугайство. И здесь, в этой статье, указано о том, что органы всероссийского общества охраны памятников культуры подали в прокуратуру УССР обличительные материалы на тех, кто разрушал доселе памятники истории и культуры (аплодисменты) и чего до настоящего времени не делалось, т. е., практически, те, кто разрушал, ни за что не отвечал, но, может быть, если какая-нибудь волосатая рука не позвонит и кого-нибудь не спасет, может быть, и привлекут к уголовной ответственности. Это – «Советская Россия», суббота, 16 ноября 1985 года. Вообще прекрасная газета, действительно, наша, русская, Слава Богу, хоть газета у них хорошая. (Аплодисменты.) Хочу обратить ваше внимание или пройти мимо такого, казалось бы, важного фактора в нашей жизни, как ...(рупор?)... нашей пропаганды – Центральное телевидение. Почему, товарищи, я обращаю внимание, так сказать, бегло, на все эти вопросы, потому что именно из этого складывается, я хочу вас сейчас подвести к желанному и обнажить этого наглого противника и врага, который пытается на протяжении целых десятилетий втоптать нас в грязь и уничтожить. Вы видели все это сегодня на экране и в словах выступающих. Я лично знаком с председателем Госкомитета телевидения и радиовещания тов. Лапиным. Встреча у нас состоялась при незавидных обстоятельствах, в силу того, что, я не хочу называть героя фильма, о котором снимали на Центральном телевидении фильм, как автор сценария, режиссер-постановщик двухсерийного фильма, называется фильм «Бьется (?) сердце человека», потом это название было украдено у одного из наших известных художников. Ну, а, тем не менее, эти слова принадлежат, естественно, не мне и не ему, а принадлежат Достоевскому, вы все это знаете прекрасно, но, когда состоялся просмотр кинофильма в его кабинете, то меня потрясло, там было восемь человек свидетелей, никто не даст мне соврать, если партийная совесть допустит такую ложь или, не должна допустить, но, когда был про-

смотрен фильм, то тов. Лапин сказал (да, у меня там был, вроде тезис «Красота спасет мир», значит то, что я беру Ф. М. Достоевского), тогда, значит, этот товарищ, то-бишь, Лапин говорит: «Х-м, красота спасет мир. Да не красота спасет мир, а Устинова», на что я ошалело, в оцепенении и ужасе посмотрел на председателя Госкомитета и спрашиваю: «Насколько мне известно, политика нашей партии – это последовательная и полная борьба за мир. Почему вы берете на себя ответственность за такие политические, безответственные заявления?!» Более того, продолжая, так сказать, отношение к моему фильму, он сказал: «Мы покончим с реакционной сущностью этого Достоевского, это религиозный мистик!» Он это произносил в тот год, когда всем миром, решением ЮНЕСКО отмечался как год Федора Михайловича Достоевского. Кто же возглавляет наше телевидение, если он берется судить имя Достоевского в веках! А этим (?) умрет, придет другой – Ципин, Хайкин, и мы не будем помнить о них! (*Аплодисменты.*) Вызывает глубочайшее возмущение и тот факт, что телевидение, практически, не отражает нашей русской истории, русской старины. Более того, если мы видим какие-либо исторического характера или свойства передачи, то это в форме водеvilчика, в форме канканчика о таких вот наших матерей и отцов. До каких пор это будет продолжаться?! Изнасиловал совершенно нас уже, так сказать, певец Кобзон, это просто невозможно! (*Аплодисменты, выкрики в зале.*) Как будто в России уже нет других певцов, исполняющих как патриотические песни, как партийные песни, как и народные песни. Очень хорошо по этому поводу, пародист есть такой, Иванов, я к нему не очень хорошо отношусь, но, тем не менее, в одной из своих пародийных передач сказал: «Как не остановить поющего бизона, так не остановить поющего Кобзона». (*Смех в зале, аплодисменты.*) И до каких пор, в одном из концертов, который состоялся во Дворце спорта, конференсье набрался наглости, и, представляя Кобзона, представил его как народного певца России. Сколько заплатили этому конференсье денег, трудно сказать.

7-го декабря, в субботу, то есть вчера, в программе «Время», наш политический обозреватель-комментатор, Потапов, со слезой на глазах и надрывом в голосе, комментируя политическую ситуацию во Франции, сказал: «Какое же это безобразие, французское правительство не обращает внимания на то,

что в центре Лувра уничтожается старинная застройка и возносится какая-то там стеклянная штуковина, в которой будут храниться экспонаты». Значит, что это такое, трудно было понять, но дрожь в голосе тов. Потапова до такой степени меня растрогала, что я чуть не заплакал, и в одно и то же время, мне захотелось позвонить ему в Париж и сказать: «Дружок, позвони-ка оттуда и в передаче по телевидению скажи, что с Москвой творят! Может быть, тебе поверят, потому что ты в Париже!» (Аплодисменты.) До сих пор ни один политический обозреватель Центрального телевидения не сказал ни слова. А между тем, есть о чем говорить. Мы не говорим о целых сериях приведенных примеров на этом вечере и на многих вечерах, которые состоялись, но вот, на Даниловской площади, недавно, на перекрестке Хасса и Вала, в церкви, был открыт гризан (?), вот, прямо гризан (?) был открыт в церкви. Что такое гризан (?), я не знаю. Поэтому я бы хотел спросить наших политических обозревателей – в чужом глазу соринку видите, а в своем – бревна не замечаете. Далее, зачастую, когда мы говорим о памяти древнерусской архитектуры, нам начинают говорить о том, что мы навязываем такое понятие, как церковность и проч. и проч., хотя ничего такого страшного в этом понятии нет, потому что, все-таки в церкви были какие-то высоконравственные моральные идеалы, мы говорим всегда о высоких понятиях, всегда говорим о лучшем представлении той или иной ситуации, той или иной проблематики, но ведь, практически, что значит церковь – это, прежде всего, памятники древнерусского зодчества, что ж мы страшимся всего этого, а почему же мы не помним о том, как на средства верующего, православный иезуитник Дмитрия Донского Почему мы не говорим, что на средства верующих были собраны целые полки нашей авиации, сколько пошло вооружения, а почему мы не говорим, что легендарный подвиг был повторен верующими людьми в Великой Отечественной войне 41-45 года. (Аплодисменты.) А кому-то очень выгодно верующих травить Основной закон Советской конституции гласит о том, что мы имеем право отправлять религиозные культы, вероисповедования, так же, как и заниматься атеистической пропагандой. (Аплодисменты.) Верующие люди неоднократно доказывали в своей жизни ту героинку, о которой мы подчас со слезами на глазах произносим или втихомолку, или вот так, на больших собраниях. Возвращаясь

к телевидению, можно сказать, что передачи телевидения носят настолько заведомые, настолько парадные, нехарактерные для нашего времени передачи, которые просто иногда и смотреть мне тошно. Я никак не могу понять, неужели телевидение никак не может войти в новый курс программы нашей партии, который сейчас объявлен, и пересмотреть свои программы, чтобы было интересно смотреть, а, главное, чтобы честно вскрывались те недостатки, которые есть у нас в стране. Я все это подвожу, чтобы было ясно, на чем я хочу поставить свою последнюю точку, я не буду долго говорить о живописи, о том, что со времен 20-х годов, когда был самый настоящий погром русской национальной культуры, когда воинствовал и когда пролеткульт разрушал и уничтожал все, я хочу просто, кое-что зачитать. В первые годы Советской власти лидеры левацких группировок добились господствующего положения в культуре и жизни страны. Некоторые из них, Штимберг (?), это ретушер из Парижа, Кайфман, Кунин, Малевич заняли ответственные посты в отделе изобразительных искусств Наркомпроса. В их руках оказались все органы печати, художественные учебные заведения. Началась ярая пропаганда формализма. Реалисты, – так они говорили – это подражатели, старьевщики, а реализм – синоним бездарности, – провозглашали они. Провокационно велась работа на разрушение культурного наследия прошлого. «Растрелли – расстреливай!» – вопили они. Взорвать, разрушить, стереть с лица земли старые художественные формы, как не мечтать об этом новому художнику, пролетарскому художнику, новому человеку, – провозглашал левацкий идеолог Кунин. Подверглось преследованию и шельмованию русское национальное искусство, обвиняемое в провинциализме, как только нас не обвиняли, в полном отсутствии самостоятельности, самобытности, в подражательстве западным образцам. Это писал Эфрос, Эфрос «Революционное искусство Запада», «Прожектор», 26-й год, № 11. Насмешки и клевета раздавались не только в адрес русского искусства, но и всего русского народа, представителей его культуры, писал Бройдо (?) – также было в «Прожектор», 26-й год, но только «Прожектор» № 7. Академия художеств была ликвидирована, вместо нее – Худ....., лозунгом которого было – «Забор – пароходу современности». Летели законно образцы античной русской скульптуры, уничтожались и рушились на части полотна мастеров живописи.

Что это?! Это приход нового?! Да нет! Под предлогом прихода нового уничтожалось национальное достояние нашего народа, топталась наша история. (Аплодисменты.) Владимир Ильич Ленин совершенно четко давал отношение к этим наглецам, более того, он их отвергал, и, на одном из вечеров мне пришлось зачитывать, не буду сейчас вам зачитывать, где, значит, в одном его разговоре с Кларой Цеткин, где он говорит о своем отношении вот к этому модернистскому искусству. Все это вы можете сами прочитать. Я хочу обратить ваше внимание, что, как следствие всего этого безобразия художественной жизни, мы смотрим с политической точки зрения на нашу пропаганду, плакатную. Вы посмотрите, какие монстры украшают, якобы, агитационные наши плакаты. Это вот такая вот головка, такие ручища, а ножища непомерные. То есть, чтобы крепко работать и все время отбойный молоток держать, а думать не надо, за вас подумают. (Аплодисменты.) И вся эта аморальщина и безнравственность выходит в мир и преподносит нам безобразнейшие образцы, которые работают уже не на пропаганду, а на антипропаганду. А сколько тратится народных денег на все это, я уже не говорю о скульптуре, тут я на одном из вечеров показывал слайды, это памятник Суворова, это проект был Лыкова, где – настоящий генералиссимус, или памятник Комову, это такой опереточный герой, который сейчас что-то должен запеть, но он уже стоит, почему-то победил. Обращая ваше внимание еще раз на передовую «Правды» от 18-го июля 1985 года, хочу сказать: – Центральный Комитет придает важное значение тому, чтобы ошибки и просчеты, кого бы они ни касались, подвергались принципиальной критике. Долг партийных комиссий предельно поддерживать тех, кто смело, по-деловому выступает против недостатков, болеет за судьбу и общее дело, привлекая к строжайшей ответственности зажимщиков критики. В связи с этим, хочу привести вам маленький пример. Существует такое патриотическое объединение «Память», которое занимается тем, что пропагандирует нашу национальную культуру, наше национальное достояние. И вот мне пришлось, на одном из вечеров, 4 октября, выступить, где я пытался обличать сионизм в некоторой связи с приведением определенного рода документов, которые я вам сегодня, по возможности, зачитаю, если вы этого захотите. (Аплодисменты.) Почему говорю, если вы этого захотите, чтобы потом не раздавались телефонные

угрозы в мой адрес о том, что меня размажут по асфальту, а председателю нашего управления Дегтярь Елене Семеновне в этот момент умудрились пробить голову, причем без пятнадцати двенадцать, 25-го октября, на Советской площади напротив Моссовета. Понимаете, вот, что значит критиковать сионизм. Это не шутки и посему, если вы сейчас не боитесь, не улетите от страха, я буду их читать. (Аплодисменты.) Отсутствие политической позиции руководства ЦК Горбунова привело к тому, что они не только не сумели отстоять вот этот вечер, со всеми теми материалами, которые выкладывались на этом вечере, но они попытались нас еще и осудить, в чем, в общем-то, провалились. Провалились, но и показали свою, так сказать, политическую зрелость, этим самым. Поэтому, нашлись предатели среди нашего народа, среди наших людей, причем, я хочу обратить ваше внимание еще и на то, что мы всегда ищем, что кто-то где-то виноват, не обращая внимания на самих себя, еще Достоевский об этом говорил, обращал внимание. У нас две крайности, или мы чересчур роемся в своем грязном белье и занимаемся моральным изысканием в свой адрес и осуждением в свой адрес, или, наоборот, мы вообще пытаемся ничего не видеть, давая возможность врагу беззастенчиво и нагло действовать на нашей территории, на нашей земле. И получается, что мы живем как бы в оккупированной зоне, благодаря их действиям. (Аплодисменты.) Позиция каждого человека определяется конкретным поступком. Здесь много было сказано о Барановском, а вот ведь не сказал, как тов. Барановский попал туда, а ведь он буквально забаррикадировался в храме Василия Блаженного и два или три дня не пускал туда милицию. А потом его, естественно, арестовали. Когда жена приносила ему в авоське пищу, он даже узелка не развязывал, а спрашивал: «Стоит он?» И когда она ему говорила – Стоит, стоит, – тогда он прикасался к пище. Вот позиция каждого человека. Поэтому еще раз обращаю ваше внимание на то, что позиция каждого человека, каждого, потому что каждый день смерти подобен, и это – не паника, и это не крик и не треск души, нет! Потому что только при нашем пассивном попустительстве сложилась вот такая нездоровая атмосфера. И все те выкрики, которые были в зале, которые раздавались в мой адрес и в адрес проведения вечера, когда орали – Васильев, вы нацисты, завтра будете вешать детей и прочее – это кричали провокаторы, которые руково-

димы были определенной рукой, и вот сейчас вот следствие ведется по этому вопросу. И я думаю, что наконец-то правда восторжествует и мы раскопаем, кто эти негодяи, кто спровоцировал все эти деяния. Я хочу сказать, что позитивные моменты в работе нашей партии приводят к тому, что, вот пример, в газете «Неделя» есть статья «Закон один для всех», где выступает зампредседателя Верховного суда Сергей Иванович Гусев, который говорит о том, что качественно и количественно резко сократились после введения указа об алкоголе, о борьбе с алкоголизмом, т. е. в противалкогольной программе. Далее, интересна очень в газете статья, почему опираюсь, чтоб меня ни в чем не обвинили, я опираюсь только на советские на центральные органы нашей партии. Значит, статья «Прошел слух», автор ее – Штейнблит, начальник главного управления уголовного розыска. Вот, что он пишет: «В подчинении государственного комитета СССР по профессионально-техническому образованию имеются специальные профтехучилища для правонарушителей, однако количество училищ не позволяет в должной мере использовать возможности этих учебных заведений для перевоспитания подростков, особенно в РСФСР. В связи с этим, пришло предложение об увеличении специальных профтехучилищ и создании специальных лечебно-воспитательных учреждений для несовершеннолетних правонарушителей, имеющих аномалии в психике». Вы только вдумайтесь на секунду в жуткий смысл этого абзаца. «Мы просим увеличить», увеличить все эти учреждения, не сократить их... О чем все это говорит... Переходя, наконец, к тому негативному явлению, о котором мы все здесь говорим, мы, безусловно, не можем закрывать на такое реакционно-политическое движение, как сионизм, и мы сионизм должны обличать в полной мере, как требует того коммунистическая партия Советского Союза и ее ленинский Центральный Комитет. (Аплодисменты.) В журнале «Агитатор», № 18 за 1982-й год, в статье «Сионизм – орудие реакции», опять, не будем перечислять массу моментов, весьма полезных, но хочу обратить внимание на следующее: тактические расхождения между политическими и духовными сионистами не затрагивают стратегические цели международного сионизма. Я не буду сейчас вдаваться в историю всего этого дела, по одной простой причине, потому что там стоит Ашер Гинзберг, ашадхан, идеолог сионизма, а у другого стоит Герцль, т. е. – это

идеологи сионизма, которые выработали документ, как такой протокол сионских мудрецов, т. е. тайная теория сионизма, которая действует по настоящий момент, по настоящий день. Поэтому сионисты различных мастей совместно действуют в рамках, созданных в 1897 году Всемирной сионистской организацией ВСО, программа которой ныне провозглашает Единство еврейского народа и центральное место Израиля в жизни евреев. При этом сионистские лидеры провозглашают сионизм еврейским национальным освободительным движением. Теперь сионизм становится, по словам идеологов, национально-освободительным движением, а для нас он выливается в тотальное уничтожение нашего народа. Кто прав, кто виноват – разобраться трудно, но, думаю, вы разберетесь. Продолжая свою мысль, не могу обратить ваше внимание на то, что последние годы своей жизни Владимир Ильич Ленин уделял этому вопросу не последнее место и, я бы сказал, очень ответственное и сильное внимание. Подтверждением тому является изданный каталог институтом марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, Всесоюзной книжной палатой, кабинетом и музеем-квартирой В. И. Ленина в Кремле, библиотекой В. И. Ленина в Кремле, каталог, Москва 1961 год, издательство Всесоюзной книжной палаты. Под номером 1806, на полке, в кабинете Владимира Ильича стоит книга «Всемирный тайный заговор, протокол сионских мудрецов» по тексту Нилуса. 1812-й номер, Деревский «Протокол сионских мудрецов, история одного подлога» с предисловием Карташова, объем 159 страниц, кабинет, Берлин, эпоха, 23-й год издания. Фрей – «Тайный вождь иудаизма – Ахад Аам – Ашер Гинзберг», 127 страниц объем, 1922 год издания, Берлин. Под номером 1846 стоит книга «Правда о сионских протоколах», Париж, франко-русское издательство, 44 страницы объем, 1922 год, кабинет, т.е., где указывается кабинет – это значит, стоит у него на этажерке. 1859 номер, Фрей «Тайный вождь иудаизма, о подлинности протокола сионских мудрецов», Берлин, 22-й год, перевод с французского, кабинет. И 7714, Энгельс «Сионизм и мировая политика». То есть, это не полный перечень той литературы, которая находится в музее-квартире Вл. И. Ленина в Кремле и которая подтверждает наличие этих протоколов, которые пытаются оболгать и назвать подделкой тогда, когда она не имеет подтверждения в реальной жизни спустя много лет. Я обращаю внимание на то, что вождь мирового пролетариата,

основоположник нашего государства изучал этот вопрос, я, как рядовой член (!) этого государства, беспартийный большевик, ленинец, обязан знать то, чем занимался наш вождь. И хочу обратить ваше внимание на эти протоколы, предварительно сославшись еще на один документ. Это пример учебно-тематического плана и программы для школы лекторов по вопросам идеологической борьбы и контрпропаганды. Для общества «Знание», центральный совет народных университетов и сектор внешней политики СССР идеологической борьбы. Здесь приведен колоссальный перечень о том, как надо говорить о сионизме, как надо раскрывать всю его вредоносную сущность, как надо искать все документы и обнажать их перед большими массами и аудиториями людей.

А у нас еще говорят – у нас еще народ для этого не подготовлен, да уж куда более, подготовлен. (*Аплодисменты.*) Начиная разговор о сионизме, о протоколах сионских мудрецов, я хочу сказать только одно – не так страшен чёрт, как его малюют, и не так страшен этот поганый сионизм, который служит как средство запугивания и удержания, прежде всего в повиновении еврейского народа. (*Аплодисменты.*) Более того, существует такая тактика, как обрезание ветвей, дабы, расплачиваясь низшим звеном своей нации, постоянно держать в путах сионизма куда более внимания не только своего народа, но и всех народов в понятии окружения мира. Поэтому сионизм может опираться только на наше невежество, на нашу трусость и на нашу подлость. (*Аплодисменты.*) Если у нас этих качеств не будет, то сионизм лопнет, как мыльный пузырь, о котором и говорить не придется и уделять столько времени, мы бы лучше говорили о памятниках, о нашей культуре и пели бы русские песни да чай гоняли. Я начну с первого протокола, о нем здесь будет зачитано не по порядку, а по смысловой значимости, но я прежде, чем начать разговор о понятии таком, как антисемитизм, хочу сказать, что в выступлении перед французским телевидением, генеральный секретарь коммунистической партии Советского Союза, М. С. Горбачев, в ответе правильно сказал на геббельсовский буквально вопрос одного из корреспондентов французского радио, он сказал, что «что вы, т. с., говорите о еврейском вопросе в Советском Союзе? Его нет и быть не может». У нас русский вопрос – это не он говорил, это я так думаю, что у нас русский вопрос гораздо острее стоит, чем еврейский, но он сказал так, Михаил Серге-

евич, что процент еврейского населения занимает у нас 0,69 сотых процента, а 10-20 процентов занимает в управленческом аппарате. 10-20 процентов! Это слова генерального секретаря, а он-то отвечает за свои слова, так же, как и я, между прочим. Но, если мы проанализируем процентное состояние творческих союзов, медицины, печати, искусства, то мы обнаружим весьма странную деталь, науки, отдельных сфер – о том, что процентное соотношение достигает от 50 до 70 людей еврейской национальности. Я ничего против не имею, ради Бога, пожалуйста, все это правильно, но при одном условии, если не будет попиранься основной закон советской конституции о равноправии наций! В котором совершенно четко написано, статья 34-я, «Граждане СССР равны перед законом, независимо от происхождения, социально-имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, образования, языка, отношения к религии, рода и характера занятий, места жительства и других обстоятельств. Равноправие граждан СССР обеспечивается во всех областях экономических, политических, социальной и культурной жизни» и далее, в статье 36-й, окончание: «...какое бы то ни было, прямое или косвенное, ограничение прав, в установлении прямых или косвенных преимуществ граждан по расовым или национальным признакам, равно как и всякая проповедь расовой или национальной исключительности, вражды или пренебрежения наказывается по закону». Так что, основной закон Советской конституции говорит о всем и говорить здесь больше ни о чем, собственно говоря, и не надо, но почему, один вопрос, почему представители еврейской национальности, я с глубоким почтением к этому народу отношусь, но почему они нарушают закон-то, советский, что он, для них не писан?! «Если какие-нибудь государства поднимут протест против нас, то это для формы и по нашему усмотрению и распоряжению, ибо антисемитизм нам нужен для управления нашими меньшими братьями» – вот что трактует тайная программа сионизма. «Голод создает право капитала на рабочего вернее, чем давала это право аристократия царской власти, нуждою и происходящей от нее завистливой ненавистью мы двигаем толпами и их руками стираем тех, кто нам мешает на пути нашем». Вдумайтесь, вдумайтесь внимательно в те слова, которые я произношу. Я точно не знаю, буду ли я их в скором времени произносить, но, тем не менее, пока есть такая возможность – вдумайтесь. «Наша власть, при

современном шатании всех властей, будет непреодолимее всякой другой потому, что она будет незримой до тех пор, пока не укрепится до тех пор, пока ее уже никакая хитрость не подточит». Ко мне, после вечера, подошла группа, которая говорит: «Рановато еще говорить об этих вот протоколах». Я говорю, так что вы ждете, когда совсем в порошок сотрут, тогда уже и говорить не придется, тогда уже нас в пакетики сыпать будут. «Гоим – баранье стадо» – гоим – это мы с вами – «и мы для них – волки. Они закроют глаза на все еще и потому, что мы им наобещаем вернуть все отнятые свободы после усмирения всех врагов мира и укрепления всех партий. В прессе воплощается торжество словоговорений, но государство не умеет воспользоваться этой силой, и она очутилась в наших руках. Через нее мы добились влияния, сами оставаясь в тени. Благодаря ей, мы собрали в свои руки золото, невзирая на то, что нам приходилось его брать, невзирая на потоки крови и слез. Но мы откупились, жертвуя многими из нашего народа. Каждая жертва с нашей стороны стоит тысячи голов гоев перед Богом». Вот что пишут протоколы сионских мудрецов. И подтверждением тому не что-нибудь, а вспомните Эйхмана, кто такой был Эйхман? Это был представитель еврейского народа. Как он уничтожал представителей своей нации, чем он расплачивался за то, чтобы сидеть так высоко и так уничтожать представителей своей нации через концлагеря, крематории и проч. – Эйхман, один из заправил Третьего рейха фашистской Германии. «Наш пароль – сила и лицемерие. Только сила побеждает в делах политических, особенно, если она скрыта в талантах, необходимых государственным людям. Насилие должно быть принципом, а хитрость и лицемерие правилом для правительств, которые не желают сложить свою корону к ногам агентов какой-либо новой силы. Это зло есть единственное средство добраться до цели. Поэтому мы не должны останавливаться перед подкупом, обманом и предательством, когда они должны послужить к достижению нашей цели. В политике надо уметь брать чужую собственность без колебаний. Если ею мы добьемся покорности и власти. Спирт, классицизм, разврат. Взгляните на заспиртованных животных, одурманенных вином, право на безмерное употребление которого дано вместе со свободой. Не допускать же нам и нашим дойти до такого. Народы гоев одурманены спиртными напитками, а молодежь их одурела от раннего разврата,

на который их подбивает наша агентура и наши женщины в местах гойских увеселений. К числу этих последних можно причислить, так называемых, дам из общества, добровольная последовательность их по разврату и роскоши. Для возможности всенародного выражения подобных желаний необходимо мутить беспрестанно во всех странах народные отношения и правительство, чтобы переутомить всех разладом, враждою, борьбою, ненавистью и даже мученичеством, голодом, прививкой болезней, чтобы гоим не видели другого исхода, как прибегнуть к нашему денежному и полному владычеству. Если же мы дадим передышку народам, то желательные моменты едва ли когда-нибудь настанут. Наша власть – в хроническом недоедании и слабости рабочего, потому что он всем этим закрепощается нашей волей, а в своих властях он не найдет ни сил, ни энергии для противодействия ей. существующих законов, не изменяя их существенно, а лишь исковеркав их противоречивыми толкованиями, мы создали нечто грандиозное в смысле результатов. Эти результаты выразились в том, что эти толкования вначале замаскировали законы, а затем и совсем закрыли их от взора правительств, невозможностью ведать такое запутанное законодательство. Вы думаете, что на нас поднимутся с оружием в руках, если раскусят, в чем дело, раньше времени, но для этого на Западе у нас такой терроризирующий маневр, что самые храбрые дрогнут, подземные ходы, к тому времени, будут проведены во всех столицах, откуда они будут взорваны со всеми своими организациями и документами стран». И, наконец, последнее, их там 22, но тут я не все буду читать, последнее: «Как взять в руки общественное мнение? Чтобы взять общественное мнение в руки, надо его поставить в недоумение, высказывая с разных сторон столько противоречивых мнений и до тех пор, пока гоим не затеряются в лабиринте их и поймут, что лучше всего не иметь никакого мнения в вопросах политики, которой обществу не дано ведать, потому что ведает только тот, кто руководит обществом». Это первая тайна, и вот почему я думаю, Михаил Сергеевич Горбачев активно и Центральный Комитет нашей партии активно призывает нас к гласности, мы обязаны разоблачать все эти явления, надо создать такую атмосферу, чтобы почва у сионистов горела под ногами, но ни в коем случае не допускать антисемитизма. (Аплодисменты.) Надо сделать так, чтобы их зады все время чувствовали раскаленную сково-

родку. Вот, что надо сделать. (*Аплодисменты.*) Но еще раз, еще раз и еще раз обращаюсь к вам. Надо всяческим образом влиять на молодежь, на людей, окружающих нас, не допускать всяких антисемитских выходок, это сейчас на руку врагу, только на руку, потому что именно им надо это, потому что, в результате всех погромов, которые существовали в России, гибли лучшие представители русского народа и тех народов, среди которых эти погромы совершались. Поэтому я, не говоря о русском народе, не могу не сказать о всех народах нашей планеты, для которых сионизм представляется как крайняя опасность существования и выживания наций. Все нации должны объединиться с этим чудовищным и опаснейшим врагом. (*Аплодисменты.*) Ибо вся подстрекательская позиция сионизма направлена на развязывание мирового конфликта и войны. Вторая тайна, потребованная для успеха управления, заключается в том, чтобы настолько размножить народные недостатки, привычки, страсти, правила общежития, чтобы никто в этом хаосе не мог разобраться, и люди, вследствие этого перестали понимать друг друга. «Мы должны обескуражить всякую личную инициативу, могущую сколько-нибудь мешать делу. Нет ничего опасней личной инициативы. Если она гениальна – она может сделать более того, что могут сделать миллионы людей, среди которых мы посеяли раздор. Нам надо направить воспитание гойских обществ так, чтобы перед каждым делом, где нужна инициатива, у них опускались в безнадежном бессилии руки». Вот, что негодяи делают! И мы должны молчать! И должны ходить и смотреть спустя рукава на то, что творится. Мы ищем причины, а причины вот где зарыты! Вот, где зарыты причины! Я считаю, что главным результатом нашей жизни сегодняшнего дня и жизни будущих поколений, имея в виду наших детей, мы должны совершенствовать наше национальное сознание, быть более бдительными, остерегаться антисемитизма и сплотиться вокруг коммунистической партии Советского Союза, ее ленинского Центрального Комитета во главе с генеральным секретарем Михаилом Сергеевичем Горбачевым. (*Аплодисменты.*) И мы не дадим столкнуть нас с партией, не дадим! А закончить свое выступление я хочу стихотворением, которое было опубликовано в издательстве «Молодая гвардия», в 1984 году, в Москве, «Избранное», это Виктор Коротаев, его стихотворение. Этим я и хочу закончить свое выступление.

«..... нас учили, наболтали

Всяческих навешали собак.

Так пожить хотелось без баталий, да не получается никак.

Поднимаясь медленно со стула, прохожу неспешно вдоль
стен,

Чувствуя спиной, как ваши дула твердо на меня наведены.

И со всем природой данным пылом принимаю к действию
сигнал.

Это кто нас там «российским быдлом» тихо, но старательно
назвал?!

Супостаты, вы всегда на деле, да и нам постыдно забывать,

Мы ведь только внешних одолели,

Внутренние выжили опять.

Знаю, под мозгами поработав, вы, в своем коронном, тайном
сне,

Нас, неисправимых патриотов, жарите на медленном огне.

Неспроста, боясь разоблачений, зря не подставляя головы

..... изречений забаррикадировались вы.

Презираю ваши баррикады, выхожу на линию огня.

Я давно не жду от вас пощады, но и вы –

Не ждите от меня!»

(Бурные аплодисменты.)

Спасибо за внимание. *(Бурные аплодисменты.)*

Звучит патриотическая маршевая песня.



Израильский журнал на русском языке не только для евреев. Каждую неделю: Интервью с политиками, экономистами, эмигрантами и новоселами. – Обзор израильской печати («Маарив», «Едиот ахронот», «Харец», «Джерузалем пост» и т. д.) – Лучшее из журналов Свободного мира. – Самиздат. – Роман в продолжениях. – Письма читателей. – Дискуссии без цензуры. – Новые рас-

сказы и повести несоветских русских авторов. – Что происходит по ту сторону кордона и др.

Цена для Европы на 3 месяца – 75 марок ФРГ,

для США и Канады – 30 долларов США.

включая пересылку авиа.

РУССКИЕ КНИГИ

- КЛАССИКИ
- САМИЗДАТ
- ЛИТЕРАТУРА ЗА РУБЕЖОМ
- РЕДКИЕ ПЕРЕИЗДАНИЯ
- СЛАВИСТИКА

Представительство журнала

«КОНТИНЕНТ»

На складе более 3000 наименований книг

Вышел из печати наш новый большой каталог 1985/86.
Высылаем бесплатно по первому требованию заказчика.

Subscription inquiries
should be addressed to



A. Neimanis • Buchvertrieb

8 München 40 Bauerstr. 28 • Germany

Иосиф Бродский

ПОЧЕМУ МИЛАН КУНДЕРА НЕСПРАВЕДЛИВ К ДОСТОЕВСКОМУ

ОТ РЕДАКЦИИ

Публикуемая ниже (в переводе с английского) статья Иосифа Бродского «Почему Милан Кундера несправедлив к Достоевскому» была напечатана в воскресном «Книжном обозрении» газеты «Нью-Йорк таймс» 17 февраля 1985 года. Всякий, кто знаком с творчеством Бродского – а для некоторых читателей это уже более чем двадцатилетнее знакомство, – естественно, заинтересуется, что заставило поэта впервые обратиться к жанру полемической публицистики. Тем более, что он вызвался быть оппонентом, так сказать, трижды собрата: по перу, по происхождению из соцлагеря и по изгнанию – с разной, впрочем, степенью добровольного принятия этой участи. При этом необходимо сообщить заранее, что отношение Милана Кундеры к советскому вторжению в его страну в 1968 году предмета спора не составляет, поскольку в этом вопросе у Бродского с Кундерой разногласий нет.

Разногласия коренятся в другом – в желании Бродского отвести косвенное обвинение за это вторжение от объекта совершенно невиновного – от психологического контекста, созданного Достоевским в его произведениях, – а также предостеречь от исходящих из неверной интерпретации художественного текста выводов об особенностях психологии русской культуры и о трагическом состоянии современного мира как следствия этих особенностей. По мере чтения статьи Бродского становится совершенно очевидно, что оценка советского вторжения в Чехословакию – это чуть ли не единственный вопрос, в котором автор с Кундерой согласен, поскольку большинство остальных посылок Кундеры Бродским оспаривается. Именно в этом и кроется причина того, что заставило

Бродского «ввязаться в спор», ибо речь в нем идет об эстетических различиях мироощущения и отсюда – мировоззрения в целом. Вот почему, публикуя статью Иосифа Бродского, мы считаем необходимым познакомить наших читателей также и с основными положениями статьи Милана Кундеры «Предисловие к вариации», опубликованной в том же органе печати 6 января 1985 года, сопроводив эти выдержки нашим комментарием.

В редакционном предисловии газеты «Нью-Йорк таймс» к статье Милана Кундеры сообщается, что публикация вызвана следующим обстоятельством:

«Чешский писатель Милан Кундера, последний роман которого называется «Непереносимая легкость бытия», сменил свою страну на Францию в 1975 году. Его пьеса «Жак и его господин» – каковую он называет вариацией к «Жаку-фаталисту» Дени Дидро, роману-путешествию XVIII века о романах-путешествиях и о взаимоотношениях слуг и господ, – впервые была поставлена в Загребе (Югославия) в 1980 году. С тех пор ее ставили на сценах Греции, Германии, Швейцарии и Франции. Премьера кундеровского «Жака» по-английски (в переводе Майкла Генри Хейма) состоится 16 января на сцене Американского репертуарного театра в Кембридже, Массачусетс, в постановке Сьюзан Зонтаг».

Вслед за этим предисловием начинается статья Милана Кундеры, в которой первым делом рассказывается о том, как автора настигла внезапная неприязнь к Достоевскому и одновременно неодолимая ностальгия по Дидро; после чего идет рассказ о первых днях оккупации:

«На третий день оккупации я ехал из Праги в Будейовице (городок, куда Камю поместил действие своей пьесы «Le Malentendu» – «Недоразумение»). Всюду вдоль дорог, в полях, в лесах – везде размещались лагеря русской пехоты. В одном месте мою машину остановили. Три солдата стали ее обыскивать. Когда эта процедура закончилась, офицер, отдавший приказ ее начать, спросил меня по-русски: «Как чувствуете?» – то есть «как вы себя чувствуете?» каковы ваши чувства в настоящий момент?» Его вопрос не был ни злобным, ни ироничным. Напротив. „Все это большое недоразумение, – продолжал он, – но все исправится. Вы должны понять, мы вас, чехов, любим. Мы вас любим“».

Эпизод этот, изложенный по-английски, для читателя, русский язык не знающего, не содержит подвоха – всё как будто логично. Для тех же, для кого русский язык является

родным, совершенно очевидно, что вопрос, к тому же не слишком грамотно поставленный: «Как чувствуете?» – да еще исходящий от оккупанта, а не, скажем, от врача, вовсе не имеет в виду осведомляться о чувствах, но означает лишь формальное приветствие. (Так же, как приветствие «Здравствуйте!» не означает на современном русском языке пожелания здоровья.)

Милан Кундера, разумеется, знать русский язык не обязан ни в коем случае; однако, не зная языка, не стоит предполагать, что он его понимает. Тем более, не стоит вследствие собственного непонимания чужой речи приписывать офицеру-оккупанту патологический интерес к чувствам обыскиваемого им Кундеры – увы, он лишь усердно выполнял приказ, как вести себя с местным населением оккупированной страны. Вполне достаточно на этом офицере действительных грехов, чтобы приписывать ему лишние.

«Местность разорена тысячами танков, будущее страны скомпрометировано на века, лидеры чешского правительства арестованы и похищены, а офицер оккупационной армии изъявляет вам свою любовь. Пожалуйста, поймите меня: он не испытывал желания осудить вторжение, ничего похожего. Они все говорили более или менее одно и то же, их отношение к происходящему базировалось не на садистском удовольствии насильника, но на совершенно другом архетипе: неоплатной любви. Отчего эти чехи (которых мы так любим!) отказываются жить с нами по нашим законам? Как жаль, что нам приходится пользоваться танками, чтобы научить их, что означает: любить!»

Мало того, что писатель по недоразумению распространяет чисто лингвистическую ошибку и тем самым приписывает советским оккупантам некую наполненность лирическими чувствами; но вместо того, чтобы задуматься, почему «они все говорили более или менее одно и то же» – уж не по приказу ли? – экстраполирует собственную недогадливость в сторону давно устаревшего стереотипа: раз коснулся русской тьмы – значит, говори о «высоких материях», неоплатной любви и прочих патетических чувствах, заставляющих этого писателя в данном случае увязнуть в чистой литературщине.

Отсюда и его заблуждения относительно Достоевского, построенные на смешении таких понятий, как реальность художественного произведения (например, столь «раздражающий» его «климат» романов Достоевского) и реальность

физически-бытовая (например, столкновение его с обыскивающим машину офицером). Благодаря этой путанице понятий, Кундера склонен подменять контекст, созданный Достоевским, тем псевдоконтекстом, который имеет название «достоевщина». К сожалению, если писатель не отличает одно от другого, это свидетельствует лишь о недостатках той самой литературной школы, которая пыталась его воспитывать на родине, школы, с которой он пытался бороться, но в чем, как явствует из его способа мышления, преуспел не до конца.

Точно так же его экскурс в историю культуры, историю христианства, гуманизма и рационализма выглядит предпринятым не для того, чтобы поразмыслить над истиной, но для того, чтобы уступить собственной склонности к самоиллюзиям и добыть с их помощью – вместо действительного – желаемый результат; что в случае писателя, рассуждающего на этические темы, право, неэтично.

«В юбилейной Гарвардской речи Солженицын поместил отправную точку происходящего в настоящий момент кризиса Запада именно на период Ренессанса. Россия – Россия как отдельная цивилизация – объясняется и открывается его оценкой, поскольку история России отличается от истории Запада как раз тем, что ей недостает Ренессанса и вызванного им духовного результата. Вот почему в русском мышлении соблюдается иное равновесие между рациональностью и чувством; в этом ином равновесии (или неуравновешенности) мы и находим знаменитую загадку русской души (как ее глубину, так и ее жестокость)».

Ссылаясь в данном случае на Солженицына, Милан Кундера и здесь пользуется приемом подмены, причем столь буквальная, что высказанное рассуждение писателя-мыслителя выдается за доказанный, академически выведенный закон точной науки. Негодность этого приема состоит хотя бы в том, что Солженицын, будучи художником, продолжает на данные темы размышлять, тогда как Милан Кундера готов к выводам еще до всяких размышлений.

Далее в своей статье Милан Кундера оставляет «русскую тему» и переходит к описанию романа Дидро «Жак-фаталист», к определению его места в истории романа, а также к попытке создать в целом очерк теории романа. Помня, что статья эта написана по случаю премьеры кундеровской пьесы «Жак и его господин» в Бостоне, значение, которое придает Кундера ори-

гиналу своей «вариации», невольно начинает казаться преувеличенным.

«...но – и на этом я настаиваю – история развития романа была бы неполной и непостижимой без «Жака-фаталиста». Я мог бы пойти еще дальше и заявить, что это произведение вознаграждает, даже если его рассматривать не только как часть канона Дидро, но и в контексте мирового романа: его истинная величина становится несомненной только в компании с «Дон Кихотом» или с «Томом Джонсом», «Улиссом» или «Фердыдурке» (последнее – произведение польского писателя Витольда Гомбровича, одного из великих романистов нашего столетия; кажется, он, к сожалению, недостаточно известен в Америке)».

«...Никто не оспаривает оригинальность Руссо, Лакло или Гёте на том основании, что они многим обязаны (они и эволюция романа в целом) наивному старому Ричардсону...» etc.

Если такого рода высказывания и представляют академический интерес, то не столько в плане путей развития литературного жанра или выводимых из него возможностей, сколько в первую очередь как свидетельство персональной истории становления Милана Кундеры; что, безусловно, интересно – но только в плане исследования творчества этого писателя. Куда как менее эти обобщения подходят искусству вообще, ибо пути искусства пролегают в области феноменов и уникальности.

Предваряя статью Иосифа Бродского комментарием по поводу статьи Милана Кундеры, стоит отметить, что поэт не только не «погорячился», прибегнув к резкому тону в своем ответе, но, на наш взгляд, даже поощрил Милана Кундеру, ибо не упомянул тех очевидных и доказуемых несуразностей, которые и без него видны читателю. Он обратил внимание только на то, что взывало к защите, а именно: на несправедливое отношение к Достоевскому, который сам защититься уже не может, а также на исходящую из этого несправедливого отношения цепь заблуждений, касающихся состояния современной цивилизации.

Появившееся недавно в нью-йоркском «Книжном обозрении» эссе Милана Кундеры («Предисловие к вариации», 6 янв.) содержит ряд высказываний, требующих ответа. Как прави-

ло, диспуты по вопросам вкуса оканчиваются ничем. То, однако, чему Милан Кундера отдаст предпочтение, строится, похоже, не столько на его эстетических взглядах, сколько на его ощущении истории.

При истории же человек оказывается на более твердой, если и не на абсолютно незыблемой, почве. Она тверда, во всяком случае, настолько, чтобы выдержать довод о собственном пагубном влиянии на судьбу художника. Насколько, чтобы заронить в нас предположение, не она ли именно и предопределяет этическую позицию такового художника. И все-таки эта почва из-под ног ускользает, если человек пытается возложить на нее ответственность за свои эстетические взгляды. Подобный образ мысли подчиняет искусство требованиям вероисповедания, философской системы, интересам группы – и, следовательно, идеологии. Искусство, между тем, древнее и неизбежнее, чем из перечисленных – любое.

Прилагая руку к украшению собора, зарифмовывая тезис, искусство может снабдить тиранию соответствующим гимном или мавзолеем. Никогда оно, тем не менее, не становится собственностью ни своих заказчиков, ни даже самих художников. Искусству присуща собственная, самопорождающая динамика, собственная логика, собственная родословная и собственное будущее. Эстетика индивидуума возникает из инстинктивного ощущения всех этих составляющих, а не исходит из заказа. Именно эстетика и обуславливает его этику и его ощущение истории – а не наоборот.

Самое худшее, что может произойти с художником, – что он начнет воспринимать себя собственником своего искусства, а само искусство – своим собственным инструментом. Производное рыночной психологии, это мироощущение в психологическом плане едва ли отличается от взгляда заказчика на художника как на оплачиваемого служащего. Обе эти точки зрения имеют тенденцию постулировать (или рекламировать) – первая: художником – присущей ему манеры; вторая: заказчиком – его воли и целей. Отстаивание этого всегда происходит за чужой счет. Художник стремится опорочить манеру другого художника; заказчик отнимает заказ, отвергает тот или иной стиль как нереалистический или дегенеративный и может посадить (или изгнать) художника. В обоих случаях потерпевшим является искусство и, следовательно, человек

как вид, ибо ему приходится иметь дело с заниженным представлением о самом себе.

При этом, если заказчика (допустим, государство) еще можно извинить, поскольку, предположительно, оно не знает лучшего способа поведения, то художника (допустим, писателя) извинить нельзя. В отличие от государства, писатель не может сослаться на историческую необходимость своих поступков. Ссылка на превратности истории как оправдание также не годится, хотя бы потому, что сотни тысяч перемещенных лиц, сезонных рабочих, нелегальных иммигрантов, беженцев разнообразных мастей и т. п. решительно выдернули орхидею из петлицы писателя-изгнанника. Не будь кроющегося в этой мотивировке противоречия, он мог бы, вероятно, сослаться на необходимость эстетическую. Эстетика, однако, есть сугубо линейное явление. Действие ее не обладает силой обратной отдачи по ходу движения прогресса – ибо это было бы ее самоотрицанием.

Бесспорно, рынок с его пристрастием к степеням превосходным способен заставить даже самую затертую мышку воспринимать себя в категориях посмертных. Он в состоянии внушить даже маститому автору, что остановка его автомобиля солдатом оккупационных войск есть его личное столкновение с историей – такова, судя по всему, и была реакция Милана Кундеры в Чехословакии в 1968 году. Это вызывает сочувствие, но только до того момента, когда он начинает пускаться в обобщения на тему этого солдата и культуры, за представителя которой он его принимает. Страх и отвращение вполне понятны, но никогда еще солдаты не представляли культуру, о литературе что и говорить – в руках у них оружие, а не книги.

В писателе с собственническим комплексом по отношению к своему искусству подобное столкновение пробуждает чувство неуверенности, которое заставляет его прибегнуть к языку не художественной, но исторической необходимости. Иными словами, он лихорадочно озирается вокруг в поисках того, на кого бы свалить вину за происходящее. Чувствуя себя уверенно только в пределах принадлежащей ему собственности, он, естественно, обнаруживает виноватого в том, чья стилистическая идиома представляется ему чуждой. Скорее всего, идиома эта и раньше представляла угрозу и для него самого, и для его самооценки. Теперь же, когда на него обрушились невзгоды, он инстинктивно указывает пальцем в знакомом

направлении. Короче говоря, появляется Милан Кундера с «Предисловием к вариации», палец его уверенно упирается в Достоевского.

* *
*

В один из дней 1968 года, когда советские войска оккупировали Чехословакию, сочувствующий театральный режиссер предложил Милану Кундере сделать под псевдонимом сценическую обработку романа Достоевского «Идиот». К тому времени книги Кундеры были запрещены, и у него не было «никаких легальных способов» обеспечить свое существование. Тем не менее, как объясняет он в своем эссе, «я перечитал „Идиота“ и понял, что, даже если бы мне пришлось голодать, я бы не смог выполнить эту работу. Мир Достоевского с его выходящими из берегов жестами, мутными глубинами и агрессивной сентиментальностью отталкивал меня. Внезапно я почувствовал необъяснимый приступ ностальгии по „Жаку-фаталисту“».

Милан Кундера – не первый из известных писателей, кто испытывал неприязнь к Достоевскому. Владимир Набоков, например, обожал сравнивать своего соотечественника с Эженом Сю, этим Диккенсом парижского дна (хотя, с моей точки зрения, сравнение с Сю ни в коей мере не унизительно). К чести Набокова, впрочем, он не ссылался на превратности истории в поддержку своего мнения, каковое навсегда останется на совести этого художника, наряду с его оценками Джойса, Фолкнера и др.

Далее Милан Кундера продолжает: «Отчего эта внезапная неприязнь к Достоевскому? Что это, антирусский рефлекс чеха, травмированного оккупацией своей страны? Нет, ибо я не перестал любить Чехова. Сомнения в эстетической ценности его произведений? Нет, ибо неприязнь эта овладела мною внезапно и не претендовала на объективность. Раздражал меня в Достоевском самый *климат* его произведений: мир, где всё обращается в чувство; иными словами, где чувства возводятся в ранг ценностей и истины».

Затем он ополчается против невнятности чувств и после замечания о том, что чувства обошлись нашей цивилизации

чрезвычайно дорого, переходит к восхвалению их противоположности, а именно: рациональной мысли, духа рассудка и сомнения, обнаруживая их средоточие исключительно на Западе. Границы, внутри которых чувства «рассматриваются как самостоятельные ценности, как критерии истины, как оправдание определенного поведения», находятся примерно в том направлении, куда указывает его палец и откуда появился как Достоевский, так и танки. В тех краях, где чувства замещают мысль, «благороднейшие национальные сентименты всегда готовы оправдать ужасы самые неопишуемые, и человек, чья грудь вздымается от лирического пыла, совершает чудовищные преступления во имя святой любви».

Это уж, положим, вовсе не так; во всяком случае, не столь симметрично. Преступления, совершенные и совершаемые в тех краях, совершались и совершаются во имя не столько любви, сколько необходимости – исторической, в частности. Концепция исторической необходимости есть продукт рациональной мысли, и в Россию она прибыла из стороны западной. Идеи о благородном дикаре, о природной добродетельности человека, каковой препятствуют дурные институты общества, а также об идеальном государстве, социальной справедливости и тому подобных вещах – ни одна из них не произросла и не расцвела на берегах Волги. Следует по возможности сопротивляться соблазну усматривать в праздных, хотя и одаренных, бездельниках французских салонов XVIII века источник современного полицейского государства. Не следует, однако, забывать, что «Das Kapital» был переведен на русский с немецкого.

Отдадим должное и западному рационализму, ибо бродивший по Европе «призрак коммунизма» осесть был вынужден все-таки на Востоке. Необходимо, тем не менее, отметить, что нигде не встречал этот призрак сопротивления сильнее, начиная с «Бесов» Достоевского и продолжая кровавой бойней Гражданской войны и Великого террора; сопротивление это не закончилось и по сей день. Во всяком случае, у этого призрака было куда меньше хлопот в 1945 году, когда он внедрялся на родине Милана Кундеры, как, впрочем, и в 1968-м, когда он вторично провозглашал свое – на эту страну – право. Политическая система, лишившая заработка Милана Кундеру, в той же мере является продуктом западного рационализма, как и восточного эмоционального радикализма. Короче, видя

«русский» танк на улице, есть все основания задуматься о Дидро.

Милан Кундера вспоминает о Достоевском либо оттого, что его ощущение географии предопределяется его ощущением истории, либо оттого, что наличие этого писателя вызывает в нем чувство неуверенности в себе. Я склонен думать, что последнее вероятнее, хотя бы потому, что такое чувство по отношению к Достоевскому вполне естественно со стороны любого профессионального писателя. Кроме всего прочего, описывать климат произведений Достоевского как мир, где все обращено в эмоцию, где чувства возведены в ранг самостоятельных ценностей или истины, есть само по себе искажение чрезвычайно сентиментальное.

Даже если свести романы Достоевского к тому редуцированному уровню, который предлагает Кундера, совершенно очевидно, что эти романы не о чувствах, как таковых, но об иерархии чувств. Более того, чувства эти являются реакцией на высказанные мысли, большая часть которых – мысли глубоко рациональные, подобранные, между прочим, на Западе. Большинство романов Достоевского являются по сути развязками событий, начало которых имело место вне России, на Западе. Именно с Запада возвращается душевнобольным князь Мышкин; именно там поднабрался своих атеистических идей Иван Карамазов; для Верховенского-младшего Запад был и источником его политического радикализма, и укрытием для его конспиративной деятельности.

Сущность подавляющего числа романов Достоевского состоит в борьбе за человеческую душу, ибо писатель предполагал, что человек таковой обладает и является существом духовным. Он повествует об этой борьбе – о перетягивании каната – между верой и утилитарным подходом к существованию; о маятникоподобном движении человеческого духа между двумя безднами: добра и зла. Эти-то бездны и уподобляет Кундера мутным глубинам; это маятникоподобное движение и воспринимает он как чересчур размашистую жестикуюляцию.

Как бы то ни было, взгляд Достоевского на человека отличается куда меньшей близорукостью, чем кажется Кундере. Картина эта куда более сложная и менее управляемая, что частично и объясняет дефект восприятия Кундеры. Ошибоч-

ность его толкования, судя по всему, связана с тем именно заниженным представлением о человеке, против которого Достоевский и негодовал и которое является порождением – употребим наиболее щадящее из возможных определений – агностицизма. Действительно, танки и войска прибывают в отечество Милана Кундеры с Востока с утомительной регулярностью; но его убеждение, что тип человека, описанный Достоевским, только на родине Достоевского и обитает, свидетельствует лишь о том, что Запад и по сей день не произвел на свет писателя, равного – по докапыванию до глубин – Достоевскому.

Отсюда и кундеровское чувство географии – ибо там, где он видит торжество чувств или разума, его русский предшественник видит человеческую предрасположенность ко злу. Коли уж на то пошло, чехи-то, учитывая их местоположение, на собственном примере и лучше других народов знакомы с этим общим знаменателем, проведенным историей по их спинам; они-то, надо полагать, к 1968 году еще не успели позабыть случившееся на 30 лет раньше, когда вторжение произошло с Запада. Остается только гадать, как бы тогда воспринимала чешская аудитория «Жака-фаталиста».

* *
*

Прежде чем приписывать рациональной мысли столь высокие достоинства, разумному человеку не мешало бы задаться вопросом, подлинно ли разум совершает открытия или же он всего лишь артикулирует знания, каковые уже находились в его распоряжении. Вопрос этот древнее, чем наша цивилизация; по сути дела, он-то и является ее главным двигателем. Это и двигатель значительной части литературы, произведений Достоевского в частности.

Если Милан Кундера не предается подобного рода размышлениям, то не из-за отсутствия воображения и не из отвращения к абстрактному мышлению. Печальная в его случае истина (как и для многих его восточноевропейских собратьев) заключается в том, что этот замечательный писатель пал невольной жертвой геополитической детерминированности своей судьбы – концепции деления мира на Восток-Запад.

О каком, действительно, Севере-Юге может рассуждать чех (Польша? Германия? Венгрия?). Как бы трагично, тем не менее, ни было представление о мире, разъединенном подобным образом, оно не лишено определенного мыслительного уюта. А именно: оно предлагает чрезвычайно комфортабельное, по принципу парности, разделение на: чувство-рассудок, Достоевский-Дидро, мы-они и т. д. Что, в свою очередь, заставляет индивидуума сделать выбор. Процесс выбора, как правило, драматичен и опасен; человек, сделавший выбор, имеет все основания считать себя героем. Вся загвоздка в том, что сам по себе выбор этот крайне ограничен. В полном соответствии с природой тамошних краев это вопрос: или-или.

Подобный выбор часто оказывается самым значительным событием в жизни индивидуума, и, обрастая ракушечником последующих умазаключений, он превращается в субстанцию настолько существенную, что первоначальная скудость вариантов забывается. Содеянный под давлением обстоятельств, ограниченный выбор этот как бы производит эхо архитипической человеческой ситуации вообще. Ничего дурного в этом, возможно, и не стоило бы усматривать, если бы тем самым не навязывалось заниженное представление о человеческом потенциале, свойственное любому ограниченному выбору, – что, скорее всего, и является главной причиной, по которой его предлагают. Запомнявав о таковой возможности, индивидуум начинает настаивать на тех выводах, к которым привел его собственный опыт, отрицая или сбрасывая со счета более всеобъемлющее, более великодушное и шире распространяющееся представление о человеке.

Такова, мне думается, суть предубеждения Милана Кундеры по отношению к Достоевскому. Идея уравнивания эмоций рациональной мыслью представляется, исходя из этого, условной, а то и вовсе лишней, поскольку идею, такового определения заслуживающую, признают – и оценивают – качеством реакции на нее. Если у литературы и есть общественная функция, то она, по-видимому, состоит в том, чтобы показать человеку его оптимальные параметры, его духовный максимум. По этой шкале метафизический человек романов Достоевского представляет собой бóльшую ценность, чем кундеровский уязвленный рационалист, сколь бы современен и сколь бы распространен он ни был.

Вины Кундеры в этом нет, хотя, конечно, ему следовало бы отдавать себе в этом отчет. Масса вещей обуславливает образ мысли этого чешского писателя, оказавшегося в положении *vis-à-vis* по отношению к Достоевскому. Прежде всего, его долгое пребывание на суровой эстетической диете, высказывающееся в нарочито частом использовании эротики в качестве исчерпывающей метафоры к тому, что человеком руководит. Как бы парадоксально это ни звучало, подлинному эстету не пришло бы в голову задумываться о проблеме выбора при виде иностранных танков, ползущих по улице; подлинный эстет способен предвидеть – или предугадать заранее – вещи такого рода (тем более, в нашем столетии).

Второе: лютеранская разновидность агностицизма заставляет человеческий разум сценически вообразить собственный вариант Страшного суда. Вариант куда более беспощадный, чем уготованный Господом, поскольку человеку свойственно думать, что он знает себя лучше, интимнее, чем Всевышний. Обойденный даром милосердия, единственным рациональным эквивалентом которого является решение прекратить подобное самоистязание, рациональный индивидуум склоняется к отягощенному комплексами гедонизму.

Третье и, возможно, наиболее существенное: Милан Кундера – житель континента, европеец. Европейцы же чрезвычайно редко способны взглянуть на себя со стороны. Если это с ними и происходит, то лишь в контексте Европы, ибо Европа предоставляет им шкалу измерений, на фоне которой их существование обретает значимость. Преимущества многослойного общества* состоят именно в той легкости, с которой индивидуум может оценить свое в нем продвижение. Обратная сторона медали состоит, однако, в осознании пределов и той находящейся за ними бесконечности, к которым индивидуальная жизнь отношения не имеет. Вот почему оседлые народы не выносят кочевников: помимо чисто физической угрозы, кочевник компрометирует концепцию границы.

Обитатели континента – люди, чье существование в большой степени определяется границами, будь то границы нации, общины, класса, традиции, иерархии – или же здравого смы-

* В данном случае, американского – имеет в виду автор. (Прим. пер.)

сла. Добавьте к этому гипнотизирующую бюрократическую структуру государства, и вы получите человека, начисто лишённого чувства непредсказуемости как для себя самого, так и для своего народа. Никогда не слышавший о существовании системы множественных вариантов, он, в лучшем случае, может представить себе только абсолютную стопроцентную альтернативу, наподобие уже существующей – Восток или Запад. Став писателем, такой человек посчитает своим долгом свести с этим счеты, например, методом разрушения границ... жанра. Таким образом, он может снискать репутацию представителя авангарда, но только во мнении тех, кто и сам пребывает в стилистическом тупике.

Прожив довольно долго в Восточной Европе (Западной Азии для некоторых), Милан Кундера, что вполне естественно, стремится быть европейцем более, чем сами европейцы. Помимо всего прочего, поза эта представляет для него особую привлекательность, ибо она обеспечивает связь его прошлого с его настоящим, причем более логически, нежели это обыкновенно изгнаннику доступно. Кроме того, она сообщает его взглядам своего рода надмирность, с высоты каковой может показаться удобным попрекать Запад за предательство его собственных ценностей (совокупность которых принято называть европейской цивилизацией) и за сдачу некоторых стран, боровшихся за сохранение этой цивилизации, несмотря на явную ничтожность шансов.

За это всякий, кто еще в состоянии читать и писать, должен быть признателен Милану Кундере и его друзьям и коллегам в Чехословакии. Единственное, что может настораживать, – это его представление о европейской цивилизации, каковое несколько ограничено и кособоко, если уж Достоевский в нее не вмещается и рассматривается как угроза для оной. Другое дело, парадокс, скрывающийся в некоем предположении культурного превосходства восточной жертвы по отношению к западному предателю, которое, тем не менее, не мешает ей восхищаться преимуществами их, этих самых предателей, системы. Проще говоря, если бы политические мечты ее осуществились, дело бы кончилось теми же политическими свободами и тем же культурным климатом, каковые сегодня эта жертва критикует, – т. е. теми же, что у предателей.

Для разрешения этого парадокса нужно иметь в виду две вещи: первое – то, что предательство, разложение, снижение

стандартов и т. д. суть органические свойства цивилизации; что цивилизация есть организм, который извергает, впитывает, дегенерирует и регенерирует; и что отмирание и гниение ее частей есть цена, которую этот организм платит за свою эволюцию. Второе – что чистота идеалов жертвы есть чистота вынужденная, т. е. искусственная чистота, каковую мы не согласились бы променять ни на малейшую из наших свобод, а природа нашего влечения к культурным стандартам этой жертвы – чисто элегическая, поскольку стандарты эти принадлежат прошлому цивилизации, которые идеологическая тирания сохраняет, так сказать, в холодильнике. Живая рыба пахнет всегда; мороженная – только когда ее жарят.

К концу своей статьи Милан Кундера пишет: «Лицом к лицу с вечностью русской ночи я пережил в Праге насильственный конец западной культуры именно так, как это представляли на заре современной эпохи, опирающейся на индивидуум и его разум, на плюрализм мышления и на терпимость. В маленькой западной стране я испытал конец Запада. То было величественное прощание».

Звучит возвышенно и трагично, но это – чистой воды театр. Культура гибнет только для тех, кто не способен создавать ее, так же, как нравственность мертва для развратника. Западная цивилизация и ее культура, включая кундеровские понятия, строилась, прежде всего, на принципе жертвы, на идее человека, который принял за нас смерть. Оказываясь в опасности, западная цивилизация и ее культура всегда находят в себе достаточно решимости, чтобы вступить в борьбу с врагом, даже если враг этот – внутри. Во многих отношениях последняя мировая война была гражданской войной западной цивилизации. В кровопускании мало хорошего; его нельзя даже и квалифицировать как жалкую попытку подражания Христу; но, покада человек готов принять смерть за свои идеалы, идеалы эти живы, цивилизация жива.

Рано нам прощаться с западной культурой; рано даже в Праге, хотя бы из-за Яна Палаха, чешского студента, публично подвергнувшего себя самосожжению в январе 1969 года, протестуя против советской оккупации. «Русская ночь», опустившаяся на Чехословакию, не намного темнее той, в 1948 году, когда агенты советской госбезопасности выбросили из окна Яна Масарика. Ту ночь Милану Кундере помогла пережить западная культура, той ночью он полюбил Дени Дидро

и Лоуренса Стерна и их смехом смеялся. Смех этот, впрочем, был такой же привилегией человека свободного, как и печали Достоевского.

Авторизованный перевод М. Темкиной

«РУССКАЯ МЫСЛЬ»

Крупнейшая русская еженедельная газета на Западе

Главный редактор Ирина Иловойская-Альберти

Редакция и контора: 217 rue Fb. St. Honoré, 75008 Paris

Стоимость подписки во французских франках:

Обычной почтой

	3 мес.	6 мес.	12 мес.
Франция	74	138	265
Все остальные страны	107	294	397

Воздушной почтой

Европейские страны,			
Северная Африка	119	228	445
США и Латинская Америка,			
Южная Африка	146	281	530
Австралия, Япония, Китай	150	290	570
Израиль, Иран	125	240	468

Давнишним подписчикам по-прежнему делается скидка.
В цену входит выходящее 6 раз в год приложение
«Обозрение», аналитический журнал «Р. М.» под
редакцией А. М. Некрича.

Просим писать прямо на адрес редакции и приложить банковский или почтовый чек, либо сделать почтовый перевод.

Запад – Восток

Дэвид А. М о р о

ПУСТЬ ПАМЯТЬ СЛУЖИТ ПОНИМАНИЮ

*Открытое письмо Эли Визелю**

Дорогой Эли Визель!

Я давно знаю Вас как автора впечатляющих книг об опыте жизни в концлагерях. Вы рассказали нам горькую истину о жертвах нацистского террора и, насколько подобный опыт вообще передаваем, заставили нас пережить муки тех, кто претерпел наиболее жестокое и предумышленное насилие нацизма. Сделав это, Вы стали голосом и сознанием тех, кто выжил.

Недавно Вы приняли участие в двух нашумевших дискуссиях, которые приковали к Вам внимание всей страны. Одной из них были дебаты о ядерном оружии, устроенные телекомпанией Эй-Би-Си вслед за демонстрацией телевизионного фильма «День спустя». Вторым случаем был фурор, связанный с посещением кладбища в Битбурге, который достиг своей высшей точки, когда Вы прямо обратились к президенту Рейгану во время церемонии в Белом Доме, устроенной в Вашу честь. Именно эти события позволили мне оценить Вашу истинную роль: роль ведущей моральной фигуры в нашей

* Эли Визель – профессор Бостонского университета в США, автор 21 книги, председатель Американского совета памяти жертв Катастрофы. Родился в Трансильвании (в то время румынской), во время Второй мировой войны подростком попал в Освенцим, затем в Бухенвальд. Его воспоминания о лагерях смерти «Ночь» завоевали ему всемирную известность.

Весной 1985 г., когда разгорелись споры вокруг решения президента Рейгана посетить немецкое воинское кладбище в Битбурге (в связи с торжествами по случаю сорокалетия окончания войны), Эли Визель, воспользовавшись тем, что находился в Белом Доме, где ему вручали почетную награду, обратился к президенту с призывом отменить это посещение.

стране, да и на Западе в целом. Это Ваше свойство позволяет мне – с подобающими восхищением и уважением – обратиться к Вам.

* *
*

Мне бы хотелось начать с упоминания двух Ваших замечательных достижений, на которые многие, в том числе Ваши наиболее горячие поклонники, не обратили должного внимания. Может быть, Вы сами, увлекшись Вашей жизненной миссией, недостаточно сознаёте их. И однако, более чем что-либо другое, они определяют то влияние, которого Вы добились.

Прежде всего, в тех спорах, которые ведет наше общество, Вы воскресили и придали подобающую важность понятиям добра и зла. Вы доказали, что их уместность не ограничивается индивидуальными действиями людей в строго религиозном контексте: они равно применимы и к действиям более широких групп, таких, как политические партии или нации, и к таким, подчас неосоздаваемым реальностям, как идеологии и социальные системы. Безусловно, понятия добра и зла не просто уместны – они необходимы для полного понимания окружающего нас мира. Без них самые тонкие наши интеллектуальные инструменты становятся неадекватными – без них мы неспособны измерить бездонную глубину такого явления, как нацизм.

Понимаете ли Вы, какой удивительный подвиг Вы совершили? В наш самодовольный и морально неразборчивый век само упоминание о добре и зле за пределами исповедальни есть только повод для смеха. В одной из своих речей несколько лет назад президент Рейган назвал Советский Союз империей зла. Он говорил о режиме, который за свою сравнительно короткую историю убил людей во много раз больше, чем сделал это гитлеровский рейх; который покориł себе не только русский народ и другие народы Советского Союза, но и половину Европы и значительные пространства Азии и Африки; о режиме, который удерживает свою власть при помощи легализованного насилия и тщательно вытканной паутины лжи – и который до сих пор отравляет диссидентов нейролептиками и устраивает бои в афганских деревнях. Казалось бы, что

постыдного в словах, высказавших такую простую, элементарную истину – истину, значение которой для политики ни в коем случае не маловажно, – но нет: стражи интеллектуального правоверия пролили холодный душ на президента: «Это неуклюжие, непрагматичные и недипломатичные слова! Так не может вести себя уважаемый мировой лидер! Это идеология крестоносца!» И такими же выговорами встречали всех, кто пытался говорить о добре и зле в современном мире.

Но когда Вы говорите о зле нацизма – о «терроре, страхе, изоляции, пытках, газовых камерах, пламени – пламени, вздымающемся к небесам», – Ваши слова встречает благоговейное молчание. Нет ни одного говорливого интеллектуального мудреца, который возвысил бы против Вас свой голос. Как мы должны объяснить это? Александр Солженицын, вышедший живым из бездны страданий, сравнимых с Вашими, с меньшим красноречием и проникновением в суть вещей говорил о зле как о природе коммунизма. И за это он был незамедлительно дезавуирован – не всеми, конечно, но тем интеллектуальным большинством, которое играет такую большую роль в формировании американского общественного мнения. То, что Вас миновала такая реакция, свидетельствует о Вашей чрезвычайной моральной власти.

Второе Ваше достижение, тесно связанное с этим, – то, что Вы восстановили роль и значение морали в международной политике. Вы сумели доказать, что верность принципам – это не только нравственный императив, но и – в долгосрочной перспективе – необходимое практическое правило. Сделав это, Вы заставили пересмотреть само понятие «прагматизма» – этого фальшивого идола нашей современной политической культуры.

В своем первоначальном значении прагматизм (поскольку это понятие применимо к политике) означал, в частности, готовность людей изменять свое мировоззрение, принимая во внимание всё новые факты или тенденции развития, бросающие вызов этому мировоззрению, – тем самым делая таковое более близким к объективной реальности. Термин «прагматизм» подразумевал также готовность и желание действовать в рамках возможного. Конечно, против этого возражать нечего. Но во всё возрастающей мере «прагматизм» призывается сейчас для того, чтобы восхвалять политику, не обладающую связной теорией, или мировоззрение, подпирая-

щее такую политику – политику, лишенную моральной сердцевины и сводящуюся к серии любезных жестов. Вместо подразумеваемого признания неизбежных трудностей, этот прагматизм настаивает на том, чтобы избегать всех трудностей – под предлогом «спасения лица». Попросту говоря, прагматизм начал означать политику, всегда и всюду избирающую линию наименьшего сопротивления. Отсюда – критическое отношение к искренней защите прав человека Джимми Картером, которая вызвала раздражение у задетых ею тиранов (но которая, в длительной перспективе, могла бы оказать позитивное действие). Отсюда же – поразительно негативная реакция на попытки президента Рейгана заставить Советский Союз соблюдать подписанные им соглашения. В этих случаях, как и во многих других, необходимые и лишь краткосрочные жертвы, требуемые верностью принципам, привели многих обозревателей к тому, что они объявили такую политику несостоятельной.

Но вот опять – никто не возражает Вам, когда Вы утверждаете, что международная политика, в конечном счете, должна руководствоваться моральными соображениями. Как сказали Вы президенту Рейгану:

«Я научился тому, что в экстремальных ситуациях, когда ставкой является человеческая жизнь и достоинство, нейтральность – это грех. Она помогает убийцам, а не жертвам... Я понял опасность безразличия, преступность равнодушия. Я убедился, что противоположность любви – не ненависть, а равнодушие».

И в отношении битбургского визита Вы прямо заявили, что «этот вопрос, как и все вопросы, касающиеся этого ужасающего события (еврейской Катастрофы), выходит за пределы политики и дипломатии. Речь идет не о политике, а о добре и зле».

Истина Вашей точки зрения на мораль, на необходимость морали в политике – неоспорима. Ваши слова – это эхо уроков Мюнхена и его последствий. Политика умиротворения, предательства и трусости, которая позволила нацизму стать доминирующей силой в Европе, оправдывалась – на всех ее этапах – в терминах прагматизма. Однако плоды этой аморальной политики были какими угодно, только не прагматичными. Мюнхен стал главным опытом, сформировавшим Ваше поколение, – но этот опыт постепенно был забыт теми, кто вошел в жизнь

после Второй мировой войны. Вы дали новое и мощное выражение этим нестареющим истинам. И Вы сумели добиться успеха там, где столь многие потерпели неудачу.

Неверно было бы предполагать, что понятия добра и зла или идея морали в международной политике совершенно отсутствуют в политических дискуссиях. Скорее, они полуприсутствуют – но такое нерегулярное их появление только затемняет их смысл. Кампания за изъятие иностранных капиталовложений из Южной Африки базируется на представлении о расизме как зле – отнюдь не на предполагаемых практических выгодах, которые мог бы дать Соединенным Штатам такой шаг. И что, если не мораль, стимулировало требования прекратить поддержку Америкой авторитарных режимов, дружественных к Западу, – таких, как режим шаха в Иране или Маркоса на Филиппинах? Но большинство тех, кто занимает такие позиции, больше всего озабочено тем, чтобы апелляция к принципам не сопровождалась открытым признанием моральных ценностей в сфере международных отношений. Это освобождает от необходимости постоянного применения моральных принципов; это позволяет, к примеру, выступать то за экономические санкции в отношении Южной Африки (ибо расизм – это зло), то против того, чтобы наказать Советский Союз за его репрессивную политику у себя в стране (ибо это «не работает») или за нарушение им соглашений о контроле над вооружениями (ибо это «чересчур провокационно»). И это дает возможность произвольно, но незаметно менять смысл терминов (по чисто партийным соображениям) – оценивая теперь политику не по тому, правильна она или нет, а по тому, достаточно ли она «прагматична» и «реалистична». Эта тактика в ходу как у правых, так и у левых.

Ваша заслуга определяется тем, что в этих обстоятельствах Вы вернули словам их истинный смысл. Вы положили конец тем словесным уверткам и бессмысленным противопоставлениям, которые только мешают спорам о международной политике. В свое время это поможет нам разобраться в вопросах, которые так неясны для нас.

Вышеуказанные Ваши заслуги – как бы велики они ни были – имеют только случайное отношение к главной Вашей деятельности. Вы посвятили себя *памяти* – и, в конечном счете, для суждения о Вас значимо именно это Ваше призвание.

Почему люди помнят? Для чего мы хотим сохранить прошлое живым? Мне кажется, что для этого есть много веских причин. В случае Катастрофы, человеческой трагедии громадных масштабов, две причины особенно важны.

Одна из них – помнить о мертвых ради них самих, помнить о жертвах, чья земная жизнь была оборвана столь жестоко. Мы помним, для того чтобы платить дань мертвым – чтобы посредством нашей памяти их жизнь в какой-то форме все еще продолжалась. «Человек в других людях и есть душа человека, – говорит пастернаковский Живаго. – Вот что вы есть, вот чем дышало, питалось, упивалось всю жизнь ваше сознание. Вашей душой, вашим бессмертием, вашей жизнью в других». Делая это, Вы вполне заслуженно обрели всеобщее признание, эта Ваша заслуга неоспорима.

Но есть у памяти другая, более настоятельная цель. Эта цель выражена сейчас в страстной клятве – НИКОГДА БОЛЬШЕ: помнить, чтобы понимать. Мы помним для того, чтобы извлекать жизненные уроки из прошлого и применять их к настоящему, – так, чтобы История стала чем-то большим, нежели бесконечное повторение человеческих глупостей. Мне больно говорить о том, что Ваша память не справилась с этой, наиболее важной задачей. Ваш подход к работе памяти затрудняет понимание и парализует конструктивные действия.

Любое явление можно рассматривать как уникальное при условии, что мы дадим ему достаточно узкое, индивидуализирующее определение. И, наоборот, в нем можно увидеть много сходств с другими явлениями, если оно определено в широких или абстрактных терминах. Но не все определения одинаково ценны, не все перспективы одинаково раскрывают даль. В конечном итоге, любое явление, при ближайшем рассмотрении, можно увидеть в его *сущности*: в том наборе измерений и качеств, которые обуславливают конечный его характер и которые тем самым наиболее значимы для наблюдателя.

Для полного понимания чего-либо мы должны определить это «что-либо» в терминах, схватывающих его сущность. И для того, чтобы достичь полезного обобщения, мы должны рассматривать предмет под тем углом зрения, который открывает его наиболее значащие особенности.

Может быть, простая метафора поможет лучше понять сказанное. Ребенок, ожегший руку о железную печку, может неверно заключить из этого опыта, что нужно остерегаться только печек – или, наоборот, любых железных предметов. Первое заключение – слишком узкое, второе – слишком широкое, и ни одно из них не предохранит его от дальнейших ожогов. «Сущность» его опыта состояла в непосредственном обнаружении опасности высоких температур. Следовательно, он должен остерегаться любого горячего предмета, будь это костер, карбюратор или горящая сигарета.

Что же было сущностью нацизма? Что сделало его способным к совершению такого немыслимого зла? Подходя к этому вопросу, нужно отбросить два распространенных, но несомненно поверхностных объяснения. Сущностью нацизма не был антисемитизм как таковой. Ненависть к еврейству была одним из проявлений нацизма. Но это не объясняет ужасающей мощи гитлеровской машины разрушения. В долгой и печальной истории угнетения человека было много примеров расовой и религиозной нетерпимости, простирающейся от сравнительно умеренных форм дискриминации до острых вспышек насилия, – но ничто не достигало уровня яростного нацистского геноцида. Более того, будь главными жертвами Катастрофы не евреи, но какая-нибудь другая группа – «еретики», «контрреволюционеры» или кто-либо еще, – это ни в коем случае не уменьшило бы нацистского зла. Я уверен, Вы согласитесь со мной в этом.

Не был нацизм, в сущности, и явлением германского национализма. Безусловно, национализм – или, более точно, крайняя и извращенная его форма – был центральным проявлением гитлеровского режима, как и антисемитизм. Но германский национализм как таковой сосуществовал со многими формами правления, даже с мягкой либеральной демократией. И другие национализмы нашего столетия (ни один из которых не был по природе своей варварским) принуждались к службе зверским режимам, притом некоторые из них, например, сталинский или хошиминский, разрушили самое ткань

национального существования, которая питала их. Национальное сознание, так же, как самоощущение личности, – это потенциально могучая движущая сила. Но сама по себе она нейтральна. Ее можно обратить и к добру, и к злу, в зависимости от того, куда руководство ведет нацию.

Сущностью нацизма был тоталитаризм: система тотального контроля, увенчанная идеологией ненависти. Без этой тоталитарной сердцевины, не обладая ею, нацизм – конечно, отвратительный и в других отношениях – не смог бы никогда совершить преступления такого масштаба, как тотальное уничтожение евреев.

Источники и природа тоталитаризма – обширная тема. Здесь будет достаточно обозреть его наиболее заметные, универсальные характеристики. Тоталитарная власть покоится на двух столпах – идеологии и систематическом принуждении. Посредством их взаимодействия она достигает такой степени контроля над людьми, которая недостижима ни для какой иной системы. Там, где другие тирании закрывают для своих подданных специфические сферы деятельности, например, политическую оппозицию, и оставляют их свободными в остальном, – там тоталитаризм диктует единственный «верный» курс и преследует любое отклонение от него.

Аппарат принуждения распространяется на все стороны общественной жизни: политическую, экономическую, интеллектуальную и культурную. Не щадится даже религия. Все значимые формы организации и общественного взаимодействия политизируются и, следовательно, подчиняются партийному наблюдению. Объединение политической и экономической власти, обеспечивающее государственный контроль над средствами существования, дает тоталитарным лидерам особенно мощный и всепроникающий рычаг контроля над людьми. Право граждан покинуть свою страну кладет предел репрессивным возможностям власти; отрицание этого права – общий знаменатель всех тоталитарных режимов. Многие проглядели этот простой, но красноречивый факт.

Тоталитарные идеологии построены на утопическом, или прометеевском мировоззрении. Все без исключения, они рассматривают некоторые категории людей как основную причину социальных болезней и призывают – что строго логично – к искоренению этих людей. На начальных стадиях тоталитарного правления, с их революционной лихорадкой,

идеология может быть действенной мобилизующей силой. Она захватывает опрометчивое человеческое воображение соблазнительными обещаниями, тем самым преобразая недовольство народа в кипящий гнев по отношению к неким заранее выбранным козлам отпущения. Этой злокачественной энергией манипулируют в целях консолидации власти.

Со временем идеология теряет свою власть над человеческими верованиями, но не свою полезность для правителей. Она продолжает исполнять свою первоначальную функцию: построения разветвленной системы лжи, прикрывающей насилие. Однако вера – какая угодно вера – сохраняет свою необходимость для легитимизации такого режима. Так тоталитарные правители, будь они правыми или левыми, прибегают к последнему неиссякаемому хранилищу народной преданности: национальному сознанию.

Взаимоотношения между тоталитаризмом и национализмом важны для понимания в первую очередь. Западная политика неоднократно спотыкалась об этот камень, позволяя ослеплять себя националистической риторикой, прикрывающей насквозь тоталитаристские цели, допустим, Хо Ши Мина или Кастро. Национализм, понимаемый как осознание накопленного исторического и культурного опыта нации, сохранение ее обычаев и преданность ее ценностям, в основе своей несовместим с императивами тоталитарного правления, особенно с его прометеевскими амбициями и потребностью контроля над сферой идей. Многочисленными примерами засвидетельствована их враждебность. Всюду тоталитарные режимы переписывают историю, запрещают или делают недоступными классиков литературы, искажают язык, душат современную культуру идеологией, переименовывают города, улицы и достопримечательные места.

Несмотря на эту основоположную враждебность, существует одна особенность национальных чувств, в высшей мере отвечающая тоталитарным целям и легко поддающаяся эксплуатации в системе абсолютного контроля. Это инстинкт национального самосохранения: острое патриотическое чувство, мобилизуемое в период кризисов и отличающееся невопрошающей преданностью, готовностью к борьбе и жертвам. Когда появляется достоверная угроза национальному выживанию, это измерение национализма заслоняет все другие.

Чтобы обеспечить свое существование, тоталитарные правительства выдвигают на первый план вопрос о национальном самосохранении – постоянно фабрикуя внутренних и внешних «врагов», которые якобы стремятся к уничтожению нации. Это позволяет им взять на себя роль защитника нации, превращая эту предположительную роль в первостепенный источник своей легитимности. Отсюда парадокс: тоталитаризм, с его непримиримо антинациональными императивами, мобилизуя патриотические силы, укрепляет собственную власть. Нет ни одного тоталитарного режима, который когда-либо не извращал бы таким образом национальные чувства и таким образом не манипулировал бы ими.

Резюмируем: отличительные черты тоталитаризма – идеология и принуждение; его методы – насилие и ложь; его маска – преданность национальным интересам. Выдающийся вклад тоталитаризма в науку подавления – то, что он заставил своих подданных соучаствовать в насилии – против самих себя и других, – заставив их соучаствовать во лжи. Этим создается безграничная разрушительная мощь тоталитаризма. Это та сила, которая уничтожала Ваш народ.

Теперь, отделив сущность нацизма от его частных проявлений, поставим вопрос: насколько «уникальным» явлением была еврейская Катастрофа? В этом вопросе Вы допустили некоторую двусмысленность: «Я понял, что Катастрофа – это уникальная еврейская проблема, хотя и обладающая универсальными последствиями», – сказали Вы, выступая в Белом Доме. Думается, что ответ должен быть более прямым. Сами по себе и нацизм, и его величайшее преступление – уничтожение евреев – были уникальны. Но в своей сущности ни то, ни другое не было уникальным. И до, и после Гитлера мы видели тоталитарные силы, столь же лживые, жестокие и бесчеловечные, как нацизм; и мы видели геноцид, по своим масштабам сравнимый и даже превосходящий Катастрофу.

Я ни на йоту не хочу преуменьшить важность «частностей» нацизма или пренебречь уникальностью Катастрофы. Ее жертвами были люди – каждый из них драгоценен, никто из них не заменим. Но говорить об уникальном аспекте Катастрофы наиболее уместно тогда, когда мы имеем в виду первую задачу памяти: отдать дань погибшим. Для второй ее задачи – понимания и предотвращения подобных ужасов в будущем – необходимо помнить о *сущности* нацистского опы-

та. К этой сущности Ваша память не привлекла достаточного внимания.

В 1945 году, после наиболее кровавого потрясения в истории, раковая опухоль нацизма была вырезана из тела цивилизованного человечества. Однако метастазы остались неуда- ленными и, не дав нам ни минутной передышки, начали раз- растаться с новой силой, угрожая всё новым и новым частям человечества своим смертоносным ростом. Мы крайне нуждаемся в диагностировании болезни и, коли будет понята ее природа, в необходимых средствах лечения.

Для такого понимания возможности людей, подобных Вам, поистине неоценимы. Вы видели эту болезнь в ее разга- ре; Вы ощутили ее дьявольскую силу. И однако Вы остаетесь настолько заморожены первым проявлением болезни – успешно вылеченным, – что, кажется, забываете о болезни как таковой. Заявляя: «Никогда больше!» – Вы оберегаете старую рану, озабоченно следите за ее шрамами, за тем, не растет ли старая опухоль. Между тем выросла новая.

Это Ваша ошибка, большая ошибка. Нацизм никогда не возникнет вновь в той форме, о которой Вы помните и против которой предостерегаете. Но его тоталитарная сущность не исчезла, она проявляет себя всё в новых злокачественных вариантах. Сконцентрировавшись единственно на опыте Катастрофы, Вы не заметили того, что наиболее важно заме- тить. Вы отвлекли наше внимание от новой раковой болезни, оставили нас интеллектуально безоружными перед лицом ее наиболее всепроникающей современной формы – перед лицом коммунизма.

* *
*

Уравнивать коммунизм с нацизмом – это отнюдь не значит списывать жертвы, скажем, Ленина или Пол Пота на счет Гит- лера. Слишком многие в наше время приняли такой сомни- тельный подход к истории – выдвигая на первый план инте- ресы специфических групп для завоевания сочувствия в мире. Некоторые (вспоминаются армянские экстремисты) даже прибегли к террору для того, чтобы обеспечить себе причи- тающуюся долю международного внимания. Мне не по душе

такое притязание на эмоциональную монополию и, я подозреваю, Вам тоже. Любые жертвы тирании заслуживают памяти и уважения. Цель сравнения двух систем – осветить их общую тоталитарную сердцевину, для того чтобы понять ее.

Раньше, когда два эти европейских Левиафана находились на сравнимой стадии развития, их интимное родство широко признавалось. Работы Орвелла ясно указали на их существенное сходство, а Черчилль не без оснований называл фашизм «дитятей коммунизма». Сразу же после окончания Второй мировой войны существовало всеобщее убеждение, что советская угроза, нависшая тогда над всей Европой, потенциально не менее опасна, чем была германская. С тех пор признание того, что коммунизм и нацизм – одной природы, ослабло, оно мало что говорит поколению Вьетнамской войны и последующим. Но сама-то основополагающая истина остается той же – она очевидна в высшей мере для всех, кто хочет видеть.

Наиболее убеждающие признаки сходства обеих систем – в не имеющем параллелей масштабе человеческих бедствий, причиненных ими. Среди их жертв – и те, кто сопротивлялся захвату власти нацистами и коммунистами, и те, кто в других странах боролся против вооруженного покорения своей страны этими режимами. Даже оставляя их в стороне – на том основании, что абсолютизм и имперская экспансия во все времена вели к жертвам, – мы не можем не заметить обширнейшие категории жертв, характерные именно для тоталитаризма. Это целые классы, расы и нации, выбранные для уничтожения идеологией – не потому, что они открыто борются с государственной властью, но потому, что система не может укорениться без универсального объекта ненависти. Для нацизма это было международное еврейство. В случае коммунизма, который может похвастаться гораздо более длинным и разнообразным списком замученных, это были «вредители», «кулаки», «предатели» и другие заранее выбранные «враги народа».

Шесть миллионов евреев погибли в Катастрофе. Искусственно организованный Сталиным голод 1932 – 33 гг. погубил столько же украинских крестьян. Наиболее корректные оценки всех советских невоенных потерь в период 1917 – 53 гг. дают цифру от 30 до 40 миллионов*. Вскоре после завоевания

* Использовав официально опубликованные данные переписей

Южного Вьетнама Ханой отправил в концлагеря советского типа почти миллион человек. А уничтожение трети или даже половины камбоджийского населения красными кхмерами должно расцениваться – если не в абсолютных, то в относительных цифрах – как величайший геноцид, когда-либо проведенный правительством против своего собственного народа.

История должна еще раскрыть полную правду о всех ужасах нашего века: и о массовом уничтожении армян турками, и о кровавых бойнях Иди Амина в Уганде, и о геноциде, проведенном китайскими коммунистами в Тибете, и о варварстве северокорейского режима. Но очевидно, что Катастрофа по числу ее жертв превзойдена коммунистическими зверствами.

Но что тогда сказать о методах? Много раз подчеркивался стиль, в котором нацизм осуществил свое «окончательное решение»: откровенная предумышленность его схемы и чисто научная эффективность гитлеровской машины смерти. Для многих это отделяет нацизм от всех других тираний, включая коммунистические.

Однако предумышленность отличала не только Катастрофу. Разве не самоочевидно, что любое преступление такого масштаба требует заведомого умысла? Сверх этого, какое существенное различие можно провести между методами, употребляемыми нацизмом и коммунизмом? Гитлер уничтожал людей в газовых камерах; Троцкий топил в море баржи, нагруженные заключенными; Сталин медленно морил в полярных лагерях тех, кого не расстрелял, заставляя работать до самой смерти на закабалившую их систему. Следует ли предпочитать ледяную воду дантовского Ада пламени микель-

населения, Иосиф Дядькин в своей самиздатской статье 1980 г. дал цифру от 43 до 52 млн. убитых только в сталинский период, из которых 20 млн. составляют жертвы Второй мировой войны. Его данные были резюмированы газетой «Уолл-стрит джорнэл» от 23 июля 1980 г., стр. 22. Вильям Р. Корсон и Роберт Т. Кроули (The New KGB. New York, 1985, pp. 440-441) оценивают невоенные жертвы досталинского периода цифрой свыше 10 млн. человек. Основываясь на цифрах специалиста по советской истории Роберта Конквеста, они приходят к выводу о 41 млн. 400 тыс. невоенных жертв в период 1917 – 1953 гг. Еще выше цифры, даваемые профессором статистики Иваном Кургановым: 110 млн. 700 тыс. погибших за период 1917 – 1958 гг. («Новое Русское Слово», 13 сентября 1981 г.). Солженицын и А. Гинзбург дают оба цифру 60 миллионов.

анджеловского Страшного Суда? И если так, то что мы должны сказать о методах полпотовских мясников, душивших и забивавших палками злочастный народ Камбоджи?

Суть дела, думается, ясна. Коли перейден некий рубеж, человеческое зло превращается в нечеловеческое – по некоей асимптотической кривой вырастает в абсолютное зло. Этот рубеж трудно определить, но он легко улавливается интуицией. Что бы там ни говорили, ясно, что в наш век и нацизм, и коммунизм переступили этот порог. И поэтому пустое занятие – размышлять над тем, какое из зол больше и «уникальнее», так же как нельзя определить, какая из двух бесконечных величин больше.

Если коммунизм и нацизм совершили сравнимые преступления – это произошло по причине их сходства в двух решающих пунктах: в идеологии и в системе подавления. Нынешняя либеральная мысль упорно отказывается признать идеологическое их соответствие, продолжая смотреть на коммунистическую идеологию как на падшего ангела – хрустальный дворец благородных идей, извращенных на практике человеческой слабостью, – в то время как нацизм она рассматривает в качестве воплощенного Зла. Этим различием оправдывается продолжающееся пристрастие к марксизму-ленинизму левых западных интеллектуалов. В Библии, однако, дьявол и падший ангел – одно и то же. Это не менее истинно в отношении тоталитарных систем мышления.

Обе идеологии преследуют утопическую цель: нацизм – общество, в котором высшие существа управляют низшими и руководят всеми аспектами жизни; коммунизм – бесклассовое, безгосударственное общество. Обе выдвигают «избранный народ» и авангардную элиту, возглавляющую революционный процесс. В нацизме это была арийская раса, ведомая немецкой нацистской партией, в коммунизме – пролетариат, ведомый коммунистической партией. Обе идеологии безоговорочно санкционируют насилие как средство достижения цели. Мало того, собрания сочинений Маркса – Энгельса, Ленина и Мао Цзедунa содержат такие бесстыдные панегирики насилию, которые трудно найти и в «Моей борьбе». Наконец – и это самое важное – и нацизм, и коммунизм суть идеологии ненависти, и мало что значит, что одна питается этнической ненавистью, а другая – классовый. Обе они равно бесчеловечны – и обе равно опасны.

Обращаясь к аппарату принуждения, мы опять сразу же сталкиваемся с важнейшим сходством. Подобно нацизму, коммунизм объединяет экономический и политический контроль в руках государства, давая ему тем самым широчайшую власть над людьми и ресурсами. Еще в большей степени, чем нацизм, он политизирует общественную жизнь. Средства контроля одинаковы в обеих системах: тайная полиция, сеть доносчиков, тюрьмы и концлагеря. Сходны и методы: ночные аресты, допросы под пыткой, показательные процессы, вынужденные признания вины, угрозы, избиения подосланными бандами хулиганов, тюремное заключение, казни.

Краеугольный камень тоталитаризма – контроль над сферой идей, и именно здесь сходство между коммунизмом и нацизмом наиболее разительно. Обе системы стремятся к абсолютному контролю над информацией, ее источниками, способами использования и средствами распространения. Вездесущая цензура, систематическая порча языка, переписывание истории, фактическое запрещение поездок за границу для рядовых граждан – это только некоторые из их общих черт. Однако простой контроль над информацией обеспечивает только пассивную покорность подданных, а этого недостаточно. Тоталитарная власть требует активного соучастия в идеологической лжи. Поэтому создается, на геббельсовский манер, громадная машина пропаганды, извергающая непрерывающийся поток тщательно изготовленной фальши; поэтому обязательно участие в комсомольских организациях, этих аналогах гитлерюгенд; отсюда же – политизация образования, литературы и искусства и требование идейной правдивости во всех областях жизни.

Это сходство идеологий и средств контроля порождает и другие, более тонкие совпадения. Одно из них – милитаризация общества: преобладание военных тем в массовой информации, в искусстве и официальных церемониях. Парады на Красной площади, гусиный шаг марширующих солдат напоминают нацистские сборища; советские военные мемориалы – поразительная реминисценция фашистского искусства эпохи Муссолини. Сходные беды чреваты сходными результатами.

И, однако, наши представления о нацизме и коммунизме весьма различны – сознание мешает воспринять правильный их образ. Гитлер предавал Европу огню и мечу – Сталин заседал в числе победителей, определяя ее будущее; нацистское руководство судилось Нюрнбергским трибуналом за военные преступления – советские вожди ревностно обхаживаются западными правительствами, стремящимися к разрядке; нацистская идеология, с ее антисемитским ядом, повсеместно проклята – тем временем в ведущих университетах Запада продолжается увлечение марксизмом. Как же можно тут сравнивать, казалось бы, несравнимое?

Существует двойная трудность. Прежде всего, коммунизм, в отличие от нацизма, – это тоталитарная система, не только выжившая, но и преуспевшая в нашем столетии. С одной стороны, таким образом, он является сегодня перед нами на той стадии развития, которой никогда не достигал нацизм. С другой стороны, зверства, совершенные им на сравнимых стадиях (среди них те, что длятся и по сей день), никогда не открывались во всей своей ужасающей наготы. Многие были продемонстрированы, но не в такой степени, чтобы по-настоящему захватить наше сознание. Употребляя недавно появившийся термин, коммунистические злодеяния не обладают свойством «телевизионной реальности».

Тоталитарное правление настолько чуждо природе человека, что может утвердить себя исключительно средствами насилия и массового террора. Раз утвердившись, однако, система подвергается ряду модификаций, позволяющих ей продлевать себя. Пароксизм кровопролитий и смерти, сопровождавший ее рождение, уходит в прошлое: люди больше не способны к сопротивлению, вызывающему насилие. Сделавшись необязательным, голое насилие такого размаха теряет свою целесообразность, потому что оно способно вызвать у людей отчаяние и породить опасную реакцию. Вместо этого насилие институционализируется – тесно вплетается в самую ткань повседневной жизни, отделяя людей друг от друга стеной взаимного недоверия, предохраняющей от коллективного сопротивления. Еще одна перемена: тоталитарные правители во все возрастающей степени чувствуют потребность при-

крыть насилие ложью. Однако ни одна из этих модификаций не меняет существенно насильническую природу системы; открытый террор прежних дней может вернуться, как только в нем появится нужда.

Что же касается «телереальности», ее значение хорошо известно Вам из собственного опыта. По мере того как разворачивались ужасающие события Катастрофы, до западных лидеров доходило множество заслуживающих доверия сообщений. Однако не было предпринято ничего, что хотя бы отдаленно соответствовало этой продолжающейся человеческой трагедии; говоря Вашими словами, эти лидеры «находили политические мотивы для оправдания безразличия и пассивности». Только с окончанием войны реальность Катастрофы стала осязаемой, никого не оставляющей равнодушным и нереагирующим: репортажи специальных корреспондентов, фотографии, кинокадры, запечатлевшие выживших (если можно назвать «живыми» человеческие тени) и массовые могилы. Но было уже слишком поздно.

С тех пор как мы вступили в эру телекоммуникаций, дело стало еще хуже (если это только возможно). В беспрецедентной степени информация в наши дни сделалась пленницей средств своего распространения. Беды и несчастья человечества оцениваются сейчас не столько по их собственному значению, сколько по тому, как впечатляюще о них информируют. Из этой тенденции тоталитарные системы извлекают необыкновенные преимущества, потому что их контроль над средствами информации делает чрезвычайно трудным расследование и документальное подтверждение их эксцессов. Например, во время вьетнамской войны репрессии, к которым прибегало южновьетнамское правительство, по всем объективным показателям были на несколько порядков меньше, чем зверства северовьетнамских коммунистов; но они были доступны для наблюдения, осязаемы – тогда как обвинения против режима Хо Ши Мина казались мало обоснованными. Можно было бы думать, что гордая и свободная западная пресса, так легко приходящая в негодование из-за малейшего намека на ограничение в собственных странах, будет рассматривать лживую пропаганду тоталитарных режимов как оскорбление, а зажим информации в тоталитарных странах – как призыв к собственной активности. Но, за несколькими приятными исключениями, она в подавляющем своем боль-

шинстве, работая в тоталитарных странах, избегала такой ответственности. Легионы западных журналистов отважно двигались по линии наименьшего сопротивления, избегая столкновений с тоталитаризмом.

И все-таки проблема «телереальности» не является непреодолимой. Такие писатели, как Солженицын и Кундера, показали, что искусство может эффективно расширять пределы человеческого восприятия. Но, в конечном счете, для того чтобы решить эту задачу, необходимо осознать ее – как прессе, так и обществу.

* *
*

Чтобы сделать все сказанное более ясным, посмотрим на минуту, что бы случилось, выиграй нацизм Вторую мировую войну. Его идеология способствовала бы сохранению в системе неумолимой экспансионистской динамики. Но, взяв под свой контроль весь европейский континент и Россию, нацистский режим не развязывал бы больше новых грандиозных войн. Его гегемония расширялась бы посредством мер, более отвечающих атомной эре: дезинформацией, дестабилизацией, натравливанием марионеток, подпольным террором, прямым запугиванием. Периодические «молниеносные» войны, включение новых стран в империю – проводились бы быстро и эффективно. Главной заботой руководства была бы консолидация контроля над империей и подрывная работа, направляемая против воли и мощи тех соперников, которые еще сохраняли бы способность сопротивления нацизму на международной арене.

Не видели бы мы и открытого террора внутри нацистской империи. Ее подданные вырастали бы запуганными и покорными; и если не желание сопротивляться, то возможность сопротивления была бы уничтожена. Со времен гитлеровского «окончательного решения» прошли бы долгие сроки. Насилие практиковалось бы по-прежнему, но в основном в скрытых формах; а то, чего нельзя было бы скрыть, подавалось бы под смягчающим покрывалом «законности».

История подверглась бы переписыванию. Еврейская Катастрофа – та, которую мы знаем, – никогда не вышла бы на

свет; нацистские исторические книги глухо бы упоминали о «трудных и опасных» днях молодого нацистского государства, когда оно вело борьбу с «врагами Германии». Завоевание Европы представлялось бы неизбежным шагом на путях предназначения арийской расы; развязывание Второй мировой войны – результатом скандальной несправедливости Версальского договора. Гитлер мог бы быть обожествлен как основатель немецкого национал-социализма, его гробница сделалась бы национальным святилищем; или, наоборот, честолюбивые наследники упрекали бы его – в умеренных тонах – в «культе личности», внесенном им в нацистское движение.

Министерство иностранных дел и официальная печать громко прокламировали бы желание Германии установить «конструктивные» отношения с США – отношения, основанные на «реализме», «взаимной выгоде» и «принципе невмешательства во внутренние дела друг друга». Германия стремилась бы к расширению торговли и научного обмена; она могла бы устроить в 1980 г. Олимпийские игры, еще более впечатляющие, чем в 36-м, – и поразила бы весь мир внушительными успехами своих атлетов. Несмотря на такие жесты, немецкая военная машина, однако, продолжала бы расти, мотивируя свое расширение «агрессивными намерениями» еще существующих западных держав. Выражение заботы о правах человека в нацистской империи вызывало бы негодующие вопли о «вмешательстве в германские внутренние дела»; словесная поддержка движений за независимость внутри империи вела бы к обвинению в «реваншизме»; и любая попытка таких людей, как Вы, узнать истину о геноциде евреев была бы отвергнута как «бешеный антинацизм» и «крестовый поход ненавистников Германии».

Какую позицию заняла бы наша страна, Соединенные Штаты, по отношению к нацистскому режиму? Среди простых людей это были бы глубокое недоверие и враждебность, особенно сильные среди тех, кто сражался на войне с нацизмом, и тех этнических групп – евреев, поляков, чехов, которые в наибольшей степени пострадали от нацизма. Однако многие интеллектуалы испытывали бы снисходительное презрение к «примитивному антинацизму американского мещанства». В колледжах по всей стране открылись бы кафедры национал-социализма; сравнивая эту форму социализма с другими его разновидностями – скажем, большевизмом и маоизмом, – они

отдавали бы предпочтение первому: в отношении экономической эффективности и социальных достижений. Никто, конечно, не защищал бы открыто «эксцессы» нацизма на его ранней революционной фазе: его «нетерпимость» к евреям и славянам или его воинствующую агрессивность. Но это описывалось бы как «гитлеризм», а не национал-социализм в его «чистой» форме. И в любом случае эти «эксцессы» бледнели бы в сравнении с неизмеримыми преступлениями Ленина и Сталина, которые тогда предстали бы (в отличие от гитлеровских) в своей полной, ужасающей наготе.

Американская политика строилась бы на непрочном – и безуспешном – компромиссе между враждебностью к нацизму простых американцев, с одной стороны, и подавляющим напором прессы и интеллектуальных движений, с их требованием достичь соглашения и «мирного сосуществования» с нашим главным международным соперником. Балансируя на этом, могли бы прийти к руководству такие убежденные антитоталитаристы, как Трумэн, Джон Кеннеди и Рейган. Но, едва войдя в Белый Дом и сделав первый набросок жизнеспособной антитоталитарной политики, они столкнулись бы с угрожающей оппозицией. Попытки объяснить избирателям подлинную природу нацистского режима и постоянную угрозу, исходящую от него, были бы атакованы людьми типа Энтони Льюиса* как «оскорбительная политика»; Артур Шлезинджер**, взбодренный интервью с новейшим нацистским диктатором, порицал бы близорукость тех, кто не видит «эволюции нацизма»: он бы заметил больше автомобилей на улицах в это свое путешествие, а новый фюрер заявил бы о желании улучшить отношения. Оборонительная политика, пытающаяся достигнуть равновесия с нацистской военной машиной и противостоять новым попыткам нацистской агрессии, породила бы крики о «милитаризме» и «бряцании оружием». Флора Льюис*** убеждала бы нас, с регулярностью автомата, что остается единственный, последний, хрупкий шанс на соглашение, но что воспользоваться им необходимо *сейчас*. И лейтмотивом всей этой какофонии было бы, что единственное препятствие

* Энтони Льюис – комментатор газеты «Нью-Йорк таймс».

** Артур Шлезинджер-младший – американский историк, дважды лауреат Пулитцеровской премии.

*** Флора Льюис – комментатор «Нью-Йорк таймс».

к примирению с нацизмом – это взаимный страх и непонимание; и что то, в чем мы нуждаемся, – это «прагматизм» и, прежде всего, *переговоры*.

Вы – человек, побывавший на дне нацистского ада и вырвавшийся оттуда, – понимали бы, как все это неверно, кошмарно неверно. Настолько неверно, что не хочется и говорить об этом. Вы знали бы, что насильническая природа нацизма с годами только трансформировалась, но не уменьшалась. Вас бы коржило от слов конгрессменов, журналистов, ученых и всяческих знаменитостей, возвращающихся из поездок по нацистской Германии, в которой они увидели только старательно украшенный фасад. Вы бы чувствовали всей своей душой, что невозможно «мирное сосуществование» с тоталитарным режимом, управляемым прямыми потомками палачей Освенцима и Трешлипки. Предотвратить ядерную войну – да, это и необходимо, и возможно. Но невозможно заключить серьезный мир с режимом, столь непримиримо враждебным к фундаментальным ценностям цивилизованного человечества. Вы знали бы, что контроль над вооружениями должен быть подчинен двойному требованию: устрашению и сдерживанию нацизма. И знали бы, что простое сдерживание недостаточно: невозможна (да и нежелательна) вечная «ничья» в противостоянии с таким могущественным противником. Вы понимали бы, что единственной разумной долгосрочной политикой по отношению к Германии будет такая политика, которая старается толкнуть ее на нетоталитарный путь, энергично сопротивляясь ее экспансии вовне и развязывая эволюционные силы внутри. И абсолютно необходимой предпосылкой для этого было бы – прорваться сквозь нацистскую ложь, ту всепроникающую ложь, которая легализует систему в глазах ее подданных и делает весь остальной мир слепым к ее насильнической сущности.

Но сегодняшний мир травмировал бы Вас на каждом шагу. Люди, пожимая плечами, признавали бы Ваш литературный талант, но презрительно отвергали бы Ваши политические рекомендации. На Вас смотрели бы как на «неизлечимого антинациста», поврежденного в уме лагерными муками (и это бы Вас «извиняло»). Академические авторитеты (ни один из которых не испытал на себе нацизма – ни прошлого, ни нынешнего) бранили бы Вас за Ваше невнимание к «эволюции нацизма». Ваши тщательнейшие исследования Катастро-

фы казались бы одержимостью – копанием в подстрочных примечаниях истории, не заслуживающих внимания мира. Вашими муками об уничтожении евреев в Европе и желанием увидеть еврейскую нацию возрожденной Вы заслужили бы прозвище «крайнего еврейского националиста». Ваш проект еврейского государства, дающего древним корням и ценностям Вашей культуры современный смысл, Ваши мечты о киббуцах, о духе сотрудничества, о жизни в гармонии с природой – все это стало бы объектом высмеивания. Вас бы обвинили в пропаганде теократии, в стремлении пойти вспять, к идиллическому (но химерическому) прошлому и т. д. и т. п. И все эти оскорбительные обвинения использовались бы для того, чтобы дискредитировать Ваше видение нацистской угрозы.

То, что я перечислил выше, – отнюдь не страшный сон. Все это уже случилось однажды. И продолжается сейчас.

* *
*

Запад находится сегодня в угрожающе ослабленном состоянии. Наша слабость не имеет отношения ни к нашей экономической жизнеспособности, ни к техническому прогрессу, ни к военной доблести. Она коренится в интеллекте и духе. Нам все еще не хватает понимания тоталитаризма и воли для борьбы с ним. Эти недостатки не присущи всему нашему обществу. Я уверен, что у большинства людей – включая столь ославленных «средних американцев» – наличествуют и понимание (по крайней мере, на интуитивном уровне), и воля. Наиболее заметная нехватка этого – у нашей интеллектуальной элиты, влияющей на политические решения. Парадоксально, но факт: наиболее глух к этим жизненно важным сигналам сам мозг американского общества.

Интеллектуальный хаос, в который мы погружены, хорошо иллюстрируется событиями на Гренаде. Остров с населением 110 тысяч человек был освобожден от жестокого (хотя бы и делающего лишь первые шаги) тоталитарного режима с минимумом потерь, что открыло путь для организации самостоятельного демократического управления им. Никто не сомневается в том, что американское вмешательство нашло поддержку фактически у всего местного населения.

Однако не кто иной, как Артур Шлезинджер, сравнил это событие с японским нападением на Перл-Харбор, обосновывая такую оценку банальной интерпретацией «международного права». Он ни на минуту не задумался над тем, что установление тоталитарного строя само по себе есть акт величайшего насилия, отрицание фундаментальных прав человека и в том числе права на самоопределение той нации, которая подверглась этому насилию; что те, кто действует таким образом, будь это иностранные агрессоры или доморощенные тираны, сами суть международные преступники и как таковые не могут апеллировать к международному праву. Больше всего характеризует метод мышления А. Шлезинджера то, что он, написав две большие статьи на эту тему (они появились в «Уолл-стрит джорнэл» 9 ноября и 14 декабря 1983 г.), ни разу не упомянул о самом народе Гренады и его правах.

Я верю, что Вы в состоянии использовать Ваше громадное влияние и моральный авторитет для того, чтобы помочь нам выбраться из этой трясины. Прежде всего, Вы должны недвусмысленно указать на истинного виновника еврейской Катастрофы и других сверхпреступлений нашего века: на тоталитаризм. Вы должны обнажить механизм его работы, его динамику, его импульсы; Ваш долг – объяснить всем нам, что глобальный конфликт с тоталитаризмом невозможно разрешить путем переговоров и только переговоров. Вы должны привлечь внимание к этой раковой опухоли и ее наиболее одиозным формам. В настоящее время это главным образом всевозможные разновидности коммунизма; но и исламский фундаментализм может развиваться в такую опухоль, могут появиться и другие. Вы должны подчеркнуть важность, даже необходимость различения между тоталитаризмом и авторитаризмом – там, где нет наличной демократической альтернативы, – так же, как и объяснить, что, принимая это различие, не следует исключать борьбы с обоими.

Во-вторых, укрепляя это понимание, Вы должны усилить нашу волю к сопротивлению. Вы должны напомнить нам, что использование силы против тоталитарного насилия не только оправдано, но является также решающим фактором в устранении насилия с международной арены; это всеобщая долгосрочная цель. Вы должны продемонстрировать нам, что прагматизм нужно поставить на службу моральным целям и что

только та международная политика истинно прагматична, которая адекватно руководится этими моральными целями.

Наконец, Вы должны пробудить в нас сознание силы истины в борьбе с насилием. Как сказал Солженицын в своей Нобелевской речи:

«Между ними самая родственная, самая природная глубокая связь: насилию нечем прикрыться, кроме лжи, а лжи нечем удержаться, кроме как насилием. Всякий, кто однажды провозгласил насилие своим методом, неумолимо должен избрать ложь своим принципом. ...А едва развеяна будет ложь – отвратительно откроется нагота насилия – и насилие дряхлое падет».

После всего того, что Вы испытали и совершили, никто не будет отрицать Вашего права сказать: «С меня довольно!» – и оставить эти задачи другим. Но, поступив так, Вы не закончите дела Вашей жизни; и в этой незаконченности – угроза тому делу, которому Вы посвятили жизнь. Ваша память заплатила дань прошлому. Пусть новые Ваши усилия помогут защитить будущее.

ОТ РЕДАКЦИИ: В октябре 1986 года, как раз когда этот номер «Континента» был сдан в набор, Эли Визелью была присуждена Нобелевская премия мира. Русская зарубежная печать с удовлетворением отмечала, что новый Нобелевский лауреат в ряде случаев выступал в защиту преследуемых в СССР – в частности, в защиту Андрея Сахарова. Вскоре после этого он совершил поездку в Москву, целью которой были беседы «на высшем уровне» о судьбе евреев-политзаключенных, отказников и А. Д. Сахарова. Подробности об этих беседах в печати не появились, зато известно, что писатель вернулся «обнадеженный» – и не чем-либо конкретным, а просто умело внушенным ему представлением о том, что «новое», «либеральное» руководство хочет лучшего – и не надо, мол, на них давить, надо «дать им время». Увы, эта реакция слишком напоминает то, о чем говорится в предпоследнем разделе публикуемой статьи. Для человека, пережившего то, что пережил Эли Визель, и обладающего таким влиянием на общественное мнение, заступничество за отдельные жертвы красного тоталитаризма, без недвусмысленного осуждения этого режима, приближается к идейному пособничеству.

Дэвид А. МОРО – родился в 1959 году в Нью-Йорке. В 1982 году окончил Уильямстоунский колледж по кафедрам экономики и русского языка. В 1979 – 1980 гг. проходил стажировку в Ленинградском университете. С 1984 года, после окончания офицерского училища, служит в Военно-морских силах США. Постоянно публикует статьи по проблемам международной политики и национальной безопасности в ведущих американских периодических изданиях, выпустил книгу по проблемам советской экономики, написанную по заказу вашингтонского Института национально-стратегических исследований.

Факты и свидетельства

Слава К у р и л о в

СЛУЖУ СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ

Документальный рассказ

Я иду по мелкому перелесью. Густой кустарник перемежает рощицы. Но много и полян, и я стараюсь обходить подальше и кустарники и деревья. Сначала кое-где виднелось зеленое: круг поляны, живчики листьев на деревце. Но вот уже четверть часа я не встречаю ни одной зеленой крапинки. Трава подо мной как выжженная – травинки все до единой черные, полегли плоским ковром со множеством затейливых узоров. Серые цветы напечатаны поверх черных рисунков.

Разгар лета 1956-го. Ужасно повезло: облака закрывают солнце, и не так жарко. В резиновых сапогах уже давно хлюпает вода. Пот стекает ручейками, гимнастерка и брюки промокли до нитки. Я подальше обхожу деревья, они выглядят как-то странно, как я никогда не видел. Это не были зимние голые стволы с сухими ветками. Они были живы, да, живы: все тонюсенькие юные веточки расправлены широко в стороны и вверх, как руки в начале танца, и ясно вырисовываются на фоне неба; все листья целы, вот они, но все до единого повисли, как по команде, черными тряпочками.

Идти трудно, я стараюсь смотреть под ноги: не хочу наступать на лежащих повсюду зверюшек и птиц. Мне кажется, они просто заколдованы. Сейчас чары спадут, они вскочат и разбегутся кто куда, птицы вспорхнут на деревья, листья распрявятся и нальются зеленым соком.

Я гулял в лесу бесчисленное число раз, но никогда не подозревал, что в таком реденьком леске может быть так много живности. Теперь они лежат неподвижно передо мной на поляне. Вон там больше всего, они только что выбежали из этой рощи. Их заколдовали не сразу. Сначала козлоногий Пан затрубил в рог, ему отозвались птицы, и тогда все бросились к поляне – доселе самому опасному для них месту.

Но почему так много мертвых птиц? Они лежат на спине, расправив крылья, уткнувшись клювами в землю. Они все летели в мою сторону – наверно, из того леса, куда я должен идти по компасу. Черной стеной он стал в шестидесяти метрах от меня.

Я иду по ковру из мертвых насекомых – кузнечиков, стрекоз, бабочек и жуков. Вон выводок лисят – они бежали куда-то строем. А где же мамаша? Останавливаюсь, оглядываюсь. Да вот она, под ногами. Когда смотрю прямо, я не вижу, что делается в радиусе двух метров. Чтобы увидеть, нужно наклониться вперед и смотреть через стекла противогаза.

Утром нас разместили в открытом грузовике. Мы сидим на скамейках друг против друга и молчим. Дорогой, при каждом отрывистом крике «Газы!», мы быстро натягиваем маски и долго так едем, пока не получаем команду «отбой». Это не были обычные учения. Мы на боевом химическом полигоне министерства обороны где-то в Литве. Наш взвод привезли сюда ночью. В противогазах мы проезжали зараженные местности. Всего год назад для тренировок применялись пятипроцентные, так называемые учебные отравляющие вещества. А с этого года впервые применяют боевые отравляющие вещества.

Мы ехали вдоль границы большого зараженного участка и ссаживали товарищей одного за другим. Грузовик останавливается.

– Курсант Курилов, приготовиться к выполнению боевого задания!

Сосед справа, москвич Эдик, напутствует:

– Гладиатор! На арену! «Идущие...»

– Прекратить разговорчики! – окрик с заднего борта грузовика. Это наш сержант, помкомвзвода украинец Дыбенко, по прозвищу «Солнышко». Он парит над нами, курсантами, в сиянии власти. Только раз он опешил и погас – когда спросил Эдика в казарме, кто спит на койке второго яруса:

– Кто выше тебя?

– Господь Бог! – ответил Эдик. Солнышко вытаращился и не нашел, что сказать.

Я беру снаряжение, выпрыгиваю на землю и стою в команде «смирно» – ноги вместе, руки по швам, корпус прямо, взгляд – перед собой.

– Защитный химический комбинезон – надеть!

Время ограничено. Сотни раз мы надевали и снимали «на время», пока все движения не стали автоматическими. Быстро надеваю резиновые штаны с лямками, стойкие против разъедающих кислот, снимаю сапоги и, придерживая портянки, чтобы не размотались, надеваю специальные резиновые сапоги. Поверх гимнастерки натягиваю резиновую рубашу с длинными рукавами и капюшоном, пристегиваю ее к штанам специальными буклями. Низ рубахи двойной: вторая полоса спускается поверх застегнутых буклей.

Мыльным карандашом я натираю стекла противогаза с внутренней стороны и замираю в стойке «смирно» с откинутым капюшоном и сумкой с противогазом на плече.

– Газы!

Мгновенно надеваю противогаз и набрасываю капюшон. Потом осторожно навешиваю на шею прибор для определения отравляющих веществ и их концентрации. Поверх всего – сумка с рожками патронов и автомат.

– Курсант Курилов к выполнению боевого задания готов! – громко кричу в противогаз. На расстоянии двух шагов это звучит как «му-у-у-у!». На тренировках мы обычно мычали – слов все равно не разобрать.

– Курсант Курилов! Выполняйте приказ!

Делаю четкий поворот «кругом» и строевым шагом, высоко поднимая ноги, направляясь к ближайшему лесу. Позади шум отъезжающего грузовика. Когда шум замирает, я оглядываюсь. Широкое поле, покрытое высокой, по пояс, травой. То есть не поле, а море цветов – ярко-красных, желтых, синих. Ни души. Поют птицы, летают бабочки, стрекоз чут кузнечики. Близится полдень.

...Осторожно перешагиваю через лисицу. Она лежит на правом боку, рот приоткрыт, в уголках губ белая пена. Вон какие-то серые бугорочки. Догадываюсь: зайцы. Я топчусь над ними и не могу оторваться, хотя память хлещет утренние наставления: «...боевое задание... в максимально короткий срок... с высокой эффективностью...»

Ищу глазами черные точки-капельки. Останавливаюсь, снимаю крышку прибора. Внутри рядами стоят пробирки. Нужно разбить их одну за другой. В них вложены другие, поменьше, с влажными трубочками белых ваток. Несколько

разбитых пробирок ничего не показывают. Ватки остаются белыми. Я достаю следующую. Она быстро желтеет, коричневеет, и вот наружный краешек ватки становится черным.

– «Азотистый иприт», – читаю я на панели символ этой пробирки.

– «Концентрация опасная», – узнаю я по интенсивности окраски. Это и так видно.

Наш учебный взвод роты химической защиты 26-го гвардейского полка ордена Красного знамени, ордена Суворова какой-то степени, ордена... такой-то дивизии – в лаборатории. На стенах развешаны учебные пособия: схемы, диаграммы, рисунки о БОВ – боевых отравляющих веществах – и о БРВ – боевых радиоактивных веществах.

Мы сидим в противогазах и грубых резиновых перчатках с пятью короткими пальцами. Перед каждым тяжелый металлический ящик килограммов на десять весом – прибор для определения БОВ. Нужно развить в себе тонкое искусство брать толстыми пальцами малюсенькие пробирки из гнезд, разбивать их и вкладывать обратно трубочки с ваткой.

«Зорин и зоман – общедовитые быстродействующие отравляющие вещества, способные мгновенно поражать дыхательные пути противника, вызывая паралич... – монотонно бубнит помкомвзвода. И вдруг приглушенно: – Встать! Смирно!». Все встают, кроме двух. Они уютно уткнулись гофрированными трубками в раскрытый прибор, стекла противогаза, как широко открытые немигающие глаза, смотрят в пространство, локти на столе, плечи обвисли. Марсиане.

– Противогазы снять! – рывкает сержант. – Курсанты Давидов и Громов, за сон во время боевой учебы два наряда внеочередь¹!

«Марсиане» встрепенулись и уныло встают, не снимая масок. Они не спали эту ночь, отрабатывая вчерашние наряды вне очереди, полученные за сон во время позавчерашней боевой учебы.

¹ Существуют очередные наряды: работа на кухне, чистка туалетов, и внеочередные, как наказание. Их отрабатывают после отбоя, за счет сна. Один наряд может быть длительностью всю ночь, но без четверти пять провинившийся обязан лечь в койку, чтобы в пять встать вместе со всеми.

– Газы! – орет сержант. Снова надеваем противогазы. – Приступить к занятиям!

«Азотистый иприт, – продолжает сержант, – при попадании в дыхательные пути вызывает общее отравление организма. При попадании на открытые участки кожи вызывает долго не заживающие язвы и часто приводит к заражению крови...»

Стекла запотевают все больше. Мыльная пленка, нанесенная карандашом, долго не держится. Даже при чистых очках обзор ограничен, нужно все время поворачивать голову, наводить их прямо на объект; теперь же края стекол безнадежно затуманились, и ничем не поможешь, я знаю это по опыту. Раньше я протирал их бровью, слегка сдвигая резиновыми пальцами маску противогаза, но теперь, покосившись на зверюшек, разбросанных повсюду, задумался. Уже давно я чувствую специфический запах, не принадлежащий моему снаряжению. Неужели клапан пропускает? Я не чувствовал ни головокружения, ни тошноты, ни металлического привкуса во рту – начальных признаков отравления. Пришлось осторожно натянуть резину на лбу, чтобы протереть сначала одно стекло левой бровью, потом правой – другое.

Портянки, намокнув, сползают в просторные резиновые сапоги и натирают ноги. Сильно хотелось пить, я был голоден. Утром мы съели обычный завтрак – две столовых ложки перловой каши, масла я не почувствовал, три стакана чаю (я знал, что пить долго не придется) с двумя кусочками сахара и триста граммов черного хлеба. Летом дневная порция хлеба на сто граммов меньше, чем зимой: 800 граммов. Я уже давно забыл, что значит быть сытым. Каждый из нас, не моргнув, съел бы всю кашу, выдаваемую в кастрюле на десятерых.

Дышать становилось труднее. Я пошел тише, стараясь не прикасаться к веткам. Черные комочки листьев и вершины деревьев зашевелились. Ветер, догадался я. Успеть бы пройти рощу до того, как он усилится. Лучше избежать отравленного дождя с веток и листьев. Ветер тонко посвистывал вверху, но черные лоскутки качались бесшумно.

Недалеко от лагеря было большое поле, зараженное хлорацетофеноном – так, кажется, звали этот слезоточивый газ. Как только ветер дул оттуда, мы плакали. Все до одного. Мы даже привыкли плакать. Сначала, правда, мы находились

в лагере в противогазах, снимая их только на время еды и сна, но потом нашли, что лучше плакать, чем постоянно носить эти стягивающие и жмущие голову резиновые чулки. В противогазе воздух не вдыхается, а всасывается. Нам приходилось делать многочасовые марш-броски и бегать. Внезапно солдаты срывали противогаз, а другие, покрепче, нередко теряли сознание. Если противогаз впору – он жмёт. Бритоголовые мальчишки из ударных химических батальонов, которым постоянно приходилось работать с БОВ (они проходили первыми и готовили местность для нас, рот химической защиты) недаром брили себя наголо: малейший волосок – щель, и вдобавок причиняет боль.

У нас на полигоне никто не халтурил – не вытаскивали стекло из очков, не отвинчивали гофрированную трубку, чтобы дышать помимо коробки-фильтра. Наши лица были красные, как после пощечин, с кругами, выдавленными вокруг глаз... Спать в противогазах больше не заставляли после нескольких смертельных случаев в соседних частях.

Итак, мы служили плача. Однажды прибыл генерал, командующий химическими войсками округа. Ветер подул с зараженного полигона. На плацу перед палатками выстроились все плачущие подразделения. Наш плачущий командир проорал: «Смирно! – слезы текли по его щекам. – Равнение... на... право!» – и, особенно вычеканивая прусский строевой шаг, высоко вытягивая вперед прямую ногу, пошел к плачущему генералу.

– Товарищ генерал... – оба стояли к нам вполоборота, – рота химической защиты 26-го гвардейского... – Они оба плакали крупными слезами и шмыгали носами. Мы тоже плакали, глядя на них по стойке «смирно».

Когда же кончится этот лес? Я шел, запинаясь, не разбирая дороги. Ветви хлестали меня всюду, но я уже не уклонялся и только слегка ощущал их за толстой резиной комбинезона. И все время наступал на что-то мягкое, но под ноги не смотрел, не останавливался, только раз в трех шагах заметил голову молодого оленя с короткими рожками, полуоткрытыми глазами и пеной у рта.

Утром мне показали по топографической карте маршрут – около пяти километров. Лес должен кончиться, я выйду

снова на широкое поле. Там увижу служебные бараки – конечный пункт.

И вот лес поредел. Открытые поляны чаще. Наконец кругом только черный кустарник. И вот я в открытом поле. Стали попадаться зеленые у островки травы. И трава поднялась. Заулыбались яркие цветы. Чуть левее вдаль я заметил высокую мачту с флагом, а под ним какие-то строения. Воды в сапогах прибавилось, будто я шел по болоту. Страшно хотелось пить, дышалось с трудом – я втягивал воздух длинными порциями. Слегка кружилась голова.

...Несколько дней назад меня назначили охранять какой-то объект. Я заступил на пост перед рассветом. Было тихо. Были звезды. Я прохаживался с автоматом у склада-блиндажа, уходящего под землю и огороженного столбами с колючей проволокой. Железные двустворчатые ворота были заперты на замок. Я не спросил, что находится внутри.

Где-то близко защелкал соловей. И сразу проснувшиеся прежде свистуны и щебетуны умолкли. Маленький волшебник заморозил всех. Молчали птицы, молчал, внимая, лес.

Светало. За блиндажом и проволочным ограждением вырисовывались деревья. По другую сторону – поле со скошенной травой. Когда совсем рассвело, я увидел в полсотне метров штабеля железных бочек в два этажа. Они занимали все поле, за ними стояла сплошная стена леса. Этих бочек были тысячи. Я приблизился и пошел вдоль штабелей. На них были обычные надписи, номера заводов-изготовителей, даты годности продукции и... мне стало не по себе ...цветные полосы точно тех расцветок, как на нашем приборе.

– Иприт, – определил я. – А весь этот штабель – азотистый иприт.

Некоторые бочки потекли. Маслянистая жидкость обволакивает крашенные железные поверхности и тускло посвечивает. Вдали защелкали птицы, и я вернулся к подземному складу. Эти бочки уж точно никто не укрдет.

Первые лучи достали деревья. Роса, испаряясь, затуманила лес. Соловьиные трели и щелканье, торжествуя, проникали повсюду – в дупла и норы, в заячьи убежища, в крошечные обитатели жуков и бабочек, в птичьи и пчелиные гнезда, в укромные чашечки цветов, где ворошились и нежились букашки. Была в этом пении такая радость и такой покой, как

в давнем-давнем стихотворении, которое мы заучивали в детстве и не понимали:

...защелкал, засвистал.

Чуть-чуть дыша, пастух им любовался

И только иногда, внимая соловью,

Пастушке улыбался.

Долго пел соловей. Я даже не заметил, как пришел наряд.

– Товарищ сержант, никаких происшествий не было! – отбарабанил я, слушая соловья. Мы обошли блиндаж. Сержант, начальник караула, проверил печати на замке железных ворот.

– Курсант Курилов боевой пост сдал!

– Курсант Кожевников боевой пост принял!

...Я подошел к баракам и увидел других марсиан, делающих знаки подойти к ним. Они были одеты как я – все матовое, блестели только стекла противогазов. Один схватил меня за руку, поставил на цементную плиту, другие стали окатывать из шлангов белой жидкостью. Потом указали место, где раздеваться. Забрали автомат, сумку с рожками и химический прибор. Затем существа в противогазах сняли с меня резиновую рубашу, резиновые штаны и сапоги и тут же унесли для дегазации. Я остался в мокром, хоть выжимай, обмундировании, встал в большое железное корыто с широким буртиком по краям, снял противогаз – его тоже унесли – и вытянулся по команде «смирно»: подошел ротный командир.

Стоя в корыте с водой, руки по швам, я отчеканил:

– Товарищ капитан, курсант Курилов боевое задание выполнил!

Ротный, стоя перед корытом также в стойке «смирно», озабоченно принял рапорт, отдал часть:

– Хорошо, идите.

Я молодецкато повернулся в корыте по команде «кру-гом» и шагнул по воде строевым шагом вон за железный буртик. Одна портянка осталась в корыте, другая размоталась и тащилась сзади длинной тряпкой.

Улыбающийся Эдик встретил меня: «О Боже, я, раненый насмерть, играл, гладиатора смерть представляя!»

После душа я надел мокрое обмундирование, нашел свои кирзовые сапоги – их привезли машиной. Я успел выпить, не отрываясь от крана, полведра воды, когда за спиной на плацу разнеслось:

– Взво-од! Строиться! – предстоял разбор боевого задания.

Мы выходили по одному перед строем. Когда подошла моя очередь, я показал по карте границы зараженной местности, наличие азотистого иприта и его концентрацию.

– Курсант Курилов! За отличное выполнение боевого задания объявляю благодарность с занесением в личное дело!

Я бодро рявкнул ответ:

– Служу Советскому Союзу!

КУРИЛОВ Слава – родился в 1936 году в г. Орджоникидзе. Закончил Ленинградский гидрометеорологический институт, – океанограф, штурман, водолаз. В 1974 г. прыгнул с пассажирского лайнера «Советский Союз» и добрался вплавь до Филиппин. С 1975 по 1985 г. жил и работал в Канаде, плавая на океанографических судах в Тихом океане и в Атлантике, работал в районе Северного полюса. С 1986 г. в Израиле.

К 80-ЛЕТИЮ З. А. ШАХОВСКОЙ

Не всякий юбилей способен округлить собою такое великое множество этапов и такое великое разнообразие их, что они напоминают несколько жизней, составляющих одну-единственную. Жизнь Зинаиды Алексеевны Шаховской и есть такая мозаика, в которой соединилось почти несоединимое и реализовалось почти непредставимое.

Она покинула Россию в отрочестве, когда все чувства, ощущения и восприятия обострены до крайности, — и память ее, как чувствительная фотопленка, сохранила навсегда отпечаток российской катастрофы, великого падения великой страны. Она приехала в Европу достаточно юной, чтобы стать ее кровной и органической частью, привитой, но сросшейся кровно, без шрамов. Она писала русские стихи и французскую прозу, корреспонденции с фронтов Второй мировой войны и воспоминания о русском литературно-художественном зарубежье; она жила в Бельгийском Конго и хрущевской Москве, вернувшись туда через десятилетия женой французского дипломата; она была знакома и с Буниным, и с Солженицыным; она была многолетним редактором газеты «Русская мысль» и одновременно сохраняла тесные связи с культурной и политической средой — короче, вместила в рамки своей биографии десятилетия и миры, едва ли не исключавшие друг друга — во всяком случае, часто существовавшие параллельно, почти не соприкасаясь.

В жизни Зинаиды Алексеевны Шаховской нельзя искать логики линейной, прямолинейной — ибо все в ней замешано на непобедимой живости взгляда и суждения, на острейшем любопытстве ко всему, что есть человеческое бытие, на азарте познания, на азарте участия, на азарте причастности к жизни-бытию, к жизни-сопереживанию, к жизни-осуществлению. Она никогда не позволяла времени обгонять себя, и все свои 80 лет прожила современницей веку в малейшем его вздохе и повороте, всегда — здесь и сейчас.

Поздравляя Зинаиду Алексеевну с 80-летним юбилеем, мы просим ее принять нашу искреннюю зависть и восхищение вместе с самыми добрыми пожеланиями.

«Континент»

История

Борис П а р а м о н о в

ЧИЧЕРИН, ЛИБЕРАЛЬНЫЙ КОНСЕРВАТОР

Борис Николаевич Чичерин (1828 – 1904) – несомненно, наш наиболее выдающийся политический мыслитель; мы бы сказали, что он вообще единственный у нас политический мыслитель в том смысле, что политическая мысль была для него академической специальностью. Итак, Чичерин – *специалист* в области политической мысли, хотя, с другой стороны, трудно назвать его «специалистом», скорее следует говорить об энциклопедичности духовной установки Чичерина: он и виднейший представитель так называемой государственной школы в русской историографии (наряду с Кавелиным и Соловьевым), и юрист, знаток государственного права (его курс в Московском университете), и философ-рационалист, гегельянец, и социолог, и политэконом (сокрушительная критика трудовой теории ценности у Маркса); к концу жизни Чичерин занимался даже такими научными предметами, как математическое обоснование системы химических элементов (Менделеев проявил к этой работе большой интерес) и общая система классификации животных. Он был чем-то вроде нашего Аристотеля; мы будем говорить дальше о глубочайшем экзистенциальном влиянии греческого мудреца на Чичерина: иначе как «сверх-я» это влияние и не назовешь.

Колоссальная ученость и неоспоримая солидность всего, что написал Чичерин, не принесли ему ни авторитета, ни влияния; его книги не расходились, только одна из них потребовала второго издания («О народном представительстве»). В своих четырехтомных мемуарах, изданных в СССР далеко не полностью, Чичерин говорит, что, раздумывая над своей жизнью, он ставит большой вопросительный знак.

Объяснение этого парадокса легко находится при сопоставлении духовного облика Чичерина с хронологией его

жизни: Чичерин начал активно работать в науке и спорадически в публицистике в послениколаевской России, в эпоху великих реформ, – и умер накануне первой революции: едва ли не самые бурные годы старой России, в некотором роде второе «смутное время», никак не могли способствовать влиянию человека, искавшего и провозглашавшего чистую истину политической мысли. Если продолжить сравнение с древнегреческими философами, то можно вспомнить еще и Анаксагора, которого тот же Аристотель называл единственным трезвым среди пьяных. Эти слова сразу же вспоминаются, когда представляешь себе Чичерина на фоне последних десятилетий прошлого века. Чичерин изучал и проповедовал истины истории, тогда как русские люди и среди них даже ученые историки, как Милюков, предпочитали историю не изучать, а делать. Несомненно, жизнь Чичерина нельзя назвать удавшейся; но ведь это была не личная его неудача, а особенность эпохи.

Были, однако, в Чичерине некоторые особенности индивидуального склада, которые помешали ему сыграть должную и достойную его роль. Прежде всего, это его аристократическая гордыня. Она и была, кажется нам, последней причиной ухода его в чистую науку: для него это был род феодального замка, отгороженного от окружающего мира рвами и подъемными мостами. Молодой Бердяев, написавший в 1904 г. статью на смерть Чичерина, хорошо понял его духовный тип, хотя сильно стилизовал его мировоззрение – потому что он и сам обладал сходным духовным типом: Бердяев отметил и выделил *метафизический индивидуализм* Чичерина, хотя таковой был скорее психологической чертой последнего. Но и уйдя в чистую науку, Чичерин не сумел ужиться с социальными ее проявлениями – и оставил Московский университет по совершенно пустяковому поводу, о чем не перестаешь сожалеть, догадываясь, по его книгам, каким он был выдающимся преподавателем. Чичерин писал Кавелину в середине 60-х годов: «Я в России пришел к убеждению, что у нас общественная среда хуже официальной»¹. Это не значило, что он искал применения своим силам в этой официальной среде, наоборот, несколько раз отказывался от очень солидных предложений. Он постоянно отвергал возможность действия, и это, в основном, не по причине академичности, отрешенной учености его духовного типа, а в силу той же самой аристократической

надменности: он и с королями разговаривал свысока (см. его «Путешествие за границу»).

Но, конечно, и всеподавляющая ученость Чичерина, им самим всячески подчеркиваемая, тот знаменитый чичеринский доктринаризм, о котором так остро написал Герцен, мешали влиянию Чичерина, отталкивали от него людей. Герцен сказал, что Чичерин не увлекается, но зато и увлечь никого не сможет. Остается открытым вопрос, является ли это обстоятельство говорящим против или в пользу Чичерина. Сам Чичерин, разумеется, способность не увлекаться причислял к необходимым качествам любого ответственного человека, тем более склонного играть политическую роль, и безответственную порывистость издателя «Колокола» осудил в двух нашумевших «открытых письмах».

Здесь мы подошли еще к одному чичеринскому парадоксу, в свою очередь мешавшему ученойшему из русских людей влиять на современников. Дело в том, что мысль Чичерина трудно определить в привычных политических терминах, невозможно установить его «партийность». Сам Чичерин в книге «О народном представительстве» выделил четыре типа политических партий: либеральная, консервативная, радикальная и революционная; ни радикалом, ни реакционером его назвать, конечно, нельзя, но остается неясным, следует ли причислять его к либералам или к консерваторам. Принято как будто считать Чичерина либералом, и даже одним из главных. Н. А. Алексеев писал в «Пути»: «...самый выдающийся, почти единственный ученый и философски образованный представитель русского либерализма»². Н. А. Бердяев в упомянутой статье писал: «Чичерин был нашим единственным теоретиком либерализма, и только он понял глубочайшие идеальные основы либерализма»³. И он же – в той же статье – оговаривался: «Чичерин был в сущности консерватором...»⁴ Оговорка Бердяева существенна и указывает на основной пункт мысли Чичерина. Это противоречие нужно прояснить, оно вводит в суть дела. Обратимся к высказываниям самого Чичерина, к его политическому самоопределению.

В статье 1858 г., помещенной в герценовских «Голосах из России», названной «Современные задачи русской жизни», Чичерин восклицал: «Либерализм! Это лозунг всякого образованного и здравомыслящего человека в России»⁵. В одной из статей сборника «Несколько современных вопросов» (1862)

Чичерин назвал себя «давнишним либералом». Но в предисловии к тому же сборнику говорил об «особом направлении в русской политической литературе», представленном им, и продолжал: «До сих пор наши писатели полагали главную свою задачу в развитии либеральных начал, в заявлении либеральных требований. Это направление, вполне естественное и законное, дошло до крайних пределов». И в этом же сборнике Чичерин помещает статью «Что такое охранительные начала?» с такими словами: «Только энергия разумного и *либерального консерватизма* (подчеркнуто нами. – Авт.) может спасти русское общество от бесконечного шатания»⁶.

Чичерин писал в мемуарах, что статьи в газете «Наше время» (это как раз те статьи, что собраны в книге «Несколько современных вопросов») упрочили за ним репутацию консерватора; в другом месте мемуаров сказал об этом еще определеннее: «...я в начале 60-х годов выступил в литературе с консервативными идеями»⁷. А в сборнике статей «Вопросы политики», вышедшем в год смерти Чичерина (1904), говорится о «консервативном направлении, к которому я принадлежу», как о факте давно и хорошо известном⁸.

Несколько этих цитат, как видим, не столько проясняют, сколько затрудняют вопрос о политическом мировоззрении Чичерина. Получается как будто, что сначала он был либералом, а потом стал консерватором – эволюция весьма обычная и нимало не подтверждающая высказанного выше мнения об уникальности позиции Чичерина в России. Однако более детальное знакомство с Чичериным убеждает в том, что он отнюдь не был типом политиканствующего хамелеона – как раз наоборот, в своих политических ориентациях Чичерин всегда шел *против течения*: консерватором он провозгласил себя именно в шестидесятые годы, когда правительственная политика была подчеркнута либеральной; а в «годы реакции» Александра III вновь выступил с либеральными требованиями (в частности, в важнейшем из вопросов – крестьянском; мы еще будем говорить об этом)*.

* Иногда хочется провести парадоксальное сравнение Чичерина с К. Леонтьевым, считавшим правилом политического поведения: быть либералом в реакционную эпоху и консерватором в революционную. Дело не в сходстве мнений – таковое у них эпизодично: есть что-то общее в самом их духовном типе (как, с другой стороны, у Чичерина

Дело в том, что смена политических ориентаций требовалась самой теоретической установкой Чичерина. Чичерин, при всем своем прославленном доктринаризме, никогда не был *доктринером свободы*; в поле его зрения, с самых первых шагов на поприще исторической науки, вошла тема *власти, государственного порядка*. В предисловии к сборнику «Очерки Англии и Франции» (1858) он писал: «Истинный либерализм состоит не в отрицании государственных начал; цель его должна быть водворение в обществе законной свободы согласно с условиями народной жизни, а правильное развитие свободы обеспечивается только сильным развитием власти (...) непоследовательность могут видеть здесь только те, которые не в силах выбиться из одностороннего направления и совладать мысленно с разнообразием стихий, из которых состоит общественная жизнь»*.

Тут же, в этом предисловии, Чичерин отвечает на возможную дисквалифицирующую оценку его позиции как эклектической: эклектизм, «не находя в себе живых начал, хочет держаться в равновесии между противоположными воззрениями и собирает чужие крохи без всякого разумного руководства. Сочетание же противоположностей, которые неразрывно соединены и в теории и в жизни, есть дело всякого мыслящего человека»⁹.

Последние слова – «сочетание противоположностей» – особенно важны, они напоминают нам о гегельянстве Чичерина. Как всякий гегельянец, он видит в истории диалектический процесс. Как всякий гегельянец, он ищет в процессе

с Бердяевым), хотя и интеллектуально, и психологически они очень различны: Чичерин – рационалист, Леонтьев – эстет, первый – корректный, немецкого типа кабинетный ученый, второй – беспутный романтический гений. Общее, по-видимому, у всех троих – их «феодальный», аристократический корень. Мы еще увидим, как Чичерин, несмотря на всю свою теоретическую ненависть к аристократии, не смог преодолеть в себе чисто аристократических реакций – и даже как раз в теоретических высказываниях.

* Обратим внимание на эти замечательные словосочетания: «законная свобода», «правильное развитие свободы»; весь чичеринский рационализм сказался в этой мелочи. Поэтому так поражается читатель Чичерина, найдя в его книге «Собственность и государство» философски углубленное учение о свободе, понимание иррациональности свободы – понимание в пору хотя бы и Достоевскому.

истории разрешающего синтеза. Между тем, партийное самоопределение в качестве то ли либерала, то ли консерватора будет, с этой точки зрения, односторонним, «абстрактным», как сказал бы Гегель, определением. «Нет ничего гибельнее для практики, как теория односторонняя или недостаточная, какова бы она ни была – охранительная, либеральная, демократическая»¹⁰. Чичерин не может остаться неизменно на той или иной позиции – партизаном свободы или апологетом власти, – именно потому, что для него сюжет, диалектически развивающийся в истории, – это борьба, противопоставление и конечный синтез власти и свободы, государства и личности, общего закона и личного права. «Либеральный консерватор» – вот определение, наиболее подходящее к этому случаю, коли уж необходимо вести речь в политических терминах. О Чичерине говорят как о теоретике либерализма; но он же известен не менее (если не более) как государственник, историк государственной школы; всякое понимающее суждение о Чичерине должно указывать на эти две стороны. И чтобы уже с самого начала стала ясна невозможность одностороннего определения Чичерина и в этой, второй его ипостаси государственника, приведем здесь такие его слова: «Иные утверждают, что я все приношу в жертву государству; другие, что у меня все исходит из власти и все возвращается к ней; третьи подозревают здесь еще худшее. Смею думать, что все это толки людей или не желавших или не умевших понять то, что хотел сказать автор. Сочетание порядка и свободы в применении к историческому развитию и к современным потребностям нашего отечества – вот единственная мысль, которая имелась в виду в предлагаемых статьях»¹¹ (имеется в виду сборник «Несколько современных вопросов»)*.

В теоретическом сочинении «О народном представительстве» Чичерин дал ясную формулу своего отношения к свободе. Характерно для него (и немыслимо для расхожего типа либерала) недогматическое отношение к свободе: «на одной свободе не может держаться никакое общество»; «свобода – один из элементов общественной жизни, и элемент существ-

* Мы укажем ниже на главное обстоятельство, не позволяющее считать Чичерина государственником по преимуществу: это его неприятие социализма, острая критика социализма именно как гипертрофии государственности.

венный, но не единственный и даже не верховный»; строго говоря, это средство, а не цель общественной жизни, цель же ее – культивация «вечных основ человеческого общества», каковые: «в политической области власть, закон, в гражданской – семейство, право собственности, в нравственной – религия»¹².

Когда Бердяев говорит, что Чичерин дал метафизическое обоснование либерализма, с этим можно согласиться, но с необходимым уточнением: если под либерализмом понимать единственным образом индивидуализм – как сказал бы позднее сам Бердяев, персонализм: «сознание и свобода принадлежат не объективной сущности, а субъективным единицам. В этом отношении лицо стоит выше общества и составляет для него цель. В этом заключается непреходящее значение индивидуализма», – писал Чичерин в книге «Собственность и государство»¹³. Но отсюда весьма далеко до тех, в сущности анархических выводов из посылки индивидуализма, которые делал сам Бердяев; метафизический персонализм не переходит у Чичерина в социальный индивидуализм, в «атомизм», как говорили раньше. И уж совсем не прав Бердяев, приписывая Чичерину защиту теории естественного права (даже понимая последнюю в современной Бердяеву неокантианской, трансценденталистской ее интерпретации). Чичерин как раз резко критиковал эту теорию – и в теоретическом (Руссо), и в практическом («Декларация прав» 1791 года) ее вариантах: «Несостоятельность этого учения, составляющего крайнее развитие атомистического воззрения на государство, доказана давно... Человек, по природе своей, как существо свободное, имеет права; в этом состоит истина означенного учения. Но определение этих прав и установление их границ зависит не от личного усмотрения каждого, не от неизменных указаний естественного закона, а единственно от общественной власти, которая одна может приписывать правила, обязательные для всех... Человек, по природе своей, должен иметь права, но гражданин имеет только те права, которые предоставлены ему законом»¹⁴.

Человек как субъект свободы берется Чичериным, таким образом, не в «естественном», а социальном его измерении, как *гражданин*. Комбинация прав не создает еще свободной личности, скорее следует говорить о примате обязанностей как характеристике свободного, т. е. *ответственного* челове-

ка¹⁵. В этом подчеркивании первичности социального интереса Чичерин готов отойти от своего (проблематичного, впрочем) персонализма и даже от коренного своего рационализма, от нормативности «чистого разума»; осторожный прагматик берет в нем верх над логическим конструктором, и отметить это необходимо для понимания Чичерина: «степень развития свободы, место, которое она занимает в общественном организме, верховное или подчиненное ее значение определяются не абсолютными требованиями разума, а относительными требованиями жизни»¹⁶.

В одной из статей сборника «Несколько современных вопросов» («Различные виды либерализма») Чичерин, перефразировав Бэкона, сказал, что глубокая философия возвращает к власти. «Чисто отрицательное отношение к правительству, систематическая оппозиция, – писал он здесь, – признак детства политической мысли». Выделив три вида либерализма: «уличный», «оппозиционный» и «охранительный», – последний Чичерин определил так: «Сущность охранительного либерализма состоит в примирении начала свободы с началом власти и закона», ибо: «Власть и свобода точно так же нераздельны, как нераздельны свобода и нравственный закон»¹⁷. Таких мест у Чичерина десятки, и никогда не лишне повторить их, чтобы зафиксировать это основное убеждение его политической мысли.

Приведем один пример публицистической работы Чичерина в эпоху шестидесятых. Когда стало ясно, что власть серьезно взялась за реформы, Чичерин поставил своей целью сдерживать общественные страсти, разгоревшиеся в связи с этим. Основной посылкой всех его работ, написанных еще до крестьянской реформы, является убеждение в позитивных возможностях власти, государства. Это отнюдь не было сервилистской тенденцией у Чичерина. Вспомним, что в проведении крестьянской реформы власть столкнулась с сильной оппозицией дворянства, выразившейся не столько в прямом политическом противодействии или попытках срыва реформы, сколько в синхронно возникшем стремлении дворянства выйти из политического застоя и взять на себя политическую роль. Эпоха освобождения крестьян была одновременно эпохой заметного роста дворянского конституционализма, роста аристократических тенденций (аристократических в смысле системы государственного правления, формы власти). За-

щита Чичериным государственного начала, предпринятая в его публицистике (да и в научной работе – «Об областных учреждениях России в XVII веке»), противостояла этим тенденциям. В герценовских «Голосах из России» Чичерин помещает исключительно резкую статью «Об аристократии, в особенности русской»; основной ее тезис: «всякая аристократия основана на ложном начале и окончательно вредна для государства»; «аристократия в благоустроенном государстве не должна существовать... она противна общественному порядку»^{18*}. В этой статье сдержанный и умеренный Чичерин доходит до парадокса: защищает Ивана Грозного против бояр – намеренное заострение темы, цель которого совершенно ясна: противостоять претензиям современного дворянства, ищущего политической компенсации за утрачиваемые экономические привилегии. Ибо – и здесь мы указываем на один из важнейших пунктов мировоззрения Чичерина – нельзя предпринимать реформу политической системы в момент глубокого социального сдвига (и наоборот: социальный порядок должен оставаться неприкосновенным в эпоху политических реформ). Эту мысль Чичерин развивал в своих больших книгах, например, в книге «О народном представительстве». Чичерин был совершенно убежден, что наша историческая власть, самодержавие, далеко не исчерпала своих позитивных возможностей (именно к этому времени относятся процитированные в начале нашей статьи слова его из письма к Кавелину). Либеральной, т. е. освобождающей силой была в это время власть, а не общество: хотя бы потому, что она больше могла. Но апологетика государства, предпринятая в этот момент Чичериным, внешне казалась антилиберальной.

Интересно проследить, как причудливо и капризно сложились в это время политические мнения в обществе вокруг вопросов реформы. Чичерин предпринял защиту реформационных prerogatives власти в обширной статье, посвященной нашумевшей литературной новинке – книге Токвиля «Старый

* Особенно резко осуждает Чичерин придворную аристократию – специфическую прослойку, близкую к власти, но предельно далекую от национальной жизни; выражения, употребляемые им здесь, только-только не выходят за грань парламентарных. Сравним также отзыв Чичерина, в этой же статье, о движении т. н. «верховников» 1730 г. как о «низкой и темной интриге в пользу нескольких частных лиц» с тем, что писал об этом Петр Струве в сборнике «Из глубины».

порядок и революция». Но издатель «Русского вестника», в котором сотрудничал тогда Чичерин, отказался ее напечатать. Издатель этот – Катков, бывший тогда убежденным либералом, поклонником Гнейста (немецкого истолкователя английских законов), выдвигавший идею децентрализации власти, местного самоуправления. Чичерин же на примере французской истории (параллели которой с нашей тогда бросались в глаза*) утверждал обратное: позитивный смысл государственной централизации в деле создания справедливого гражданского устройства, уничтожения сословных привилегий.

Вообще отношение Чичерина к знаменитой книге Токвиля заметно отличалось от восторженной реакции повсеместных сторонников французского автора. Чичерин увидел у Токвиля некорректные приемы партийного публициста в сочинении, претендующем на строгую научность. Нимало не отрицая исторической истины, открытой Токвилем, – резко показанной связи монархически-абсолютистского и революционного деспотизма, – Чичерин переставил акценты и оспорил оценки французского историка, отверг его характеристику исторического дела французской монархии как борьбы со свободой; точнее – показал, вновь проанализировав обобщенные Токвилем факты, что историк, дорожающий истиной, не будет эту борьбу осуждать: ибо свобода была в дореволюционной Франции аристократической привилегией, а не всеобщей формой социальной жизни.

Резюме Чичерина: «потребность того времени состояла в усилении центральной власти для того, чтобы сокрушить обветшалые привилегии. Но слабые короли XVIII века не сумели закончить таким образом начатое предками дело. Это было совершено революцией»²⁰, – как видим, действительно переставило акценты: он видит единый смысл французской истории, сказавшийся и у старых королей и в революции, уже не как положительное дело – создание нового политического порядка, а как громадное отрицательное достижение – уничтожение старого социального порядка; не построение свободы, а ликвидация привилегий – вот этот единый смысл. С величай-

* К. Д. Кавелин писал Чичерину 11 июля 1862 г., что, читая книгу Токвиля, он заметил «страшное сходство» предреволюционной Франции с сегодняшней Россией.

шим сочувствием цитирует Чичерин письмо Мирабо Людовика XVI: «Несколько абсолютных царствований не сделали бы столько для королевской власти, сколько этот единый год революции» в деле уничтожения всякого рода привилегий, социальных неравенств, реликтов средневековья. Дело власти – построение социального, правового равенства, к этому достижению, а отнюдь не к установлению порядка политической свободы и сводится исторический смысл самого феномена власти. И Токвиля Чичерин даже осуждает за то, что он в своем труде перенес вполне законный гнев либерала, видящего поправление свободы в современном, социально уравненном обществе (эпоха Луи-Наполеона)*, на обстоятельства, в корне от нынешних отличные. Либерализм Токвиля здесь аристократичен, и этому не сочувствует Чичерин, в этом он видит извращение самой свободы как всеобщего принципа: та же установка, что продиктовала закордонную статью «Об аристократии, в особенности русской», теперь была продемонстрирована в русской подцензурной печати на чужом материале.

«Партией» самого Чичерина была в это время – власть, государство, проводившие невиданную в России социальную реформу; такая громадная работа требовала, натурально, сосредоточения власти, временной гигантской ее концентрации, и, кажется, понимал это в России только один Чичерин – даже и не сама власть**. В этом понимании конкретно сказался чичеринский «либеральный консерватизм», продиктовавший ему выразительные, но глухо канувшие слова: «В настоящее

* Ниже мы будем говорить о том, как Чичерин понимал проблему равенства.

** Чичерин был, в частности, резким противником той и такой свободы печати, которой сопровождались реформы Александра II. Подтверждая, что без свободы научного исследования и научной мысли не может быть никакого прогресса, он настаивал на том, что свобода журналистики не только не полезна, но прямо вредна в обществе, в котором отсутствуют развитая политическая жизнь, соревнование сложившихся партий и пр. «В России периодическая печать, в огромном большинстве своих представителей, явилась элементом разлагающим; она принесла русскому обществу не свет, а тьму. Она породила Чернышевских, Добролюбовых, Писаревых и многочисленных их последователей, которым имя ныне легион...» – писал Чичерин в мемуарах²¹.

время в России, несмотря на все недоразумения, возможен союз между либеральным обществом и правительством, освободившим крестьян»²².

Если даже к Франции – стране громадной политической культуры и многовековой общественной самостоятельности – Чичерин находил возможным отнести свою формулу о «государстве как образователе общества», то тем более считал он себя вправе подобным образом толковать русскую историю. Такой подход – это и есть «государственная школа» в русской историографии. Во Франции работа государства свелась к борьбе и подчинению уже сложившихся образований общественной жизни – сословий; в Англии государство и по сию пору (т. е. к середине XIX века) не сумело овладеть обществом, что и есть источник прославленной английской свободы, – поскольку непобежденная монархией феодальная аристократия сумела не замкнуться в охране собственных привилегий, а взялась представлять общенациональные интересы; в России же само общество было создано государством. До сего времени государство было в России единственным активным элементом национальной жизни; оно и сейчас, проводя гигантские реформы, сохраняет ту же роль, хотя и готовит новый порядок вещей. «Образование государства – вот поворотная точка русской истории», его рост и усиление – «вот главная характеристическая черта русской истории с XV века, вот результат деятельности русского народа и заслуга его перед человечеством»²³. Динамика русской истории, по Чичерину, такова: власть в России сначала создает определенное сословие как некое полезное государству образование – путем его государственного закрепощения, потом она же его и освобождает. Последовательно были закабалены, службой или тяглом, дворянство, посадские люди, крестьянство; в том же порядке они и освобождались; таков исторический порядок, такова *правильность* исторического процесса, реконструированного Чичериным.

Без государства не было бы в России не только общества – не было бы нас как нации, мы остались бы историческим сырьем; так следует понимать основную мысль чичеринского этатизма в отношении России. Сказанное не означает, что Чичерин исповедовал некий национальный нигилизм: худые свойства русского характера для него не первичны, а суть следствие самого пространственного расположения русской

земли. Острый афоризм Бердяева: русский народ пал жертвой русского пространства, – несомненно, навеян чтением Чичерина. Многократно (и особенно подробно в книге «О народном представительстве») Чичерин рассуждает о значении в истории географических обстоятельств; среди них отягчающим историю является, согласно Чичерину, наличие громадных пространств – оно и создает, с одной стороны, исключительные возможности для безгосударственного существования, с другой стороны, ведет к гипертрофии государства. Парадокс русской истории, русской судьбы: русский человек потому и попал в такую кабалу государству, что был свободен, как никто, – сама *русская степь* давала нам готовую форму (вернее, бесформенность) «воли».

Чичерин пишет: «...самая степь способствовала кочеванию народонаселения, препятствовала образованию прочных союзов между людьми... Все предавалось разгулу, все расплывалось в этом необъятном просторе, который представлял так мало пищи человеческим интересам... Не легкое было дело, при недостатке средств, при скудости народонаселения, ловить человека по обширным пустырям и принудить его к исполнению своих обязанностей... отыскание беглых сделалось одною из главных задач администрации... мы видим до конца XVIII века постоянное стремление народонаселения разбрестись врозь, стремление, которое высказывалось явно, хотя оно было *незаконно*»²⁴ (последнее слово, так характерное для Чичерина, нельзя не подчеркнуть).

На эту же тему написана Чичерининая статья «Мера и границы», включенная в сборник «Несколько современных вопросов», – одна из высоких удач его публицистики. Только несколько фраз процитируем оттуда: «Чувство меры и границ – вот что потребно просвещенному обществу... Русская история представляет замечательные примеры... восточного склада русского ума, который все понимает под формой безусловного... присущий русскому обществу и глубоко коренящийся в свойствах русского духа элемент разгульной свободы, которая не знает себе пределов и не признает ничего, кроме самой себя, – это именно то, что можно назвать казачеством... если... вопрос будет поставлен не между мерою и безмерностью, а между казачеством и кнутом, тогда нет места разумному порядку в нашем отечестве»²⁵. Слово «казачество» в этом контексте так и просится в «Вехи»: вспомним, что в

статьях Струве и отчасти Изгоева русская интеллигенция представлена как историческая модификация все того же казачества.

Чичерин, разумеется, чуждый какому-либо руссоизму, считает государственность высшей формой общественной жизни, и поэтому историческая работа русского государства находит в нем одного из просвещеннейших своих защитников. Смысл этой работы надо видеть в том, что государство у нас, так сказать, выводило русского человека из природных его определений, приучало к порядку политическому, каковой является у Чичерина специфически человеческим. Ясно, что эта «гувернаменталистская» интерпретация отечественной истории не могла не привести Чичерина к столкновению со славянофилами, и не кто иной, как Чичерин, нанес удар в самое сердце славянофильской доктрины – учение о русской крестьянской общине.

Работа Чичерина «Обзор исторического развития сельской общины в России» есть, несомненно, крупное научное открытие и пример историографической классики. Тщательными разысканиями и неопровержимыми доводами в ней доказана ложность основного предмета славянофильской веры: представления о крестьянской общине как органическом образовании народной жизни и, так сказать, непосредственной эманации русской христианской души. Верхом полемического изыщества кажется нам то, что в этой работе Чичерин даже не упомянул самих славянофилов, а направил свои опровержения против барона Гакстгаузена, немецкого поклонника русской общины, – и доказал, что немецкий путешественник заблуждается в двух выставленных им принципиальных пунктах, именно в утверждениях, что: 1) сельская община в России есть община патриархальная, или родовая, т. е. проистекшая из отношений родственных, и 2) что такая община составляет характеристическую особенность славянского племени; это доказательство опровергло разом как сущее славянофильство, так и будущий панславизм.

Всякому способному читать и вникать в аргументы стало ясно, что славянофильское мнение о русском народе как народе внеисторическом и сверхисторическом, внегосударственном и сверхгосударственном, живущем единственно высокой правдой христианской и религии и воплотившем ее заветы непосредственно в формах своего быта (славянофиль-

ский вариант), или что формы его быта суть зримое воплощение теоретически чаемых руссоистами добродетелей «естественного человека» (вариант Гакстгаузена), – стало ясно, что это миф. Методом доказательства был у Чичерина анализ исторических документов, относящихся к общине, и анализ выяснил, что все эти христиански или руссоистски стилизованные качества общинного, «мирского житья, как то: общее владение землей, уравнильные переделы земли, общинное самоуправление и пр.», – все эти характеристики суть следы государственного воздействия на первоначальную родовую общину, а отнюдь не изначальные ее свойства. Нынешняя община, с которой имел дело Гакстгаузен, носит на себе все признаки искусственной организации, созданной в целях государственного фиска, для удобнейшего устройства тягла: «...те учреждения, которые по-видимому проистекают из нравов и обычаев, в сущности определены правительственными распоряжениями... Таким образом, – резюмирует Чичерин, – мнение барона Гакстгаузена о патриархальном характере нашей сельской общины не находит себе оправдания в истории... В ней господствуют не естественные отношения, а гражданские. Это не зародыш общественного развития, а плод его. Это результат прошедшей истории народа, образовавшего из себя великое государство, и в котором государственные начала проникают до самых низших слоев общественной жизни»^{26*}.

Рассмотренная под таким углом зрения, славянофильская концепция русской истории, натурально, рушилась. Теряло смысл прежде всего разделение русской истории на допет-

* Новейшая работа о русской общине, во многом подытожившая результаты прежних исследований, несколько расширяет традиционную «западническую» точку зрения на этот предмет; мы имеем в виду статью советского историка Бориса Миронова в американском ежеквартальнике «Славик ревью» (осень 1985). Б. Миронов доказывает, что со времени крестьянской реформы в России существовало самое настоящее *двоевластие*, что органы сельского самоуправления, включенные в систему бюрократической администрации, так и не стали механическим придатком таковой, а сохранили свою трудно уловимую формально, но ощутимую жизненно самостоятельность и независимость. В этом «двоевластии», коренном *дуализме* русской жизни видит Б. Миронов подлинную причину русской революции.

Мне не удалось выяснить, напечатана ли статья Б. Миронова по-русски, в Советском Союзе.

ровский и петровский («петербургский») периоды, коли содержанием ее объявлялось огосударствление русской земли. Докторская диссертация Чичерина «Об областных учреждениях России в XVII веке» была посвящена доказательству тезиса о непрерывности русской истории в вышеуказанном смысле: XVII век рассматривался автором как средостение между допетровской и петровской Россией, с его ростом правительственной администрации и государственного контроля. Попутно опровергался славянофильского же происхождения миф о «самоуправляющейся земле» в русском прошлом: Чичерин доказывал, что государственная администрация пришла на смену не оправдавшему себя местному самоуправлению. Петр и его эпоха – кульминационная точка этого процесса, но отнюдь не начало его, перелом в русской истории Чичерин отрицает, подчеркивает ее единый смысл – уже известный нам рост государственности. «Если при взгляде, который останавливается на внешних признаках, на перемене платья, на бороде, между обоими периодами нашей истории чудится глубокая пропасть, то при более внимательном рассмотрении исчезает эта видимая грань»²⁷.

Читателю, знакомому со славянофильством, ясно, однако, что критика его у Чичерина, на первый взгляд уничтожающая, на самом деле – бой с тенью. Несомненно, Чичерин показал несостоятельность славянофильских аргументов, апеллирующих к «фактам», разрушил псевдонаучные подпорки славянофильства, но славянофильское ядро – культурфилософская тематика – осталось нетронутым. Славянофильская мифология (берем это слово в его высоком культурфилософском смысле) не могла пострадать от научной критики – культуротворческая мощь этого мифа таится в глубинах, науке и критике недоступных*. Западничество Чичерина было не менее односторонним, чем славянофильство. Подчеркивая, что единственный общий признак всех противников славянофильства – «уважение к науке и просвещению», Чичерин пытался представить славянофилов какими-то обскурантами-одиночками, не видя, что славянофильство было поиском альтернативного культурного принципа, не на науке построенного. Коренная ошибка чичеринского, да и всякого рационализма – отождествление культуры, «просвещения» с

* См. мою статью «Славянофильство» («Грани» №135).

научными методами познания и преобразования бытия (естественно, Чичерин разделял просветительский предрассудок о культуре как «борьбе с природой»). Поэтому он не только у оппонентов-славянофилов, но и в самом предмете дискуссии – русской истории – не видел сюжетов, значимых не менее, чем эволюция русской государственности: например, того, что петровская реформа была разрывом русской культурной традиции (ибо для Чичерина всякая культура тождественна «просвещению»), а значит, все-таки правы были славянофилы, утверждая коренной перелом русской истории в Петре.

Бессилие Чичерина – бессилие рационализма – перед славянофильством хорошо иллюстрируется историей его дружбы-вражды со Львом Толстым, этим славянофильским титаном. Чичерин удивлялся в мемуарах, почему друга его молодости Толстого, человека с явно недостаточными сведениями, возвели в гении. Он никак не мог понять, что Толстой и в самом деле гений*.

Сказанное не оспаривает громадной научной ценности исторических изысканий Чичерина; однако в столкновении его со славянофильством очень четко выявилась не только коренная ограниченность рационалистического подхода к иррациональным, в сущности, историческим предметам, но и попутно чисто тематическая неполнота историко-полемических сочинений Чичерина.

Мы не случайно употребили слово «историко-полемические». Дело в том, что метод Чичерина, идущий от его ге-

* Чичерин о Толстом: «Его занимали высшие вопросы бытия, а подготовки для решения их не было никакой... он вообразил себя мыслителем, призванным поучать мир. К этому он менее всего был способен. О философии он не имел понятия». «Крейцера соната» – «производит впечатление рвотного»²⁸.

Сам Толстой писал о Чичерине в дневнике: «Дома с Чичериным. Философия вся, и его, враг жизни и поэзии. Чем справедливее, тем общее, и тем холоднее, чем ложнее, тем слаще... Приехал Чичерин. Слишком умный. Ругал желчно славянофилов»²⁹.

Интересны дневниковые записи А. П. Чехова, наблюдавшего однажды обоих в 1896 г.: «В феврале проездом через Москву был у Л. Н. Толстого. Он был раздражен, резко отзывался о декадентах и часа полтора спорил с Б. Чичериным, который все время, как мне казалось, говорил глупости»³⁰.

«Слишком умный» – это и есть путь, ведущий к «глупостям»: прямая дорога рационализма.

гельянства, был, так сказать, трансцендентально-полемиическим: целью его всегда оставался синтез, но по дороге к нему постоянно возникала необходимость указывать на односторонность того или иного господствовавшего тезиса, поэтому собственная работа Чичерина неизбежно становилась антитегичной, т. е. полемиической. Мы должны, однако, помнить, что, «сняв» данное противоречие, Чичерин шел дальше, поднимал проблемы на новый тематический уровень: так, указав и раскритиковав односторонность славянофильской антигосударственности, Чичерин не остановился на противоположном утверждении позитивного смысла государства в истории народов, он взялся развивать свой собственный антитезис – тему о «гражданском обществе». Но в самый момент полемики он всем казался только государственнымником, а значит, по необходимости, консерватором; отсюда его репутация 60-х годов.

Однако этатизм Чичерина укоренен философски, а не только служит какому-либо «практическому удобству». Государство для него – «создание объективной воли», «верховный союз на земле»³¹; Чичерин был весьма близок к гегелевской трактовке государства как нравственного союза – даже и в позднейшем сочинении «Философия права» (1900) утверждал нравственное измерение самой формы государственной жизни (прямо цитируя Гегеля), хотя уже высказал здесь, что нравственный закон как начало безусловное остается чисто формальным, «содержание дается ему извне, и это содержание требует приспособления к условиям эмпирического мира»³². Высший – в земных масштабах – смысл государства в системе Чичерина определяется диалектическим характером этой системы, конструирующей историческое движение по ступеням «естественного союза» (семья) через среднюю ступень, сочетающую два противоположных союза – церковь (нравственный союз) и гражданское общество (правовой союз), к «последней и высшей степени» – государству, содержащему в себе в «снятой» форме все уже бывшие определения³³.

Мы видели уже, что Чичерин, при всем своем несомненном либерализме, был далек от того, чтобы делать из свободы «отвлеченное начало»; так и консервативная его сторона, сильнее всего сказавшаяся в апологии государства, не вела к безоговорочному этатизму. Чичерин не принимал мнения Александра Гумбольдта о государстве как силе исключи-

тельно «полицейской», единственное назначение которой – охранять внешний порядок и спокойствие граждан. Он говорил, что общественную жизнь нельзя мыслить по схеме разделения труда; таким образом, государство как высшая форма общественного союза предстает у Чичерина в качестве некоей органической целостности, а не просто как одна из функций общественной структуры. И в то же время Чичерин был противником так называемой органической теории общества; в современных терминах, соответствующие построения Чичерина можно определить как теорию «открытого общества».

В книге «Собственность и государство» он писал: «Нужны прочные органические учреждения для того, чтобы рядом с ними могло быть допущено широкое развитие элемента неорганического»³⁴. Этот «элемент неорганический» и есть сфера свободы, или, по Чичерину, «гражданское общество». Всякая органическая концепция общества страдает скрытым детерминизмом, моделирует общественную жизнь по схеме природного бытия, не знающего свободы, циклически замкнутого, лишь воспроизводящего некие вечные законы существования; в этой схеме нет места для подлинного развития, для нового. Указание на это составляет громадную заслугу Карла Поппера («Открытое общество и его враги»). Чичерин, со своей стороны, остро ощущал опасность такого конструирования социальной теории. В книге «О народном представительстве» он писал: «...человеческое общество, в отличие от естественных организмов, способно не только к возрастанию, но и к историческому развитию»; в другом месте: «Народная жизнь не растение, которое из одного и того же корня постоянно пускает ветви одинакового свойства и строения»³⁵. Нам этот аргумент Чичерина кажется направленным против славянофильства, это именно славянофилы народную жизнь, «землю» видели в образе органической структуры. Здесь важна у Чичерина сама его антиорганическая установка; мы, впрочем, покажем далее, что чичеринский рационализм мешал ему по-настоящему оценить роль свободы в истории.

Провиденциальный смысл государства в истории Чичерин видел как раз в том, что оно ведет к укреплению, к правовой фиксации гражданского общества. Государство мыслимо для Чичерина, в конечном счете, только как гарант гражданской свободы. Гипертрофия государственного начала оправдывается только исторически, а не нормативно – как путь, а не

результат, как средство, а не цель. Историческая роль великих монархий Нового времени – в распространении начал (гражданской) свободы на общество в целом, в создании гражданского равенства, в устранении свободы как привилегии (феодализм). Для дальнейшего понимания Чичерина важно указать на его понимание диалектики свободы и равенства.

Свобода и равенство у Чичерина – понятия антиномические. Едва ли не важнейшей мыслью политической теории Чичерина является та, что свобода ведет к неравенству. Здесь сильное доказательство нестандартности чичеринского либерализма. В русской литературе только у К. Леонтьева и временами у Бердяева можно найти подобные мысли об онтологической природе неравенства. Принято считать, что подобные мысли суть следствие некоего эксцентрического духовного опыта, что исходят они из каких-то демонических «нищанских» глубин. Пример Чичерина, выдержанного рационалиста, показывает, что это не так. Соответствующая аргументация у Чичерина предельно проста, хочется сказать – элементарна. Это скорее то, что лежит на поверхности, но что не позволяет разглядеть либеральная догматика.

«Свобода необходимо ведет к неравенству», – писал Чичерин в книге «Собственность и государство»³⁶. Равенство может существовать лишь как формальное начало – в этом не ограниченность исторических выявлений равенства («буржуазное» государство), а самый его принцип. Равенство прав (формальное) нельзя заменить равенством состояний (материальным). В отрицании формального характера равенства Чичерин видит главную и роковую ошибку *социализма*. Он пишет о Бабефе, о его проекте «общества равных»: «Более последовательного проведения начала равенства невозможно представить. Но в результате оказывается, что для этого необходимо полное подавление свободы. Противоречие между этими двумя началами обнаруживается в полном свете. И точно, если равенство формальное, или равенство прав, составляет логическое последствие одинаковой для всех свободы, то равенство материальное является прямым отрицанием свободы... А так как единственное основание равенства заключается в свободе, то ясно, что материальное равенство есть противоречащее себе начало, ибо оно уничтожает собственное свое основание. ...принадлежащее свободе равенство, – конкретизирует свою мысль Чичерин, – есть равенство прав и ничто дру-

гое, ибо действительные проявления свободы опять же бесконечно разнообразны. Свобода состоит в том, что каждый действует по собственному усмотрению, а не по чужой указке. Следовательно, у каждого результат будет свой, и никакого приравнения одного к другому быть не может... материальное равенство равнозначительно с рабством; оно мыслимо только при полном подавлении человеческой свободы и всех личных особенностей»³⁷. Трезвый взгляд на природу общественных отношений убеждает, что природное неравенство людей (неравенство способностей) неисправимо в социальном плане, и не должно его исправлять. Мы еще раз убеждаемся на этом примере, что чичеринский рационализм весьма далек от какой-либо нормативности, что он постоянно корректируется трезвым прагматизмом чичеринской мысли. Своеобразие чичеринского рационализма – в том, что он, Чичерин, избегает какого-либо социального идеализма. Ведь рационалистическая установка по отношению к общественной жизни вполне может привести к такому результату, хрестоматийный пример чего дал Платон. Критика Чичериным социализма не в последнюю очередь основывается на представлении о социализме как крайнем социальном идеализме – рационалистически сконструированной и тем самым противожизненной модели социального бытия.

Развернутая критика основных посылок социализма дается Чичериным в ряде глав «Собственности и государства». Итоговая оценка социализму: «величайшее зло нашего времени»³⁸. Посмотрим на аргументацию Чичерина.

Чичерин отвергает не только основную, в его трактовке, посылку социализма – требование материального равенства, которое ведет, как мы видели из вышесказанного, к подавлению политической и всякой иной свободы. Он тщательно дедуцирует те следствия, которые логически истекают из требования социализации народного хозяйства, т. е. обращает внимание уже не столько на политические, сколько на социально-экономические проблемы социализма. Система частного предпринимательства и создаваемые ею отношения, говорит Чичерин, «требуются природою» – и продолжает: «Напротив, всякая искусственная организация, имеющая в виду установить между промышленными силами иные отношения, нежели те, которые возникли бы из свободной их деятельности, неизбежно влечет за собою подавление свободы, а вместе

с тем нарушение экономических законов и уменьшение производства, которое поражается в самом своем корне»³⁹.

Вот какие аргументы против социализма выдвигает Чичерин:

Социализм с логической неизбежностью ведет к уничтожению свободного труда, коли он против индивидуального начала в экономической жизни.

Социализм приводит к уменьшению производства по причине непроизводительности подневольного труда.

Государство при социализме выступает как промышленный монополист, навязывающий населению произвольные стандарты потребления; «оно не имеет нужды сообразоваться с требованиями потребителей, ибо у потребителя нет выбора».

При социализме неизбежно произойдет понижение жизненного уровня, как по причине падения производительности труда, так и потому, что рычаги распределения находятся в руках у государства.

Происходит резкое падение изобретательности и инициативы в хозяйственно-экономической деятельности, ибо в этом никто не заинтересован.

Социализм приведет к невиданному в истории господству бюрократии, коли в руки государственного управления отдается даже традиционная сфера частной деятельности — промышленность и торговля. «Едва ли можно представить себе, — пишет Чичерин, — что-нибудь ужаснее, как эксплуатация всего материального богатства страны и всего благосостояния частных лиц в пользу владычествующей партии. А к этому именно ведет социализм».

Рост числа и значения бюрократии приведет к канализации здоровых и энергичных общественных сил в ее сферу, потому что иной области инициативной деятельности при социализме не останется; таким образом, этот рост паразитических образований на общественном теле обусловлен самой идеей социализма. «Единственный исход для рабочего, единственная для него возможность выйти из подчиненного положения, это — вступить в разряд чиновников», ибо: «Недовольному закрыта всякая возможность протеста».

В связи с этим нарастает моральный распад общества, люди недобросовестные поднимаются вверх, образуется господство худших над лучшими; «так как природу уничто-

жить невозможно, то насильственно подавленная личность неизбежно проявится иным путем: она выразится в стремлении каждого пользоваться как можно более общественным достоянием, внося в него как можно менее со своей стороны».

Частное следствие – подрыв и распад семьи, лишенной значения хозяйственно-экономической ячейки общества, в частности из-за невозможности накапливать, завещать и наследовать имущество.

Вывод отсюда: «Понятно, какая нестерпимая тирания должна водвориться при таком общественном устройстве. Повидимому, цель социализма состоит в том, чтобы поднять достоинство человека: всякая частная зависимость прекращается, и остается одно служение обществу. Но в действительности, эта перемена состоит лишь в замене свободных частных отношений подчинением правительственной регламентации и произволу бюрократии».

И – окончательный вывод: «Коммунизм ставит себе целью возвеличение человека, и обращает его в раба...»⁴⁰

Критика Чичериным социализма далеко не ограничивается перечисленными пунктами; здесь, как мы видели, речь шла лишь о несостоятельности социализма как социально-экономической системы, со всеми вытекающими последствиями. Но Чичерин, как указывалось выше, подчеркивал также гибельность социализма в политическом плане. Социализм, говорил он в той же книге «Собственность и государство», – «опаснейший враг политической свободы»; «появление на сцену социализма служит знаком падения демократии»⁴¹.

В критике социализма очень доказательно обнаруживается коренной либерализм Чичерина; ознакомившись с нею, уже нельзя утверждать, что Чичерин – чистый этатист: ведь зло социализма Чичерин видел в тотальном подавлении «гражданского общества», в чудовищной гипертрофии государства. В современных терминах чичеринскую критику социализма можно с достаточным основанием квалифицировать как критику тоталитарного общества, и эта критика остается актуальной, хотя она и не полна (нет темы идеократии).

Антисоциалистические сюжеты у Чичерина, несомненно, производят сильное впечатление. Думается, однако, что соответствующие тексты способны более подействовать на нас, современников и свидетелей социализма, нежели действовали они на современников самого Чичерина. Особенно впе-

чатляет как раз то, что у Чичерина нет никаких эсхатологических озарений и пифических испарений, нет никакого аффектированного профетизма – и, тем не менее, все им сказанное о социализме воспринимается как сбывшееся пророчество. Корректная логическая дедукция из самих посылок социализма – вот что такое чичеринская критика социализма; можно даже сказать, что он указал на то, что лежало на самой поверхности. И еще раз поражаешься тому, как мало значимы логика и здравый смысл, трезвое обсуждение для судеб социализма, как рациональная критика бессильна перед ним. Мы теперь поняли причину этого: увидели в социализме инстинкт, а не рациональную программу. Мы можем понять также, почему такое точное видение будущего Чичериным (да и не им одним) не могло отвести это будущее, не мог никого «увлечь» чичеринский здравый смысл. В этом обнаруживается одновременно сила и слабость Чичерина: ясное «аполлоническое» сознание не способно укротить и заковать «дионисийскую» стихию, оно даже не в силах увидеть всю глубину этой стихии.

Ведь самое интересное в отношении Чичерина к социализму – не критика социализма, а те выводы, которые он извлек из этой критики. В «Собственности и государстве» Чичерин написал в заключение главы, из которой мы привели его антисоциалистические аргументы: «Для всякого, кто способен к ясному мышлению, коммунизм представляется теоретически нелепостью, а практически невозможностью. Он принадлежит к разряду чистых утопий»⁴². Этот вывод он повторял неоднократно. Пределы рационалистического мышления явлены здесь у Чичерина с образцовой наглядностью: то, что немислимо, существовать не может. Чуть ли не все свои рассуждения о социализме Чичерин заключал советом приналеж на философию: это марево рассеется, как только люди обретут правильные понятия. Он не понимал, что далеко не всякий способен к ясному мышлению. Тут уже не Аристотель вспоминается в связи с Чичериным, а Сократ, его рационалистическая этика: зло проистекает от невежества; и не нашлось у Чичерина «даймониона», который посоветовал бы ему заниматься музыкой.

Критика социализма и демократии взаимосвязана у Чичерина: демократия толкуется им как дорога к социализму, он говорит о закономерном перерастании политической демо-

кратии в «социал-демократию» – в силу того, что политической властью в демократиях владеет «бедное и непросвещенное большинство», вдохновляемое идеалами материального равенства. Это, пожалуй, основной аргумент Чичерина против демократии (ниже мы назовем и другие). Чичерин исходит из того, что большинство в любом обществе и в любую эпоху необходимо остается «бедным и непросвещенным». Неоднократно он говорит о «призвании» большинства населения к физическому труду (это у него, пожалуй, реминисценция из любимого Аристотеля, учившего, что некоторые люди рождаются рабами) – самое неприятное из того, что написал Чичерин⁴³.

Но воздержимся от эмоциональных оценок: здесь открывается нечто большее и важнейшее в рационализме Чичерина. Он фактически прав в утверждении того, что темная масса легко становится объектом демагогии и отданная на ее волю демократия может переродиться в деспотию; собственно, вся история, известная Чичерину (а ему была известна вся история), убеждала в этом, начиная с древнегреческих «тиранов» (бывших вождями народных масс, «демагогами» в первоначальном значении «водителей народа»), кончая современником его Наполеоном III. Неважно, что в последнем случае демократическая (то есть народом одобренная) диктатура «маленького Наполеона» как раз предотвратила социализм: Чичерин прав в том, что известные ему демократии падали, не выдерживая груза народной власти. Умозаключение отсюда к возможности использовать структуры демократии для социалистической реформы (или, если угодно, революции) в принципе правильно – настолько, что даже и сейчас коммунисты теоретически не отказались от такого пути. Но Чичерин не прав в том, что подобную тенденцию демократии готов считать ее *законом*. Ему не приходило в голову, что ситуация может измениться, что демократическое общество способно изменить те особенности своего строения, которые ему казались вечными. Сегодняшние развитые демократии создали общество «средних классов», большинство их населения – отнюдь не темная масса, занятая неквалифицированным трудом и предпочитающая «хлебы» свободе. «В основании всякой демократии лежит владычество бедных над богатыми»⁴⁴, – писал Чичерин в «Народном представительстве», он не мыслил ситуации, когда бедных попросту не будет.

Корень этой ошибки Чичерина – не в недоступности ему фактов последующего общественного развития, а скорее, в самой установке его мышления, в методе его, в ограниченности рационалистического видения мира. Метод Чичерина, его догматическое гегельянство не давали ему видеть будущего. Рационалистическое системотворчество (а к нему тяготел Чичерин), сама рационалистическая установка на «вечные законы разума» обращали мир в «закрытую систему»; собственно, система может быть только закрытой, самодовлеющей. Знатоки Гегеля говорят о коренной ретроспективности его диалектики, о том, что конечность развития или прямая невозможность бесконечного развития заранее предусмотрены в ее механизмах. Эрнест Радлов писал о Чичерине в энциклопедическом словаре Брокгауза-Эфрона: «...для него ценно подведение нового факта или теории под существующие категории, а не вопрос о том, насколько это новое уничтожает собою сложившиеся привычки мысли».

В фундаментальном трехтомном «Курсе государственной науки» Чичерин снова вернулся к вопросу о демократии. Здесь он дает ее систематическую критику. Пороки демократии, по Чичерину: 1) смешение начал гражданского и политического порядка (это уже известное нам тяготение политической свободы к установлению материального равенства); 2) падение удельного веса культуры в политической жизни; 3) безграничное владычество партийности; 4) устранение образованной части общества от участия в политической жизни (то же, что п. 2); 5) взваливание государственных тягостей на высшие классы; 6) расцветающий в демократиях «деспотизм массы»; 7) шаткость всех общественных отношений, отсутствие устойчивой политики; 8) слабость правительственной власти, каковая есть «игралище партий». Но Чичерин не был бы «распорядительным умом», если б тут же не дал перечисления достоинств демократии: 1) она создает «высшее ограждение прав и интересов каждого»; 2) обуславливает полный простор энергии и способностям людей; 3) возвышает личное достоинство человека; 4) обеспечивает всеобщность политического образования; 5) служит общим, а не корпоративным интересам; 6) уничтожает разрыв между правительством и обществом; 7) являет собой венец гражданского развития человечества: свобода и равенство в гражданских отношениях переносятся и в политическую сферу⁴⁵.

В ряде работ (например, «Наука и религия», 1879; «Положительная философия и единство науки», 1892) Чичерин пытается найти и сформулировать законы исторического развития. Методология его тривиальна: он извлекает закономерность из суммы предшествующих фактов истории – и экстраполирует ее на будущее (не замечая при этом, что сама группировка фактов подчиняется заранее принятой теории, в его случае – гегельянской); это придает ему завидную самоуверенность: «...зная предшествующие ступени, мы можем с уверенностью сказать, к какому будущему ведет нас исторический процесс». И если прежняя история являла ему картину движения от «первоначального единства» (античный мир) к «раздвоению» (средневековье), то: «Светское развитие нового времени, наоборот, представляет переход от раздвоения к высшему единству. Это – возвращение назад, по тем же самым ступеням, но уже с совершенно иным содержанием». Но никакого «совершенно иного содержания» как раз тут и не дано, и человечество, по Чичерину, в конце концов должно вернуться к теократии (исторический процесс «исходит от теократии и должен опять прийти к теократии»)⁴⁶.

Гегелевская диалектика, с ее идеями развития, с ее кажущимся адогматизмом, не только помогала Чичерину избегать односторонних, «абстрактных» определений и узко партийных пристрастий, но и в конце концов повредила ему, закрыла для него исторический горизонт. Он оказался в положении, которое сам критиковал (говоря, например, об органических теориях общества): в его системе нет места новому, нет подлинного развития, история замыкается в логически сконструированной системе, воспроизводя один и тот же набор ситуаций.

Сила Чичерина – не в его рационализме и не в его, странно сказать, учености, а в отмеченном уже неоднократно трезвом прагматизме многих его позиций и суждений, в его здравом смысле. Чичерин – «Здравомысл» либерализма, а не догматик его. Свидетельством чичеринского политического адогматизма останется книга «О народном представительстве». Один из больших разделов книги называется «Условия народного представительства». Итак, Чичерин не был безусловным либералом или консерватором, и это сильно говорит в его пользу. Когда речь шла о том или ином политическом начинании, он всегда сообразовался с обстоятельствами. Характерно одно

место из мемуаров «Земство и Московская Дума», где Чичерин говорит, что он теоретически был против данной меры, но в «существующих условиях» она представлялась ему приемлемой. И книга «О народном представительстве» хороша именно своей «атеоретичностью», точнее – разного рода жизненные обстоятельства политического развития становятся в ней объектом теоретического рассмотрения.

Перечислив в одном месте все недостатки представительного правления, Чичерин говорит: «Все исчисленные невыгоды составляют естественное последствие политической свободы и представительного порядка... В данных обстоятельствах, при известном состоянии народа надобно взвесить, что преобладает: выгоды или недостатки? Заключение не всегда будет одинаково, а потому представительное устройство не всегда окажется уместным»⁴⁷. Мы уже видели, однако, что это устройство рассматривается Чичериным как прогресс, но он против «всегдашнего прогресса», не является идолопоклонником прогресса; здоровый консервативный инстинкт корректирует либерализм Чичерина, делая его чрезвычайно ценным, «английским» типом политического мыслителя.

Чичерин выделяет одно основополагающее условие либерализации государственно-общественного порядка. «Можно поставить общим политическим правилом, что чем менее единства в обществе, тем сосредоточеннее должна быть власть. Отношение здесь обратно пропорциональное; одно восполняет другое. Наоборот, чем более крепнет общественное единство, тем легче власть может быть разделена. На этом законе основывается возможность или невозможность политической свободы»⁴⁸.

Основная идея книги «О народном представительстве», да и всей политической мысли Чичерина, – *воспитание (гражданского) общества*. Одним из средств такого воспитания он считал развитие местного самоуправления, поэтому приветствовал земскую реформу в России, сам активно участвовал в земстве, говорил, что земство – лучшее, что он видел в России; но и тут какая-либо догматика отсутствовала у него, и он спорил с Катковым, отстаивая прерогативы «централизации», трезво взвешивая существовавшие в России условия. Вообще неверно объявлять Чичерина врагом демократии, как это делает Бердяев, это стилизация. Но Чичерин думал, что демократию можно и должно воспитывать. Колоссальное значение он при-

давал в демократиях «среднему классу», считая его носителем идеи свободы по преимуществу; был, при всем своем потаенном аристократизме, противником «либеральных попыток, исходящих из одного высшего сословия»⁴⁹.

Задание книги «О народном представительстве» лучше всего резюмируется самим Чичериным на последних ее страницах: «...гораздо лучше служат свободе умеренные ее поклонники»⁵⁰.

Собственным политическим идеалом Чичерина, как известно, была конституционная монархия. «Все существенные элементы государства: монархия, аристократия и демократия соединяются в общем устройстве для совокупной деятельности, во имя общей цели, – писал он. – Каждый приносит свою долю сил и охраняет те начала, которые в нем преимущественно выражаются. Государственная власть, единая и верховная, воплощается в монархе, стоящем на вершине здания; свобода находит себе орган и гарантию в народном представительстве; высшая политическая способность получает самостоятельный вес в отдельном аристократическом собрании, и над всем царствует закон, определяя взаимные отношения властей»⁵¹. Конституционная монархия – строй, «наиболее приближающийся к совершенству» в логическом плане; а исторически это мнение подтверждается тем, что она есть «наиболее распространенный образ правления» в современном Чичерину мире; то есть конституционная монархия как бы апробирована историей, не сумевшей к концу XIX века придумать ничего лучшего. Чичерин пишет так, как будто двадцатого века и не предвидится. Дурная гегельянщина, с ее мифом о тождестве логического и исторического, сводила на нет ученость Чичерина, да и его здравый смысл. Владимир Соловьев говорил, что Чичерин – «ум преимущественно распорядительный»; действительно, в его политическом идеале, не только в философии, все очень строго расставлено по местам, каждое «начало» пристроено к делу; он только не понимал, что «система», системотворчество, раз и навсегда пленившие его у Гегеля, есть род логической эстетики, попросту – интеллектуальная игрушка, отнюдь не истина в последней инстанции. Кн. Е. Н. Трубецкой написал о Чичерине: «...он верил, что все существующее разумно, а, с другой стороны, в силу непримиримо отрицательного отношения к современности, все в ней казалось ему сплошным безумием и бессмыслицей... Он про-

изводил впечатление, что для него мировой разум был весь в прошлом»⁵². В этих словах афористически сконцентрировано то, что мы уже сказали о Чичерине: ретроспективность его рационализма; как раз потому, что «радио» был единственно доступной ему поэзией, его мысль тяготела к фиксации его в прошлом, ибо жизнь в настоящем всегда прозаична.

Нам остается сказать несколько слов о том, как теоретико-политическая мысль Чичерина определяла его политические мнения, его оценки политического момента. Отчасти речь уже шла об этом выше: мы касались позиции Чичерина в период великих реформ. Эта позиция, повторим еще раз, была правильной: Чичерин, исходя из своих общетеоретических установок, ясно понимал, что в эпоху громадной социальной ломки необходимо обождать с политическими реформами; поэтому он выступил так остро против тенденций дворянского конституционализма. Его тогдашняя формула: «либеральные меры и сильная власть» остается верной для едва ли не всякого *модернизируемого* общества. Слова его из второго «открытого письма» Герцену – о потребности «такта в политике», о необходимости «знать меру и пору» в ней – прекрасные, точные слова. К сожалению, сам Чичерин не всегда им следовал; его политические мнения и рекомендации не всегда точны. Так, какие-нибудь два-три года отделяют его статью «Об аристократии, особенно русской» от статьи «Русское дворянство»: здесь он доказывал, что наше дворянство, в новых условиях реформированной деревни, сохраняет, точнее даже, приобретает небывалое раньше политическое значение. Он видел дворянство как противовес самодержавию, единственный существующий в России политически значимый элемент, что отвергало его же отрицательное отношение к дворянским политическим претензиям, высказанное чуть ли не тогда же. Это – «феодальный каприз» у Чичерина, аристократическая фронда, свойственная ему в психологическом плане, хотя и отвергаемая политически.

В статье «Что такое охранительные начала» (сборник «Несколько современных вопросов», 1862) Чичерин превосходно сформулировал программу всякой «либерально-консервативной» политики: «Вся задача сводится, следовательно, к практическому пониманию существующего; надобно отгадать те силы, которые имеют в себе залог прочности, которые в данную минуту лежат в основании общественной организа-

ции»⁵³. Рекомендация правильная, но формальная; а содержательного наполнения этой формулы Чичерин дать все же не мог. Он не увидел этой силы в *русском крестьянстве*. Здесь же, в этом же сборнике, он высказал мысль в корне неверную: «Назначение крестьян – общинная жизнь»⁵⁴; а ведь сам же писал («О народном представительстве», первое издание – 1866, то есть примерно в то же время), что даже в демократиях существует элемент, так сказать, природно консервативный, и этот элемент – крестьянство; а в «Очерках Англии и Франции» (1858) говорил о благотельном смысле разрушения крестьянской общины во Франции. Надо сказать, что в теоретическом плане эту ошибку Чичерин преодолел. В его сборнике «Вопросы политики» есть статья «Пересмотр законодательства о крестьянах», относящаяся к периоду обсуждения этого вопроса в министерство Дм. Толстого (это обсуждение закончилось позднее, в 1893 г., законодательным закреплением общины – роковая ошибка русской политики). Здесь Чичерин – против сохранения общины, толкует ее как тормоз нашего социального развития. Но эта статья лишена, сказали бы мы, необходимой страстности – Чичерин явно не ставил эту тему во главу угла «вопросов политики». И в этом же сборнике – опять статья «О современном положении русского дворянства», вызвавшая недоумение современников; П. Н. Трубецкой задавал вопрос: так за что же в конце концов автор – почему его возражения против государственной опеки над дворянами сочетаются с призывом к сохранению их корпоративного устройства? Судьба дворянства все же явно интересовала Чичерина больше будущего русских крестьян. Подлинной перспективы русского будущего – создания свободного в гражданском и экономическом отношении крестьянства – Чичерин не увидел ни тогда, ни после: до конца он сохранил патерналистское отношение к крестьянству, что видно хотя бы из его мемуаров.

Чичерин был типом *умственного аристократа*; в этой характеристике сходятся как его рационализм, так и весьма заметные сословные комплексы. Он не раз высказывал отрицательное отношение к платоновской утопии «правителей-философов», говорил, что теоретическая ученость явно недостаточна для практического политика; и все же внутреннее тяготение его к этому сюжету очень ощущается. Доктринизм Чичерина, о котором писал Герцен, неоспорим, и он

только отчасти умеряется его прагматизмом и здравым смыслом. Сама философия Чичерина, его рационализм, была неглубокой философией, мы бы сказали, что подлинного вкуса в философии у Чичерина не было. Он, например, называл Шопенгауэра «третьеразрядным философом». «Архетипом» Чичерина – или его «сверх-я» – остался на всю жизнь рационалист и систематик Аристотель. Нам кажется, что жизненной травмой у Чичерина был неудавшийся опыт воспитания наследника престола – цесаревича Николая, юноши, по словам Чичерина, выдающихся дарований, умершего во время заграничного путешествия, в котором Чичерин его сопровождал. Чичерин, судя по всему, видел себя в роли Аристотеля, воспитывающего Александра Великого. Все остальные жизненные роли казались ему мелки. Отсюда – его ученое затворничество, разрыв с университетом, отход от непосредственного, живого воздействия на современников. Книги Чичерина успеха не имели, он остался сторонним русской жизни. Эта отрешенность Чичерина, некоторая нежизненность всего его облика были великолепно воспроизведены Толстым – неученым гением, понимавшим, однако, Шопенгауэра: Чичерин – это Сергей Иванович Кознышев в «Анне Карениной» (установлено Б. М. Эйхенбаумом).

Чичерин – в высшей степени «Эвклидов ум»; можно даже, пожалуй, назвать его «Ньютоном», памятуя, однако, что на смену последнему пришел Эйнштейн. Но, как законы Эйнштейна не отменяют Ньютоновых, отводя им только ограниченное смысловое пространство, так и мысль Чичерина остается верной и эвристичной в определенных границах. Слова Бердяева в «Вехах» – о том, что у Чичерина многому можно поучиться, – остаются в силе и посегодняя.

ЛИТЕРАТУРА

¹ Б. Н. Чичерин. Путешествие за границу. М., 1932, стр. 64.

² Н. Н. Алексеев. Религиозно-философские идеи и личность Б. Н. Чичерина в свете его воспоминаний. – «Путь», 1930, №24, стр. 98.

³ Н. Бердяев. *Sub specie aeternitatis*. СПб., 1907, стр. 205.

⁴ Там же, стр. 204.

⁵ «Голоса из России», ч. IV. Лондон, 1858, стр. 128.

⁶ Б. Чичерин. Несколько современных вопросов. М., 1862, стр. 189, 6, 162.

⁷ Воспоминания Бориса Николаевича Чичерина. Москва сороковых годов. М., 1928, стр. 102.

⁸ Б. Чичерин. Вопросы политики. М., 1904, стр. 31.

⁹ Б. Чичерин. Очерки Англии и Франции. М., 1858, стр. XI – XII, XII.

¹⁰ Несколько современных вопросов, стр. 39.

¹¹ Там же, стр. 7-8.

¹² Б. Чичерин. О народном представительстве. М., 1899, стр. 684, 43, 684.

¹³ Б. Чичерин. Собственность и государство, ч. II. М., 1883, стр. 442-443.

¹⁴ О народном представительстве, стр. 705, 706, 707.

¹⁵ Там же, стр. 44.

¹⁶ Там же, стр. 46.

¹⁷ Несколько современных вопросов, стр. 198, 199, 198.

¹⁸ «Голоса из России», ч. III. Лондон, 1858, стр. 35, 28-29.

¹⁹ Письма К. Дм. Кавелина и Ив. С. Тургенева к Ал. Ив. Герцену. С объяснительными примечаниями М. Драгоманова. Женева, 1892, стр. 56.

²⁰ Очерки Англии и Франции, стр. 214.

²¹ Б. Н. Чичерин. Земство и Московская Дума. М., 1934, стр. 125.

²² Несколько современных вопросов, стр. 7.

²³ Б. Чичерин. Опыты по истории русского права. М., 1858, стр. 380, 381.

²⁴ Там же, стр. 380, 382.

²⁵ Несколько современных вопросов, стр. 83, 79, 84.

²⁶ Опыты по истории русского права, стр. 47, 57, 58.

²⁷ Там же, стр. 388.

²⁸ Москва сороковых годов, стр. 216, 217, 220.

²⁹ Л. Н. Толстой. Собрание сочинений, т. 19. М., 1965, стр. 228.

³⁰ А. П. Чехов. Полное собрание сочинений и писем, т. 17. М., 1980, стр. 221.

³¹ Собственность и государство, ч. II, стр. 179.

³² Б. Чичерин. Философия права. М., 1900, стр. 301, 302, 223.

³³ Собственность и государство, ч. II, стр. 194, 442-443.

³⁴ Там же, стр. 310.

³⁵ О народном представительстве, стр. 683, 608-609.

³⁶ Б. Чичерин. Собственность и государство, ч. I. М., 1882, стр. 259.

³⁷ Там же, стр. 249, 257, 251, 257.

³⁸ Там же, стр. 33.

³⁹ Там же, стр. 401.

⁴⁰ Там же, стр. 272, 411, 404, 412, 405, 410, 409, 414, 405-406, 409, 414.

⁴¹ Там же, ч. II, стр. 371, 387.

⁴² Там же, ч. I, стр. 415.

⁴³ См., напр., «О народном представительстве», кн. IV, гл. 4, или «Собственность и государство», ч. II, стр. 352.

⁴⁴ О народном представительстве, стр. 108.

⁴⁵ См. Б. Чичерин. Курс государственной науки. Часть III: Политика. М., 1898, стр. 175-185.

⁴⁶ Б. Н. Чичерин. Положительная философия и единство науки. М., 1892, стр. 290, 304.

⁴⁷ О народном представительстве, стр. 93.

⁴⁸ Там же, стр. 567.

⁴⁹ Там же, стр. 643.

⁵⁰ Там же, стр. 787.

⁵¹ Там же, стр. 127.

⁵² Цит. по книге: Прот. В. В. Зеньковский. История русской философии. Париж, 1950, ч. II, стр. 151.

⁵³ Несколько современных вопросов, стр. 156.

⁵⁴ Там же, стр. 122.

МИХАИЛ ФЕДОТОВ

СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

Книга о судьбах людей, вернувшихся по завету предков на свою историческую родину – в Израиль, об их чаяньях и проблемах в новой для них среде и обстановке.

В книге 400 страниц.
Цена – 15 долларов

Заказы принимаются по адресу:
М. Fedotov, POB 6997
Jerusalem, Israel

Истоки

ЕЩЕ РАЗ О ЛЕНИНЕ И НЕМЕЦКИХ ДЕНЬГАХ

*Документы Архива Заграничной агентуры
Департамента полиции Российской Империи*

ОТ ПУБЛИКАТОРА

Публикуемые документы хранятся в коллекции Г. А. Алексинского в Бахметьевском архиве (Нью-Йорк). Они представляют собой исписанные рукою Алексинского четыре листа бумаги. Оригиналы документов, на которые ссылается Алексинский, в Бахметьевском архиве отсутствуют. Насколько известно, их нет и в других архивах. В этих случаях всегда приходится допускать возможность фальсификации, хотя тексты документов кажутся правдоподобными.

Впервые документы были опубликованы на французском в книге Алексинского „Du Tsarisme au Communisme“ (Париж, 1923), pp. 24-27, 29-30. Не исключено, что оригиналы документов как раз и были на французском, а в Бахметьевский архив попали сделанные самим Алексинским русские переводы.

Г. А. Алексинский (1879–1967) в свое время был социал-демократом, большевиком, депутатом социал-демократической фракции Второй Государственной Думы, лучшим (самым говорливым) большевистским думским оратором. От большевизма вскоре отошел. 1917 год встретил за границей, но уже в апреле вернулся в Россию и примкнул к меньшевистской группе «Единство». В июле 1917 г., после первой, неудавшейся попытки большевиков захватить власть, принял активное участие в вялой кампании Временного правительства по разоблачению большевистско-германских связей. Именно в связи с этой кампанией комиссар Временного правительства С. Г. Сватиков (чье отчество оба раза Алексинским указано неверно), производивший по поручению Временного правительства ревизию российских учреждений за границей, мог привезти из Парижа, где находился Архив Заграничной агентуры Департамента полиции, компрометирующие Ленина и Троцкого документы. Документы, таким образом, могли быть скопированы Алексинским после возвращения Сватикова из-за границы в сентябре 1917 г., но до ареста Алексинского большевиками в апреле 1918 г. Вероятно, тогда же на копии документа была поставлена и подпись Сватикова, эмигрировавшего из России

вскоре и умершего в эмиграции уже после Второй мировой войны. Алексинский же был освобожден из-под ареста в январе 1919 г. и эмигрировал в июне. Жил он с тех пор в Париже и, к несчастью для историков, имел нелестную репутацию авантюриста-обманщика. К сожалению, именно эта репутация Алексинского больше всего мешает нам быть уверенными в подлинности публикуемых документов.

Документы публикуются с разрешения Отдела редких книг и рукописей Бахметьевского архива Колумбийского университета.

Юрий Фельштинский

Секретные доклады (два) заграничной агентуры Департамента Полиции а) посещение Лениным германского посольства в Берне (декабрь 1916 г.) и б) о деятельности Троцкого во время войны (1914 – 1916) и о его связи с австрийской политической полицией. Экземпляр, удостоверенный Комиссаром Временного Правительства (1917 г.) С. Т [!]. Сватиковым. [Написано рукою Алексинского].

**ДОКЛАД ЗАГРАНИЧНОЙ АГЕНТУРЫ ДЕПАРТАМЕНТА
ПОЛИЦИИ. НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ЛЕНИНЫМ
В ДЕКАБРЕ 1916 г. В ШВЕЙЦАРИИ**

Особо секретно

«Ульянов (настоящее имя Ленина). – Я установил наблюдение за домом 27 на Spigelgasse (адрес Ленина в Цюрихе в это время) с 25 декабря 1916 года и взял на себя руководство наблюдением 28-го утром. Ульянов с небольшим саквояжем вышел из дому и поехал по жел[езной] дороге в Берн, куда мы сопровождали его. Прибыв в Берн в 10 часов, он направился прямо в Hotel de France, возле вокзала, нанял комнату, вышел из отеля через полчаса, направился к станции трамвая перед вокзалом и оттуда подъехал на другой конец города, где находится Медвежий Ров (Fosse aux Ours), затем он пошел пешком назад в город, все время держась под аркадами и время от времени оборачиваясь назад. Потом вдруг, выйдя из-под аркады и больше не оглядываясь, вошел в Германское Посольство. Было 11½ часов.

Наблюдение у германского посольства продолжалось до 9 час. вечера, но Ульянова выходящим оттуда не видели. Он не появился также и в Hotel de France ни вечером, ни на другой день утром.

Наблюдение было возобновлено 29-го утром у посольства, и только в 4 часа дня после полудня Ульянов вышел оттуда и поспешно направился в Hotel de France, где пробыл около четверти часа. Затем он сел в поезд, с которым мы и вернулись в Цюрих».

[Написано рукою Алексинского].

ДОКЛАД ЗАГРАНИЧНОЙ АГЕНТУРЫ ДЕПАРТАМЕНТА ПОЛИЦИИ. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТРОЦКОГО

Особо секретно

«Бронштейн, по прозванию Троцкий, Леон [!], родился 26 октября 1878 года, в Громоклях, сын Давида и Анны Полянской.

В феврале 1911 г. Бронштейн прибыл в Вену и поселился на Weinbergstrasse, 43, с женою (по фамилии Седова). Они занимали маленькую комнату и не каждый день бывали сыты. Вдруг Бронштейн переезжает на другую квартиру и поселяется в более комфортабельном помещении, на Einsiedeleigasse, 9. Он начинает издавать газету «Правда», которая выходит в неопределенные сроки.

В течение некоторого времени эта газета влачит еле-еле свое существование, и выход ее совершенно необеспечен.

Но вдруг счастье поворачивается лицом к Троцкому и его «Правде», и эта газета, экземпляров которой почти нигде не было видно, распространяется повсюду. Распространением ее занимается народная книготорговля (Volksbuchhandlung), находящаяся на Zumpendorferstrasse, 18.

Эта книготорговля находится в заведывании Игнатия Бранда (Ignatz Brand). Этот Игн[атий] Бранд, австрийский подданный, является определенным агентом венской политической полиции и, при его посредничестве, Бронштейн сам становится агентом той же полиции, – в октябре 1911 года, – с жалованьем в 300 крон в месяц. На этой своей службе он дей-

ствуется заодно с Раковским, который был одним из главных агентов австрийской политической полиции на Балканах.

Бронштейн продолжал свою работу, в качестве редактора «Правды» и агента австрийской полиции до 6-го ноября 1914 года, – до того времени, когда австрийское правительство послало его в Париж, чтобы он мог там продолжать свои подвиги. Надо отметить, что он мог оставаться в Вене больше трех месяцев после объявления войны, без всяких осложнений, хотя он – русский подданный. Почему? – Это ясно.

Поселившись 20 ноября 1914 года в Париже, Бронштейн издавал там газету «Наше Слово» (на русском языке), орган мира во что бы то ни стало, и часто защищал в своей газете австрийское правительство. По постановлению французского правительства от 15 сентября 1916 года, «Наше Слово» было закрыто, а по отношению к Бронштейну, о роли которого в Париже, вероятно, были получены соответствующие сведения, было сделано распоряжение о его высылке. Не получив от Швейцарской миссии разрешения на въезд в Швейцарию, он был отправлен 31 октября 1916 года на испанскую границу. Так как и испанское правительство тоже не хотело иметь его у себя, Бронштейн должен был отправиться в Америку. Когда он прибыл в Мадрид, он был арестован и отвезен в Кадикс, где и был посажен на пароход. В день его отъезда в Мадриде он имел при себе 15 000 франков французскими и испанскими деньгами».

[Написано рукою Алексинского].

НВ. Оригиналы вышеприведенных секретных докладов были найдены в Архиве Заграничной Агентуры Департамента Полиции Российской Империи комиссаром Временного Правительства С. В[!]. Сватиковым, в 1917 году, когда он производил ревизию российских учреждений за границей.

[Написано рукою Алексинского].

Подлинность сего удостоверяю. С. Сватиков.
[Написано рукою Сватикова].

Искусство

Иннеса Л е в к о в а - Л а м м

СОВЕТСКОЕ ИСКУССТВО СЛЕВА И СПРАВА

В последнее пятилетие зрители Европы и Америки познакомились с выставками советского современного искусства 70-х – 80-х годов – официального и независимого, неофициального. Это дает нам возможность рассмотреть широкую панораму отечественного искусства с различных сторон: в сравнении экспозиций, формируемых Союзом художников (СХ) СССР и западными галереями. А также мы можем сопоставить работы советских художников с работами их коллег на Западе. Оба сопоставления представляются теперь наиболее актуальными. В течение нескольких лет в музеях Европы и США проходят ретроспективные показы, обобщающие эволюцию западного искусства XX века. Во всех экспозициях отсутствуют произведения современных советских художников – исключение составляют лишь работы мастеров русского авангарда 10-х – 20-х годов. Значит ли это, что современные советские живописцы, скульпторы профессионально или с точки зрения новаций визуального представления не отвечают международным стандартам и не соответствуют этапам эволюции изобразительной культуры?

Этот вопрос требует серьезного разбора. Что это – изоляция, или самоизоляция, или пренебрежение к искусству, не имеющее отношения к советскому либо, наоборот, к независимому творчеству мастера в западном мире?

Первопричина заключена в ограниченном подходе к проблемам искусства в Советском Союзе и во взгляде официальных идеологов на него как на службу государственной пропаганды. Отторжение советского искусства от западного связано с требованиями, которые предъявляет СХ к отечественным художникам. Так, например, в статье, определяющей задачи творчества, секретарь СХ В. Горяинов основную функцию искусства видит в обеспечении «нравственного воспитания, развития коммунистического отношения к труду и

общественному хозяйству»¹. Для профессионального искусствоведа любой демократической страны подобные выкладки представляются просто абсурдными, и навряд ли вообще в таком контексте укладывается логическая связь педагогической морали и искусства. Наверно, и сам Горяинов едва ли верит в свои «песнопения», но положение главного идеолога советского творчества обязывает его и не к таким пассажам. «В предстоящем десятилетии (имеются в виду 80-е годы. – И. Л.-Л.), – пишет в этом же опусе Горяинов, – следует особенно усилить внимание к организации выставок советского изобразительного искусства за рубежом (...) Мы имеем все условия и возможности для того, чтобы гораздо шире использовать советское изобразительное искусство за рубежом не только для пропаганды (выделено здесь и далее мной. – И. Л.-Л.) его высоких художественных достижений, но также для пропаганды социалистического образа жизни, марксистско-ленинской идеологии. Надо смелее направлять за рубеж тематические выставки...»² Как наглядный пример таких экспозиций Горяинов сопровождает свою статью репродукциями с работ: председателя СХ СССР Н. Пономарева «Хирург В. Савельев» (далее идет перечисление высоких званий почетного доктора медицины), 1977 г.; первого секретаря СХ Т. Салахова «Портрет Дмитрия Шостаковича», 1976 года; действительного члена АХ СССР И. Зариня «Уходя на войну», 1977 г.; заслуженного деятеля искусств В. Громыко «Песня о моем отряде», 1977 г., – которые были показаны на выставке «Мы строим коммунизм» (Москва, 1977).

Конечно, никто из этих «пьедестальных» деятелей социокультуры не привнес в современное искусство никаких новых идей, а лишь адаптировал русский реализм XIX века, будь то жанровые сцены Зариня – проводы латышских стрелков, отличившихся в годы революции особой жестокостью, – или «воспоминания» Громыко о давно минувших днях войны, а также лишенные творческой фантазии и оригинальности портреты, написанные Салаховым и Пономаревым. «Шостакович» Салахова по образу двойник «Кара-Караева», написанного им несколькими годами ранее. Глядя на эти ученические этюды, пришли бы в полное изумление от художественной беспомощности авторов такие ортодоксальные мастера, как американские социальные реалисты, чей звездный час пробил в 30-х годах на волне экономического кризиса.

Однако всякие парадоксы бывают в жизни. Коммерция, кузина искусства, не раз поражала мир неординарностью «родственных связей», принося на алтарь Меркурия Аполлоновы страдания. Недавно в Западной Германии была показана новая коллекция советского искусства Петера Людвиг (ранее он коллекционировал только русский авангард 10-20-х годов), купленная им для собственного музея в Кельне, где хранятся наиболее значительные и авангардные произведения XX века. Среди последних пополнений уважаемого доктора искусствоведения мы видим «Портрет Шостаковича» Салахова, картины Зариня, а также работы других членов административной верхушки СХ – Андропова, Бисти, Обросова, Ткачевых и т. д. Как говорит сам коллекционер, он «посмотрел на осенних и весенних выставках более тысячи работ»³.

Мы можем допустить, что коллекция была пополнена как пример изучения определенной социокультуры, в целях которого были выбраны данные произведения. Но почему в таком случае эта коллекция не представляет полной картины искусства СССР, т. е. в ней нет работ независимых художников – Булатова, Васильева, Кабакова, Инфанте, Немухина, Гундлаха, Звездочетова и др.? Неужели «хозяйские» директивы Горяинова возымели поистине магическое воздействие, и собиратель шедевров от французских кубистов до современных неоэкспрессионистов открыл новую школу «коммунистического труда»?

Впрочем, дебютанты музея Людвиг действительно прилагают невероятные усилия, монополизируя выставочные пространства как внутри Советского Союза, так и за его пределами (исключая США и залы европейских музеев, где уровень экспозиций превышает возможности предлагаемых СССР выставок). Привилегии на монополию в экспозиции даются высокими административными позициями в СХ, позволяющими осуществлять контроль над советским искусством. Как ни странно и ни парадоксально, но один и тот же человек может быть членом редколлегий если не всех, то, по крайней мере, почти всех профильных журналов и издательств, к тому же входить в состав бюро секции: живописи, скульптуры или графики, монументальной живописи. Такие секции есть в отделениях городского, республиканского, союзного СХ, и «прозаседавшийся» входит одновременно в два или три «бюро», а кроме того, является членом закупочной комиссии в музеях, галее-

реях, фондах и комбинатах СХ⁴. Заседания отнимают у арт-функционера массу времени и сказываются на уровне творчества, но обеспечивают главное для советского культуртрегера – идеологическую и экономическую власть в мире искусства.

Но вернемся к советской коллекции П. Людвиг и посмотрим более внимательно, чем порадовал он зрителей Западной Европы, знакомых с такими блистательными художниками современности, как Пенк и Базелитс – Германия; Куччи и Чиа – Италия; Гилберт и Георг – Англия; Аккончи, Дж. Боровский или Харинг – США; или, наконец, Кабаков, работы которого недавно приобрел парижский Музей современного искусства при Центре Помпиду. Это короткое перечисление выдающихся мастеров, часть из которых входит и в коллекцию Людвиг, не исчерпывает огромного количества художников обоих континентов, незнакомых только зрителям СССР. И правда, трудно противопоставлять популярных в России Н. Нестерову или Т. Назаренко соотечественникам Булатову или Инфанте, американцам Аккончи или Боровскому, свободно владеющим как искусством живописи, так и скульптуры и пониманием художественного представления, построенного на игре различных форм и стилей.

Но не будем голословны и сравним диапазоны творческого мышления ироничной по-советски Нестеровой и по-американски Боровского. Нестерова, как и другие ее коллеги по данной коллекции, панически боится стиливых контрастов изображения, видя в них эклектику композиции, чего не скажешь о Боровском и многих современных художниках, умеющих оперировать не только живописными и формальными возможностями в контексте композиции, но и комбинацией стилей как способов выражения содержания. Сегодня стиль в руках мастера стал той же символической определенностью, что и живописная краска или мифологическая форма в работах художников начала или середины XX века. Нестерова предпочитает действовать «по старинке», противопоставляя в жанровых сценах – «Парк» (1978), «Пляж» (1980), «Водопад в Новом Афоне» (1981) – красоту природы и уродства или несовершенства человека. Но так ли нова и оригинальна эта идея? От картины к картине ее персонажи принимают облик «живого трупа», будь то романтическая пара в «Парке» или «пикейные жилеты» Нового Афона, с постоянным отсутствием жизненного присутствия и укоренившимся стилем затаенных

страданий или вопиющего мещанства. К сожалению, Нестерова не видит разницы между фактом и искусством, принимая оба понятия как синонимы. Интересны ли зрителю смещенные масштабы фигур героев и пейзажа, знакомые со времен Анри Руссо – «Портрет-Пейзаж» (1890) – и не переосмысленные творческой новацией Нестеровой в картине «Парк»? Или в композиции «Водопад в Новом Афоне» – вереница обывателей в норковых шубках, с выпяченной, вздернутой к носу грудью и шляпках с перьями на фоне плакучих ив и «падающей» воды. В принципе, мы видим иллюстрацию советской действительности в утвердившихся в XIX веке стандартах изображения, но не преобразованное с учетом «нового словаря» художественное произведение.

Работа Дж. Боровского (родился в семье эмигрантов из России) «Танцующий клоун» (1982-83) – прежде всего, не только жанровая сцена, но и поиск «новоречья» на основе эволюции экспрессионизма, сюрреализма, минимализма, концептуального искусства и перформанса. В одной композиции художник сумел соединить несколько художественных течений и с их помощью построить целое представление. Перед нами Клоун с торсом балерины и головой Пьеро, обнажающий бисексуальную гигантоманию современного искусства. Однако автор далек от позиции критической морали или серьезного порицания персонажа – мир плюралистичен, улыбается Боровский, приглашая зрителя в свой «театр». Композиция – действие со сценой, простой конструкцией геометрических плоскостей (в духе скульптур минималистов), юпитерами, меняющими освещение и направленными на огромного клоуна, танцующего, жонглирующего, чревоуещающего. «Кто он, – невольно спрашивает себя наблюдатель, – этот гибрид женщины и мужчины, стремительного танца и романтической клоунады, экспрессионизма и сюрреализма, завоевавший чужие подмостки и извлекающий доходный „неостиль“ из коммерческих шедевров?» Пестрый мир богемы предстает перед нами как многоэтажное здание и на разных этажах бытия – этики, эстетики, творчества, в оппозиции мировоззрений и одновременно формирования новаций на фундаменте традиций. Вместе с тем мы видим, что сегодня художник – не узкий живописец или скульптор, но и режиссер-постановщик, использующий широкий диапазон стилистической грамоты, материалы сценографии и облик героя конца XX века.

Другой вопрос, что не каждый художник может себе позволить создать столь дорогостоящее произведение (имеется в виду стоимость материалов и реквизита, используемых в композиции), хотя при тех средствах, которые отпускает СХ для коленопреклоненных членов объединения, вариант осуществления «равноценной» композиции вполне вероятен. Но способны ли на это советские художники? Тут не может быть даже двух мнений. Как доказательство вероятности, возьмем, к примеру, творчество Э. Булатова, известного небольшой прослойке московской интеллигенции художника, выставявшегося на Западе (выставки неофициального русского искусства в галерее «Семафор», Нью-Йорк, 1984, в галерее «Проекты искусства», Вашингтон, 1985). С одной стороны, его участие в выставках авторитетных галерей США говорит о значительных достоинствах произведений этого художника. С другой – высокий уровень картин Булатова, построенных на комбинации реалистических традиций и экспрессионизма, очевиден в его композициях «Опасно» (1973), «Добро пожаловать» (1973-74), «Люди на природе» (1976), «Улица Красикова» (1977). В отличие от Нестеровой, иллюстрирующей один план темы, Булатов разворачивает в одной композиции сразу несколько сюжетных линий, связанных между собой невидимыми нитями, но в целом представляющими концепцию содержания. В его картинах отсутствует слащаво-пренебрежительное отношение к героям, свойственное Нестеровой, Назаренко или другим мастерам, стоящим на позициях устаревшего критического реализма XIX века. Художник относится к своим героям не только с соучастием, но и с глубоким пониманием сути их бытия. Он как бы является летописцем событий, оставляя за собой право вносить авторский комментарий. В композиции «Добро пожаловать» мы становимся свидетелями памятника сталинской эпохи – «Дружба народов»: лжеклассический фонтан на ВДНХ с золочеными массивными фигурами – символами национального единства и братства, торжественно-величественными жрицами в духе греко-римских муз. Могучий монумент, с тяжелыми водопадными струями, переливающимися желто-изумрудно-красным перецветьем и рефлексирющими в золоте снопа-великана, возвышающегося в центре фонтана, становится контрпозицией к маленькой (в правом углу картины) женской фи-

гуре, расположенной на обочине мерцающих бликов и теряющейся в великом карнавале призрачно-каменных сияний.

Вместе с тем, в работах Булатова, как и Боровского, нет пессимистической или оптимистической определенности, словно ракурс сюжета зависит от точки зрения наблюдателя, зрителя событий его представления. Для художника важно, что его герои «живы»⁵, а способы выживания, как бы напоминает мастер, различны. Булатов акцентирует столкновение символа и реального образа, как, например, в картине «Добро пожаловать» скромное одеяние крестьянки в куцем, обтянутом платье и белом платочке с золотыми одеждами каменных богинь. Или в другой композиции – «Улица Красикова»: тянущих усталые фигуры прохожих и плакатный величественный образ вождя, летящего словно на крыльях, попадающийся на глаза на каждом перекрестке. Перед зрителем постоянно возникает диалог идеологической символики и исторической реальности, определяющей социально-политический контекст композиции. В диалогах Булатова, как и в работах Боровского, множество тем: действий-противодействий, в которых участвуют различные повороты стилевого изображения, относящие нашу память и знания к конкретным ситуациям и в целом формирующие широкую панораму действия.

С уверенностью можно предположить, что если бы П. Людвиг имел возможность свободного выбора работ советских художников, то скорее бы, вероятно, предпочел «фонтан» в «стиле Булатова». Однако произведения высокого мастерского класса обычно не попадают в экспозиции СХ, даже когда они построены на реалистических традициях. Художники типа Нестеровой удобны для идеологической советской пропаганды. В них есть мера конъюнктурного таланта, мера критики, не задевающей болезненные ржавые пружины общества, погрязшего в фарсе и мещанстве. Герои Нестеровой – зеркальные копии тех, кого постоянно критикуют советские газеты, обвиняя в коррупции, взяточничестве, пьянстве. Однако что дает это крокодилово самобичевание, общественный мазохизм, способный увидеть криворожье, но лишенный потенции что-то изменить?

Почему в залах СХ, в репродукциях советских журналов и газет мы не видим произведений, отвечающих последним творческим идеям, новациям? Ответ не хитрый. Общество демагогов и фальсификаторов дико боится поддержать любое

творческое проявление, ведущее к каким бы то ни было переменам, даже в области творческой фантазии. Власть имущие чиновники опасаются широкого фронта развития мысли, особенно если она соответствует свободным идеям Запада. Для советской конъюнктуры самый надежный способ – удерживать позиции вялой общественной критики, деморализующей общество, а не способствующей преобразованиям.

Ни для кого не новость, что Церковь и храмы в СССР служат лишь памятником архитектуры, раскрашенным на показ иностранным туристам, или развалившимся остовом, заброшенном в Богом забытой провинции. В период некоторого «полевения» соцреализма обращение к святым памятникам отечественной культуры стало ассоциироваться со свободой творчества. В принципе, для советского художника это действительно была либерализация изобразительной культуры, расширение «джентльменского набора» картины соцреалиста, который предельно ограничен догматическими установками большевистской морали, запрещающей рисовать нагое тело, религиозную символику или «футуристический бред» левых художников, требующих дополнительных усилий в понимании произведения. Но пока эти моральные установки исчерпали свой потенциал, мир искусства наполнился новыми художественными разработками, идеями, техническими внедрениями, использующими механические приводы, электроосвещение, телевизионный экран и пр. реквизит. И в середине 70-х годов, под влиянием открытого показа неофициального искусства в Измайлово (Москва, 29 сентября 1974) раскрепощенная панорама соцреализма была так же далека от западного авангарда, как московский Манеж от нью-йоркского Сохо. Очевидно, что это различие не мог не заметить хорошо знакомый с галереями Кастелли, Сонабет, Бун, Шафрази в Нью-Йорке (Сохо), где выставляются авангардисты Европы и Америки, доктор искусствоведения П. Людвиг, отправляясь в Москву и скупая там среди прочего подержанного искусства работы Н. Андропова, Д. Бисти, П. Никонова, М. Иванова, А. Никича, А. и С. Ткачевых и пр.

В западногерманском журнале «Арт» Людвиг в 1982 году с любопытной откровенностью описывал свой интерес к советскому искусству: «...я нашел народ, с которым веками мы были связаны культурно и экономически. Я посчитал невероятным, что мы игнорируем советское искусство». Идея,

поистине благородная, пришла в голову крупному коллекционеру, тем более, что необходимость в получении устойчивой валюты толкает советских бюрократов на разные компромиссы. Однако на уступки пошел Людвиг, приобретая произведения не истинных современных советских художников, а рядовых мастеровых, превративших народную изобразительную культуру в идеологический товар. На обложке этого же журнала сам Людвиг помещен на фоне картины Андропова «Ночь в Солигаличе», датируемой в его каталоге 1981 годом (та же дата стоит на оригинале). Сбывая произведения искусства в музей Людвиг, имеющий мировой авторитет, советские чиновники шли на любые подделки, лишь бы завоевать почетное место в престижной коллекции. «Ночь в Солигаличе» была написана Андроновым в 1970 году и с этой датой экспонировалась на его персональной выставке в Москве (декабрь 1977 – январь 1978). Кроме того, с оригинальной датой картина репродуцирована в журнале «Творчество» (1978, №3). Чем же столь неординарна эта работа, что понадобилось изменить дату или написать срочную копию? Перед нами ночной пейзаж, характерный для провинциальных российских улиц, с седыми, тронутыми ветром постройками, покосившейся колокольней старого северного храма, освещенного одиноким фонарем, тусклые лучи которого отдают беспощадной жутью. Горестному ансамблю запущенных древних строений эхом вторит хор воющей своры собак. От такой депрессивной живописи зрителя охватывает ледянящий ужас (а, как известно, искусство не пушка, нагоняющая страх) или, по крайней мере, удивление – неужели 60-летнему художнику, председателю мемументальной секции МОСХа, одному из основоположников «сурового стиля», лауреату всевозможных советских премий, недоступны более интересные приемы, чем «фотографическая» реальность, подкрашенная рисованием в манере Г. Гросса 10-х годов или А. Древина 30-х. Но оба предшественника Андропова умели балансировать художественное видение, компенсируя негативную сторону деформированного рисунка оптимистическим импульсом живописи. Экспрессионисты, которым подражает Андронов, не утопали в пессимистической реальности, а, как это свойственно настоящему мастеру, поднимались над проблемой и с высоты творческого полета исследовали ее природу, не обходя ироничного ракурса.

В принципе, не только Андронов серьезно грешит по части как понимания сути искусства, так и интеллекта в области художественного новоречья. Время словно остановилось в работах Т. Салахова, К. Мордовина, П. Никонова, М. Иванова – представителей «сурового стиля», которыми так гордится советское искусствоведение, вменяя им в заслугу откровенный подход к социальной реальности жизни в отличие от предшествующих столпов соцреализма – А. Герасимова, В. Серова, Б. Иогансона, Д. Налбандяна, с огромным усердием лакировавших жизнь социалистического «рая». Однако сделать из ада рай – тоже большое искусство; может быть, поэтому сегодня произведения, которых так стеснялись сами авторы, понимая свое творчество от лукавого, представляют уникальный памятник эпохи «усатого горца». Общую мысль придворных шутов однажды высказал известному коллекционеру Г. Д. Костаки художник Налбандян, приглашая собирателя русского авангарда посмотреть его натюрморты как пример «настоящего» искусства. Но главный портретист от Сталина до Брежнева был невероятно обескуражен, услышав от Костаки, что в историю мирового искусства он войдет как автор картин «советских царей». Вместе с тем, декорируя «чертову мельницу» греко-римскими украшениями, соцреалисты создали своеобразный образец визуальной культуры. Архаическая стилизация классического наследия древности в сочетании с характерными реалиями натуральных персонажей неожиданно дала концептуальный ход картины, где поиски реалистического изображения обернулись фантастической ирреальностью. Этот особый «советский сюрреализм», ни в коей мере не похожий на европейский, оказался источником художественных представлений в работах Э. Булатова, О. Васильева в 70-е годы или позже, в 80-е, в композициях Комара и Меламида, А. Косолапова, И. Кабакова (эти примеры рассматриваются ниже).

Еще в 30-е годы в традициях советского искусства была утеряна очень важная пружина творчества – стилистическая эволюция и стилистическая оппозиция, определяющая не только разницу мировоззрений между поколениями художников или внутри поколения мастеров-современников, но и представляющая последовательное изменение лика композиции. Это, прежде всего, было связано с отсутствием понимания роли русского авангарда, практически неизвестного широкой

массе художников, но, тем не менее, прошедшего логический путь пластических преобразований формы картины, а отнюдь не единомоментно превратившего реальную фигуру в абстракцию. Представители «сурового стиля» так же реакционно отказались от наследия первого поколения соцреалистов 30-40-х годов, как последние от тенденций конструктивистов 20-х. Между поколениями не возник творческий диалог, а образовалось профессиональное недоверие – «художественный овраг», ведущий к разрыву традиционной связи культуры. Но не только «суровые» не попытались как-то восстановить разорванные нити культуры, не отдавая себе отчета, что для поиска новых форм необходимо иметь эстетические устойчивые представления.

Те же проблемы мы видим в искусстве 70-х годов – в работах Нестеровой, Назаренко, А. Волкова, А. Ситникова и др. Реальность – сложная, неприглядная – поглощает их настолько, что они не находят в себе сил творчески ее переосмыслить и, в результате, рисуют отражение. Подобно Нестеровой, Назаренко движима стремлением показать теневые стороны персонажа-современника. Она часто рисует сюжеты, соучастницей которых является сама, круг ее коллег и приятелей. В коллекции Людвиг мы видим картину «Отдых в лесу» – группу коротконогих, расплывшихся от жира полуголых людей, рассыпанных, как горох, на лесной поляне и играющих в мяч, чехарду либо предающихся любовным утехам или обществу «бутылки». Не искушенному в тонкостях быта Союза художников зрителю вряд ли известно, что перед ним Дом творчества на Сенеже, где Назаренко и ее творческие собратья два месяца отдыхают за «государев» счет, получая субсидии на создание конъюнктурных шедевров. Невольно напрашивается вопрос к художнице: «Над кем смеетесь?» Или другая картина Назаренко «Новый год», скорее похожая на поминальное застолье, в котором она с натуралистической точностью подчеркивает нюансы действующих лиц, ни в коем случае не отходя от оригинального облика героев новогодней вечеринки. Пороки натуры, как бы говорит нам Назаренко, – лучшее художественное средство; что над ними долго думать? А вместе с тем за кадром очевидны реальные люди – на переднем плане художница И. Большакова с юной дочкой, тонкой, смазливой и подчеркивающей уродство тучной фигуры матери, на лице которой обозначено полное безучастие к живой

жизни. Большакова часто привлекает как натурщица внимание завсегдатаев Дома творчества «Сенеж». Ее рисовали Сидоркин – «Мамаша Гаргамель» (серия иллюстраций к Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль», 1979), А. Данченко – «Сказание о шести градоначальниках» (Салтыков-Щедрин, «История одного города», 1975), и, может быть, связи с ретроспективными образами больше говорят о типе и характере натуры, чем камуфлированное сведение счетов Назаренко с коллегой.

Сама по себе игра с «оригиналом» представляет для искусства прекрасные возможности развития сюжета. «Готовые модели» Марселя Дюшана, открытые художником еще в 10-е годы нашего века, красной нитью прошли по эволюции искусства, внося новые идеи в образы художественного сюжета. С «готовой моделью» мы встретились в работах Булатова (описанных выше), где художник корректирует ракурс натуры, но в его концептуальном движении очевиден путь от «первозданного» облика к лику «искусственному». Широкое использование готовой формы соцреализма мы видим в композициях Комара и Меламида – серия «Ностальгический реализм» (1981-82). Интересно «цитирует» внешний облик картины американского художника Аракавы «Разорванное сознание» (1978) его русский коллега И. Кабаков в живописных композициях «Гастроном» (1981), «Дом-музей „Усадьба Абрамцево“» (1982), «Первый снег» (1983). Однако сходство чисто внешней формы не умаляет достоинства оригинальной идеи произведения. В концептуальном искусстве главным фактором служит не форма, а содержание композиции. Поэтому в «реалистичных» работах Кабакова «тексты», написанные по живописной картине в духе соцреализма, представляют в комбинации лингвистическую и визуальную структуру. Здесь самобытен подход художника к решению темы: панорама московского гастронома, где длинной вереницей закручивается многолюдная очередь, на фоне которой написан список широкого ассортимента продуктов, продаваемых ежедневно в магазине в «большом выборе». Картина выпукло акцентирует абсурдность социума.

Искусство заимствования готовой модели в последнее время стало распространенным явлением в европейском и американском мире творчества. Здесь художники видят для себя возможность использовать как модель не только естественную натуру – пейзаж, человека, натюрморт, но и также ху-

дожественную форму или ее часть – цитату. В обновленном ракурсе искусственная модель приобретает неожиданный оборот в развитии другой темы, не менее оригинальный, чем в «авторском» варианте. Часто подобный метод отражения темы открывает пути диалога разных взглядов на одну и ту же проблему или указывает перспективы эволюции идеи. Значительный интерес для зрителей могла бы составить совместная выставка художников двух континентов, Кабакова и Аракавы, близких друг другу формально, но различных в аспектах художественных проблем. Для очевидца стали бы ясны причины формирования мироощущения каждого мастера, обозначились бы характерные примеры социальной культуры обществ, где живут художники, и вместе с тем возможности освещения различных социокультурных проблем близкими художественными методами решения. Однако на сегодняшний день совместная экспозиция Аракавы и Кабакова – лишь фантазия. К сожалению, имя Аракавы вряд ли известно в Советском Союзе, а предложение галереи Фельдмана (где ежегодно выставляется Аракава) Союзу художников СССР организовать выставку Кабакова в Нью-Йорке осталось безрезультатным.

Вопросы социального контекста искусства волнуют не только художников, которых принято называть «нонконформистами», т. е. не коммерческих в рамках догматических представлений советского официоза (что более определенно обозначает их позиции), но и ассов конформистского, конъюнктурного формотворчества, как мы это видели на примерах Андропова, Нестеровой, Назаренко и многих других, вошедших или не вошедших в собрание Людвига, но пользующихся большими выставочными пространствами СХ. Интерес к социальной проблематике – явление закономерное и утвердившееся в культурах разных народов. Поиски новых форм в искусстве модернизма несколько нивелировали эту проблему, но не могли привести мастера к полному отказу от нее. Такова природа художника, реагирующего на внешние факторы жизни даже в условиях мира искусства, области скорее эстетической, нежели социальной. Но и новые формы модернизма не рождались в вакуумной среде. Каждый этап творчества соответствует определенному историческому периоду, как, например, возникший накануне 1917 года супрематизм ассоциируется с революционным периодом, а следующий за ним

конструктивизм относится ко времени окончания гражданской войны и охватывает все десятилетие, когда не были уничтожены еще надежды на созидание нового общества.

В 70-е годы социально-политические темы стали больше занимать представителей визуальной культуры – как в лагере официальной конъюнктуры, получившей возможность использования метафоры в ракурсе параллелей между прошлым и настоящим, так и нонконформистов. Однако раскрепощенное искусство независимых художников теперь опиралось на более широкие представления отражения сюжета. За плечами этих мастеров был накопившийся опыт обращения с тенденциями западных стилей: дадаизма, сюрреализма, абстрактного экспрессионизма, поп-арта, которые ранее в СССР не были известны. При сравнении официальных и неофициальных художников очевиден любопытный парадокс: первые прямолинейнее начали освещать негативные стороны советской ретроспективы, чем их оппозиционеры. Вспомним композицию Д. Бисти «Ленин на броневике» (1970), за которую художник всеми правдами и неправдами старался получить Государственную премию, но получил ее позже, за другую работу, выполненную совместно с О. Верейским, что не удивительно. Трудно было бы себе представить, что, даже сделав несколько больших услуг членам премиального комитета, Бисти мог получить столь высокую правительственную награду, не только не польстив вождю революции, но и изобразив его в роли главаря экстремистов. Картина «Ленин на броневике» среди других ленинских образов висела на выставке «К 110-летней годовщине со дня рождения В. И. Ленина». За всю историю советского искусства ни один из художников не решился на столь «откровенную» картину. Впрочем, здесь вопрос решался не на уровне откровенности, а в аспекте беспомощности мастера в изображении темы. В любом образе есть более тонкие и не однозначно лобовые пружины, чтобы передать иронию в отношении героя, как мы могли убедиться на примерах композиции А. Косолапова «Ленин и кока-кола» (1982), где два популярных символа приводятся к равному значению. Или в скульптуре Л. Сокова «Ленин на мавзолее» (1982) – фигура вождя на трибуне собственной усыпальницы.

Читателю, живущему в СССР, может показаться, что художники-эмигранты Соков, Косолапов, недостижимые для прокурорской руки советской власти, имеют возможность

свободно иронизировать только над советскими лидерами. Однако это не так, условия западного мира не определены догматической моралью, ограничивающей диапазон художественной мысли. Так, неоднократно зрители Америки и Европы становились свидетелями экспозиции работы Комара и Меламида «Кентавр» (1981), где Рональд Рейган изображен в образе вздыбленной человеколошади. Или другой пример – работа американского художника немецкого происхождения Ханса Хаске «Инвентаризация не закончена» (1985) – портрет Маргарет Тэтчер в роли самодержавной императрицы, облаченной в прозрачную бледно-голубую тунику, мягко ниспадающую фалдами на прямой фигуре «железной леди». Но в обеих транскрипциях государственных лидеров зритель видит не только иронию или сарказм художника. Аспекты образного решения предстают в несколько ступеней, ибо здесь играют роль нюансы портрета в целом. В героях нет исторического и этнического трафарета, как мы видели в работе Бисти – традиционное решение конкретного образа, обретающее грубую ясность. Комар и Меламид, как и Хаске, наполняют своих героев «декоративными» полутенями, оттенками, в силу которых персонажи обретают иные качества, не похожие на привычный образ и как бы играющие перед зрителем новую мифологическую роль. Гипотетическая классика картины перерастает в театр абсурда, где герой выглядит «голым королем» или шутом, одетым в чужое платье, несвойственное его натуре. Ностальгия по греко-римской пластике парадного портрета или мифологии Ренессанса оборачивается обратной стороной медали, становясь энергичной формообразующей, показывающей нам персонажи в ретроспективе облика от устойчивого стандарта до неомифологии художника.

Ту же «классическую» ностальгию мы видим в работе О. Савостюка «Портрет К. К. Рокоссовского», показанную весной 1985 г. в Москве на выставке «XXVII съезду КПСС». Написанная в период «безвременья», когда власть удерживалась в руках беспомощных старцев, картина Савостюка, обладавшего долгие годы административной силой в СХ (секретарь СХ и председатель МОСХа), являет собой тоску по сталинским временам, выраженную в манере ортодоксальных парадных портретов социалистической лжеклассики. В отличие от Комара и Меламида или Хаске, Савостюк далек от самостоятельных оценок героя в контексте истории, кото-

рыми может быть богат образ Рокоссовского, имевшего в карьере взлеты и падения. Савостюк «реанимирует» маршала в облике сталинского богатыря, защищенного от «уколов» судьбы непроницаемым орденом панцирем. Конъюнктурное чутье толкает художника в прошлое, без коррекции на обороты движения истории, без попытки переосмысления или обновления реалистического художественного образа, который отрабатывался в советском искусстве в течение шести десятилетий. Беда не в том, что художник использует реалистические способы изображения. Проблема творчества свелась к неумению «путешествовать» в историю искусства и находить возможность синтеза изобразительных средств. Что, казалось, могло быть проще старой истины-триады Гегеля: «тезис – антитезис – синтез», нехитрой мысли, тысячи раз усвоенной мировой культурой? Именно на ней возник русский авангард начала века, включивший в работу познания находки французских кубистов и итальянских футуристов. Однако мещанское сознание советского официоза фатально боится эклектики, которая ей буквально мнится в любом слиянии стилей. Погоня за идеалистической гармонией атрофировала способности концептуального мышления у конъюнктуры, скользящей по поверхности изобразительной формы и не способной проникнуть в ее тайники.

Допустим, советские художники вынуждены прославлять труд современников, людей поистине особенных, исполняющих за гроши каторжную работу на поле, которое не приносит запланированного по официальным прогнозам урожая. Действительно, задача не легкая и требующая от мастера не меньшего творческого потенциала, чем тот, что проявился в работах крестьянских сюжетов А. Венецианова в XIX веке или Малевича и Гончаровой в начале XX-го – художников, обращенных каждый в свое время к социальному аспекту картины, представляющей серьезную оппозицию академической светскости имперского искусства. Естественно, от современного мастера мы ждем нового контекста народного бытия, развернутого в эволюции традиций предшественников, но пополненного собственным социальным и творческим комментарием. Вместе с тем, и на выставке конца 70-х годов «По ленинскому пути» среди незадачливых «вертикальных» композиций – персонаж или группа людей, расположенных по вертикали картины, – зрители встречают ученическое повторение романти-

ческого символизма Петрова-Водкина в работах А. Токарева «Весна» (1977), Ю. Кугача «Гроза надвигается» (1977), О. Филатычева «Песня» (1977). Казалось бы, с годами художник мог бы найти для себя новые источники вдохновения и не заниматься художественной тавтологией, переходящей в ремесленный штамп. Но апробированная мода оказывается привлекательней творческого поиска. На выставке 1980 года «Советская Россия-80» в Москве мы опять становимся свидетелями той же гиперболической манеры Водкинских мадонн в картине С. Бяликова «Абричка» (1979), Л. Кирилловой «Сенокос. Отдых» (1980), Н. Ерышева «Хлебное поле» (1979).

Любопытный отзыв о выставке «Советская Россия-80» дает главный редактор журнала «Творчество» Ю. Нехорошев: «Нравственные искания – то, о чем шел разговор на XXV съезде партии применительно к искусству, – обрели разные формы художественного выражения, – свидетельствует «Советская Россия». Художники индивидуализируют широкое понятие «советский человек», показывая конкретные личности и образы обогащенные, историко-символические и поэтически возвышенные»⁶. Невольно напрашивается вопрос – романтическая символика Петрова-Водкина, противопоставленная одновременно моральной публицистичности передвижников, виртуозной салонности мирискусников и холодной периферийности академистов, может ли она быть идентична творческим проблемам 70-80-х годов? Не изменились ли задачи художника с течением социальных преобразований общества, влияющих на их мировоззрение? Или сквозной символ мадонны не подлежит эволюции на протяжении семи десятилетий? Или романтический лик русского крестьянина не затронули исторические штормы, не отложили на его устойчивой душе следов революции, раскулачивания, коллективизации, войны, технических преобразований и долгих неурожаев? Или у современных советских художников не хватает той дерзкой смелости Малевича, Гончаровой, Татлина, Филонова, с которой они противопоставили своего «фольклорного простолюдина» «итальянским адептам» Петрова-Водкина (не умаляющим достоинства этого замечательного художника)?

В этой же статье Нехорошев пишет о другой работе – П. Оссовского «Озаренные светом победы» (1980): «Золотой, в сиянии соборов и зарева неба, Кремлевский холм; эпизод Куликовской битвы и финал битвы за Берлин в победном

1945 г.: история и современность едины, утверждает художник. Нетрудно заметить, что герои поля Куликова и Великой Отечественной войны схожи: единство патриотического духа и подвига сближает поколения – так читается замысел». Я думаю, что нет смысла обсуждать «сумму выпренных слов» Нехорошева и жонглирование историческими фактами, знаковыми не только историку искусства, но и школьникам. Важно другое: главный редактор центрального по искусству советского журнала плохо знает предмет. Прежде всего, в работе П. Оссовского «Золотой кремлевский холм» очевидно повторение метафизических композиций Де Кирико и, в частности, одной из его первых картин – «Возвращение поэта» (1911), с фантастической игрой светотени, когда в пространстве ночного пейзажа вырастают острова освещенной таинственной архитектуры, но только в оригинальном варианте мы видим не Московский Кремль, а башню на площади в Турине.

Вероятно, «нравственные искания» в сознании советского критика становятся эквивалентом чисто художественных задач мастера. Конечно, в подобном контексте бесконечное повторение культурного наследия имеет хоть какой-то смысл, но существенно отличный от задач искусства, если считать, что эта область знания – не исключение среди других и не является предметом развлечения или объектом досуга. Курьезы советского искусствоведения, отвергающего эволюцию искусства на Западе, приводят к самоизоляции советскую изобразительную культуру, лишая ее возможности творческого диалога с коллегами из свободного мира. А, как известно, на оппозиции творческих воззрений строится трансформация художественных форм, идей, новаций. Элементарное незнание модернизма XX века приводит советских художников к «открытию велосипеда». Мне невольно вспоминаются эпизоды, когда советские художники разных ориентаций сравнивали себя с «коммерческими гениями» – Пикассо, Муром, Клее, чьи работы уже не были новоречьем искусства, а стали классикой. Мои собеседники не знали, что авангардное время в западном мире творчества исчисляется намного стремительней, чем в отчих пенатах, и новые поколения художников поочередно отстаивают свое место на художественном Олимпе. Недавние показы в музеях Нью-Йорка продемонстрировали художественно-изобразительные откровения XX века,

как, например, на выставке «Трансформации скульптуры в европейском и американском искусстве. 1940 – 1985». На выставке четко определились пути эволюции и оппозиции одного поколения скульпторов предыдущим. В 40-е годы у Мура появляются серьезные оппоненты – Джакометти, Дэвид Смитс, Корнел, а в 50-е – Дебюфи, Ногучи, Раушенберг, Джонс... Эта экспозиция, как и другая – «Геометрическое абстрактное искусство. Контрасты формы. 1910 – 1980», – выявили взаимовлияние художественных тенденций, источники новаций и авторитет на интернациональной арене представителей русского авангарда 10-х – 20-х годов, но за пределами этих удивительных показов оставались современные отечественные художники.

Одно дело вопрос художественного мировоззрения мастера, другое – художественная школа, где студенты получают грамоту, изучают историю искусства не с точки зрения критики, а как способ выражения художественной идеи. Проблемы советских художников начинаются с ученической скамьи, подающей эволюцию модернизма через призму марксистско-ленинской идеологии, опасаясь влияния других форм мировоззрения. В 60-е годы художники Москвы, Ленинграда и др. городов начали самостоятельно изучать отечественное наследие и западное искусство. Однако те, для кого прерогатива стиля не лежала в области социалистического реализма, оказались за пределами выставок, объективной критики и пропаганды творчества. Санкции на демонстрацию оказались сопряженными с санкциями экономическими, исключающими возможности естественного развития художника. Но отдельные мастера нашли для себя путь сочетания коммерческого и независимого творчества, хотя и не такого насыщенного, как их сверстники из свободного мира искусства. Уже в 60-е годы в русском искусстве появились последователи супрематизма и конструктивизма – различные версии абстрактного изображения, возникла отечественная версия поп-арта, а к концу десятилетия – перформанс-арта и ленд-арта⁸. К началу 70-х годов относятся первые эксперименты концептуального искусства и соц-арта.

В октябре 1985 г. в вашингтонской галерее «Проекты искусства» была развернута одна из самых больших выставок русского современного искусства на Западе, где экспонировались работы более чем 30-ти участников. Наряду с худож-

никами старшего поколения 60-х годов: Э. Булатовым, В. Пивоваровым, М. Рогинским, – а также Комаром и Меламидом, Л. Соковым, Э. Гороховским, формирование которых относится к началу 70-х, и Н. Алексеевым, Г. Кизельватером, А. Монастырским, А. Панитковым, объединившихся в художественную группу «Коллективные действия» в 1975 г., демонстрируются работы независимых мастеров третьего поколения 80-х годов: В. Захарова и В. Скерсиса, К. Звездочетова, С. Гундлаха, С. Мироненко, Н. Абалоковой и А. Жигалова, А. Чернышова, Л. Резун, Л. Войцехова и др. Эта экспозиция со всей очевидностью показала эволюцию русского неофициального искусства почти трех десятилетий, в течение которых художники открывали для себя новые горизонты изобразительной культуры, отличной от мертворожденных канонов соцреализма, застывшего в тавтологической классичности и косного в своем постоянстве. Неудивительно, что оппозиция тривиальной парадности официозной культуры обозначилась на использовании фольклорных форм, инфантильном рисунке, открывающих возможности непосредственного восприятия видимого мира, как, например, в поп-артных работах М. Рогинского «Примус», «Спички» (1965). В них художник возродил древнюю традицию народной картинки, вывески, обращения к простой повседневной натуре, столь привлекавшей в начале XX века отечественный авангард. Иную линию – поиска материальных характеристик натуры, ее фактурного образа – мы видим в композиции Л. Сокова «Рубашка» (1975), сближающей художника с задачами американских поп-артистов 60-х годов, стремящихся через «физиономию» материала – дерево, железо, стекло, веревка и пр. – показать лицо модели и ее социокультурные ракусы. Иронией к идеологическим клише проникнуты работы Комара и Меламиды 1972 г. (когда художники еще жили в Москве) и, в частности, «Двойной автопортрет» (1972-75) как «копия» эмблемы Ленина и Сталина или портрет Карла Маркса (1976), исполненный в духе крестьянской вывески.

Однако более всего обращает внимание зрителя на выставке в Вашингтоне близость художественных ракурсов советских и американских молодых художников 80-х годов. Так, композиция В. Захарова и В. Скерсиса «Спартак-чемпион» (1983) перекликается с работами этого же времени их нью-йоркского сверстника Дж. Бисквайта. Мир у художников

двух континентов проецируется на холст, казалось бы, со случайными, ненужными деталями-подробностями, «подхваченными» не с «парадного хода» жизни. Но вместе с тем в сторонней ежедневности и наивности «инфантильного» видения открывается живой интерес мастера к быстротекущей панораме бытия и его простым хитросплетенным случайностям. С другой стороны, К. Звездочетова сближает с К. Шарфом использование в картине сюжетов народных преданий, поверий, иллюстраций к сказкам, мифам, имеющим аналогии с сегодняшней реальностью. Оба художника включают в композиции памятники национального фольклора народов, населявших исстари Россию и Америку, как, например, Звездочетов в работе «Боже, покарай врагов» (1978) – сюжет оловянных солдатиков, а К. Шарф – маски древних племен в композиции «Когда сталкиваются миры» (1984). Любопытные параллели очевидны между нью-йоркскими «графитти», разрисовываемыми в «спонтанной», легкой манере, напоминающей фрески, городскую подземку (метро), устрашающую пассажира своей неприглядностью и мрачностью, и московским художником С. Гундлахом, который небрежным монотонным кружевным завитком пишет панорамы столичных новостроек, отчуждающих человека унылым однообразием.

* *
*

Мы как бы совершили путешествие по залам и галереям, где зрители знакомятся с современным советским искусством. Постарались посмотреть на него «справа» и «слева», во взаимосвязи коммерческих, что означает идеологических, ценностей и независимого творчества. Некоторым образом сравнили искусство СССР и Запада. Как обнаруживается, различным художникам близки идеи ретроспективы стиля, включения прошлых традиций и цитат в контекст современной картины. Однако если независимые художники не только Советского Союза, но и западного мира предлагают зрителю широкие ракурсы художественных сюжетов, включающих одновременно несколько тематических планов и выражают их комбинацией различных стилей, то советский ремесленный официоз прочно стоит на позициях копияного камуфляжа, при-

крывая клюквенной риторикой мелких частных главные задачи развития искусства.

Нью-Йорк, 1985-86.

ЛИТЕРАТУРА

¹ В. Горяинов. Пропаганду – на уровень задач времени. – «Творчество», 1981, №2.

² Там же.

³ «Арт» (ФРГ), 1982.

⁴ Мне не хотелось бы в рамках статьи перечислять конкретные примеры и «посты», занимаемые Салаховым, Бисти, Андроновым, Савостюком или Обросовым. Заинтересованный читатель может найти эти сведения в советских журналах или каталогах и составить себе представление о гигантских усилиях «прозаседавшихся», растрачивающих драгоценное творческое время на обеспечение идеологической власти в мире советского искусства.

⁵ Интервью Б. Гройса с Э. Булатовым. – «А – Я» (Париж), №1.

⁶ Ю. Нехорошев. «Советская Россия-80». – «Творчество», 1981, №2.

⁷ Там же.

⁸ М. Мастеркова. Московские перформансы. – «А – Я» (Париж), №4.

ЛЕВКОВА-ЛАММ Иннеса – родилась в 1939 г. в Москве. В 1963 году закончила ЛИКИ. Автор статей по русскому, советскому, западному искусству. В России публиковалась в журналах «Дружба народов», «Литературное обозрение», «В мире книг», еженедельнике «Литературная Россия» и др. изданиях. В 1982 г. эмигрировала в США, живет и работает в Нью-Йорке. Публикации в газетах «Новое русское слово», «Русская мысль», альманахе «Панорама», журналах «Стрелец», «Третья волна».

Литература и время

Василий А к с е н о в

...И НЕ СТАРАЙСЯ!

*(Заметки о прозаических высокопарностях
и журнальных пошлостях)*

Приходится сразу признаться в эгоистическом побуждении к этим заметкам. Не коснись Виктор Конецкий в своем «повествовании в письмах» под тугодумным заголовком «Опять название не придумывается», помещенном в № 4 журнала «Нева», меня лично, я, может быть и даже скорее всего, просто бы пожал плечами, прочитав его сомнительные воспоминания о Юрии Казакове. Однако коснулся бывший товарищ, прилежно выполнил социальный заказ, обдерьмил «отщепенца». Эгоистические чувства досады, презрения и глубокой грусти толкают меня сейчас к перу.

Не исключаю, что после этих заметок похвалят храброго «маримана» и писателя Конецкого в каком-нибудь отделе Ленинградского обкома партии, что в Смольном институте – в морском ли отделе, в литературном ли, в другом ли отделе. Так держать партийное перо, товарищ Конецкий! Задело отщепенца за живое!

И правда, задело за живое – как еще назовешь осквернение товарищества, искривление молодости, унылый вздор вместо описания забавной одесской фиесты 1964 года; живое обдерьмил!

Однако, прежде чем говорить о совершённом в отношении меня литературном предательстве, следует остановиться на всем произведении в целом, а еще прежде сказать несколько слов о самом Викторе Конецком, напомнить широкой публике, кто он таков.

Мы, в общем-то, считались принадлежащими к одному поколению так называемых советских «шестидесятников», хотя он начал одновременно с Казаковым, на несколько лет

раньше меня, то есть во второй половине пятидесятих годов. К тому моменту, когда я познакомился с ним на киностудии «Ленфильм» в начале 1961 года, он был уже автором двух нашумевших морских повестей «Завтрашние заботы» и «Если позовет товарищ», однако я, только что вскарабкавшийся на эту сцену молодой врач, еще никого не знал и не понимал, отчего это так куражится в студийном кабинете этот небольшой мужичок в мичманке и отчего вся редакция так вокруг него приплясывает.

Помню, он все хвалился огромными деньгами, отягощавшими его карман. Ты, Аксенов, небось, никогда не видел таких денег, говорил он мне. Наверное, даже и не воображал, что у человека могут быть такие деньги. Это мне понравилось: все-таки обычно люди деньги прячут, прибегают, а этот бахвалится, тащит из карманов какие-то смятые пачки сотенных – такой грассирующий морской гусар, да еще, оказывается, и модный писатель.

В те времена, чтобы заработать имя в литературе, надо было слегка попирать каноны социалистического реализма, и Конечкий их слегка попирает. Его герои, морские суперменчики (увы, не могу обойтись без уменьшительной формы), все-таки больше походили на ремарковских персонажей, чем на «положительных» носителей самых передовых идей. Вообще он писал неплохо и с каждым годом все прибавлял, он и сейчас неплохо пишет, вот только название у него что-то не придумывается...

Раньше все-таки лучше придумывались у него названия. Помню, вот такое было – «Соленый лед», не такое уж сильно хватающее, но достаточно емкое, сдержанное такое название. Подхожу к книжной полке, на которой стоят книги, подаренные друзьями-шестидесятниками, вынимаю сборник Конечкого «Луна днем». Тоже все-таки название. Не «Из пушки на Луну», конечно, и не «На полпути к Луне», но все-таки луна в названии – это уже полдела. Конечкий никогда выдумщиком не был, такой просто добротный реалистический писатель. Странно, что даже какое-нибудь простое название сейчас у него не придумывается, а вот пошлое вранье о старых товарищах придумывается и не без определенного ража.

Открываю сборник «Луна днем», читаю дарственную надпись «Василию Аксенову, человеку, с которым легче дышать

и выдыхать на этом свете. Будь счастлив. Твой В. Конецкий.
4 ноября 1963 год».

К тому времени уже окончательно сформировалась наша литературная среда. Ощущая себя участниками какого-то хоть и смутного, но движения, мы очень любили друг друга и – кажется, вполне искренне – желали друг другу успеха. «Старик, ты гений», – такова была самая популярная фраза в застольях. Писатели, художники, киношники, молодые актрисы смотрели друг на друга в некотором ошеломлении – до чего, мол, мы все хороши! Страшно много пили – в этом, очевидно, сказывалось желание преодолеть скованность сталинского детдома, ощутить порывы свободы.

Порывы свободы ощущались временами с такой силой, что всю компанию начинало трясти в дикой лихорадке. Вика Конецкий был одним из фаворитов, народ любил говорить о нем что-то вроде «вчера с Викой в „Красной стреле“ так шарахнули, что...» или «Конецкий на своей „волге“ с двумя девушками в озеро заехал» и так далее. Иногда под дурным градусом в нем просыпался злобный ерник, скандальный мужичонка, но потом дурь проходила, и он, милейший и теплейший, дарил книги – «человеку, с которым легче вдыхать»... и так далее.

Еще бóльшим фаворитом был ныне покойный и незабвенный Юра Казаков, замечательный мастер прозы. Он был похож на огромного ребенка с круглой головой, на которой волосы то ли все уже вылезли, то ли еще не начали расти. К нему все и относились отчасти как к ребенку, хвастливому, немного жадному, удивительно наивному и в то же время гениальному. Ужасно было слушать его, когда он начинал рассказывать свои творческие замыслы. Он нес такую чушь, что невозможно было себе представить, как эта чушь в конце концов преобразается в очередной мастерски отделанный, светящийся и умный рассказ. Какая химия переваривалась в этом сосуде? Однажды, шатаясь безобразной толпой, остановились помочиться в темном дворе. Завершив этот суворовский подвиг, компания двинулась дальше и вдруг обнаружила, что Казакова забыли. Вернулись и увидели, что он сидит во мраке на каком-то приступочке и смотрит на поленницу дров. Кисть его руки прошла в волнообразном движении. Смотрите! Видите? Там была березовая кора на тех дровах, и она свети-лась в грязной дыре.

Казаков с Конецким были очень дружны и вот, как оказалось, даже состояли в продолжительной переписке, что, разумеется, дает нашему автору если не бесспорное, то все-таки право составить о покойном друге «повествование в письмах».

Трудно не испытать волнение, когда читаешь письмо, которым открывается эта повесть, последнее письмо Казакова Конецкому, писанное в каком-то Центральном Краснознаменном Военном Госпитале в Красногорском районе Московской области. Он чувствует приближение конца, «на всякий случай» в совершенно безукоризненном по мужеству духе прощается с другом, по отношению же к тому, что составляло весь смысл его жизни, он одной или двумя фразами как бы пересматривает всю тщету текущей литературы и своих молодых, нередко весьма курьезных амбиций. «Давно уж я не питаю никаких иллюзий насчет воздействия слов на братьев наших, и хочется заниматься литературой ни к чему не обязывающей... счастье, которого нам осталось с гулькин нос, оно, может быть, и есть ощущение, что ты пишешь хорошо...»

Трудно сказать, под каким углом и до какого предела проходил отбор писем для этой публикации (Конецкий доводит до сведения, что большая часть писем не использована и хранится в Ленинграде, в Пушкинском Доме), но и приведенная здесь подборка впечатляет.

Сквозь массу всякой шелухи, иногда очень прекрасной, особенно для посвященных, различается образ человека ангельского творческого духа, не особенно даже и испорченного за пять десятков лет чертовщинного быта. Он это и сам в себе ощущал, как ощущал и муку своего таланта. «...Я это знаю, поскольку сам испытал несколько раз в жизни приливы божественности, приливы тоски и мрака, слез по уходящему и много прочего...»

Мы видим перед собой человека, определенно религиозного, если и не церковного, чрезвычайно русского, но не в новом национал-большевистском духе, а в постоянном. «Святая Россия, Святая! Всю ночь будешь снится мне ты...» – эту строчку приводит он в письме еще 1958 года. Такого рода восклицаний немало в этих письмах. «Великий писатель земли Русской», или «Велик Бог земли Русской!», или «Возродим жанр русского рассказа, покажем Европе, что Русь жива!» – такие восклицания, иногда в контексте легкой самоиронии, но в общем-то серьезно, разбросаны в этих текстах.

Я как-то уже писал, вспоминая о Казакове, как он спонтанно, подсознательно отталкивал от себя окружающую «прекрасную действительность» и как тянулся к остаткам российского прошлого. Герои его рассказов, лесничий А., механик Б., учитель В. – могли бы прекрасно фигурировать на страницах «Нивы» и в том случае, если бы революции не случилось, а Россия продолжала бы свое нормальное существование, включающее издание этого журнала.

Карта его излюбленных путешествий говорит сама за себя. Белозерск, Кириллов, Вытегра, Кижы, Повенец... сентиментальные странствия по местам, максимально отдаленным от СССР, даже названиями вызывающим к русскому прошлому. Говоря о падчерице Паустовского Гале, в которую он был, кажется, немного влюблен, Юра всегда называл ее княгиней Волконской, а ее мужа, композитора Волконского, «князем Андреем», несмотря на то, что нахальная актерская братия в нашей среде нередко обращалась к этому аристократу более чем запанибрата – «князища-козлища» и так далее в этом духе.

Словом, напечатанное в журнале «Нева» «повествование в письмах» не вызвало бы в душе ничего, кроме волнения от встречи с этой уникальной, странной и очаровательной личностью, если бы оно только письмами Казакова и ограничилось. Увы, подзаголовок неточен, повествование письмами не ограничивается, и в том, что находится за их пределами, перед нами предстает личность совсем иного плана – Виктор Конецкий.

В советскописательском смысле это личность чрезвычайно ординарная и, несмотря на все оговорки, чуткой ноздрей повернутая в сторону ветерков-шептунов, исходящих из организации, обосновавшейся в Институте благородных девиц. Вполне очевидно, что ординарность эта им осознается, и он старается во все тяжкие, чтобы создать противоположное впечатление.

Как часто это бывает у такого рода людей, автор этот чрезвычайно щедр на цитаты – тут и Толстой, и Бунин, и Шкловский, и Хемингуэй, и Спенсер, и особенно Чехов. Чехова Конецкий вообще как бы считает «своим», хотя и удивляется с неосторожной наивностью, отчего у Чехова так мало цитат. «В Бога Чехов не верил», – успокоительно заявляет Конецкий, выигрывая этим себе у цензора несколько очков

вперед. Вот уже и в душеприказчики Антону Павловичу записался, очевидно на том основании, что написал о нем вялый надуманный рассказ да посидел с похмелья в его ялтинском садике.

Повествование о Казакове и о его окружении Конецкий открывает могучим страстным призывом сродни «Не могу молчать!». Этот призыв следует здесь привести целиком.

«Русские мужчины, все мои читатели! Если вам дорога Россия, если вы понимаете, что без России не будет мира и самое Земли, соберите остатки воли. Водка – это смердящее рабство, это вечный страх перед любым начальником, включая какую-нибудь стерву-проводницу. Я знаю, что говорю. Кто еще любит Россию, должен бросить водку и растить наших мальчишек в гордой трезвости. Вино убивает талант совести, талант гордости и талант любви».

Так открыто и прямо, признается Конецкий, повелела ему сказать его писательская совесть. Смелый человек. Сказать такое в тот момент, когда партия выкатила бочки с бужой на улицы городов – пей не хочу! Когда опубликовано постановление ЦК о дальнейшем увеличении производства спиртных напитков и улучшении снабжения ими населения!

Ну что ж, пусть витийствует все в том же плане, только вот противно, что он и смерть своего друга, замечательного писателя, рассматривает как бы в контексте одной лишь водки, как будто не было и других, не биохимических причин, не было скуки, разочарования, тоски по несостоявшейся российской цивилизации.

Можно предположить, что я всю эту совписательскую ординарность Конецкого вытаскиваю на поверхность из-за обиды. Признаюсь, так оно и есть, и, не будь его выпада против меня, совершенного в манере злобной шавки, кусающей сзади (избитость метафоры станет извинительной ниже, когда речь как раз и пойдет о гнусной собачонке), банальность Конецкого, проявившаяся в «Опять название не придумывается», осталась бы неознагражденной. Благодеяния эгоизма. Нужно же все-таки когда-нибудь говорить об этих Короленках советского типа.

С большим удивлением я вдруг увидел, что Конецкий подходит в своем повествовании к нашей общей одесской киноэпопее 1964 года. Неужели будет он об этом рассказы-

вать, подумал я, а если да, то как он избежит упоминания обо мне? Не разрешается же там меня упоминать советским писателям, давно уж все поэты, когда-то посвящавшие мне по-дружески стихи, сняли из всех публикаций свои посвящения. И вдруг, смотрю, упоминает Виктор – или почти упоминает.

Он начинает свой рассказ о том, как зимой 1964 года собралась «могучая кучка» из пяти молодых гениев, трех прозаиков, одного сценариста и одного кинорежиссера. «Кучка» решает одним духом написать великолепный комедийный сценарий из морской жизни. Первый прозаик, пишет Конецкий, это я (то есть Виктор Конецкий). Третий прозаик – Юрий Павлович Казаков. Профессиональный сценарист – Валентин Ежов, получивший Ленинскую премию за «Балладу о солдате». Режиссер – это Георгий Николаевич Данелия. А где же я, Вася-то Аксенов? А вот и я, судари мои! «Второй прозаик в те времена был популярным автором журнала «Юность» и жадно впитывал гены «мовизма», но с космополитическим уклоном». Ошибиться нельзя, это я, хотя бы уж потому, что никого там, кроме меня, пятого не было. Хотя и не найдя там имени своего, я все-таки едва ли не растрогался. Дерзнул все-таки Виктор. Послал привет товарищу! Поначалу я не придал никакого значения «космополитическому уклону», может быть, потому что мне и в самом деле всегда это слово нравилось, а может быть, потому что за годы жизни на Западе я как-то совсем потерял его советский зловещий смысл. Здесь-то космополитизм всегда употребляется с позитивным звучанием.

Постепенно, однако, становится все более ясно, что советский писатель имеет в виду и к чему он клонит со своим «космополитическим уклоном». Прежде, однако, следует сказать несколько слов о самой кинокомедийной истории и о том, как она отражена в «повествовании» Конецкого, к которому он никак не мог придумать названия.

Забавнейшие, надо сказать, и забубеннейшие были дни, и мы все друг другу тогда очень нравились. Собирались у Данелия на Чистых Прудах – московско-грузинская эта семья славилась не только талантами, но и хинкали – и в вакханалии острот придумывали заявку на сценарий, который должен был забить почему-то в первую голову «итальяшек».

Конечному припоминаются многие забавные детали той истории, и он вроде бы старается не врать там, где это не

касается «писателя с космополитическим уклоном», однако почему-то масса смешного и яркого ускользает из-под его пера (не отнести ли это к тому же состоянию, когда «название не придумывается?»), и временами фиеста под его пером оборачивается довольно унылым вздором.

Осенью того года вся пятерка собралась в Одессе, чтобы поближе к большой воде сочинить не очень-то водянистый сценарий. Несмотря на наши довольно известные уже имена и на лауреатскую карточку Ежова, нас все время выгоняли из гостиниц, потом вселяли опять, пока штаб-квартира экспедиции окончательно не укоренилась в гостинице «Лондонская», которую советская власть согласно правилам социалистического реализма и борьбы против «космополитического уклона» переименовала в «Приморскую».

Трудно сказать, почему Конечский не вспоминает о множестве забавных эпизодов, сопровождавших этот творческий процесс, сравнимый только лишь со знаменитой крыловской басней, – не вспоминает, например, о том, как Юра Казаков доводил нашего режиссера, рассказывая ему о различных запахах, которые он собирался описать в своей части сценария (нет запахов в кино, нет, стеклянным глазом впивался в него Данелия; врешь, старичок, есть запахи в кино, усмехался Юра), о том, как по ковру номера-люкс вдруг стали расползаться из ванной комнаты принесенные кем-то для вечернего пира раки, о том, как феерически закружился вокруг нас кордебалет мюзик-холла «Минутка» и как вместе с ним вдруг стали прокручиваться через нашу штаб-квартиру китобои с только что вернувшейся флотилии «Слава», о том, как пела у нас Нани Брегвадзе и как появлялся страннейший одесский парень в форме кубинского майора и говорил, что он послан сюда Фиделем Кастро для спасения «золота Одессы», да мало ли еще чего. Не в состоянии сдвинуть с мертвой точки свой дурацкий сценарий, мы не понимали, что каждый одесский день нашей бражки – это материал для куда более забавного предприятия.

Кончались деньги. Развал творческой группы начался с того момента, когда из гостиницы вышел Юрий Павлович в своей эстонской фуражке с лакированным козырьком, с сидором личного имущества в левой руке и с орудием производства, то есть пишущей машинкой, в правой. Ну вас на три буквы, ребята, сказал он нам, ожидавшим его у подъезда.

Вы мне надоели, я поехал в Казахстан. Он стал удаляться от нас по бульвару, а Конецкий все бежал за ним и кричал: «Юрка, куда ты!?!»

Таким этот эпизод вспоминается и Данелии, и Ежову, однако у Конецкого память другая. Вот что он пишет: «...первым удрал из Одессы Прозаик №2. Он удрал действительно по-английски, как крысы с корабля: не простившись и даже не оставив записки...» Память Конецкого услужливо подрабатывает методу социалистического реализма и его социальному заказу – ему надо показать меня предателем.

Память вещь вычурная. Не грех будет лишний раз вспомнить, что говорил Осип Мандельштам о так называемой «ложной памяти». Как-то в раннем детстве он придумал в полусне смешную историю о том, как он вошел в пустой зал Филармонии и одним движением зажег там главный свет. С того времени на много лет он уверовал, что это на самом деле с ним было.

Память пьющего коллектива прихотлива и капризна. Все кажется условным – было, или не было, или было в другой раз и не в том месте?

Был ли, например, такой момент в наших блужданиях, когда, прогуливая свой мосфильмовский аванс, словно банда золотоискателей мы шатались из салуна в салун, то бишь из одного творческого клуба в другой, и в одном из них увидели оставленный музыкантом в углу контрабас? Было это или не было – большущий толстый Казаков с сигарой в зубах, похожий на карикатурное изображение капиталиста двадцатых годов, скакнул к контрабасу и вдруг заиграл на нем с удивительным профессионализмом и мягким свингом? Сколько юмора было тогда в его подмигивании и попыхивании «гаванной»; или этого не было?

Был ли в тех же блужданиях еще один момент, когда в добродушно покачивающейся очереди на такси Конецкий вдруг поднял истерический скандал, напал с кулаками на какую-то компанию и тут же убежал, предоставив нам отдуваться?

И что было контрапунктом всей той эпопеи – Казаков с сигарой или Конецкий с кулаками? Только писатель, верный методу социалистического реализма, сможет извлечь общественную пользу из подобных историй.

Не исключаю, что, говоря о моем мнимом «бегстве по-английски», Конечкий имеет в виду не только отъезд из Одессы, но и эмиграцию шестнадцать лет спустя. Вскоре мы увидим, что у меня есть основания для этого предположения. Если это так, то он врет совсем уж беспардонно. Наш дом в Переделкино был всегда открыт, и все, кто хотел и был достаточно смел попрощаться (таких, к счастью, было немало), шли к нам без приглашений в течение двух месяцев. Никто, конечно, не сомневался, под каким строгим наблюдением этот дом находится. Струсили как раз несколько персон, считавшихся у нас самыми храбрейшими, эдакие моряки, десантники, супермены, в их числе Конечкий. Вместо него пришла только жена его, милая Ирина, да и то не решилась войти в дом, а попрощалась за двоих у ворот.

Теперь мы приближаемся к основной гнусности «повествования», на которую Конечкий израсходовал все запасы своей фантазии, так что на название уже не хватило.

Довольно неожиданно он переносит место действия в усадьбу своего близкого друга Евгения Александровича Евтушенко. Речь идет в данном случае о его переделкинской усадьбе. Главным действующим лицом последующей главы становится, однако, не сам хозяин усадьбы (очевидно, где-то в отъезде по делам мировой революции), а его собака Бим, завещанная ему пролетарским поэтом Ярославом Смеляковым, умудрившимся и после трех отсидок в лагерях сохранить исключительную верность социалистическим идеалам.

Собаки, наши спутники в этой жизни (Бердяев называл их «малые души»), вполне заслужили серьезного к себе отношения и разговора о них как о личностях. Этот пресловутый Бим был темной подмосковной личностью, молчаливо-ухмыльчивой и постоянно ждущей удобного момента, чтобы куснуть сзади. Он очень нравился Конечкому в те дни, когда Евгений Александрович пускал его к себе жить.

Однажды Бим и меня укусил сзади в лодыжку (по Конечкому, в ляжку — оно ведь в традициях русской сатиры обиднее). Эпизоду этому, хоть и противному, я придавал так мало значения, что даже и не запомнил, кто при нем присутствовал. Жаль только было вельветовых штанов, хоть и старых, но весьма в семье многоуважаемых. Оказалось, Конечкий при сем присутствовал, радовался и запоминал.

Главу, которая почему-то является центральной в «повествовании» и которой даже предпослан эпиграфом стих того же Евтушенко, посвященный Казакову, автор озаглавил «Некоторое отступление, без которого я легко обойдусь». Если ты, Виктор Викторович, мог обойтись без этого отступления, то кто же тогда не мог без него обойтись? Расколись, помполит!

И вот он живописует, напрягая все свое воображение и демонстрируя шедевры комиссионного вкуса. Популярный прозаик журнала «Юность» тот, что с «космополитическим уклоном», то есть Прозаик Номер Два (Прозаик Номер Один – это сам Конецкий), курит только американские сигареты с очень длинным фильтром. Он только что закончил многотомный роман, который «необходимо и обязательно должен был принести бессмертие», и потому настроен добродушно-снисходительно ко всему окружающему. Он прогуливается по Переделкино в дохе из леопарда и шапке из соболя, а «под всем этим мехом у него был костюм из итальянской ткани „павлиний глаз“»...

Сначала я не понимал, откуда все эти роскошества взялись у Конецкого. Может быть, отражение каких-то фрейдовских глубин или сугубо морского опыта – ведь приемщики в комиссионках обычно так и записывают «костюм итальянский „павлиний глаз“»... Потом догадался: проинспектировал гардероб своего гостеприимного патрона Евгения Александровича во время «недельного молчаливого сожительства» с его собакой Бимом. Кто по Москве не помнит триумфальных променад национального сокровища, облаченного вот именно точно в соответствии с набором Конецкого.

Однако он рассказывает не о нем, а обо мне. Ему надо создать емкий образ гнусного и тщеславного космополита. Ну, что еще? Ах да... «после прогулки он собирался отбыть на обед во французское посольство». Кажется, всё? Да нет, чего-то еще не хватает. Вот для завершения – финальный мазок мастера прозы. Леопардовую шубу сопровождает француженка, «молоденькая обаятельная куртизаночка по имени Люси, от одного имени с ума сойдешь!» Он как-то вот запаматовал малость, Виктор Викторович Конецкий, во что была одета француженка, но это возможно оттого, что «прелестных француженок, если не очень холодно, можно и ни во что не одевать». Каков наш маринист!? А вот еще

врут враги, что нет галантных мужчин в ленинградской парт-организации!

Затем Прозаик № 2 желает добить «очаровательную куртизаночку» знакомством с Евтушенко и заводит всю компанию в его усадьбу, где живет, по Конецкому, в виде Бима дух Ярослава Смелякова. Согласно этой версии, «модерниста с космополитическим уклоном» не просто мерзкая шавка тяпнула, а все пролетарское родное искусство.

Далее описывается, как среди евтушенковских сугробов собачонка вежливо пропускает самого товарища Конецкого и прелестную француженку Люси, а потом героически атакует сзади классового врага. Жаль, что Конецкий не запел в этот момент: «Нас водила молодость в сабельный поход, нас бросала молодость на кронштадтский лед!»

Меня всегда поражало, с какой неуклюжестью описываются в советской литературе комические ситуации. Конецкий не сделал исключения. Тут у него и какой-то пятиметровый мореный дрын, который Прозаик № 2 выдернул откуда-то «с такой же решительностью и беспощадностью, как Пророк у Пушкина вырывает свой грешный и лукавый язык», тут у него и водосточная труба гаража Евтушенко, которую сокрушил этот дрын, тут у него и ноздреватый снег, в который он вминает «юную француженку», ибо опасается за состояние франко-советских культурных связей, и какая-то яблоня, старая, кривобокая и растопыренная, которую Прозаик № 2 тоже пытается вырвать, и француженина «очаровательная ножка в алом сапожке» (вот уж соплей-то по этой француженке размазал!), и все это привлекается для создания атмосферы легкого небрежного издевательства над незадачливым космополитом, увы... вместо этого мы видим одну лишь косолапость и размазню, легкости не получается. И не получится, не стараясь, литературной игры не построишь на дурных замыслах.

Завершает Виктор Конецкий свое отступление, «без которого бы он мог легко обойтись», да кто-то другой обойтись не может, следующим пассажем:

«...Ныне фамилию Прозаика Номер Два упоминать не принято (не принято, судари мои, и всё, а Виктор Конецкий знаток этикета. – В. А.), ибо он давно уж свалился за русский горизонт.

Туда ему, – скажу от всей души, – и дорога».

Дождливым мрачнейшим днем июля 1980 года, за пару недель до выезда из СССР, я последний раз в жизни встретил Юрия Казакова. Он вышел из переделкинского сельпо в своем излюбленном эстонском картузе с лакированным козырьком, не исключено, что в том самом, в каком отчаливал из Одессы шестнадцать лет назад. Бывают вещи, поражающие своей живучестью. Английский твидовый пиджак Петра Ильича Чайковского, висящий в его музее в Клину, хоть сейчас носи.

Юра, конечно, искал водку. В сельпо ее не оказалось, и он попросил меня подвезти его до другого магазина на станции. По дороге он начал рассказывать какой-то очередной несусветный творческий замысел: «...один чувак по лесу идет – понял, старик, – такой глухой, на фиг, лес, ни конца, бля, ни краю, и вдруг видит домик на опушке – ты понял, старик? – заходит, а там прекраснейшая девка его встречает, высшего класса такая особа, и множество напитков, на фиг, самого высшего качества»...

Зная, во что подобная ахинея под его пером превращается, я только поддакивал. Вдруг он прервал «творческий замысел» и сказал: «В Доме творчества народ говорит, Васька, что тебя либо посадят, либо за границу отправят. По мне, так лучше бы тебя посадили, все-таки хоть и в тюрьме, но с нами останешься, дома...»

До сих пор при воспоминании об этом разговоре меня берет оторопь, но не за себя, а за него: кроме любви к себе, я услышал в словах Юры ноту капитуляции, безнадёги, ухода из «прекрасного яростного мира» – ...все-таки... в тюрьме... с нами... дома...

Конецкий с высокомерием областного Парткома Парткома отправляет меня за русский горизонт. Человек, плававший во всех морях мира, очевидно не понимает природы горизонта. Чем он там занимается в своих плаваниях? Умеет ли определяться по секстанту?

В начале моей литературной жизни одна девушка в переполненном писательском клубе спросила меня: «Кто здесь твои враги?» Я огляделся – вокруг были одни друзья, враги были столь ничтожны, что о них не стоило и говорить. Предательство друзей – это литературная банальность, думал я, не зная, что по прошествии времени и после того, как они устами Ф. Кузнецова объявят меня «врагом», я столкнусь с ошеломляющей чередой этих банальностей.

К счастью, есть еще в нашем мире уникальные человеческие качества, есть верные друзья, которые не продадут, Конецкий к числу этих оригиналов не относится, он – общее место.

И все его попытки создать на фоне Казакова свой образ, равный его покойному другу и корреспонденту, образ писателя Земли Русской, рыцаря пера без страха и упрека, рушатся в бытовой соцреалистической банальности. Ничего не получается, не только название не придумывается, не получается никак подняться над стадом, и, как видно, уже не получится. Не старайся!

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ, ЧИТАЙТЕ!

**ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ЛИТЕРАТУРНЫЙ
ЖУРНАЛ «ДВАДЦАТЬ ДВА»
(В каждом номере 224 страницы)**

Оригинальная и переводная проза, поэзия, статьи. Актуальные проблемы мира и Ближнего Востока. Анализ политических ситуаций в России и на Западе.

С 38 номера начало публикации самого знаменитого детективно-политического романа десятилетия – «Маленькая Барабанщица», о сложнейшей операции израильской разведки против террористов. (Исключительное право перевода предоставлено автором Джоном Ле-Карре нашему журналу).

Подписная цена на год (6 номеров) 40 долларов (авиапочтой в Европу – 50, в США – 56). Заказы с указанием начального номера подписки и чеки посылать по адресу: «22», Ramat-Gan, Israel, P. O. Box 7045.

ПИСЬМА В. Ф. ХОДАСЕВИЧА К А. И. ТИНЯКОВУ

(1907 – 1915)

Литературная дружба и приятельство В. Ф. Ходасевича (1886 – 1939) с полузабытым поэтом Александром Ивановичем Тиняковым (псевд. Одинокий, 1886 – 1932) охватывают промежуток в 11 лет: с начала 1905 по начало 1916 г. Конец этим отношениям положила, вероятно, так называемая «тиняковская история»¹ и статья «Исповедь антисемита», напечатанная Тиняковым в 1916 году, в 13-м номере петербургского «Журнала журналов». Публикуемая переписка обрывается в ноябре 1915 года. В письме к Б. А. Садовскому² от 22 апреля 1916 года, уже упоминая «Исповедь» Тинякова, Ходасевич как бы подводит итог своим отношениям с ним, а заодно и дает ему выразительную характеристику:

«Тиняков – паразит, не в бранном, а в точном смысле слова. Бывают такие паразитные растения, не только животные. На моем веку он обвивался вокруг Нины Петровской, Брюсова, Сологуба, Чацкиной, Мережковских и, вероятно, еще разных лиц. Прибавим сюда и нас с Вами. Он был эс-эром, когда я с ним познакомился в начале 1905 г. Потом был правым по Брюсову, потом черносотенцем, потом благородным прогрессистом, потом опять черносотенцем (уход из Северных записок), потом кадетом (Речь). Кто же он? Да никто. Он нуль. Он принимает окраску окружающей среды. Эта способность (или порок) физиологическая. Она ни хороша, ни дурна, как цвет волос или глаз. В моменты переходов он, вероятно, немножко подличал, но я думаю, что они ему самому обходились душевно недешево. Он все-таки типичный русский интеллигент из пропойц (или пропойца из интеллигентов). В нем много хорошего и довольно плохого. Грешит и кается, кается и грешит. Меня лично иной раз от этого и подташнивало, но меня и от Раскольниковца иной раз рвет. Поэтому его «исповедь» безотносительно к тому, в какое положение она ставила Вас (я на минуту отстраняю от себя свои личные чувства к Вам), меня не возмутила, как, конечно, и не восхитила. Она была в порядке

тиняковщины, только и всего. Но присланная Вами вырезка подла бесконечными своими вилияниями, подтасовками и передергиваниями...».

Из этой оценки видно, что темные стороны натуры Тинякова были и раньше известны Ходасевичу. Между тем, еще в письме от 17 ноября 1915 года (последнее письмо публикуемой здесь подборки) Ходасевич уверяет Тинякова в сердечном к нему расположении, настойчиво зовет в гости и подписывается «любящий Вас», а тремя годами раньше, 6 декабря 1912 года, пишет Б. А. Садовскому: «Он мне милее многих...»³. Здесь уместно вспомнить, что близостью эстетической Ходасевич дорожил неизмеримо больше, чем политической, да и вообще любой другой близостью. Поэтика Тинякова была родственна его собственной поэтике. В рецензии на первую книгу стихов Тинякова он писал:

«Можно сочувственно или враждебно относиться к идеям г. Тинякова, но нельзя не признать, что он никогда не опускается до холодного выдумывания стихов, до писания ради писания, до стихотворного жонглерства, получившего столь широкое распространение в последние годы. Переживания г. Тинякова подлинны, – и это заставляет примириться с их немного наивным демонизмом...» («Утро России» № 271, 24 ноября 1912).

«Исповедь антисемита» и сопутствующие ей обстоятельства представили Тинякова в свете столь неприглядном, что и симпатизировавшие ему люди вынуждены были от него отвернуться. В их числе оказался и Ходасевич. По замечанию И. Андреевой, «еврей по крайней мере наполовину, В. Ходасевич интеллигентом был всецело, и откликнулся на «тиняковскую историю» как подлинный интеллигент»⁴. Отношение к стихам Тинякова у Ходасевича почти не менялось. В своих мемуарах он называет их посредственными («Некрополь». Брюссель, «Петрополис», 1939).

А. И. Тиняков выпустил три книги стихов: «Navis Nigra» (М., «Гриф», 1912); «Треугольник. Вторая книга стихов. 1912 – 1921» (Пг., «Поэзия», 1922); «Ego sum qui sum. Третья книга стихов. 1921 – 1922» (Л., изд. автора, 1924). Выступал он и в качестве критика и публициста. Всю жизнь Тиняков был запойным пьяницей, пропивал последнее с себя и всегда нуждался. В советское время, еще раз перекусавшись, он служил большевикам и как будто бы даже работал в ЧК, в Казани. Последние годы его темны. По слухам, он просил милостыню с плакатом: «Подайте бывшему поэту».

Подлинники публикуемых ниже писем хранятся в Отделе рукописей Государственной Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина: ф. 774 (А. И. Тинякова), № 45.

Нумерация примечаний сквозная.

¹ См.: Письма В. Ф. Ходасевича Б. А. Садовскому. (1906, 1912 – 1920.) Послесловие, составление и подготовка текста И. Андреевой. Анн Арбор, «Ардис», 1983.

² № 29 в публикации И. Андреевой: см. прим. 1.

³ Цитирую по И. Андреевой: см. прим. 1.

⁴ Стр. 64 публикации И. Андреевой: см. прим. 1. Хорошо известно, что мать Ходасевича, София Яковлевна Ходасевич (урожденная Брафман; ок. 1846 – 1911), была католичкой еврейского происхождения. Слова «по крайней мере» в осторожном замечании И. Андреевой основаны, вероятно, на том, что первые три согласные в фамилии Ходасевич, полученной поэтом по отцовской линии, образуют один из самых распространенных корней в языке иврит.

/ 1 /

Дорогой Александр Иванович!

Спасибо Вам, прежде всего, за память⁵. Что ж? Очень жаль, что еще одной обманутой надеждой больше (я говорю о Город[ецком]⁶). И вместе с тем рад, что на него теперь, кажется, установится надлежащий взгляд, который устанавливал я с самого начала – и был гоним. Хотя я Перуна⁷ еще не читал.

О Ваших стихах. Не сердитесь, не браните меня за это, – но я хочу побранить Вас. Буду очень придирчив, но краток до грубости – иначе моя «рецензия» не будет иметь конца. Я буду сознательно недоговаривать – Вы поймете, что я хочу сказать.

I. *Бедный мальчик*. Неудачное заглавие. Почему «швёя», когда надо «швейя»? Тяжело выходит вот что: перед *сидит*, которое стоит раньше, – нет подлежащего, а перед *следит*, которое находится в том же предложении позже – стоит он. И зачем так много уменьшительных: горенке, хворенький, мушками, слезинкою, льдинкою. Это – ложная нежность. //

II. *Бульварная*⁸. «Как ни искала» – слабо. *Нижет* без дополнения – немыслимо. *Низать* – не то, что *пронизывать*, что может делать дождь, ветер. Тогда дополнение само собою подразумевается: меня, тело. А *низать* можно кольца, жемчуг

– на тесьму. Низать что на что. Такова необходимая конструкция этого глагола.

III. *Алкоголик*. Очень сильно влияние Белого. До размера включительно («Разметались по полю галки...»). На слово *иной* не приходится ударения. Слово *очувствует* мне не нравится. *В муку открою окно* – натянуто.

IV. *Усталый*. Метель-девственница – вспоминается «Снежная маска»⁹.

V. *В тюрьме*. Упоминание об уголовных не мотивировано внутренне. Что значит: бескровные ласки свободы? Это не образ. И тоже не без Белого.

VI. *Весеннее утро*. Пел могуче – банально. «Вьюгой...» – натянуто. Стих о *забвении обид* – тяжел. Гораздо лучше, если бы это стих[отворение] было написано в настоящем времени, а не в прошедшем. //

VII. О, сколько кротости и прелести...¹⁰ «Мы словно в повести Тургенева» – по смыслу даже хорошо, но что-то есть неприятное. Следующая строка неблагозвучна.

VIII. «Уселись мы...» Рифма: кресле-воскресли из Белого (Дитя, я рад – полей и рощ родные виды вновь воскресли... Сижу, дремлю в покойном кресле.). *Уселись* – прозаично. *Как сидели с давних пор* – понимаю, что Вы хотели сказать, но эта именно фраза ничего не дает.

IX. *Во имя Свободы Вечной*¹¹. – Палачом решил стать – не хорошо. «На свой помост роковой...». На свой – немыслимо. Да и не помост, а помост.

Вообще – присланные стихи не из лучших Ваших. Затем они не без влияний, не в сфере *стиха*, а в стихе. Зачем злоупотребляете Вы диковинными рифмами? Ей-Богу – это ложный путь.

Не сердитесь, дорогой Александр Иванович. Но если писать о стихах, то писать правду, что думается. Иначе – на что это Вам, и как отвратительно для меня! Пришлите еще стихов. Книги Чуковского¹² я еще не читал. О «Снежной маске»¹³ – воздержусь. Надо прочесть еще раз. Песни Билитис¹⁴ – слов нет, прекрасны, и, кажется, не плохо переведены, но *меня* они оставляют холодным.

Сам я за это время написал порядочно. Вот Вам три последних. (...) ¹⁵

Простите. Пришлите стихов. Что скажете о моих?¹⁶ Буду очень рад получить от Вас несколько слов. Жму Вашу руку.

Вас искренно уважающий

Владислав Ходасевич
Лидино¹⁷, 14/VI-07

⁵ Т. е. за письмо, отправленное Тиняковым Ходасевичу из Орла в Лидино 10 июня 1907 года и содержавшее все 9 критикуемых Ходасевичем стихотворений. В нем Тиняков, между прочим, пишет: «Всегда верные и тонкие замечания, которые Вы делаете о моих стихах, соблазняют меня представить на Ваш суд несколько новых стихотворений, а Ваше радушное отношение ко мне дает смелость надеяться на получение от Вас строгого отзыва...» (ЦГАЛИ). Три из этих 9 стихотворений вошли затем в первую книгу Тинякова с поправками, сделанными под влиянием критики Ходасевича (см. прим. 8, 10 и 11).

⁶ Сергей Митрофанович Городецкий (1884 – 1967), поэт, один из организаторов и синдигов Цеха Поэтов. Вместе с Н. С. Гумилевым выступил с литературным манифестом акмеистов («Аполлон», 1913, № 1).

⁷ Сергей Городецкий. Перун. Стихотворения лирические и лиро-эпические. Фронтиспис Л. Бакста. СПб., «Оры», 1907.

⁸ Тиняков включил это стихотворение в «Navis Nigra» (стр. 47), учтя оба замечания Ходасевича: убрав слово *низать* и изменив, по его совету, стих 4 (см. ниже). Поскольку стихи Тинякова не переиздавались, а книга «Navis Nigra» стала библиографической редкостью, привожу стихотворение «Бульварная» полностью:

Настала ночь, дрожу, озябла я...
Закрыться нечем, нет угла...
Покупщика на тело дряблое
Искала долго: – не нашла!

Лицо румянами испорчено,
От стужи голос мой осип:
И вот одна сижу, вся скорчена,
Под сеткой оголенных лип.

А – может – дело и поправится,
И принесет пьянчужку чёрт...
Он – спьяну – скажет мне: «– Красавица!
Малина-девка! Первый сорт!»

И буду водку пить горячую,
И будет молодости жаль...
Ах! льется дождь и зябко прячу я
Костяшки рук в худую шаль.

Июнь 1907

Стихотворение было впервые опубликовано в петербургской газете «Час» № 66 от 9 августа 1907 года.

⁹ Цикл А. Блока «Снежная маска» был впервые опубликован отдельной книжкой, вышедшей 8 апреля 1907 г.: Александр Блок. Снежная Маска. Третья книга стихов. СПб., «Оры», 1907.

¹⁰ Это стихотворение вошло в «Navis Nigra» (стр. 8) под названием «Идиллия» и с тех пор не перепечатывалось. Привожу его полностью:

О, сколько кротости и прелести
В вечерних красках и тенях,
И в затаенном робком шелесте,
И в затуманенных очах.

Мы словно в повести Тургенева:
Стыдливо льнем плечо к плечу,
И свежей веткою сиреневой
Твое лицо я щекочу.

Июнь 1907

¹¹ «Navis Nigra», стр. 63-64. Из приведенного ниже текста видно, что Тиняков учел по крайней мере второе из возражений Ходасевича. Название в книге сохранено.

Многих я душил веревкой
На рассвете, в чуткий час:
Многих я рукою ловкой
От забот житейских спас.

Это вздор, что был я нанят
И прельстился серебром!
Краски крови всех нас манят,
Всех палят своим огнем.

Я не стал трусливой ложью
Голос духа осквернять,
Прославляя волю Божью,
Палачом решил я стать.

Утром свежим и росистым,
Как ребенок сердцем прост,
Я – горя желаньем чистым,
Поднимаюсь на помост.

Там с нахлынувшею силой,
Я – Свободы Вечной друг –
Прочь от плоти тленной, хилой,
Отделяю вольный дух.

И когда обнимет шею
Ожерелье из пеньки,
Я вздыхаю и немею
От блаженства и тоски.

1907 – 1911

¹² К. Чуковский. Поэт анархист Уот Уитмен. Перевод в стихах и характеристика. СПб., изд. Кружка Молодых, 1907.

¹³ См. прим. 9.

¹⁴ Пьер Луис. Песни Билитис. Перев. А. Кондратьева. СПб., 1907.

¹⁵ В этом месте под римскими цифрами следуют тексты трех стихотворений Ходасевича, вошедших в его первую книгу стихов «Молодость» (М., «Гриф», 1908): I. «Звезда», с разночтением в ст. 1: «Восходи, вставай, звезда...». (См. прим. 20.) II. *Passivum*. III. «В моей стране», с разночтениями:

ст. 4: «И ноги пахаря как пламя жжет ремень...» (См. прим. 19.)

ст. 13: «А у костров – что делать? Выть да охать...».

¹⁶ Цитирую фрагмент ответа Тинякова, отправленный Ходасевичу из Орла в Лидино 25 июня 1907 года: «Прежде всего и более всего благодарю Вас за присылку Ваших стихов. Из них второе („*Passivum*“) доставило мне истинное наслаждение, и строка:

...день отлетел, как лист осенний,

привела меня в восхищение: так много в ней настоящей поэзии, глубокой правды! Но насколько мне понравился „*Passivum*“, настолько же не понравилось „В моей стране“, – это ужасное нагромождение ужасных образов и слов. Из недостатков его мне особенно бросилось в глаза: совершенно непонятная фраза „И ноги пахаря как пламя жжет ремень“, затем фраза „сухую пыль соха со скрипом рое“ и недопустимая рифма „осень – весен“; могла бы порадовать рифма „охать – похоть“, но я уже встречал ее у Минаева („Песни и сатиры“, стр. 35) – и хотя это не может служить укором, все же ценность рифмы уменьшается. – В 1^м стих[отворении] мне кажется слишком смелой 1^я строка „Восходи, вставай, звезда“, и я не знаю, можно ли сказать „звезда восходит...“ (ЦГАЛИ). Ходасевич по крайней мере частично учел критику Тинякова (см. письмо 2 и прим. 19-20).

¹⁷ Лидино – имение полковника Эраста Ивановича Рындина, находившееся возле станции Бологое по Николаевской железной дороге, на полпути между Москвой и Петербургом. Ходасевич жил в Лидино на правах зятя полковника: 24 апреля 1905 года он женился на его «усыновленной дочери» (такова формула официальных бумаг) Марине Эрастовне. По-видимому, в 1907 году Ходасевич жил в Лидино с начала апреля до глубокой осени или даже зимы. Во всяком случае, он оставляет и университет, и свою квартиру в доме 17 (кн. Голицына)

по Б. Николо-Песковскому переулку, задолжав домовладельцу 28 рублей, не позднее 16 апреля: с этой даты ему начислялись пени; и примерно с этого же времени он разыскивается полицией как недоимщик. На запрос пристава 2-го участка Пречистенской части Московский адресный стол сообщает в справке от 25 июня, что «студент Императорского Московского Университета Владислав Фелицианович Ходасевич в доме Князя Голицына значится отмечен 30-го Апреля с/г в город Рязань, квартиры за собой не оставил». Возникает обширная переписка, московская полиция сносится с рязанской, в Рязани розыски длятся до сентября и ничего не дают. Наконец, все бумаги препровождаются в канцелярию университета, где и оседают 6 сентября. Едва ли Ходасевич вернулся к занятиям в осеннем семестре: 26 апреля 1908 г. он получает от университета свидетельство о том, что «уволен из Университета, как не внесший платы [в размере 25 руб. – Ю. К.] за слушание лекций в осеннем полугодии 1907 года». Другой причиной, побуждавшей Ходасевича в 1907 году избегать присутственных мест, могло быть уклонение от исполнения воинской повинности – или от хлопот по освобождению от нее. В специальном свидетельстве, выданном ему 7 мая 1904 года Московской городской управой для поступления в университет, сказано: «Вышепоименованный Владислав Ходасевич, подлежащий исполнению воинской повинности в тысяча девятьсот седьмом году, обязуется доставить в Московскую Городскую Управу не позже первого марта (1907 г.) сведения о семейном его составе».

/ 2 /

Позвольте с Вами не согласиться, дорогой Александр Иванович!

Я «пóмоста» этого злосчастливого не приемлю у Сологуба¹⁸ так же точно, как и у Вас. Впрочем, в Москве нарочно посмотрю у Даля. Боюсь, такого слова нет. Далее: Вам случалось, извините, натереть ногу башмаком? Ей-Богу – огнем жжет. Вообразите себе теперь пахаря в ременной обуви, походите-ка взад вперед по пашне! Чего уж Вы тут не поняли?¹⁹ Еще: звезды не только восходят, но и заходят, восходят на востоке и заходят на западе. Сказать: „Восходи, вставай, звезда“, – не более смело, чем „восходи, вставай, солнце!“²⁰.

Ваши стихи мне нравятся гораздо больше присланных в первый раз. // Они гораздо выдержаннее. «Небесное созданье», призываемое в кусты, – великолепно.

Рад, что Вам понравилось «Passivum». За это дойму Вас еще двумя стих[отворениями], которых пишу в этом году поря-

дочно (для меня, пишущего по одному в три месяца). За май и июнь я написал вещей 16 (хвастаться люблю!)²¹
(...)²²

Напишите, что думаете.

Прощайте. Жму Вашу руку.

Ваш

Влад. Ходасевич

29/VI-07

¹⁸ Ходасевич имеет в виду строфу из стихотворения Ф. Сологуба «Нюрнбергский палач» (Федор Сологуб. Стихотворения. Л., «Сов. писатель», 1975, Большая серия Библиотеки поэта, стр. 341 – 342):

Один взойду на помост
Росистым утром я,
Пока спокоен дома
Строгий судия.

¹⁹ Ходасевич изменил ст. 4 в стихотворении «В моей стране». В «Молодости» он читается так: «И ноги жжет затянутый ремень». См. прим. 15.

²⁰ Не вполне ясно, внес ли Ходасевич поправку в ст. 1 «Звезды» под влиянием критики Тинякова и вопреки своим энергичным ему возражениям, или в авторском, 1908 года, издании «Молодости» допущена опечатка. Там читаем: «Выходи, вставай, звезда...». См. прим. 15.

²¹ В 1907 году были написаны 33 из 34 стихотворений, включенных Ходасевичем в «Молодость». Ср. другое упоминание Ходасевича о его плодовитости в письме 4 настоящей подборки.

²² В этом месте письма, под латинскими номерами, следуют стихотворения «Протянулись дни мои...» и «Ночи». Разночтения с их вариантами, вошедшими в «Молодость», сводятся к незначительным отличиям в пунктуации и к отсутствию посвящения второго стихотворения Сергею Кречетову (о нем см. прим. 24 и 43).

/ 3 /

Дорогой Александр Иванович!

На Ваше сердитое послание хочу ответить дружески. События личной моей жизни²³ сделали для меня невозможным видеть Вас у себя 30-го в 5 час. (помню, как видите). Но я поручил тогда же прислуге передать Вам, что стихи Ваши находятся у *Нины Ив.*²⁴, а поговорить о них предполагал с Вами при первом свидании. Прислуга моего поручения не выпол-

нила, за что очень прошу принять мои извинения. Исправьте происшедшую путаницу, взяв стихи у Нины Ив., и, если захотите, приходите ко мне поговорить о них дружески. Из нового моего адреса: Леонтьевский пер. № № Новый Париж²⁵, № 9, Вы увидите, надеюсь, что исключительные обстоятельства были на лицо действительно, а, посетив меня, – восстановите наши хорошие отношения, которые, впрочем, я уверен, не давали Вам повода так уж сразу, не расследовав // дело, обзывать меня милостивым государем, и несправедливо обвинять в каком-то «пренебрежении» к Вам. Надеюсь, что как я этим письмом заглаживаю происшедшее не по моей вине недоразумение, – так Вы, со своей стороны, зайдя ко мне, загладите незаслуженные мною колкости. Если не застанете меня дома – оставьте открытку, чтобы я знал, что Вы были. Или сговоримся по телефону (Х 82-56) о времени, когда нам увидеться.

Уважающий Вас

Влад. Ходасевич

7 янв. 07²⁶

²³ Ходасевич имеет в виду «разъезд с Мариной» (так он назвал эти «исключительные обстоятельства» в своих автобиографических заметках), т. е. еще не развод, подтвержденный епархиальным начальством лишь 20 сентября 1910 года, а фактический разрыв со своей первой женой Мариной Эрастовной, случившийся 30 декабря 1907 г. – как раз в день предварительно условленного свидания с Тиняковым. Из этого письма видно, что «разъезд» был для Ходасевича неожиданным.

²⁴ Нина Ивановна Петровская (1884 – 1928), известная в начале XX века беллетристка (московская газета «Утро России» от 25 декабря 1913 года, № 296, называет ее в числе четырех «наиболее видных русских писательниц», вслед за З. Гиппиус, А. Крандиевской и Е. Наградской), жена редактора-издателя и поэта С. А. Соколова (Кречетова), любовница Бальмонта, затем Андрея Белого и Брюсова, которому послужила прототипом для образа Ренаты в его романе «Огненный ангел». Ходасевича с нею «связывала большая дружба» (В. Ф. Ходасевич. «Некрополь», стр. 40); ее судьбе посвятил свой известный очерк «Конец Ренаты», вошедший в «Некрополь».

²⁵ Название «номеров» (гостиницы), куда переселился Ходасевич.

²⁶ Описка Ходасевича. Фактическая дата: 7 января 1908 года.

Дорогой Александр Иванович!

Сердечное Вам спасибо за хорошие слова о моих стихах. За этот год я Вам собирался писать непрестанно, да ленив я на это дело до ужаса. В конце октября я 2 дня был в П[етер]бурге, звонил в «Сев[ерные] Зап[иски]»²⁷, справлялся о Вашем адресе. Там мне сказали, что Вы уехали «в провинцию». Оказывается, // это была неправда. Иначе я бы Вас повидал.

О «трудах и днях»?²⁸ Трудов так много, что дней не вижу, но труды все скучные. Перевожу всякий вздор, ибо стихами не проживешь, особенно моими: пишу я по 15 в год.

Когда собираетесь издавать вторую книгу? Меня очень интересует то, что Вы пишете, да из отдельных стихов, какие я видел // в журналах, по-настоящему ничего не усмотришь.

Говорят, меня очень бранит за статью²⁹ Городецкий, – но, кажется, Вы один из свидетелей того, что я всегда считал его стихи (за немногими исключениями) сушей дрянью.

Вы очень обрадуете меня, если время от времени будете сообщать о // себе. Обещаю отвечать аккуратно. Пока же позвольте дружески пожать Вашу руку и извиниться за сумбурное письмо: я сегодня мучительно устал.

Сердечно Ваш

Владислав Ходасевич

Жена моя³⁰ благодарит Вас за память и шлет приветы.

Когда напечатаете заметку о моей книге – сообщите, где она напечатана, или пришлите вырезку: очень обяжете.

[Без даты. Предположительно, между ноябрем 1914 и апрелем 1915.]

²⁷ «Северные записки» – литературный журнал, выходивший в 1913 – 1916 годах в Петербурге под редакцией С. И. Чацкиной. Тиняков сотрудничал в нем с января по конец 1913 года, когда, опубликовав при посредничестве проф. Б. В. Никольского и поэта Б. Садовского статью о деле Бейлиса в черносотенном журнале «Земщина», «прекратил отношения с „Северными Записками“» (А. Тиняков. «Исповедь антисемита»: см. вступительную статью).

²⁸ Намек на журнал символистов «Труды и дни», существовавший в 1912 – 1916 годах при издательстве «Мусaget».

²⁹ Речь идет об обзоре Ходасевича «Русская поэзия», напечатанном в альманахе «Альциона» на 1914 год, стр. 193 – 217, где, между прочим, содержится такой отзыв о книге С. Городецкого: «...„Ива“ написана кое-как, спустя рукава, словно всё дело в том, чтобы написать

побольше. Появилась ненужная риторика, безалаберная расстановка слов, повторение самого себя, избытые, затасканные образы. Очень уж не народны эти стихи, которым так хочется быть народными...».

³⁰ Анна Ивановна Ходасевич (1886 – 1960), вторая жена Ходасевича, сестра поэта Георгия Чулкова, публиковавшая стихи и переводную прозу под псевдонимом София Бекетова. Ходасевич был ее третьим мужем, вслед за Е. Гренционом и Александром Брюсовым, бывшим своим одноклассником, а затем литературным приятелем. Вторая книга стихов Ходасевича, «Счастливы Домик», выходит в свет в начале 1914 года с посвящением: *Моей жене Анне*.

/ 5 /

Дорогой Александр Иванович!

Простите, что не тотчас же Вам ответил: собирал адреса. Вот они:

Брюсова³¹: Варшава, Мазовецкая, 1, кв. 7.

Балтрушайтиса³²: Москва, Петровские ворота, д. Оловянишниковой.

Анисомова: Москва, уг[ол] Мертвого и Левшинского пер., д. 11/1.

Адреса Шагинян³³, которую зовут Мариэтта Сергеевна, достать я не мог, но знаю, что она сейчас в Ростове н/Д[ону]. Пишите туда в ред[акцию] газ[еты] «Приазовский край», где она постоянно сотрудничает. Кроме того, м.б. адрес ее знают в «Сев[ерных] Зап[исках]»³⁴, а еще вернее – З. Н. Гиппиус³⁵.

На присланные Вами вопросы отвечать по листку мне как-то затруднительно. Посылаю Вам нечто вроде «автобиографии»: Вы сумеете из нее извлечь то, что Вам нужно.

Искренне желаю Вам успеха в // составлении антологии³⁶, вернее – в издании ее, ибо в том, что она будет хорошо сделана Вами, я не сомневаюсь.

Я живу тихо и пишу мало, как всегда. Если напишете о себе – буду очень рад. Будьте здоровы. Крепко жму руку.

Сердечно Ваш

Владислав Ходасевич

Мой новый адрес: М., Петроградское Правое шоссе, 34.

23/IV 1915

³¹ Валерий Яковлевич Брюсов (1873 – 1924) – русский, затем советский поэт, один из основоположников русского символизма. Ходасевич был связан с ним с гимназических лет: сначала как востор-

женный читатель и подражатель, затем как младший товарищ, представитель того же литературного круга, критик и исследователь творчества Брюсова, наконец, как мемуарист, оставивший интереснейшие воспоминания (В. Ф. Ходасевич. «Некрополь» – Очерки «Конец Ренаты» и «Брюсов»). В Варшаве Брюсов жил с 1914 года в качестве военного корреспондента «Русских Ведомостей» «на театре военных действий».

³² Юргис Балтрушайтис (1873 – 1944) – русский поэт первой волны символизма, литовский поэт и дипломат. В 1921 – 1939 годах был представителем Литвы в СССР. С 1939 года жил в эмиграции, в Париже.

³³ Мариэтта Сергеевна Шагинян (1888 – 1982) – русская, затем советская писательница. Начиная в кругу символистов. Автор двух хвалебных статей о стихах Ходасевича (первая – см. прим. 40, вторая – Владислав Ходасевич. Путем Зерна. – В кн.: «Литературный дневник Мариэтты Шагинян», СПб, 1922, стр. 96-99). В своих мемуарах «Человек и время» (М., Гослитиздат, 1980) она приводит забытую эпиграмму Ходасевича на Сергея Кречетова (С. А. Соколова).

³⁴ См. прим. 27.

³⁵ Зинаида Николаевна Гиппиус (1873 – 1944) – русская поэтесса и беллетристка первой волны символизма, жена Д. С. Мережковского. С 1920 г. жила в эмиграции, где, между прочим, переписывалась с Ходасевичем и его третьей женой Н. Н. Берберовой, опубликовавшей письма Гиппиус к ним.

³⁶ Тиняков не закончил свою работу над антологией современной поэзии. Принимаясь за нее, он, возможно, имел в виду продолжить труд Ходасевича, выпустившего в качестве составителя в 1914 году в издательстве «Польза» сборник «Русская лирика. Избранные произведения русской поэзии от Ломоносова до наших дней».

/ 6 /

Дорогой Александр Иванович!

Писали обо мне много, да либо урывками, либо вздор. (Увы – чем хвалебнее, тем глупее! Исключение – Пяст³⁷, который меня выбрал, да глупо.)

Вот Вам список «более значительного»:

А. Тимофеев. «В. Ходасевич». Статья в газете «Руль», 1908, 23 апреля³⁸.

В. Брюсов. «Дебютанты». «Весы», 1908, № 3³⁹.

М. Шагинян. «Счастливы домик», статья в газете «Приазовский край», 1914, № 71⁴⁰.

Г. Чулков. Рец[ензия] на «Счастливый домик». «Современник», 1914, № 7⁴¹.

Н. Гумилев. «Письма о рус[ской] поэзии». «Аполлон», 1914, № 5⁴².

Между нами говоря, одна М. Шагинян говорила обо мне по существу, понимая меня и мои стихи. В прошлом году я прочел около 50 отзывов о своей книге. Сплошные (кроме одного Пяста) // восторги – и сплошная чепуха. Если не считать Шагинян, то надо думать, что либо обо мне серьезно говорить не стоит, можно и так, á la Кречетов⁴³, либо критик мой еще не родился... Статья моя о Бр[юсове]⁴⁴ – не статья, а заметка, вся соль которой – подразнить редакцию «Софии»⁴⁵, где заметка была напечатана. Единственное, что в ней примечательное – разбор стих[отворения] «Творчество» (фиолетовые руки на эмалевой стене)⁴⁶. Вам она не нужна, да и оттиска у меня, конечно, нет.

О Брюсове я с Вами не совсем согласен. Он не бездарность. Он талант, и большой. Но он – *маленький человек*, мещанин, – я всегда это говорил. Потому-то, при блистательном «как», его «что» ничтожно... Когда напечатаете статью – *обязательно* пришлите // мне оттиск. Я Вам дружески возражу именно в этом смысле.

Куда едете Вы 5 мая? Не будете ли проездом в Москве? Если да – я очень хотел бы повидать Вас. Еще раз мой адрес и даже телефон: Петроградское Правое шоссе, 34, тел. 59-28.

Пока будьте здоровы. Пишите, буду отвечать.

/ Сердечно Ваш

Владислав Ходасевич

Р. С. Русская лирика⁴⁷ выходит через месяц или полтора. Она сверстана.

[Без даты. Предположительно: начало 1915 (до 5 мая).]

³⁷ Владимир Алексеевич Пяст (наст. фамилия: Пестровский, 1886 – 1940) – поэт, переводчик и мемуарист, оставивший воспоминания об А. Блоке, с которым переписывался; «небольшой поэт, но умный и образованный человек, один из тех романтических неудачников, которых любил Блок» (В. Ходасевич. Дом Искусств. Литературные статьи и воспоминания. Нью-Йорк, Изд. им. Чехова, 1954).

³⁸ Точнее: Литературные портреты. II. В. Ходасевич. – «Руль», 1908, № 87, 23 апреля, стр. 2. – А. Тимофеев, между прочим, пишет: «В эпоху, когда во всем пошла стадность, на все пошла мода, когда все хотят сравняться в толпе, в сборнике, в кружке... когда в поэзию

вторглись крикуны и ломаки, когда господствующим принципом в искусстве стал принцип – «чем неестественнее, тем лучше», – творчество В. Ходасевича отражает интимность, искренность, глубину душевных переживаний... В. Ходасевич не из тех поэтов, которые могут выдумывать свои стихи, их содержание, их идеи, их образы... К нему должно прийти вдохновение...».

³⁹ Вот оценка, которую дал В. Брюсов стихам первой книги Ходасевича: «Эти стихи порой ударяют больно по сердцу, как горькое признание, сказанное сквозь зубы и с сухими глазами... Что до внешнего выражения этих переживаний, то оно только-только достигает среднего уровня. Г. Ходасевич пишет стихи, как все их могут писать в наши дни после К. Бальмонта, А. Белого, А. Блока. Стих г. Ходасевича это средний, расхожий стих наших дней...».

⁴⁰ Газета вышла в воскресенье 16 марта 1914 г. Статья помещена на стр. 4; поскольку она с тех пор не переиздавалась, а сам Ходасевич придавал ей большое значение, привожу подробно все оценочные выдержки из нее, касающиеся Ходасевича, его книг и его места в кругу современников: «В. Ходасевич бесспорно принадлежит к младшему поколению поэтов-символистов, группировавшихся вокруг пяти главных старших поэтов – Бальмонта, Белого, Брюсова, Блока и Гиппиус... „Молодость“ Ходасевича, несмотря на ее совершенное своеобразие, ни на кого не похожее, несколько даже вычурное в своей намеренной простоте и сухости лица, принадлежит к созданиям этого первого периода нашего „декадентства“ (неправильное слово, до сих пор не замененное более подходящим) и неоспоримо должна быть причислена к „новым“ книгам, новым в боевом, завоевательном смысле... „горечь желчи“ пропитывает весь сборник. Таким вышел к нам этот подлинный и в наше время как-то чересчур по особенному одинокий, безутешный поэт. В его горечи нет ни элегической жалости к самому себе, ни позы. Ясный и насмешливый ум поэта, никогда не изменяющий ему вкус к простоте и мере, – стоят на страже его переживаний и не позволяют ему ни поэтически солгать, ни риторически разжалобиться. Ходасевич постоянно знает себе цену (понимая это и положительно, и негативно) и оттого у него развиваются два прекраснейших свойства, одинаково недостающие теперешнему „первопесенному“ поколению поэтов: чувство собственного достоинства и скромность... В год распадаenia прежнего единства, когда знамени символизма уже некому было держать, когда „отцы“ стали уступать завоеванные земли каким-то подозрительно крикливым, страдающим манией величия, не умеющим ни переживать, ни продумывать, „детям“; этим „воюющим персам“, по слову Ходасевича, – и сам он не стал защищать символических крепостей, а бежал, для спасения лиры, в некий „Счастливый домик“... в котором следовало бы хоть немного погостить каждому из нас и который мог бы сыграть очистительную роль для тех наших „воюющих персов“, которые сейчас залили все улицы русской литературы и грозят ее будущему... Есть два перехода

от „больших слов“ – переход изменнический и переход мужественный... Эпоха больших слов, вызвавшая такие гигантские символы, как „Золото в лазури“ Белого, отошла; большие вопросы о Боге, о мире, о сущности Прекрасного и т. п. взрыхлили землю, но почти ничем в ней не произросли... В „Счастливом домике“ не смеются над прежними словами и отнюдь не говорят о тщете их... Это не измена, не быт, не продажа своего первородства за чечевичную похлебку, а личное, лечебное воздержание – особый вид скромности, учащей, что возлюбить малое – трудней, чем возлюбить великое, и что каждый из нас имеет свои обязанности не только перед лицом великого, но и перед этим „малым“... Итак, счастливый домик – только необходимое сердечное успокоение, в котором для поэта залог его любви к земле; верность в малом, которою он как бы проверяет свою способность к верности в большом... Ходасевич отлично сознает, что такое подлинное культурное делание и как должно осуществлять будущее, возможное лишь при осуществлении прошлого...». – В этой статье М. Шагинян (вероятно, впервые) соотносит дар Ходасевича с даром Е. Боратынского. Стихотворение Ходасевича «Вечер» она причисляет «к лучшим созданиям русской поэзии».

⁴¹ Привожу общую часть рецензии Г. Чулкова, также никогда не переиздававшейся: «„Счастливый домик“ Ходасевича – книга стихов, изысканных и простых, в то же время: простота этих стихов, их скупая форма, их строгие рифмы, свидетельствуют о целомудренной мечте поэта, об его отречении от легких соблазнов внешней нарядности: он презирает звонкие „погремушки рифм“ и „потешные огни“ метафор. Точность и выразительность, как необходимые условия лирического творчества, интересуют Вл. Ходасевича прежде всего. / Тот, кто понимает, что строгий „пассеизм“ обеспечивает нас по крайней мере от неряшливости распушенных модернистов, претендующих на будущее, должен оценить старомодную книжку Вл. Ходасевича, влюбленного, по-видимому, в светлый мир Пушкина и Фета не менее, чем в наш сумрачный мир, тревожный и мучительный, и как будто умирающий в ослепней лихорадке...».

⁴² Н. Гумилев пишет: Ходасевич «является к нам неожиданный, с новыми интересными словами, и не засиживается долго, оставляя после себя приятную неудовлетворенность и желание новой встречи. Такими были и Тютчев, и Анненский, а как их любят... В стихах Ходасевича, при несколько вялой ритмике и не всегда выразительной стилистике, много внимания уделено композиции, и это-то и делает их прекрасными... Правда, часто хотелось бы, чтобы он говорил увереннее, и жесты его были свободнее...».

⁴³ Сергей Кречетов (наст. имя: Сергей Алексеевич Соколов, 1878 – 1936) – поэт, литератор и редактор-издатель. По образованию юрист, он в 1906 году оставляет нотариальную контору своего брата И. А. Соколова и становится редактором литературного отдела журнала «Золотое руно», затем редактором журнала «Перевал» и вла-

дельцем издательства «Гриф», в котором вышла первая книга стихов Ходасевича. См. также прим. 24. – Ходасевич, возможно, имеет в виду рецензию Кречетова на «Счастливый домик», помещенную в московской газете «Утро России» № 44 в субботу 22 февраля 1914 года, по тону – более чем благожелательную: «После нахальных выкриков, после всяческого ломания, какая радость раскрыть стихи Владислава Ходасевича... Богатый внутренний опыт, усвоенный душой тонко чувствующей и сложной, дает всей его книге какую-то неизменную законченность вместе с каким-то скорбным целомудрием. Этот опыт дался ему не даром (о, наверное, не даром!), быть может, он оставил неисцелимые раны... Книга стихов Вл. Ходасевича одна из самых интересных за последние годы и позволяет ему с правом носить высокое имя поэта...».

⁴⁴ В. Ходасевич. «Juvenilia» Брюсова. – «София», 1914, № 2, стр. 64-67.

⁴⁵ «София» – журнал искусства и литературы, выходивший под редакцией П. П. Муратова, с января по июнь 1914 (вышло всего шесть номеров). Печатался в Ярославле. Издатель – К. Ф. Некрасов.

⁴⁶ Ходасевич частично повторяет этот разбор в своих мемуарах: в доме Брюсовых «в кафелях печей отражались лапчатые тени больших латаний и синева окон. Эти латании, печи и окна дают реальную расшифровку одного из ранних брюсовских стихотворений, в свое время провозглашенного верхом бессмыслицы...», добавляя, что после публикации в 1914 году этих наблюдений Брюсов сказал ему: «Вы очень интересно истолковали мои стихи. Теперь я и сам буду их объяснять так же. До сих пор я не понимал их...» (В. Ф. Ходасевич. «Некрополь», стр. 29-30).

⁴⁷ Имеется в виду антология: Русская лирика. Избранные произведения русской поэзии от Ломоносова до наших дней. Сост. В. Ходасевич. М., Изд. «Польза» В. Антик и К°. 1914. (Универсальная библиотека № 597 – 599.) – Как видно из следующего письма 7, книга фактически вышла в ноябре 1915 года.

/ 7 /

17 ноября 1915
Москва

Дорогой Александр Иванович!

Вы когда-то интересовались судьбой моей «Русской лирики»⁴⁸. Поверите ли? Она вышла только на прошлой неделе, [с] пометой: 1914. Это оттого, что первые листы были отпечатаны 2 года тому назад. Книжечку посылаю Вам, хоть и стыдно; если бы Вы вздумали написать о ней несколько строк, – я был Вам очень признателен. Однако, прошу Вас принять во

внимание, что позорные опечатки в ней – решительно не моя вина. Безграмотные корректоры «Унив[ерсальной] библ[иотеки]»⁴⁹, как я с точностью установил, кое-что в ней переделали по своему «соображению» уже во 2-й корректуре, которой я не видел. С невежеством // всероссийским просто нет сил бороться! В результате – по совести отвечаю только за *выбор стихов*. Но если Вы отметите обилие опечаток – это будет вполне справедливо.

Почему Вы мне ничего не пишете? Пишите, пожалуйста. Сам я писать не мастер, но получать письма, особенно Ваши, всегда содержательные, люблю до страсти. Порадуйте сообщением о Вашем житье-бытье, о работе, о планах.

Если бы Вы заглянули в Москву, я был бы ужасно рад. Тогда рассказал бы Вам о себе, писать же, ей-Богу, не умею. Живу, много работаю и мало вижу плодов своей работы: вот и всё.

Право же, приезжайте сюда хоть денька на два. Москва, как-никак, Вас вскормила: не будьте неблагодарным, посетите Первопрестольную, в которой, конечно, найдутся люди, к Вам сердечно расположенные, – например, –
любящий Вас

Владислав Ходасевич

Р. S. Поклон Бор. Ал.⁵⁰ Скажите ему, что на днях пришлю ему стихи и письмо⁵¹. Книг его я еще не получал, – но благодарю. Адрес мой: 7-й Ростовский, Плющиха, д. 11, кв. 24.

Жена моя⁵² Вас помнит и шлет привет.

⁴⁸ См. прим. 47.

⁴⁹ Название книжной серии (и акционерного общества) издательства В. М. Антика «Польза», выпустившего антологию (см. прим. 47) и ряд других, переведенных и подготовленных Ходасевичем книг.

⁵⁰ Борис Александрович Садовский (наст. фамилия Садовский, 1881 – 1952) – поэт, литературный критик и беллетрист, друг и корреспондент Ходасевича. О нем см. публикацию И. Андреевой (прим. 1), которая, между прочим, называет Тинякова тенью Садовского.

⁵¹ Ходасевич написал Садовскому 2 декабря 1915 г. (письмо 27 в публикации И. Андреевой, см. прим. 1), однако стихов не прислал: «Что было – роздал, а новые не пишутся, хоть убей».

⁵² См. прим. 30.

Колонка редактора

ЧЕРНОБЫЛЬСКИЙ УРОК

Не успели возникнуть первые зарубежные отклики на чернобыльскую катастрофу, как в быстром на острое словцо нашем народе распространился новый вариант известного советского шлягера: «Мы родились, чтоб сказку сделать чернобылью». Как говорится, в чем – в чем, а в кладбищенском юморе нашим соотечественникам не откажешь.

Но, к сожалению, пока что черным юмором все и ограничивается. Можно себе представить, какая волна протеста поднялась бы на Западе, если бы это случилось не в Советском Союзе, а, скажем, где-нибудь в Америке или во Франции. Правда, и на этот раз здесь, в особенности в Западной Германии, защитники окружающей среды довольно остро среагировали на случившееся, но, как это ни странно, пафос их выступлений в первую очередь был направлен не против безответственных советских властей, глухо сообщивших о событиях в Чернобыле лишь на третий день после взрыва, а против существования собственных атомных электростанций, хотя качество безопасности на этих электростанциях, в отличие от советских, давно приведено в соответствие с самыми высокими мировыми стандартами.

Совесть нашей науки лауреат Нобелевской премии мира академик Андрей Сахаров и его коллега, тоже нобелевец, Петр Капица неоднократно предупреждали власть имущих в Советском Союзе о преступном пренебрежении мерами безопасности на отечественных атомных электростанциях, но все их предупреждения оставались без ответа или, в устной форме, им давали понять, что ЦК КПСС давно предусмотрел опасности, о которых им сигнализируют ученые, и принял на этот счет необходимые меры.

По этому поводу у нас в стране бытует старый анекдот. На заседание Политбюро приглашается группа космонавтов для обсуждения возможности полета на солнце. Когда один из гостей робко напоминает партийным руководителям о слишком высокой температуре на этой звезде для подобных поле-

тов, ему веско отвечают: «Партия, товарищи, предусмотрела и это: полетите ночью».

Как это ни смешно, но примерно на таком научном уровне решаются на советских верхах самые важные проблемы современности от вопросов сельского хозяйства (вспомните хотя бы их поддержку авантюриста Лысенко!) до вопросов ядерной физики и судеб литературы.

Разумеется, здесь, на Западе, отдельные люди, организации и правительства могут публично протестовать против советской безответственности, обращаться к правительству СССР с благими увещаниями, вызывать к совести и разуму его руководителей – и, справедливости ради надо сказать, они в той или иной форме делают это, но исторический опыт показывает, что для тех, кто управляет Советским Союзом, протесты извне никогда не имели и не будут иметь никакого значения. У них собственные понятия о международном праве, и сводятся они – эти понятия – к одному-единственному принципу: труп врага хорошо пахнет!

Поэтому, на мой взгляд, с ними давно следует научиться разговаривать на более практическом языке. Каждый из тех, кто несет от их очередной безответственности какой-либо физический или материальный урон – будь то частное лицо или организация, – должен предъявлять им юридический иск за этот урон и широко использовать в этом смысле возможности международного права и соответствующие правовые инстанции.

Люди, здоровью которых нанесен непосредственный ущерб, крестьяне, потерпевшие в результате чернобыльской радиоактивности убытки на выращивании и сбыте своей продукции, туристические объединения, потерявшие своих клиентов в связи с угрозой загрязнения окружающей среды в странах Европы, могут и должны потребовать от советского правительства возмещения понесенных потерь. Тем более, что у этого правительства находится за рубежом достаточное количество имущества, которое могло бы служить гарантией возмещения таких потерь.

Это в полной мере относится и к советским гражданам. Разумеется, для этого им необходимо обладать известным гражданским мужеством, которого, впрочем, судя по сообщениям нынешнего самиздата, многим нашим соотечественникам не занимать стать.

За шестьдесят с лишним лет существования советской системы мы на своем горьком опыте уже убедились, что и вправду «никто не даст нам избавленья: ни Бог, ни царь и ни герой». Освобождение нашего общества может прийти к нам только изнутри самого нашего общества. Надежды, что нам принесет это самое освобождение кто-то извне, напрасны. Скорее наоборот: здесь, на Западе, существуют достаточно мощные силы, которые сделают все от них зависящее, чтобы укрепить этот режим. Вера в реформы сверху способна вдохновлять только профессиональных советологов и наивных государственных деятелей. Но наш народ вполне в состоянии вырвать такие реформы у своего правительства, если по-настоящему осознает наконец собственные права по отношению к самому себе и свои обязанности к своему историческому будущему, то есть, в конечном счете, к собственным детям.

Может быть, в результате, до тех, кто вершит судьбами СССР, в конце концов дойдет, что от всепроникающей радиации невозможно спастись ни в каких, даже самых специализированных убежищах, что никакое, пусть самое высокое положение не гарантирует от ее смертельной опасности и что рано или поздно, хотя бы в последующих поколениях, но она настигнет и их.

Радияция неделима в прямом смысле этого слова.

Трагедия в Чернобыле наглядно показала миру, чего стоят международные гарантии и соглашения, которые подписывает Советское правительство. Только на третий день и только после того, как западные наблюдательные посты сами обнаружили радиоактивное облако, советская сторона поставила Запад в известность о случившемся, а советские граждане до сих пор получают об этом намеренно искаженную информацию, ибо со своим народом власть, существующая в стране вот уже почти семьдесят лет, не считалась никогда и ни при каких обстоятельствах, разве что в периоды смертельной для себя опасности, например, в критические моменты Второй мировой войны.

В таких условиях всякие прекраснодушные разговоры о новой «разрядке напряженности», «сотрудничестве и безопасности в Европе», «мире во всем мире» являются лишь результатом самообмана, способствующего дальнейшему укоренению на Западе тоталитарной дезинформации.

Чернобыльский урок еще раз напоминает нам всем, что подлинный мир немыслим вне контекста Свободы и Прав человека, что политические иллюзии не спасают от радиации и что искреннее взаимопонимание между народами возможно только в условиях существования представительной демократии.

Читайте в следующем номере «Континента»

Проза:

**В. Максимов, Ф. Кандель,
В. Агафонов**

Поэзия:

**И. Бродский, М. Темкина,
А. Бородин, А. Родыгин**

Публицистика:

**А. Федосеев, В. Кулерский,
Ж.-П. Руссо**

Наша почта

ОТЗЫВЫ И СВИДЕТЕЛЬСТВА ЧИТАТЕЛЕЙ ИЗ СССР

5. 9. 83

Уважаемый Владимир Емельянович!

Пользуясь случаем, что Вы находитесь в Нью-Йорке, я передаю Вам искренний привет и самые добрые пожелания в Вашей личной жизни и литературно-общественной деятельности на благо нашей Отчизны и русского народа от группы кубанских, незатурканных комидеологией писателей, и, в частности, от Б., Л., Н., З., С., Б., О., Н.*

Почти десять лет я работал редактором в Краснодарском краевом книжном издательстве в отделе общественно-политической литературы (тогда я был членом КПСС, членом СЖ СССР и т. д. и т. п.).

Потом я эмигрировал на Запад, и с 1980 года живу и работаю в США. Работаю я в ежедневной украинской газете «Свобода» Украинского Народного Союза Америки и Канады.

Ребята, которых я упомянул в этой записке к Вам, зная о том, что я собирался покинуть Советский Союз, просили меня передать Вам от них привет и сказали, что они гордятся Вами, Вашим мужеством, Вашей честностью, Вашим «Континентом», который для многих кубанских писателей и просто порядочных людей Краснодара стал дорогой и самой любимой книгой.

Пусть Господь Бог и дальше дарит Вам свою милость,
Искренне,

Р. Илющенко

12. 2. 85

Мой польский друг, писатель, тщательно собирает «Континент», добиваясь – несмотря на трудности переброски – от меня каждого номера.

* По понятным соображениям имена заменены вымышленными инициалами. – Прим. ред.

В одном из последних писем (9. 12. 1984), извещая о получении последнего (41) номера и ранее вышедшего (38), он писал: «„Континент“ остается лучшим из русских „толстых“ журналов. У нас его особенно ценят за широту взглядов, за „экуменичность“»...

М. Г., профессор-славист. Париж

Москва, 3 декабря 1985 г.

Глубокоуважаемый Владимир Емельянович!

...Во-первых, сама публикация в «Континенте» почетна (может быть, Вам интересно знать, что журнал Ваш пользуется все большей популярностью и стал самым уважаемым журналом: как недавно сказал мой друг Боря Гулько – шахматист и бывший психолог, – «Вот носятся все, спрашивают, читали ли вы что-то, допустим, „Альтиста Данилова“ в „Новом мире“ или что-нибудь в журнале „Москва“ и т. п., а все остальное в этом и в других совжурналах – дрянь. А тут, какой номер „Континента“ не попадет в руки – все интересны. И от корки до корки. Вот это я понимаю, журнал!» И это действительно так, хотя далеко не все номера до нас доходят, и иногда в таком затрепанном виде, что не знаешь, какой это номер, то ли десятый, то ли тридцатый...)

Искренне Ваш

[один из авторов «Континента»]

Уважаемый Владимир Емельянович!

На 232-й стр. 46-го номера издаваемого Вами журнала я с изумлением прочел, что «Вышла в свет книга Беур Бриа „Мессия“, представляющая собой Божественное откровение, написанное автором на основе Торы (Книги Моисея) под воздействием Бога в течение шести лет...»

Если Вы думаете, что, поместив на страницах журнала такую рекламу, Вы проявили свой плюрализм, то это не так. Это скорее проституция.

Мы Вас, грешным делом, здесь принимали за искреннего православного христианина, которому в упрек можно поставить скорее чрезмерно русский национализм, чем сионизм. А что же мы видим теперь? Поневоле вспомнишь слова новой советской кинозвезды Олега Туманова, который утверждает,

что Максимов издает «Континент» только «благодаря тому, что имеет связи в Израиле». Поневоле закрадывается сомнение: может быть, правда, что вся эта шумная война с «русофобией» – для отвода глаз?

Зачем Вы себя, свой журнал, своих сотрудников так компрометируете? Представляю себе удовольствие Ваших московских недругов из числа национал-православных и национал-большевистских борцов с жидомасонами, когда они эту рекламу узреют.

И простите, Владимир Емельянович, – почему опять такой слабый номер? Только одна безусловная вещь – рассказ Юза Алешковского. Интересна полемика редакции с корреспондентами, в которой, кстати, Вас положили на обе лопатки – не только Шимон Маркиш, но и Ричард Пайпс. Ну, еще несколько хороших стихов, рецензии, статьи Линецкого и Чертока, которые, по крайней мере, имеют познавательный интерес. И всё. Бездарный Израиль Малер, зачем-то Рейган... Обидно. Нам «Континент» попадает не часто, примерно раз в полтора года, один из шести-семи номеров, два подряд крайне редко. Едешь за ним на другой конец Москвы или области – и на тебе: скучноватая «Звезда Адмирала», Малер, Рейган... Или выпады в адрес идейных противников в самой некрасивой манере. Кто-то определил отличие русского стиля политической полемики от европейского таким образом: «Европеец ищет слабые места в аргументации противника, а русский стремится любым способом дезавуировать оппонента». Это если не про всех русских, но про «Континент» во всяком случае.

...А десять лет назад журнал был интереснее. Настоящего плюрализма и тогда было немного, но и такой беспринципности, кажется, не попадалось.

В. П. (историк, русский)
5/VI-86, Москва

(еще одно мнение о № 46)

...Если бы Максимов поместил на страницах своего журнала несколько выдержек из «Мессии» (при условии, конечно, что он счел бы их значительными по мысли) – упрек в беспринципности был бы несправедливым. Даже если идеи, высказан-

ные в этой книге, существенно противоречили бы взглядам редакции журнала «Континент». Вот ведь напечатан же в 46-м выпуске очерк Бродского – рассуждения Бродского о восточном христианстве явно расходятся со взглядами большинства авторов «Континента» и самого Максимова – если я их себе правильно представляю. Так же как некоторые стихотворные строки Бродского о России, с которыми русский националист Максимов, видимо, не согласен, но печатает, и правильно делает. «Континент» не утверждает, что он журнал «православный» или «христианский» («литературный, общественно-политический и религиозный журнал»), в составе его редакционной коллегии – и православные, и католики, и протестанты, и, надо полагать, есть и иудеи. Конечно, «группа православных христиан», которая уже бранила «Континент» за стихи Бродского, опять возопиет, но и хрен с ними. И все-таки, текст объявления на стр. 232-й, в том виде, в каком он там представлен (без подписи, без оговорок), действительно вызывает недоумение. Получается, что это редакция «Континента» считает сомнительно-сектантскую монографию Беур Бриа «Божественным откровением», «написанным под воздействием Бога»...

С другой стороны, может быть, мы просто не привыкли к рекламе как к ж а н р у? и никакой беспринципности или неловкости Максимов не допустил? Когда мы видим «Пейте кока-колу!» на обложке западного журнала, мы же не задаемся вопросом, пьет ли кока-колу издатель?

Более справедливыми, мне кажется, выглядят упреки Максиму по поводу стиля его полемики с оппонентами. «Опасной русофобией» объявляется любая параллель между Россией царской и большевистской – если эту параллель провел западный историк или эмигрант из СССР, не принадлежащий к кругу постоянных авторов «Континента» (так можно и самого Солженицына на основании отдельных пассажей причислить к «антирусским писателям» – что, впрочем, и делалось, правда не в «Континенте», а в «Лит. газете»). Когда обвиненные в злонамеренной русофобии авторы – как Симон Маркиш или Пайпс – доказательно оправдываются, редакция журнала, вместо того, чтобы извиниться, крикливо отчитывает их вторично.

А насчет качества 46-го выпуска В. П. чрезмерно пристрастен. Не только Черток или Линецкий, но и «Путешествие

в Стамбул» Бродского, Раиса Берг, Эрнст Неизвестный, Наум Коржавин, фрагмент из «Звезды Адмирала» – все это небезинтересно. И категорическое мнение о бездарности Израила Малера сделано, видимо, скорее на основании «Пятака» из 43-го выпуска, а «20 писем» как раз говорят, что это писатель не безнадёжный. Не может журнал состоять только из «вечных» вещей. Такого никогда не было и не будет.

П. Х. (историк, русский) 9/VI-86

Постскрипtum: А вот 45-й номер удался (Аксенов, Бродский, Ерофеев). Спасибо!

В. П. 7/VIII-86

К сведению наших авторов из СССР и Восточной Европы: по существующим на Западе правилам, ни одна редакция не только не вправе исправлять текст платных объявлений, но и отказаться от их публикации без веских к тому оснований. Никакой ответственности, разумеется, редакция за эти тексты не несет. – Прим. ред.

10. 10. 86

Многоуважаемый Владимир Емельянович!

Пишу Вам, чтобы выяснить, почему в последнее время так сократилось поступление «К» в Москву? Конечно, досмотр на границах после Андропова стал еще строже, но, видимо, редакция должна была быть готовой к таким неожиданностям. И не только к таким. Горбачевская политика, неизвестно надолго ли, но слегка приоткрыла цензурные шлюзы. В советских журналах стали появляться вещи, которые еще совсем недавно могли появиться лишь в Самиздате. У наших зарубежных журналов возникла опасность оказаться если не в арьергарде литературного процесса в России, то в его повседневном русле. Тут я имею в виду главным образом их художественную часть. Религиозной, социальной или политической проблематики это едва ли коснется. Даже у самых задиристых духу не хватит для этого. Здесь вашего брата не переплюнешь. Пока что у «К» в России по-прежнему довольно высокий моральный и эстетический кредит, но успокаиваться Вам не следует. Читатель наш делается все более привередливым, у него появился выбор, а посему чаще и чаще поварчи-

вает. Последние номера, до меня дошли 45, 46, 47, радуют Бродским, Линецким, Аксеновым, Кенжеевым, Коржавиным, Сопровским. Как всегда великолепен Веничка*. О Вашей «Звезде» судить пока не берусь, рано. Посмотрим, что будет дальше. Алешковский огорчает некоторой монотонностью. Малер не то, чтобы плох, но как-то необязателен. Публицистика по-прежнему вне конкурса, хотя и не без досадных огрехов. Рядом с весомыми Джиласом, Неизвестным, Сойфером довольно проходной Заборов. Понятно, сколько читателей, столько и пожеланий, но к иным можно бы и прислушаться, чтобы не утратить в перспективе живой связи с читателем на родине. Пишу Вам наспех, «оказия» торопит. Надеюсь в скором времени написать подробнее. Главное, помните, «К» в России ждут, читают, о нем спорят и говорят, а это, наверное, лучший стимул для редакторского оптимизма.

Всего Вам хорошего

Г. Я. (филолог)

Р. S. Кстати, с русофобией, как и со всякой фобией, необходимо бороться беспощадно, но, истины ради, замечу, что ответ Маркишу гораздо убедительнее ответа Пайпсу.

ЗАКЛЮЧАЯ РАЗГОВОР

Обязавшись в предыдущем номере, редакция публикует исправленный вариант второй половины письма Э. Замоиской А. Синявскому.

«Но то, что не является литературным приемом и соответствует действительности, это фактическая сторона сложных обстоятельств нашей юности («Сокольники», Вена). Ты открыл мне планы МГБ и роль С. Хмельницкого и мы тогда его использовали, чтоб обмануть МГБ. Но самое важное то, что ты никогда не был „предателем“. И это имело для меня не только личное значение.

Когда я после войны попала в Московский Университет, передо мной открылся совершенно новый и непонятный мир, полный неожиданных контрастов и противоречий – я чувствовала у своих товарищей то, что я представляла себе из русского

* В. Ерофеев. – Прим. ред.

духа, то есть непосредственность, сердечную простоту, жажду культуры и высокого идеала. Но все эти качества были как-то заглушены общей тяжелой атмосферой. Мне казалось, как будто железный занавес глубокого недоверия стоял не только между мною и другими, но между нашими товарищами – они повторяли высокопарные фразы о счастье человечества, а я остро ощущала одиночество каждого. Кому доверять?

Еще меня поражало у них полное отсутствие этических основ. Путали они добро и зло, совсем не понимали, что это значит. Помню, что это было главной темой моих споров и рассуждений не только с тобой, но и почти со всеми товарищами.

В один прекрасный день такой вопрос не стал отвлекающим для тебя. Тебе пришлось выбрать. Несмотря на твою тогдашнюю веру в идеальный коммунизм, несмотря на опасность, ты поступил как герой из «Первого круга», решил, что нужно жить прежде всего по совести. Ты не обманул меня, не предал. Совершилось чудо доверия. Я этого никогда не забуду.

Я тогда поняла, что ты вступил в невидимый духовный союз со всеми, которые стараются защищать достоинство человека от обмана, лжи, неволи, насилия на твоей родной земле и везде в мире.

Позже, когда вместе с Ю. Даниэлем ты не признал себя виновным, это было большое событие не только в честь тебя, но в честь твоей родины.

Этого не понимают те, которые остались в плену железного занавеса недоверия и страха.

Духовный бой за правду, за совесть, за свободу – вечный бой. Пусть Бог поможет тебе и всем твоим духовным братьям и сестрам продолжать его.

Лена.»

Из этого текста читатель не почерпнет для себя ничего нового, кроме тех же похвал адресату. Ничего нового не почерпнет для себя читатель (во всяком случае тот, что ознакомился с романом «Спокойной ночи») и из очерка С. Хмельницкого «Во чреве китовом». Факт сотрудничества А. Синявского с органами советской госбезопасности в конце сороковых – начале пятидесятих годов подтвержден как им самим в своем романе, так и его супругой Кругликовой – Розановой – Синявской в ее распространяемом в эмиграции послании под

названием «Некоторые уточнения к статье С. Хмельницкого». Письмом Э. Замойской установлено также, что свое сотрудничество с Лубянкой А. Синявский умело использовал для спасения любимой женщины, которая, благодаря его героическим усилиям, здравствует и поныне. Даже, как явствует из его объяснений, свои прогулки с чекистами Москва – Вена и обратно в 1952 году он искусно обратил против бдительных органов. История, поистине затмевающая сомнительные подвиги пресловутого Джеймса Бонда. Не имея ничего добавить ко всему уже сказанному ее героями, мы закрываем разговор на эту тему вплоть до возможного появления новых фактов этой увлекательнейшей детективной серии.

*«Этот юмор раскрывает мириады истин»
Рональд Рейган*

**ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДПИСКА
на книгу Д. Штурман и С. Тиктина**

**СОВЕТСКИЙ СОЮЗ
В ЗЕРКАЛЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО АНЕКДОТА**

Издание 2-е, исправленное и дополненное

Цена книги – 21 \$.

Для подписчиков цена, включая доставку
заказной бандеролью морем – 16 \$,
авиапочтой – 17,5 \$.

Некоторое повышение стоимости книги вызвано увеличением ее объема, в основном за счет **НОВЫХ** анекдотов, богатых событиями 1985 – 1986 гг.

Чеки посылать по адресу:

S. Tictin, 422/6 Misrakh Talpiot
Jerusalem 93802, Israel

с любой датой оплаты до 1 апреля 1987 года.

Просьба к подписчикам сообщать свой
подробный адрес.

КНИГА ВЫЙДЕТ В ТЕЧЕНИЕ 1987 ГОДА

Критика и библиография

«ОН ОСТАНЕТСЯ ГОРДОСТЬЮ РУССКОЙ ПОЭЗИИ»

Люблю из рода в род мне данный
Мой человеческий язык:
Его суровую свободу,
Его извилистый закон...

В. Ходасевич

Нью-йоркское издательство «Серебряный век» выпустило к столетию со дня рождения выдающегося русского поэта Владислава Ходасевича специальный номер альманаха «Часть речи», где напечатаны несколько его стихотворений, нигде прежде не публиковавшихся, а также его совершенно изумительные переводы коротких прозаических поэм Шарля Бодлера, в которых Ходасевич сумел предельно отразить глубокую меланхолическую тоску и скорбь жаждущего высокого идеала французского поэта, присоединив к этому еще и свою собственную тоску и меланхолию, но уже не поэта-денди, а поэта-мыслителя.

Кроме этого, в альманахе опубликовано несколько чрезвычайно интересных литературно-критических статей В. Ходасевича, например, о лирической сказке-поэме Марины Цветаевой «Молодец» и о «Tristia» Осипа Мандельштама. Известно, что Ходасевич высоко ценил обоих поэтов. «Восхитительная сказка Марины Цветаевой, — пишет он в своих заметках о «Молодце», — ...представляет собою по значительности и красоте не имеющее... не только равного, но и хоть могущего по чести сравниться с ней». В короткой рецензии на «Tristia» Владислав Ходасевич определяет поэзию Мандельштама как «благородный образчик чистого метафоризма», добавляя при этом, что Мандельштам обладает (рецензия Ходасевича была написана в 1922 г. — Ю. Т.) редким знанием языка и что стихи его волнуют читателей «какими-то темными тайнами, заключенными, вероятно, в корневой природе им сочетаемых слов...»

Альманах «Часть речи» № 4-5. Нью-Йорк, «Серебряный век», 280 с.

Здесь же опубликованы и его совершенно забытые, теперь почти никому не известные произведения, такие, как рождественский рассказ-сказка про мальчика-сладкоежку по имени Володя и философский очерк «Помпея», в котором Ходасевич описывает не внешнее впечатление, какое производят раскопки древнего города, а те чувства, которые пробудила в нем эта картина внезапной стихийной гибели. Несомненно, что гибель Помпеи вызывала у Ходасевича определенные ассоциации. Погибла Помпея – когда-то процветающий торговый город. Погибла, и «все умерли, но никто ни с чем не примирился. Здесь погребены люди, захваченные смертью врасплох, не только на середине земного странствия, но, можно сказать, с ногою, поднятой для следующего шага». Думается, что здесь есть ассоциативная связь с такой же стихийной и врасплох застигнутой внезапной гибелью России. Ходасевич пишет, что Помпея похожа не просто на кладбище, поскольку на кладбище «всеидиллично и мирно», «на кладбище – примиренность, здесь только ужас», Помпея же похожа не на кладбище, а хуже того – «на дом, где ворвавшиеся преступники вырезали жильцов».

В том же номере альманаха «Часть речи» напечатана статья В. Ходасевича «Поэзия капитана Лебядкина», которая дополняет и лишний раз подтверждает разносторонность таланта В. Ф., а главное, показывает его отношение к поэзии, на каком бы уровне она ни находилась, пусть даже на лебядкинском.

Уже одно то, что явно пошлое и бездарное стихоплетство мнимого капитана Ходасевич называет поэзией, кажется парадоксальным и эпатирующим. Однако в этом всеми презираемом негодяе – пьянице, мошеннике, шантажисте, сутенере и доносчике – Ходасевич видит не только светлые стороны души, которые, возможно, есть у всякой гнусной личности – он, более того, видит в Лебядкине *поэта*, несмотря на то, что замечает, как в его стихах «двоится поэзия и пошлость, тонкость и разительное безвкусие». Разбирая эти нелепые трагикомические стихи, Ходасевич пишет: «Поэзия Лебядкина есть искажение поэзии, но лишь в том же смысле и в той же мере, как сам он есть трагическое искажение человеческого образа». Интересно, что при этом Ходасевич находит у Лебядкина даже блоковские строчки. Одним словом, «Поэзия капитана Лебядкина» – пожалуй, одна из наиболее своеобразных и

любопытных литературоведческих статей, написанных В. Ходасевичем.

Статья «Там или здесь», в которой В. Ходасевич еще 60 лет тому назад высказался по «наболевшему» вопросу, относительно того, где же все-таки живая русская литература, в советской ли России или в эмиграции, остается и сегодня актуальной, а кроме того, во многом разъясняет истинное положение «обеих литератур»: «Исключительное обилие и вообще тамошняя литературная урожайность (безотносительно к качеству), – пишет он, – сами по себе суть признаки, для советской литературы благоприятные. Они означают, что литературная жизнь в России очень интенсивна... она еще там жива, но опять-таки не благодаря тому, что находится в СССР, а несмотря на то». Заканчивается статья мудрыми и грустными словами: «Литература русская рассечена надвое. Обеим половинам больно, и обе страдают, только здешняя иногда не хочет стонать из гордости (может быть, ложной). А тамошней и стонать не велено».

Среди других библиографически редких материалов, напечатанных в посвященном Владиславу Ходасевичу номере альманаха, помещен его ответ на анкету парижского журнала «Своими путями» и несколько его писем к старейшему русскому книгоиздателю А. С. Кагану, основавшему в 1916 году известное петербургское издательство «Петрополис» и скончавшемуся в Нью-Йорке в 1983 году.

Эта главная часть альманаха, посвященная, как уже было сказано, столетней дате со дня рождения выдающегося русского поэта и литературного критика, заканчивается как бы отдельной рубрикой, которую можно было бы назвать – «Современники о В. Ходасевиче», куда вошли: впервые публикуемое полностью письмо к нему Марины Цветаевой и статьи о нем Владимира Вейдле и Владимира Набокова, самых близких его друзей, никогда не сомневавшихся в том, что В. Ф. Ходасевич – выдающийся поэт нашего столетия, который навсегда «останется гордостью русской поэзии, пока жива память о ней».

Раздел современной поэзии представляют в этом номере стихи Алексея Цветкова, Дмитрия Савицкого, Станислава Красовицкого, Фазиля Искандера и Николая Заболоцкого, среди которых наибольший интерес, пожалуй, все-таки представляют пять стихов-загадок Николая Заболоцкого и его

короткое стихотворение, никогда прежде не печатавшееся и попавшее на страницы «Части речи» окольными путями из московского архива семьи Н. А. Заболоцкого.

«Новые стихи» превосходного прозаика Фазиля Искандера выглядят несколько инфантильными, чересчур сентиментальными и уж никак не обладающими той плотью и кровью, какая присуща его прозе.

Отдел прозы в альманахе представлен рассказами Владимира Войновича «Метро Аэропортовская» и Юрия Мамлеева «Сельская жизнь». Но подлинным открытием этого выпуска по праву можно назвать публикацию рассказов не известного широкой публике писателя Леонида Добычина, отличающегося особой изысканностью стиля, пользовавшегося большим авторитетом в 20-30 годы, но в 36-м году, то ли не желая стать очередной жертвой сталинских чисток, то ли по какой другой причине покончившего жизнь самоубийством. Альманаху «Часть речи», несомненно, принадлежит большая заслуга в открытии для нашего поколения столь незаурядного автора, сумевшего в своих рассказах, похожих на зарисовки с натуры, показать катастрофические перемены в жизни России.

О рассказе Юрия Олеши «Ангел» тоже хотелось бы сказать особо. Сюжет его построен на неожиданной встрече автора с атаманом Ангелом. Рассказ поражает не столько жестокостью и разгулом подобных банд, сколько предельной откровенностью самого рассказчика, не стесняющегося признаться во всех своих человеческих слабостях, вплоть даже до добровольной услужливости перед этим извергом. Рассказ производит глубочайшее впечатление не в силу самого эпизода, а в первую очередь потому, что показывает, как порой может быть смиренен и даже подл человек перед угрозой гибели.

В разделе «Вопросы литературы» особого внимания заслуживает статья Чеслава Милоша «Борьба с удушьем», посвященная поэзии Иосифа Бродского. Очень тонко и верно Ч. Милош отмечает, что в своих стихах Бродский «пытается сохранить преемственность в мире, который все больше и больше теряет память... он – поэт сложного культурного наследия». Одной из других сторон творчества И. Бродского, по мнению Ч. Милоша, является его философия поэзии, «отмеченная знаком того, что Гёте считал высочайшей стадией в духовном развитии личности». Статья Милоша во всем спра-

ведлива, все в ней глубоко обосновано, аргументировано и, видно, пережито и прочувствовано самим автором. Во всяком случае, никому еще пока не удавалось так полно принять, полюбить и осознать поэзию И. Бродского.

Нельзя не сказать и о таких разделах, как «Искусство», «Воспоминания» и «Архив». В первом из них напечатана статья в свое время репрессированного, затем реабилитированного русского писателя Юрия Домбровского о ссыльном скульпторе Иткинде, с которым – как и со многими другими ссыльными художниками, писателями и артистами – Домбровскому приходилось встречаться «на этапах» и в Казахстанской ссылке, где он провел много лет.

Под рубрикой «Воспоминания» напечатаны фрагменты из книги мемуаров Жозефины Пастернак, сестры Бориса Пастернака. В виде отдельных записей, напоминающих по форме дневник, автор старается как можно полнее вспомнить, определить и воспроизвести образ своей горячо любимой матери. В эти личные воспоминания, проникнутые тонкой грустью, вплетаются мысли и рассуждения о политике, об искусстве и вообще о жизни русских людей на Западе накануне Второй мировой войны.

Воспоминания Василия Яновского «О парижских „Числах“» – представляют собой главы из его книги мемуаров «Поля Елисейские», изданной в Нью-Йорке несколько лет назад тем же издательством «Серебряный век».

Мемуары Яновского о своих братьях по перу – а он лично знал весь «русский блистательный Париж» – часто нелепны, а порой даже и чрезмерно злодушны, но для всех тех, кто интересуется «Парижской нотой» русской литературы, они несомненно представляют громадный интерес.

И, наконец, несколько слов об «Архиве». Сюда вошла большая подборка редких фотографий из семейного альбома Бориса Пастернака. Кроме того, в этом разделе напечатаны: письмо Михаила Зощенко к Юрию Олеше и два письма Марины Цветаевой – одно к сестре ее мужа Е. Я. Эфрон, другое к Николаю Тихонову, которое особенно интересно. Письмо это было написано вскоре после ее встречи с ним в Париже в 1935 году во время Международного конгресса писателей. В нем Марина Цветаева признается, что плакала, разговаривая с Б. Пастернаком (также участвовавшим в конгрессе), что от этой встречи у нее осталось «смутное чувство».

Цветаева жалуется Тихонову, что вместо человеческих слов Пастернак твердил ей одно: «Ты полюбишь колхозы!» Тут же в письме она пишет двустилишие:

В ответ на слезы мне – «Колхозы»!

В ответ на чувства мне – «Челюскин»!

Письмо это заставит вдумчивого читателя о многом поразмыслить.

В заключение хотелось бы сказать, что каждый выпуск альманаха «Часть речи» открывает новые неизведанные пласты русской словесности или заставляет нас по-новому прочесть старое. И в этом его большая заслуга.

Юлия Тролля

ВЕРНОСТЬ

Это главное слово, если говоришь о поэзии Льва Друскина. После книги воспоминаний, названной автором «Спасенная книга», той, из-за которой поэту пришлось покинуть Петербург, той, которая так беспокоила литературных чиновников, как могла бы работа Пимена беспокоить годуновскую юную бюрократию, вышло избранное поэта. «У неба на виду» названа эта книга, собравшая в себе стихи почти за сорок лет.

Но эта книга впервые показывает поэта таким, каким он сам себя видит, каким сам себя желает представить читателю. Для Друскина, человека той искренности, которая распахивает последнюю дверь, быть собой, видеть себя и выглядеть перед другими – одно и то же.

Но ни одна из семи книг поэта, выпущенных в СССР, не могла показать его неискаженно – редакторы не спят...

Восьмая книга – полностью включенная в этот том – показывает, каким мужеством и каким спокойствием надо было обладать, чтобы только принести в советское издательство такой сборник! «Рассыпанная книга» – так назвал ее поэт,

Лев Друскин. У неба на виду. Тинафлай, «Эрмитаж», 1985.

включая в этот том, потому что книга эта, чудом прошедшая почти без изъятов и искажений, дошедшая до набора, была уже рассыпана по указанию КГБ. Кроме этого, второго раздела, в однотомнике есть «Стихи разных лет», в которые вошло все лучшее из прежних книг и многое неопубликованное, и раздел «За перевалом», в котором собраны стихи, написанные за последние годы, в которые поэт живет в западногерманском городе Тюбингене.

И если творчество поэта все в совокупности – само по себе личность, само по себе характер, то две главных черты этого характера захватывают читателя: верность и гордость. Амплитуда маятника, качнувшегося сквозь сорок лет, поразительна: вот стихи конца сороковых годов, стихи, в которых поэт рассказывает, почти прозаически, о том, как он умирал в поезде, вывозившем его из ленинградской блокады. И главное тут «Только надо очень постараться, чтобы слез не видели моих». Это первое из стихотворений в книге. А последнее – поэма, названная «Заплачу о неверии своем», и в ней есть такие строки: «Он Бог, он судия / я копошусь внизу, / но даже к Богу я / как червь не поползу!» Сорок лет между теми и этими строками. Вот она – амплитуда гордости.

Именно в силу этой гордости – не гордыни, не надо смешивать! – в те годы, когда многие знаменитые поэты – как Симон-нов – шарахались и отрешивались от лирики, своей и чужой, когда само слово «лирика» было чуть ли не под запретом, когда лишь одному Щипачеву дозволено было публиковать пошлости, предписывавшие правила социалистической любви, в те годы поэт Друскин вдруг появился – нет, не в литературе, конечно, не в той сталинской крикливо-пышной газетно-классицистской ахинеи, которая заменила поэзию на целое десятилетие – нет. В самиздате. Не было и термина этого (еще не изобрел его тогда Николай Глазков). Но по рукам, в списках стало ходить стихотворение никому неизвестного молодого поэта Льва Друскина.

Оно не вошло в книгу. И ни в одну из книг. Но оно было началом питерского самиздата. Это было первое стихотворение молодого поэта, нашего современника, которое, не будучи напечатанным, пошло в списках гулять по студенческим заветным тетрадкам такого беспоэтного, злого 48-го года. Приведу отрывки из него:

Колеса грохот рвали на части,
Метался за окнами снег,
Когда я украл твоё светлое счастье,
Далекий чужой человек!

.

И в час, когда ей я молился, как Богу,
Стихов обрывая разбег,
Ты встал в моем сердце щемящей тревогой –
Далекий чужой человек.
Мне ветер навевал нелепые бредни,
Кружась над весенней Невой,
Смеется тот, кто смеется последним,
Мой праздник сегодня – а твой?..
И счастье мое все бледней, все бесследней,
И щуря глаза из-под век,
В лицо мне смеется, смеется последним
Далекий чужой человек...

Это было уже полностью друскинское – откровенное до боли, хотя, может, и наивное для двадцатисемилетнего автора... Но в те ханжеские времена услышать вдруг простую и откровенную речь о любви – было громом среди ясного, по-сталински ясного неба... «Утро нашей родины» явно было омрачено этой страшной крамолой – ведь тогда всерьез звучал для многих лихой комсомольский лозунг «Кто изменяет жене, тот изменяет родине».

А уж просто государственным преступлением были такие стихи Друскина тоже тех лет (они вошли в эту книгу):

Касанье взглядов и локтей,
И вдруг – до гнева, до испуга
Непониманье двух людей,
Как бы теряющих друг друга.
И мы на узкой простыне
Тоскуем каждый за стеною.
Не разговаривать же мне
С твоей повернутой спиною...

Уж эти «два горя, два недоуменья» вовсе были преступными в те годы. Но времена менялись, и стали выходить книги и у Друскина. Хоть и были они покромсаны цензорами-редакто-

рами, но все же замечали их читатели. А главное – вскоре, в конце пятидесятих годов, Друскин и его дом стали тем местом, где можно было по гамбургскому счету говорить о стихах каждого из нас, где можно было говорить вообще все (как можно по-булгаковски сказать, «ни один, представьте, не побежал докладывать, ни один!»).

А позднее стихи поэта тянули к себе таким тревожным, таким искренним поиском тайны бытия, что казалось – чем наивнее с виду строки, тем они больше, тем сильнее запоминаются, затягивают... И вот этот поиск тайны идет сорок лет – амплитуда маятника от стихов конца сороковых и до поэмы «Заплачу о неверии своем».

Вот сороковые годы:

Я был еще мальчишкой желторотым,
Когда меня тянуло в каждый двор,
И мучило и мучит до сих пор:
Что ждет меня за этим поворотом.

А вот восьмидесятые годы: это молитва.

Даже если вправду
Нет Тебя, Владыка,
Упаси от раны,
Удержи от крика!

Это из поэмы, которая мне кажется самым главным произведением Друскина, тем, для которого все стихи вроде бы служат эскизами, подготовкой... Сквозь эту поэму звучит не названная в ней молитва мытаря, которая в Евангелии звучит так: «Верую, Господи, помоги моему неверию!» – это парадоксальное выражение, глубочайшее и точнейшее, ибо парадоксальность человеческой личности отражена в нем. И все сомнения, вся искренность, с которой человек ищет вечную тайну, тут отразилась. Именно этим и замечательна поэма: куда глубже религиозное чувство в исканиях, чем в безапелляционном утверждении тех, кто якобы всю истину постиг... И Бог в поэме – то всевластный, грозный, недостижимый, как Ягве в представлении современников Моисея, то вдруг измученный человек, каким предстал перед учениками Спаситель в Свою последнюю земную ночь, в Гефсиманском саду...

Рояль дышал и вздрагивал под пылью,
И в этот час один лишь я и знал,
Как плакал Бог от страха и бессилия
И голову на клавиши ронял...

Тайна бытия не только в поисках Бога, она и в чувстве времени, как вечности, и бессилия нашего перед ней... Из «Рассыпанной книги» цитирую такие строки:

Нет, никогда календарю я не скажу «Благодарю»,
Часы запру, будильник спрячу,
Куплю билет втридорога, уеду к чёрту на рога
И брошусь в травы и заплачу.

Вот как истинный, как искренний поэт говорит в те годы, когда еще не замолкли дурацкие шапкозакидательские лозунги-рифмы вроде того, что «мы покоряем пространство и время» и так далее... Тихая лирика ломает эти ходули. И безнадежностью, но гордой безнадежностью звучит развитие фаустовского мотива у Друскина:

Верни мне всё: и то, что ложно,
И мой порыв, и мой испуг,
.....

За все, что было, все, что есть,
Не пожалею, отдаю,
Не упрекну, не попеню,
Я знаю, что на что меняю –
Отдай мне молодость мою.

Тайны неисчерпаемы, и верно, что «в этом мире даже Пушкин кое-что недоглядел». И вот творчество, которое нельзя ни бросить, ни предать, ни изменить его характер. Порой эта тема звучит почти забавно, легко:

Выступают сверчки, с них сбивают очки,
Им ломают пюпитры и скрипки,
Но они поправляют свои пиджачки
И опять надевают улыбки.

Это – о верности искусству. Но в поэзии Льва Друскина вообще мотив верности – самый, наверное, главный. Верности себе, друзьям, всему, что составляет личность... «А крепость все стреляла и стреляла» – обреченная крепость. Но что оста-

ется делать? Надо же быть самим собой! И это не просто отвага – это бытие, которое не может быть иным!

Верность дружбе и памяти, верность природе и тайне, которую всю свою творческую жизнь ищет поэт. И когда барометр, испорченный якобы, все время предсказывает бурю, то для мастера он испорчен, но для поэта – прав, ибо парадоксальность бытия в том и состоит, что барометр души не подчиняется арифметическим и механическим правилам. Часовщик знает винтики, но не душу барометра – а вещи порой тоже обретают душу... И душа поэта – барометр и приемник вестей из тех миров, о которых мы все предполагаем и никто не знает ничего, ибо, как говорит призрак отца Гамлета, «узнаешь – содрогнешься»... Это вести из миров, где времени нет, где прошлое живо, как сегодняшнее, оно влияет на наши поступки, но слышит его только поэт...

И надо мной, над краем суши
В смешеньи вод и облаков,
Парят стремительные души
Давно погибших моряков.

Для кого-то это лишь чайки, но поэт слышит, как они «спрашивают криком»:

Ты чья душа, ты чья душа?

Так же и монета, которую нашел в пыли Омар Хайам: через века она попала на ладонь другому поэту, и он ее тоже потерял – жизнь ведь не музей! прошлое живет на самом деле, и вот:

Может, на краю земли
Ее Хайам нашел в пыли,
И все пошло сначала.

Не верить очевидности, мерить свою жизнь внутренним миром, пусть даже эта поэтическая реальность выглядит как-ким-то солипсизмом, но все равно быть верным своему видению мира! Мерить жизнь честью прошлого, без которой нравственные ценности становятся относительными, а значит,

бесъ, не помнящие родства, превратят любую ценность в клочок бумаги.

Реальная связь времен, которая оставляет человеку один путь – быть собой до конца, – она и есть причина, пружина той верности, главного мотива творчества Льва Друскина. Поэтому и Дом поэта (с большой буквы, нарочно, по-волошински) стал гнездом, откуда вылетели многие питерские поэты, так громко заявившие о своем существовании в шестидесятых годах... Эти, тогда молодые, кто вышел на эстрады, кто протолкался на страницы «Дней поэзии» – самых первых, конца пятидесятых – они приходили заряжать тут свои невидимые аккумуляторы...

И чувство своих корней передавалось им от человека и поэта, который спокойно говорит о себе:

Я не борец, прости меня, о Боже,
Я не герой, вы не герои тоже...

Не по идее, просто потому, что такое поведение естественно для него, чувствующего свои корни в истории:

А я несу свой крест по Иудее,
И ни о чем на свете не жалею,
И пот слепит, и жажда горло ест,
И жгут мне спину оводы и плети –
Но мученики двух тысячелетий
Плечами подпирают этот крест.

Это – все из той же главной поэмы, которой завершается книга.

Дело не в идеях, не в том, чтобы человек был безгрешен, неспособен поддаться искушению. Запредельный героизм – только схема. А живой проверяет себя в жизни. Пустыннику, удалившемуся от всех соблазнов, проще жить. Проще, чем тому, кто сталкивается ежеминутно с искусом и все же остается собой:

Как манят тридцать сребреников! Руку
Протянешь и отдернешь. Но Иуду
Семь раз предашь анафеме за то, что
Он руку протянул и не отдернул.

Вот тут и видно бердяевское понимание свободы: она дана (или несотворенно существует) для того, чтобы понятие в ы б о р стало синонимом понятию л и ч н о с т ь.

А там, где люди этой благодати выбора лишены, –

И больше нету грешников на свете,
Но – Господи – и праведников нет!

Нивелировка, стадное единение, равенство – все эти синонимы противостоят понятию с в о б о д а. А свобода – это персональная ответственность, д о б р о в о л ь н а я ответственность за все. Это звучит и в короткой новелле, написанной белым стихом, «Епископ был убит из арбалета», и опять-таки все в той же поэме:

Не лгите мне, не я распял Христа...
Я даже не сколачивал креста,
Я даже не выковывал гвоздя,
И не смеялся, мимо проходя...

И все же – ответственность не исчезает, она давит, она отличает человека от робота,

Я даже и в окно не поглядел,
Я просто с л ы ш а л, как народ гудел...

Вот почему мне представляется, что поэма «Заплачу о неверии своем» – центральная не только в этой книге, в этом томе избранных стихотворений Льва Друскина, но и во всем его творчестве...

В. Бетаки

КАНОНИЗАЦИЯ ДОСТОЕВСКОГО

К чтению этой книги я приступал без особого доверия. Ее автора – Игоря Волгина, весьма заурядного в прошлом поэта, я в свое время хорошо знал и, по правде говоря, не ожидал от него ничего сколько-нибудь сверхординарного. Но, как у нас

Игорь Волгин. Последний год Достоевского. М., «Советский писатель», 1986.

говорят, не знаешь, где найдешь, где потеряешь. С первых же страниц книга захватила меня не только своими несомненными литературными достоинствами, но и абсолютно необычным в советском достоевсковедении толковании значения этого писателя для современного советского общества.

Судите сами. Беру наугад несколько разрозненных цитат из этой поистине знаменательной книги:

«Часто различные по своему историческому содержанию понятия обозначают одинаковыми словами.

Русские революционеры конца 1870-х годов именовали себя террористами. Так же именуются ныне те, кто сделал террор универсальным орудием своей слепой и нечистой игры.

Между тем ни исторический облик героев „Народной воли“, ни их методы, ни, главное, нравственные мотивы их поступков не имеют ничего общего с практикой современного – как правого, так и левого – экстремизма.

Народовольцы не взрывали железнодорожных вокзалов в часы наибольшего скопления публики, не палили без разбора в выходящую из храма толпу, не захватывали женщин и детей в качестве заложников (они вообще не знали института заложничества), не убивали своих идейных противников (скажем, ругавших их журналистов), они, наконец, не считали, что их метод борьбы – единственно правильный. Они решились на то, на что они решились, лишь после того, как все другие аргументы были исчерпаны. При этом сами народовольцы вовсе не полагали, что вынужденные приемы их борьбы имеют универсальную ценность...

Те, кто предпринимает отчаянные и небескорыстные попытки связать современный международный терроризм с традицией русского освободительного движения конца 1870-х – начала 1880-х, совершают грубую историческую подмену.

„Способ борьбы русских революционеров, – говорит Энгельс, – продиктован им вынужденными обстоятельствами, действиями самих их противников“. Этот способ борьбы был оборонительной мерой против засилья в стране абсолютизма, ответом на „невероятные жестокости“ верхов. Но непригодность и историческая бесперспективность этого метода была „ясно доказана опытом русского революционного движения“.

„Доказано опытом“ – это значит не воспринято умозрительно, а оплачено собственной кровью. Россия преодолела террор и отвергла его задолго до того, как нашлись охотники

в собственных интересах препарировать эту страницу ее истории».

И далее:

«...если пролитие „крови по совести“ (то есть в согласии с внутренним убеждением) допустимо (а именно так полагает Раскольников), тогда в принципе допустимо *любое* пролитие крови, ибо подходящие „убеждения“ всегда найдутся. Убийство может быть оправдано соображениями высшей целесообразности, но от этого само по себе оно не становится моральным актом».

В связи с этим мне вспоминается время, когда я работал над инсценировкой «Бесов» для театра на Таганке. В одном из разговоров с тогдашним Главным режиссером театра Юрием Любимовым я высказал предположение, что рано или поздно советская номенклатура возьмет на вооружение охранительные тенденции великого писателя. И вот гипотеза, казавшаяся еще совсем недавно весьма рискованной, к моему удивлению, находит вдруг в книге Игоря Волгина «Последний год Достоевского», выпущенной в этом году издательством «Советский писатель», *свое полное подтверждение*.

Собственно, этого и надо было ожидать. Идеологический радикализм Советской России в конце концов переродился в некую разновидность государственного абсолютизма со всеми вытекающими отсюда последствиями: строгой иерархичностью, крайним бюрократизмом и бессознательным стремлением к общественной устойчивости. В такой ситуации естественно возникает необходимость в психологическом самооправдании. Собственная культура, в силу своей идеологической искусственности, уже не в состоянии выполнить эту задачу. Отсюда возникает закономерное тяготение к прошлым образцам и традициям.

На первый взгляд, книга Игоря Волгина целиком отвечает этому стремлению, а может быть, и продиктована им. Но, как всякий талантливый исследователь, он, сказав «а», уже не может не сказать «б», анализируя не только следствия, но и причины извечной русской дилеммы «народ и власть». Автор в высшей степени убедительно доказывает, что, будучи сторонником самодержавия и непримиримым врагом революционного радикализма, Достоевский постоянно указывал власть предрежащим на ту пропасть, которая отделяет их от собственных подданных, и призывал правительство к едине-

нию с народом во имя общенациональных интересов и будущего России.

В этой части книга, в особенности в главе девятнадцатой, в разделе «Чудеса политической экономии», откровенно переключается с «Письмом вождям» Александра Солженицына.

«В последнем „Дневнике писателя“, – указывает автор, – Достоевский тоже рассуждает о проблемах экономических. Он предупреждает, однако, что его „окончательный вывод“ может вызвать смех у неподготовленного к таким парадоксам читателя...

Призыв к „оздоровлению корней“ – лейтмотив последнего „Дневника“. Ни отмена соляного налога, ни „ожидаемая великая реформа податной системы“ и никакие другие экономические усовершенствования не способны, по мнению Достоевского, вывести нацию из тупика. Все это лишь паллиативы, „нечто внешнее и не с самого корня начатое“.

Но с чего же начать?

„Оздоровление корней“ надо начинать с человека. Обращаться же исключительно к мерам административным – это, по Достоевскому, ставить телегу впереди лошади. Никакие экономические усилия сами по себе не принесут устойчивых плодов, если не изменятся исполнители. Но если „восстановится“ человек – воспрянет и экономика, и финансы умножатся. Чтобы поднять народное хозяйство, следует прежде всего оздоровить моральный климат».

Знаменательна в книге и острая полемика с легальным русским либерализмом, в которой отчетливо прослеживается параллель с современностью:

«Русский либерализм западнического толка – внешне достаточно импозантный и сохранявший, на первый взгляд, прочные общественные позиции – был величиной довольно условной, подверженной колебаниям государственного климата. Он не обладал ни единой идеологией, ни претерпевшими гонения идеологами (без чего в России невозможен сколь угодно серьезный моральный авторитет). Исполненный благородных и высокоинтеллигентных стремлений, он никогда не мог соотнести их с той темной, тяжелой, непредсказуемой стихией, которая глухо ворочалась в исторической мгле, именуемой народной жизнью. Модель, предлагаемая либералами, не затрагивала этих глубин: в ней отчетливо обнаруживались черты корпоративного эгоизма. „Стихия“ не принималась в

расчет: разумелось, что она может быть упорядочена и управляема с помощью „нормальных“ парламентских процедур. Страшась эксцессов как правого, так и левого толка, русский либерализм никак не мог нащупать собственную точку опоры и внутренне был всегда готов поддержать существующую власть – как меньшее из зол. Не приуроченный к реальному политическому действию, он стремился избежать и потрясений духовных: недаром так тщательно обходились все „мировые“ вопросы. Ставя перед собой весьма умеренные и, казалось бы, вполне достижимые цели, российские либералы не заботились об их нравственном „глобальном“ обеспечении: в России такое пренебрежение никому не проходит даром.

Следом за Достоевским автор усматривает выход из создавшегося в стране положения не в подспудном противоборстве между правительством и легальной оппозицией и, конечно же, не в радикальном вмешательстве в общественный процесс оппозиции подпольной, а прежде всего в поисках кровных связей с народом и опоры на его силу и взаимопонимание. С этим можно соглашаться или не соглашаться, но в свете нашего исторического опыта от этого было бы непостижительно отмахнуться.

По моему глубокому убеждению, прекрасная книга Игоря Волгина «Последний год Достоевского» – куда более веское свидетельство о глубинных процессах, происходящих сегодня в нашей стране, чем все пустопорожние разговоры о «перестройке», «ускорении» и «литературных сенсациях» вместе взятые.

Уверен, что официальная канонизация Достоевского в Советском Союзе чревата для всех нас и в первую очередь для самого советского общества самыми неожиданными последствиями.

Владимир Максимов

ЛИРИКИ, МЕЧТАТЕЛИ, МЫСЛИТЕЛИ...

После революции, в результате последовавшей за ней эмиграции, русских литераторов и поэтов набралось в Париже чрезвычайно много. Микрокосм – плеяда одаренных, порой

Кирилл Померанцев. Сквозь смерть. Лондон, «Оверсиз», 1986.

благородных, порой героических лириков, мечтателей, мыслителей. Они совмещали художественную интуицию – порой – с невежеством. Прикрывали античной томностью немочь от недоедания. Жили странной сибаритской жизнью, в вещественной нищете и духовной неге. И беспечно скользили русские музы в прозрачной среде меж не видящих их европейских стран, для питомцев этих муз отвердевавших лишь при столкновении с присутственными местами...

«Есть таинственная, почти физическая связь между смертью и любовью в ее высшем проявлении; и та, и другая поднимают человека до ЧЕЛОВЕКА», – говорится в книге воспоминаний Кирилла Померанцева.

Автор этой книги принадлежит к старшему поколению русских зарубежных литераторов. Кирилл Димитриевич Померанцев, которому сегодня уже 80 лет! – старейший сейчас сотрудник газеты «Русская мысль». На страницах этой газеты в течение нескольких последних лет регулярно появлялись эти очерки К. Померанцева – во славу дружбы и уважения к «парижской плеяде».

Всю свою жизнь автор составляет коллекцию – замечательных людей: лириков, мечтателей, мыслителей. Создававшие особый, неповторимый облик русской интеллектуальной диаспоры, они, при полярности идей и мировоззрений, как бы сообща формировали художественный вкус и мировоззрение этой диаспоры, и в том числе автора мемуаров. Наполнили его душу особым т е н е в ы м светом. Свет этих теней он и стремится, с помощью воспоминаний, сделать как можно протяженной.

Память поэта создает портреты, озаренные вечной разлукой. Никого из его «героев» уже нет на свете.

«Много мне приходилось встречать в жизни интересных людей, – пишет в предисловии автор, – одних кратко, других – годами, с некоторыми дружить. Но вот, когда они проходили через мою жизнь, я, понимая их значительность, даже гордясь перед самим собой знакомством с ними, чего-то в них не разглядел, чего-то не вместил...» «Но приходила смерть...»

И вот из руки автора в дар протянут букет: «цветы зла»; московско-петербургские, элитарно-тепличные и, как оказалось, способные выжить в промозглом изгнание. Остаться, вопреки всему, в эмигрантском сиротстве – лириками, мыслителями, мечтателями.

Годами скитался по их орбите автор нынешней книги. Учился у них, восхищался, чуть не поклонялся. Они были его богами и учителями, «мэтрами и эталонами» – Георгий Иванов и Георгий Адамович, главные герои его «романа с жизнью».

Простой и печальный рассказ-эпизод: они идут вдвоем с Георгием Ивановым купить чего-то, наверно, хлеба, колбасы, сыра. «О чем говорили, не помню, – пишет К. Померанцев. – Вернее, ни о чем: то, что тогда было главным, и так было ясно». Скупно сказано – но как точно по настрою!

«То, что мне хочется, – продолжал автор, – это разрушить легенду о Георгии Иванове – грубияне и цинике, потому что грубость и цинизм служили лишь прикрытием его внутренней незащитности, боли, обнаженной раны... Крепкая броня, которой он прикрывал свой внутренний мир, который затем преобразился в одни из лучших когда-либо написанных на русском языке стихов – глубоких, точных, музыкальных:

Я верю не в непобедимость зла,
Но только в неизбежность поражения».

В книге «Сквозь смерть» – лица недавнего, чуть не вчерашнего дня. Все еще нашего времени. Лицо Одарченко; лицо Суварина; лица Шагала, Гингера, Смоленского. Лица, глядящие из строк и с фотографий. Эти портреты могут быть красивыми, могут быть некрасивыми, даже уродливыми – все равно они прекрасны, потому что озарены памятью создателя. И кажется, что он рукой прикрыл от ветра огонь свечи, вызывающий из полутьмы эти лица – лириков, мечтателей, мыслителей, проявляющиеся с наглядной призрачностью, как в зеркалах. «Настоящее присутствие человека начинается лишь после его смерти», – повторяет автор слова своего друга, христианского экзистенциалиста Габриэля Марселя.

Не так-то легко «сосватать» постороннему образ твоего близкого; этим и объясняется неуспех некоторых мемуаров. Но иногда сквозь сиюминутный узор мелькнет контур вечности – и вот уже мы, привставая на цыпочки, силимся заглянуть в щелку занавеса, расслышать голос, читающий стихи, от которых, бывало, заходилась в аплодисментах переполненный зал!

Послание нашло адресата.

Есть в книге К. Померанцева и рассказ о парижских встречах с приезжавшими сюда Твардовским и Сурковым. «И Твардовского, и Суркова я ощущаю как двух глубоко несчастных людей, – говорит автор. – За все наши встречи я не помню ни у одного из них хоть минутной откровенно радостной улыбки или искреннего смеха. Но – ни первого, ни второго я судить не могу и не хочу: не судите, да не судимы будете».

Скромно отступает автор к кулисам, уступая место под юпитерами очередному «другу-премьеру». Всегда в его воспоминаниях слышится: «Георгий Иванов – и я»; «Одарченко – и я» и т. д., никогда – наоборот. А между тем Кирилл Померанцев – превосходный поэт. Тонкий, точный, лиричный. Но – о поэзии Померанцева надо писать особо. А тут лучше просто привести стихи, которыми поэт оканчивает эту книгу:

Взошла луна. В сиянии ночном
Безмолвна необъятность океана,
Как будто благодатная нирвана
Сошла на мир с его ненужным злом,

Как будто мир блаженно поживает,
Не ведая, что сам в себе таит.
Так человек: он то – что он скрывает,
О чем он никогда не говорит.

Книга Кирилла Померанцева «Сквозь смерть» – величинной с небольшой блокнот для записи. Даже обложка в клеточку, как в блокноте. Но очерки из этой небольшой, не похожей на многотомные мемуары книги обладают таким свойством: с помощью Мнемозины-памяти и вымысла – ее легкого востового, с помощью любви, наконец, они дают читающему возможность услышать – «сквозь смерть» – неумолчно шумящую, щемящую парижскую ноту.

Кира Сапгир

О КАТЫНИ В ГЕРМАНИИ

Младшие поколения граждан Федеративной Республики Германии и значительная часть средств массовой информации в этой стране страдают потерей исторической памяти. Особенно поразительно это в отношении катынского преступления, вину за которое те, кто в действительности совершил преступление, и их союзники неизменно стараются возложить на «гитлеровцев»; в первые же дни после открытия массовых могил в Катыни советское радио утверждало, что преступление совершено «немецко-фашистскими палачами летом 1941 года» (массовые убийства совершены советским НКВД в апреле 1940-го, немецкие войска заняли эти места в июне 1941-го – отсюда возникла советская «датировка»). Новую (безуспешную) попытку мошенничества советская сторона предприняла на Нюрнбергском процессе, а последняя (на сей день) фальшивка в длинном списке – это воздвигнутый в 1985 году на варшавском кладбище Повонзки памятник с надписью «Польским воинам – жертвам гитлеровского фашизма, погребенным в земле Катыни». Катынское дело (отвлекаясь от специфического немецкого отношения к нему) – единственный в истории случай, когда представители западноевропейских государств могли своими глазами увидеть доказательства советского массового уничтожения людей и народов.

В ФРГ «Катынь» – тема, которой избегают, что трудно объяснить комплексом, доставшимся от лет национал-социализма, или чувством вины за то, что Германия начала Вторую мировую войну. Это была (и по-прежнему таковой остается) сознательная политика «необострения отношений с Советским Союзом». Только в этом году в ФРГ издана первая книга о Катыни, принадлежащая немецкому историку, – «Правда о Катыни» Хендрика ван Берга. Предыдущие монографии, публиковавшиеся в Западной Германии: Ю. Мацкевича, Я. К. Заводного, Л. Фитцгиббона, – все были переводные.

Годы замалчивания приносят проценты, историческая амнезия превращается в опасное невежество, которое про-

Hendrick van Bergh. Die Wahrheit über Katyn. Der Massenmord an Polnischen Offizieren. Zusammengestellt nach amtlichen Materialien, Dokumenten und Akten. Mit einem Vorwort von Prof. Friedrich August Frhr. von der Heydte. Berg-am-See, Kurt Vowinkel-Verlag, 1986.

являют уже не одни только молодые немцы, сражающиеся против «американского империализма» и ядерной энергии, но и редакторы серьезных газет. Понятие «Катынь» – символ советской жестокости – теряет в ФРГ всякое значение. «Свыше половины сегодняшнего населения Германии, – пишет ван Берг, – имеет самое туманное представление о том, что вообще значит слово „Катынь“». В статье проф. Готхольда Роде, написанной после смерти Юзефа Мацкевича для газеты «Франкфуртер альгемайне», редакция превращает «апрель 1943» (дату открытия катынских могил) в «апрель 1983», а число «свыше четырех тысяч» обнаруженных там трупов – в «свыше четырехсот»...

Однако и замалчивание Катыни (вступительную главу своей книги ван Берг озаглавил «Qui tacet, consentit») для коммунистов недостаточно, и генерал Ярузельский воздвигает на Повонзках вышеупомянутый «катынский» памятник, навязывая этим немецкой стороне неудобную тему. Только после запроса, который сделал в бундестаге депутат от ХДС Штокхаузен, государственный секретарь западногерманского МИДа Юрген Мёллеман дал объяснение, что «правительство Федеральной Республики на пути постоянных контактов информировало власти ПНР о том, что надпись на памятнике в Повонзках встретила в ФРГ непонимание и критику». В том же духе ответил канцлер ФРГ Хельмут Коль на письмо главного редактора журнала «Дейчланд-магазин» Курта Цисля (примеры «тихой дипломатии», которая была разработана за время правления коалиции социал-демократов и свободных демократов и со всем инвентарем принята в наследство нынешней коалицией).

А пресса? Серьезный историк, давая интервью газете «Вельт», не вполне сумел назвать основную литературу о катынском деле, хотя она и существует на немецком языке. Западногерманская пресса не заметила (или не захотела заметить?) любопытного совпадения: в тот самый момент, когда на Повонзках резцом высекали ложь о Катыни, советскую версию преступления «освежило» Агентство печати Новости.

Вскоре после воздвижения памятника мы, группа поляков, живущих в ФРГ, опубликовали заявление, в котором оценили этот памятник как «наиболее отвратительный символ лживости властей ПНР». Сообщая о нашем заявлении, редак-

ция ежемесячника «Студент» («freiheitliche Zeitschrift für Politik, Kultur und Gesellschaft» – причем freiheitliche в данном случае должно означать «антикоммунистический») иллюстрировала его снимком советского памятника в Хатыни с подписью... «Katyn-Denkmal bei Minsk». А ведь в редакции несколько людей с докторской степенью... Правительственная же Bundesprüfstelle für Jugenderfahrende Schriften опубликовала информационный листок, где была перепечатана статья из газеты «Тат», в которой черным по белому утверждалось, что приписывать катынское убийство Советскому Союзу – это «геббельсовская ложь» (!).

Воздвижение памятника на Повонзках и отклики на это в Германии оказались для Хендрика ван Берга главным стимулом для написания книги о Катыни. В наше время историк, занимающийся новейшей историей, нередко вынужден владеть мастерством разведчика и следователя. Ван Берг как раз обладает подобной квалификацией, издавна занимаясь тем, что французы называют l'histoire 'clandestine. Он выпустил несколько книг о шпионаже и диверсии на территории ФРГ и о переходе на западную сторону коммунистических агентов. Кроме того, он радио- и телевизионный журналист, автор ряда передач на те же темы.

Значительную часть книги ван Берга занимает репринт «Amtliches Material zum Massenmord von Katyn» – необходимое напоминание этого основного фактографического источника, практически недоступного в немецких библиотеках. Ван Берг публикует также обширную фотодокументацию и обрисовывает дальнейшую судьбу катынского дела: Нюрнбергский процесс; предпринятая в 1946 году швейцарскими коммунистами попытка дискредитировать проф. Навиля, швейцарского члена международной комиссии, изучавшей преступление; убийство в Кракове адвоката д-ра Мартини, который уже после окончания войны вновь подтвердил вину Советского Союза; наконец, «опровержение», сделанное другим членом комиссии, д-ром Марковым из Софии, после того как в Болгарии к власти пришли коммунисты.

Автор также напоминает о советской попытке «заменить» Катынь Хатынью и приводит факсимиле статьи из французского ежемесячного журнала «Эст-Уэст», редакция которого, в свою очередь, воспользовалась текстом Здислава Руража, помещенным в «Каунтерпойнт» в 1985 году. Тут сле-

дует напомнить, что эта манипуляция была описана еще раньше, притом со всеми нюансами транскрипции белорусских названий в западных языках. О действительной цели устройства «мемориала» в Хатыни писал Юзеф Мацкевич в 1974 году в «Мюнхнер меркур», сразу после того, как президент Никсон сделал запись в хатынской книге отзывов («Правда» тогда сообщала, что президент был «глубоко взволнован»). В 1977 году Мацкевич поместил статью на ту же тему в швейцарском журнале «Цайт-билд». И, наконец, Петер Загер описал манипуляцию «Катынь-Хатынь» как пример советских «активных мер» в своей книге о дезинформации (Берн, 1981). (В русской прессе об этой манипуляции писали Б. Вайль и Н. Горбаневская в «Русской мысли». – Р е д.)

Книгу ван Берга заключает авторский эпилог, в котором обнаруживается тенденция к несколько упрощенному мышлению о положении в Польше, распространенному в Германии: с одной стороны, коммунисты, с другой – Валэнса и Польская Церковь. Между тем, это не всегда противоположные стороны политической баррикады... Например, остается непонятной ссылка на высказывания кардинала Глемпа как на «возможную развязку катынского дела». Как раз издаваемый во Франции под покровительством Примааса журнал «Знаки часу» («Знаки времени») единственным из всех польских изданий свободного мира указал в заметке об убитом в Хатыни поэте Владиславе Себыле дату смерти в соответствии с советской версией – 1941. Неоднозначность отношения Польской Церкви к катынскому делу не нова, чего, кажется, ван Берг тоже не заметил. Все началось с подчинения в 1964 году паптырской опеки над эмиграцией Примаасу Польши, связанному с правительством ПНР подписанными соглашениями. Именно тогда делегат Примааса по делам опеки над эмиграцией впервые отказался отслужить панихиду за души злодейски убитых в Хатыни. Так же поступил и Папа Иоанн-Павел II в 1979 году, о чем писал Ю. Мацкевич в послесловии к последнему немецкому изданию своей книги о Хатыни (Франкфурт-на-Майне, 1983). К тому же, кардинал Глемп – не лучший авторитет в делах польско-немецкого примирения: вряд ли делу этого примирения послужили его высказывания о немецком меньшинстве в Польше и о богослужении на немецком языке для этого меньшинства.

Обязательный Валэнса появляется в эпилоге книги ван Берга для объяснения, кто такой ксендз Хенрик Янковский («духовник Валэнсы»), которого, в свою очередь, ван Берг цитирует по его интервью для журнала «Бунте»: «Вымолим русских из нашей страны неустанной молитвой». М-м-мда... Ван Берг добавляет от себя: «Аминь! Пусть не забудут забрать с собой (свою) „правду о Катыни“», – бездумно переваливая вину за Катынь с советской системы на «русских» (Сталин, как известно, русским не был...). Валэнсу же я процитирую сам – если доверяться интервью в «Вельте»: «Не могу отрицать, что Ярузельский – патриот». Интервью было дано осенью 1985 года, через несколько месяцев после установки на Повонзках очередного доказательства «патриотизма» Ярузельского...

Будет ли ценная (несмотря на вышеупомянутые недостатки) книга ван Берга хотя бы в какой-то степени лекарством от потери исторической памяти? Вероятно, в очень небольшой, учитывая, что за несколько месяцев, прошедших с момента ее публикации, появилась лишь одна рецензия – в местной газете в Ландсхуте, где живет автор.

Томаш Мянвич

ЧЕЛОВЕК ДВАДЦАТЫХ ГОДОВ

О двадцатых, тридцатых, сороковых годах, казалось, написано всё. Больше писать нечего. И вот снова и снова появляются книги. И раскрываются всё новые и новые стороны пережитой страшной эпохи. Впрочем, пережитой ли?

О крепостном праве стали писать в конце XVIII века. А. Н. Радищев – Колумб антикрепостнической литературы. А последние книги об эпохе крепостного права появились почти через сто лет – сочинения М. Е. Салтыкова-Щедрина «Господа Головлёвы», «Пошехонская старина». Писарев упрекал Салтыкова-Щедрина за то, что он пишет на архаические темы (см. статью «Цветы невинного юмора»). Действительно, многим казалось, что после Радищева, Тургенева, Аксакова – что еще

Варлам Шаламов. Воскрешение лиственницы. Париж, ИМКА Пресс, 1985.

можно сказать об этой эпохе? Оказалось не так. Без Щедрина мы бы не узнали и половину того, что знаем теперь о крепостном праве.

Перед нами только что изданная книга: Варлам Шаламов «Воскрешение лиственницы». Варлам Шаламов войдет в историю русской литературы как автор потрясающих «Колымских рассказов». Но последней своей книгой он почти превзошел себя.

* *
*

Историки XIX века любили классификацию по десятилетиям. Прочно вошли в научный и бытовой жаргон термины: человек шестидесятых годов и т. д. Потом эта классификация была высмеяна и оставлена. А зря! В XX веке она гораздо более необходима. Люди начала века и люди двадцатых годов XX века – это люди с разных планет. Еще большее различие между людьми 20-х и 30-х, людьми послевоенных сталинских лет – и людьми пятидесятых, шестидесятых и семидесятых («диссиденты» – «диссидентствующие»). И так вплоть до наших дней.

Если говорить о Варламе Шаламове, то это человек двадцатых годов в чистом виде. И его «Воскрешенная лиственница» – зеркало двадцатых годов. Он сын священника из Вологды. Священника-обновленца. Я хорошо помню статьи его отца о Вологде в журнале «Церковное обновление», издававшимся в Рязани под редакцией просвещенного Владыки Михаила Попова в 1925-26 годах. Это был «лейб-орган» моего учителя, обновленческого митрополита Александра Введенского. Статьи протоиерея о. Тихона Шаламова представляли собой исторические изыскания о Вологодской епархии. Они уже тогда меня поразили. Как-то совершенно не чувствовалось, что это пишет священник. Обширный исторический материал, резко отрицательный тон при характеристике вологодских архиереев и духовенства. И ни одной крупинки религиозного чувства. Произведения обновленческого священника 20-х годов. Ни до, ни после этих лет ни в одном церковном журнале не могли появиться такие изыскания и такой священник в качестве одного из авторов. И вот теперь узнаю: это был отец прославленного писателя.

В своей последней книге Варлам Шаламов подробно рассказывает о детстве, о родителях, о семье. Всё почти не обработанное, не отредактированное – сырой материал. Почти все главные события излагаются в нескольких вариантах. Но в этом достоинство книги: она производит впечатление чего-то непосредственного, как бы пишется у нас перед глазами. При повторении одно и то же событие обрастает всё новыми и новыми деталями. И в каждом слове, в каждой строчке чувствуется яркий талант. Вы становитесь как бы соавтором, соучастником писателя. На ваших глазах создаются образы.

Я всегда любил недописанный и не отредактированный 2-й том «Мертвых душ» больше классического первого. Сохрани меня Бог от кощунства: ставить рядом книгу русского гения с произведениями талантливой, но, в общем, среднего писателя, его наброски с гениальными страницами Николая Васильевича. Но в чем-то (с учетом разницы в масштабе и таланте) недавняя книга Шаламова напоминает 2-й том «Мертвых душ». Та же неотделанность, та же большая лихорадочная речь и то же соединение комического с трагическим. Грязь жизни и катарсис-очищение. Соединение пошлости со слезами. Смех сквозь слезы. Или, точнее, наоборот. Слезы, слезы, слезы – и больной истерический смех. И в этом эпоха. Лучше выразить нельзя эту больную, переломную эпоху, которую ныне уже помнят немногие, но которая отразилась во всех без исключения русских людях, независимо от того, сознают или не сознают они это.

* *

*

Отец семьи – священник. Но впечатление, которое я получил от его статей полсотни лет назад, подтверждается. Это прежде всего провинциальный интеллигент, либерал начала века, публицист, деятель. Большую часть своей жизни он провел на Алеутских островах в качестве миссионера. Но он только между прочим священник и миссионер. Варламу Шаламову – неверующему человеку, хотя и поповичу, удастся нащупать слабое место либерального направления Русской Церкви XX века, которое мешало проникать этому направлению в широкие массы верующих. Все деятели этого направления (за

исключением мистика Александра Введенского и некоторых других) были только между прочим священниками. Главным образом они были либеральными народниками, чисто светскими деятелями. Таков был и наиболее известный представитель русского церковного либерализма о. Григорий Петров.

И мать – безропотная труженица. Она когда-то окончила гимназию. Она любила поэзию и знает множество стихов, но, мать пятерых детей, хозяйка большой семьи, она завязла на кухне. Накормить в голодное время семерых, обшить, обмыть – это тяжелый крест. В скупых словах, избегая проявления чувств (сын попа-рационалиста больше всего боится впасть в чувствительность), Шаламов рисует трогательный образ отяжелевшей, располневшей, потерявшей всякое очарование женщины с грубыми, корявыми руками и золотым сердцем.



Итак, семья Шаламовых. Недавно в прошлом Гражданская война, жестокие чекисты-палачи, ночные обыски и расстрелы, расстрелы, расстрелы. И у всех, у каждого на лицах «кровавый отблеск».

Старший брат, Сергей Шаламов. Король вологодских пацанов, охотник. Любимец отца, любимец матери. И Варлам пишет о нем с затаенной нежностью. Умер он в двадцать два года. Убит, будучи бойцом Красной Армии. Бывали такие юноши-бурсаки. У Помяловского таких можно встретить. Их прототип – Алеша Попович. Таков Сергей Шаламов – рыбак и охотник, драчун и солдат.

У Варлама с детства была любимая книга, роман Бориса Савинкова «Конь блед». И не случайно: и его брат Сергей, и сам Варлам рождены для савинковских дружин – смельчаки, умельцы, силачи. Люди умом пытливые, независимые. Любители приключений, авантюристы (но не в плохом смысле, а так, как понимали это слово в эпоху ренессанса), молодцы и удалцы. Недаром любимым чтением Варлама наряду с Савинковым с детства были Купер, Конан-Дойль, Дюма.

И другой брат. О нем пишет Варлам: «Старший мой брат был ничтожеством. Отец совершенно подчинил его волю

своей». И вышел мягкий, подленький человечек. Офицерик во время войны. Переход на сторону красных. Затем дезертир. В советское время – стукач. Публичное отречение от отца-священника с опубликованием в газетах. После смерти отца приезд в Вологду. За наследством. Получил золоченую цепочку от наперсного креста у нищей вдовы – своей матери.

И сестры – несчастные женщины. Одна вышла замуж за пьянчужку, другая уехала на юг. Родителям оттуда раз в год посылка – вишни, обычно сгнившие в дороге.

Варлам не таков. С детства любитель чтения. Глотатель книг. Отец предостерегает его от такого поверхностного чтения. Отец оказался прав. Шаламов так и остался недоучкой. С поверхностными знаниями или, точнее, вообще без всяких знаний. В его книге, что ни страница – то грубая ошибка. Причем есть ошибки совершенно анекдотические. Так, в двух местах своей книги он утверждает, что освободителем крестьян был... Николай I. На странице 43 мы находим фразу: «...в двадцать лет не сделал ничего для бессмертия, как король Дон Карлос у Шиллера». Как известно, Дон Карлос, которого изображает Шиллер в одноименной пьесе, во-первых, никогда не был королем, а лишь инфантом, т. е. наследником престола. А затем фраза о восемнадцати (а не о двадцати) годах и ничего не сделанном для бессмертия принадлежит Александру Македонскому – она упоминается у Плутарха. Ее цитирует Герцен в «Былом и думах». Оттуда, вероятно, эту фразу и узнал Шаламов. А потом перепутал. И, что самое невероятное, сын вологодского священника не знает ни о Вологде, ни о Церкви самых элементарных вещей. Так, в одном месте он говорит, что якобы Курбский писал свои письма Грозному, сидя в Вологодской крепости, – на самом деле Курбский никогда не был нашим с Варламом коллегой-заключенным, он никогда не сидел в тюрьме, а благополучно добрался до Литвы и оттуда писал Грозному свои послания, будучи в полной безопасности, владетельным князем.

Все эти ошибки очень характерны, такими были комсомольцы двадцатых годов: взбудораженные, малограмотные и ищущие. И другие представители тогдашней молодежи – все такие: молодые эсеры и выпускники обновленческих академий (а других православных духовных академий тогда не было), молодые сектанты и выдвигенцы из рабочих. И особенно много было этих романтиков двадцатых годов среди

троцкистов. Более того, вся троцкистская молодежь была такая. И о ней писал Троцкий, что она является «барометром революции».

Шаламов мастерски схватил дух своего времени и сумел талантливо отразить его в своей книге. Он слушал Троцкого, и Бухарина, и Луначарского. Всех властителей дум того времени. И особенно много он пишет об обновленческом митрополите Александре Введенском. Правда, и здесь допускает грубые ляпсусы. Ну, вот, например: «Митрополит Александр Введенский, приятель отца, пользуясь своим правом епископа, причел к лику святых свою мать». Любой человек, не совсем чуждый Церкви, поймет дикую нелепость этого сообщения. Во-первых, епископ не имеет никакого права кого-либо причислять к лику святых. Интересующихся отсылаю к моей книге «Два писателя» (глава «Ожидание находки», стр. 197, и «В литературном зеркале» о творчестве Вл. Максимова, 1986 г., стр. 144). Да и фактически это неверно: в действительности митрополит Александр Введенский, пользуясь правом епископа, причел свою мать Зинаиду Саввишну к лику не святых, а блаженных. «Блаженный» – это не святой. О нем служат панихиды, поминают за упокой. Епископ, причисляя то или иное лицо к лику блаженных, желает отметить его выдающиеся нравственные качества. В основном, однако, страницы, посвященные Александру Ивановичу Введенскому, имеют большую историческую ценность. На примере судьбы своего учителя, митрополита Александра Введенского, я вижу всю суетность званной славы.

Варлам Шаламов очень хорошо и правильно отражает ту огромную популярность, какую имели диспуты с участием Александра Ивановича Введенского, с которым Шаламов имел эпизодические встречи. Его мягкость и любезность с молодежью. Его мистический порыв во время богослужения. Причем здесь Шаламов правильно отмечает значение того, что обновленческий митрополит не был человеком из духовной среды. Он пришел в Церковь исключительно благодаря своему мистическому порыву. Несмотря на свои некоторые слабости, он до конца своих дней оставался глубоким мистиком, пламенно верующим христианином и гениальным оратором.

Судьба Шаламова также характерна для людей той эпохи. Люди 20-х годов – все без исключения революционеры. Здесь

речь идет не о тех или иных доктринах. Революционерами, людьми, ищущими новых путей, были тогда решительно все, люди всех убеждений и направлений, даже если они были монархистами. По своему темпераменту революционером был и вологодский попovich Шаламов. И отсюда его приверженность к Троцкому, ссылка, заключение и одинокая смерть в Москве, в захламленном помещении.

К последней книге Шаламова приложен ряд рассказов. Из них лучший рассказ – «Белка». О том, как белка боролась со всем городом. Рано утром белка пробралась лесом в Вологду. И в глухом провинциальном городишке – сенсация. Чуть не половина города устремилась на охоту за белкой: тут и вездесущие мальчишки, и взрослые обыватели, и солидные вологодские мещане, лавочники и мастеровые. Но белка не сдаётся, она перескакивает с дерева на дерево, с крыши на крышу под градом камней и улюлюканье обывателей. Пока в конце концов не падает с дерева убитая. Ее поднимают и осматривают. Она мертва. Ее убили, но в руки врагам она не далась.

По силе этот рассказ напоминает лучшие новеллы Джека Лондона. И написал этот рассказ революционер по духу, человек 20-х годов, русский писатель – Варлам Шаламов.

А. Краснов

ОТ МГЛЫ К СВЕТУ

В сегодняшней России о. Павел Флоренский – один из популярнейших авторов. Есть даже ученики о. Павла (которые его, конечно, никогда не видели), есть целые группы и школы последователей Флоренского полуполюгального толка, есть всеобщее поклонение и восхищение, особенно со стороны неопитов. Когда-то Бердяев обвинил Флоренского в излишне субъективном, психологическом подходе к проблемам. Сегодня как раз эта «субъективность» и притягивает. В стране, где невозможно прийти к Богу путем обучения или традиции, где не найти ни катехизиса, ни Библии, Бог часто приходит Сам,

Свящ. Павел Флоренский. Собрание сочинений. Т. 1. Статьи по искусству. Париж, ИМКА-Пресс, 1985.

без посредников. Сегодняшние неофиты – это люди, пережившие – часто чудесным образом – *личное* обращение, их отношение к Богу поэтому остается глубоко интимным, когда они находят Церковь, вписывают себя в великую христианскую Традицию.

Отец Павел остро чувствует эту проблематику обращения, переворота души. Для него писать и мыслить – то же, что и молиться. Читателю передается внутренняя сила этой мысли, сила, которую оцениваешь еще и потому, что она у отца Павла соединена с внутренним трепетом и целомудрием. Отец Павел пишет о Церкви с такой пронзительной любовью, что каждый читатель понимает: в дом Отца он входит не по принуждению или привычке – отец Павел гениально и органически вписывает свой духовный путь в общую историю христианства. В сущности так должно происходить со всяким христианином – все мы «царственное священство», все призваны к «гениальной святости».

У отца Павла очень развито православное ощущение освященной плоти, он знает, что христианский подход должен быть подходом наиконкретнейшим, ибо Христос – это жизнь, а абстракции, схемы, общие идеи – смерть.

Отец Павел и в своем богословствовании всегда конкретен, «материален» в лучшем смысле слова: он пишет об иконе, литургии, монастыре. Он открывает, например, что Троице-Сергиевская Лавра – это микрокосм и микроистория России. «Ведь только тут, у ноуменального центра России, живешь в столице русской культуры, тогда как все остальное – ее провинция и окраины. Только тут, повторяю, грудь имеет полное духовное дыхание...» В современной России, где монастырей так немного и где они так ограничены в своих действиях, эти слова отца Павла все же читаются с полным пониманием и восторгом. Сейчас, как и сто лет тому назад, новые ценности создаются не на страницах газет и даже не в ночных дискуссиях неугомонных русских мальчиков – общественное мнение тихо вырабатывается в подвиге молитвенной жизни, в монастырях незримо «рождаются приговоры истории, здесь осуществляется всенародный и, вместе, абсолютный суд над всеми сторонами русской жизни».

Значительное место в первом томе собрания сочинений о. Павла Флоренского занимают работы по иконе: «Моленные иконы Преподобного Сергия», «Обратная перспектива»,

«Иконостас». Остановимся бегло на некоторых основных мыслях о. Павла.

В иконе мы имеем дело с обратной перспективой. Здесь не мы смотрим на мир и на Бога, а Бог смотрит на нас. Прямая перспектива существовала, как известно, не всегда, она «придумывается в области искусства прикладного, точнее говоря, в области театральной техники». «Декорация есть обман, хотя и красивый, чистая же живопись есть, или, по крайней мере, хочет быть прежде всего *правдою* жизни, жизнь не подменяющей, но лишь символически знаменующей в ее глубочайшей реальности».

«Корень перспективы – театр, не по той только историко-технической причине, что театру впервые потребовалась перспектива, но и в силу побуждения более глубокого: театральности перспективного изображения мира. В том ведь и состоит нетрудовое, лишенное чувства реальности и сознания ответственности отношение к миру...» И вместе с тем, в истории искусства и во времена о. Павла, и сейчас, когда у нас господствует социалистический реализм, доминировала и доминирует та точка зрения, что лишь возрожденческая перспектива нормальна и достойна подражания, тогда как средневековая живопись изобличает неумение писать и невежество.

Отец Павел делает далеко идущие обобщения: «Сейчас не место устанавливать или даже разъяснять связь возрожденческих сладких корней с кантовскими горькими плодами. Достаточно известно, что кантианство, по пафосу своему, есть именно углубленное гуманитарно-натуралистическое непонимание Возрождения, а по охвату и глубине – самосознание того исторического фона, который называет себя «новым европейским просвещением»... Пафос нового человека – избавиться от всякой реальности... Напротив, пафос античного человека, как и человека средневекового, – это приятие, благодарное признание и утверждение всяческой реальности как блага... пафос средневекового человека – утверждение реальности в себе и вне себя, и потому – объективность. Субъективизму нового человека свойствен иллюзионизм...»

Для Флоренского икона – это живопись поистине реалистическая, иконы – «свидетели на границе видимого и невидимого», они имеют целью вывести сознание в мир духовный, показать «тайные и сверхъестественные зрелища». «Из фило-

софских доказательств бытия Божия наиболее убедительно звучит именно то, о котором даже не упоминается в учебниках; примерно оно может быть построено умозаключением: „Есть Троица Рублева, следовательно, есть Бог“». Позднее Симона Вайль будет говорить о доказательстве бытия Божьего «от красоты».

Рассуждения отца Павла о реализме иконы необычайно актуальны. И не только для православной эстетики. В христианстве и не бывает так, чтобы эстетика существовала отдельно от этики, антропологии, отдельно от жизни.

Два способа художества рожают два способа поведения: реалистический, творческий и иллюзионистский, паразитический.

Начнем со второго: когда художник Нового Времени пишет картину, он (по замечанию отца Павла) идет от светлого к темному, от света к мраку. Он строит образ благодаря ограничению, благодаря отрицанию некоей полноты. Познавание здесь – анализ, разложение, выделение; *omnis determinatio est negatio*.

Путь определения через отрицание – путь европейской рационалистической философии, которая началась с декартовского «*cogito ergo sum*» и пришла к мефистофелевскому прославлению зла как движущей силы истории. Это путь идеологий, он основан на сектантском непризнании «всего остального», на вечной любви-ненависти к врагу. Это также путь паразитический. Отрицается то, что уже дано. Здесь нет возникновения нового, нет творчества. Есть лишь потребление.

Мне кажется, что понятие «общество потребления» вполне подходит не только к современному западному образу жизни, где и экономика, и психология, и реклама толкают человека «покупать». Точно так же нетворчески, потребительски организуется жизнь и в социалистических, восточных странах. Там тоже стараются, чтобы люди оставались паразитами, чтобы они ощущали себя в вечной зависимости, были детьми, чтобы за них думали, делали, предпринимали. Несовершеннолетие – судьба сегодняшнего «среднего» человека и на Западе, и на Востоке. Паразитизм и нереальное, иллюзорное существование тесно связаны друг с другом. Это замечает и отец Павел. Человек-паразит не пробивается к реальности, он вечно играет роли, носит маски, примыкает к партиям и сектам (не обязательно религиозным), он не может быть лично-

стью, потому что не может давать, творить, не может черпать из источника Духа.

Эрих Фромм говорил об альтернативе «быть» и «иметь». Мне кажется, что сегодня важнее говорить о выборе между творчеством и паразитизмом. Ибо тот, «кто имеет, будет иметь еще больше, а у того, у кого нет, отнимется и последнее». Можно и быть в бытии, и иметь бытие. Быть можно лишь тогда, когда ты прикоснулся к источнику бытия и Реальности. И быть можно, лишь будучи творцом, а не паразитом.

Если живописец Нового Времени идет от света к темноте, иконописец, наоборот, идет от мглы к свету, он движется из полноты в полноту, «из силы в силу». В иконе нет теней – «иконописец этим темным делом не занимается и теней, конечно, не пишет». Иконописец изображает «бытие и даже благобытие, тень же есть не бытие, а простое отсутствие бытия...» Иконописец не нуждается в тенях, чтобы изобразить даже ад, как не нуждается подвижник в опыте греха, чтобы понять, что такое дьявол.

Художество этого рода указывает на совершенно особый способ существования: каждый из нас несет в себе образ Божий и потому должен реализовать в себе икону Бога, превратить свое лицо в Лик. Живые иконы – это святые: «Высокое духовное восхождение осиявает лицо светоносным ликом, изгоняя всякую тьму, все невыраженное, недочеканное в лице, и тогда лицо делается художественным портретом себя самого, идеальным портретом, проработанным из живого материала высочайшим из искусств, «художеством художеств». Подвижничество есть такое искусство...»

Нельзя не согласиться с этими мыслями. И все же нельзя и не усомниться в некоторых чересчур резких высказываниях отца Павла, в его окончательном отрицании всей послевозрожденческой культуры. Нельзя, как мне кажется, согласиться, что вся современная живопись, начиная с Джотто, была «сплошь художественной неправдой», только декорацией, забавой и иллюзией. Да, со времен Возрождения в центре культуры встал человек, субъект. Но ведь и этот поворот был христианским, и здесь без Святого Духа никак не обошлось. От Соловьева до Бердяева русская мысль отстаивает полезность возрожденческого «гуманизма». У Бога нет поражений (это высказано отнюдь не в стиле гегелевского плоского оптимизма). Человек Нового Времени со всем его богоборче-

ством, позитивизмом и атеизмом отстаивает свою свободу, свое право на выбор. А это драгоценно Богу, который ждет нашей свободной любви. А для отца Павла вся эта часть истории «во тьме лежит», не преображена. И возникают в уме упреки, сделанные Флоренскому когда-то со стороны Бердяева: «он не чувствует неотступного пребывания Духа в мире», он не говорит о Христе (о Человеческом в Боге), ему «грустно в истории», его христианство ослаблено эстетизмом, оно «суровое и жестокое». (Здесь, конечно, можно заметить, что Бердяев – жертва другой крайности – христианства всепрощающего.)

И в иконе открывается нам не только та Реальность, не только Тот Бог, в иконе открываемся мы сами себе. Икона и трансцендентна и имманентна.

Но при всех возникающих вопросах и замечаниях и сегодня, говоря об отце Павле Флоренском, мы можем лишь повторить слова отца Сергия Булгакова: «Из всех моих современников, которых мне суждено было встретить за мою долгую жизнь, он есть величайший».

Т. Горичева

Новая повесть:

Д. А. Антонов

СЕГОДНЯ

(22 июня 41 – Чернобыль)

Изд-во Чеховград, 1986, 208 стр.

Цена 12 н. м., во всех книжных магазинах

**Катастрофа – как неизбежное и закономерное
последствие тоталитарного режима, отсутствия
информации, свободы.**

Коротко о книгах

ТРИ ЖИЗНИ ОСКАРА РАБИНА

Париж – Нью-Йорк, «Третья волна», 1986

Так названа книга воспоминаний Оскара Рабина, одного из ведущих независимых русских художников. Рассказывать о своей жизни, о близких и друзьях, многие из которых живы, – дело всегда нелегкое. Рабин выбрал спокойный, весьма беспристрастный тон: предпочитая излагать факты, он редко дает оценки людям и событиям.

Свою жизнь Рабин разделил на три периода, три жизни: детство, юношество и начало творческой работы (1928 – 1956); период нонконформизма (1956 – 1978); жизнь в эмиграции, в Париже, начавшаяся в 1978 году.

Многие советские эмигранты воспринимают свой вынужденный или добровольный выезд из СССР как конец одной жизни и начало другой. Для кого-то это, должно быть, верно. Но для Рабина такое деление – чистая хронологическая условность. Читая его книгу, скорее поражаешься цельности его личности, счастливому и редкому свойству его натуры никогда не изменять себе.

Книга Рабина – очень ценный психологический документ для всех, кто пытается осмыслить духовные процессы в среде послевоенной российской интеллигенции. Среди российских диссидентов и нонконформистов есть люди, которые прожили благополучное советское детство и юность (а то и дожили до зрелого возраста, сделав удачную карьеру), а потом, в один прекрасный день, открыли для себя правду о строе лжи. Но есть и нонконформисты от рождения, люди, которые без всякой информации, нутром, с самого раннего детства чувствуют, что вся советская жизнь основана на фальши. К таким нонконформистам от рождения, изгоем, «сталкерам» и принадлежит Оскар Рабин.

В детстве и юности на него свалились тяжелые испытания. Отец умер, когда Оскару было шесть лет, мать скончалась во время войны, когда ему было 13. Мальчик жил один, в замороженной комнате, существуя на жалкий паек, 400 грамм вязкого черного хлеба. Он рисовал, ходил в студию Дома Пионеров, которой руководил духовный учитель многих будущих неофициальных художников Евгений Леонидович Кропивницкий, голодал. Когда ему исполнилось 16 лет, он не пошел в милицию получать паспорт, а отправился зайцем в Ригу,

где жила его тетка по матери. В Риге он по блату получил паспорт, поступил в Академию Художеств, мечтал удрать за границу, потом вернулся в Москву, не выдержал атмосферы в Суриковском, опять приехал в Ригу, подделав печать о выписке из Москвы, дружил с уголовником, в 1947 году еще раз переехал в Москву, оставшись без всяких документов (так как разорвал подделанный паспорт), пытался покончить собой. Он был бродягой и строительным рабочим, десятником на строительстве. И рисовал, рисовал. Он и его жена, художница Валентина Кропивницкая, жили с двумя детьми в старом бараке, питались картошкой, кислой капустой, килькой, хамсой, были счастливы.

Стоит вдуматься в этот рассказ. Почему Оскар не пошел в детдом, почему не захотел получать паспорт, почему не мог учиться в Суриковском, почему мечтал удрать за границу? И так всю дальнейшую жизнь. Бедно, трудно, опасно – но не как все, а как подсказывает чутье, сердце, совесть.

Но если Оскару чутье диктовало неконформистский образ жизни, то толпе, «всем», чутье диктовало ненависть и презрение к чужаку, «не нашему». Его били и дразнили мальчишки во дворе и в ремесленном училище, его чуждались рабочие на стройке и мужики в деревне.

Жизненный неконформизм в сочетании с большим живописным талантом плюс общение с целой группой художников и писателей-единомышленников – так сложился художник Оскар Рабин. Вторая и главная часть книги – это, по существу, история российского живописного неконформизма, рассказанная одним из главных героев этого движения. И хотя многие эпизоды истории неконформизма хорошо известны из других книг и воспоминаний, версия Рабина читается с удовольствием и интересом. Тут и начало «оттепели» в литературе и искусстве накануне Международного фестиваля молодежи, и выставка в Манеже, и первые неофициальные выставки на частных квартирах и в академических институтах, и печально знаменитая бульдозерная выставка, и Измайлово, и деятельность Московского горкома художников-графиков. Но тут – и жизнь самого Оскара Рабина, история его творческого роста, его дружбы с целым рядом художников-неконформистов, преследования и травля со стороны КГБ, арест, высылка на Запад, оформленная как индивидуальная турпоездка с последующим лишением советского гражданства.

О парижском периоде Рабин пишет мало, всего несколько страничек, ибо трудно писать «мемуары» о настоящем. Он много работает, много выставляется, любит Париж и помнит о прошлом. Верный себе, честный человек и честный художник – Оскар Рабин.

Г. К.

ПЕСНИ Ж. БРЕЛЯ И Ж. БРАССАНСА

Перевел Василий Бетаки. Париж, «Ритм», 1985

Франция открылась многим из нас сквозь Жоржа Брассанса и Жака Бреля, двух «побратимов» песни, так непохожих друг на друга, как непохожи были Ван-Гог и Гоген. Имена Бреля и Брассанса идут по истории французской поэзии XX века рука об руку, хотя пели и сочиняли они очень непохоже.

Жак Брель – лирик и романтик. Его поэзия – «на открытом звуке», эмоциональна. Он страдает, радуется, негодует – и отрицает:

Не гони меня!
Можно все забыть,
Можно все простить,
Что смели года,
Злые дни забыть...

Это строки из особенно удавшейся переводчику Василию Бетаки песни Ж. Бреля, которую знаем мы все: «Не гони меня». Василий Бетаки предпринял очень интересную и сложную работу: решил п р и в е с т и к русскому читателю песни Бреля и Брассанса. Скептик Брассанс и на мир глядел по-иному, чем Брель, и пел об этом мире иначе. Брассанс принимает всё: воров и проституток, полицейских и моряков, и мальчишек-хористов, и неверных лукавых женушек... Весь тот мир, над которым (по выражению Беранже) – Бог простых людей:

Я сторонюсь всего, что шумно и публично,
Живу себе в тени, почти что буколично,
Я славе не хочу платить собой оброк,
На лавровых венках я дрыхну, как сурок...

Печаль Бреля и язвительная нежность Брассанса – эти два регистра одинаково сложно переаранжировать для русского читателя стиха. И настоящий артист-переводчик должен проделать невозможную работу – протащить сквозь игольное ушко отечественной лексики «верблюда» чужого, порой вовсе чуждого звучания!

Переводчик – протей. Принимает обличье того, к чему прикоснется. Он, в идеале, должен быть в одном лице Шекспиром и Данте, Кипплингом и Пу Сун-лином. Странно все же, что некоторые переводчики, соприкасаясь с чужим, становятся в этом великими поэтами, не

умея сами для себя написать ни строки. Правда, это не относится к Василию Бетаки. Сам оригинальный поэт, выпустивший много сборников, автор богато оркестрованных ярких стихов, он в Ленинграде руководил целым кружком, которому стремился привить мастерство и любовь к этому удивительному занятию – переводу поэзии. Сам Бетаки переводил массу – оды Шелли и песни Хьюза, Эдгара По и Бодлера, Байрона и Киплинга. Для него поэтический перевод – высокая страсть. Он настоящий «рыцарь перевода», такие появляются пока что чаще всего в России. Ведь в нашем отечестве очень долго был невероятно мизерный приток информации, в том числе и о поэзии – из-за искусственного отторжения от стихии иностранных языков. Знающие языки были редкостью, но зато, из-за этой жажды и нужды в искусстве всего мира, переводческая школа достигла сверхсовершенства! В мире литературного перевода и до сих пор есть неподражаемые образцы – Бенедикт Лифшиц, Лозинский, А. Сергеев.

Василий Бетаки тоже много сил уделяет алхимической перегонке словесного субстрата, стараясь протащить к нам французский ритмический лад, в случае Бреля и Брассанса – страшно непростой.

К этим поэтам, в особенности к Брассансу, уже приступались, и не раз. Пыталась что-то делать Наталья Кончаловская, но попытка была, пожалуй, с негодными средствами... Автору этой заметки тоже, «на слабо», захотелось создать «русского Брассанса» (удалось или нет, судить другим). Во всяком случае, небольшая двуязычная книжка стихов Бреля и Брассанса интересна не только для обычного читателя, но и для переводчика-профессионала, который оказывается как бы вызванным на соревнование.

Оформление книги смахивает серым цветом мягкой шершавой обложки и желтоватыми страницами на конструктивистские сборники стихов, выпускавшиеся в послереволюционной России. На перевод выбраны лучшие из песен Брассанса и Бреля.

Переводы, разумеется, эквиритмические, их можно петь на те мелодии, на которые они сочинены. У Жака Бреля – «на вооружении» «Вальс в тысячу четвертей»:

Что там сто четвертей
Вместо трех четвертей!
Трижды тридцать три сотни
Влюбленных ночей!

Переводчик раскрывает нам не только мир поэзии, но и поэзию мира:

Там Северное море – последним пустырем,
И волны дюн пустынных пусты, как волнолом,
И скалы – тоже волны: обходит их прилив,
Торчат они в отливе, верхушки обнажив,
И без конца туманы, ах, за волной волна,
Когда восточный ветер... Послушай, вот она –
Низинная страна

моя...

(Ж. Брель. Низинная страна)

Певец всегда с Богом запанибрата. Слова «завет, «завещание» – с общим изначальным смыслом. Вслед за ерником Вийоном, вещал-завещал ерник Брассанс:

Я словно ива загрузу,
Когда Господь, отмерив дни,
Мне скажет, хлопнув по плечу:
«Так есть ли Я? Пойди, взгляни!»

(Ж. Брассанс. Завещание)

В своих стихотворных переводах Василий Бетаки блюдет не только дух, но и букву. Это удобно проследить, сличая перевод с оригиналом, помещенным тут же. И, хотя говорил Сервантес, что «перевод как женщина: если верная, значит некрасивая, если красивая, значит, очень неверная», стихи Бреля и Брассанса, невзирая на точность, переведены красиво и даже празднично. Поскольку в данном случае сам переводчик – прежде всего поэт, его собственный поэтический темперамент проявляется, порой придавая переводимому стихотворению свойственные лично самому В. Бетаки экспрессию и задор:

Пускай меня ханжа любой
Последним психом назовет,
Пускай ворчит! Я в мир иной
Отправляюсь задницей вперед!

(Ж. Брассанс)

Перевод – не фото, а портрет. И если заглавие стихотворения Брассанса у Бетаки переводится как «Корешам привет», более захватски, чем в оригинале, оно только усиливает привкус высокой поэзии, маскирующейся под портовую песенку, фригийский лад на блатной мотив:

Я много знал кораблей лихих,
Но лишь единственный из них
Вовеки с курса не сходил –
Привычки нет! –
И все ходил других не хуже
По своей утиной луже
И назывался «Корешам привет»,
Корешам привет!

К. С.

ВНИМАНИЮ РУССКОЯЗЫЧНЫХ ИЗДАНИЙ ЗАРУБЕЖЬЯ!

В последнее время участились случаи перепечатки в русскоязычных изданиях Зарубежья материалов «Континента» без всякой ссылки на источник.

В связи с этим, редакция считает своим долгом предупредить столь бесцеремонных публикаторов, что отныне мы закрепляем за собой право пресекать подобную практику в соответствии с существующими в каждой отдельной стране законами.

Право требовать морального или судебного удовлетворения на местах предоставляется нами нашим официальным представителям, имена которых обозначены на второй странице обложки журнала.

Напоминаем также, что «Континент» разрешает всем русскоязычным изданиям Зарубежья безвозмездные перепечатки из «Континента» только с условием обязательной ссылки на источник.

РЕДАКЦИЯ

Условия подписки на журнал «КОНТИНЕНТ»

На 1 год — 40 н. м.; на 6 месяцев — 20 н. м.

Цена одного номера — 12 н. м.

Пересылка за счет подписчика.

Подписка может быть оформлена в генеральном представительстве «Континента» по адресу:

A. Neimanis · Buchvertrieb
8000 München 40 · Bauerstraße 28 · Germany

а также у корреспондентов журнала (адреса на второй странице обложки) или у представителей «Ассоциации друзей «Континента»:

США: Вост. побережье — Э. Штейн (E. Sztein),
594 Chestnut Ridge Road
Orange, CT. 06477, USA

Генеральное представительство
«КОНТИНЕНТА»

A. NEIMANIS BUCHVERTRIEB
8000 München 40 · Bauerstr. 28 · Germany

СВЕТ ДОБРОТЫ

(На смерть Леонида Ржевского)

Помнится, в конце пятидесятых годов один мой знакомый — студент Московского университета — принес мне первую в моей жизни тамиздатскую книгу, на обложке которой было обозначено: Леонид Ржевский. «И показавшему нам свет». Издательство «Посев».

Книга произвела на меня огромное впечатление. С ее страниц со мной заговорил мир, казалось бы, уже обреченный «железным занавесом» на вечное молчание. Мир сотен тысяч, если не миллионов людей, отрезанных от родины роковой стихией Второй мировой войны. Заговорил отчетливо и звучно, благодаря уму и таланту его литературного создателя. Так я впервые познакомился с зарубежным русским писателем Леонидом Ржевским.

Мог ли я представить себе тогда, что через пятнадцать лет собственная эмиграция сведет меня с ним на другом конце света в его небольшой, но заботливо обжитой квартире в Нью-Йорке!

Теперь модно считать, что автору не обязательно внутренне соответствовать идеалам, которые он исповедует в своих книгах. Не знаю, может быть. Одно могу сказать со всей определенностью: к Леониду Ржевскому это ни в коем случае не относилось. Он соответствовал своим книгам во всем: в отношении к окружающему, в неиссякаемой доброте, в стиле жизни, даже, если хотите, во внешности. То, что он написал, мог написать только он и никто другой. Такая совершенная гармоничность свойственна людям подлинно духовно аристократичным.

У него, что редкость в эмиграции, да и не только в эмиграции, практически не было врагов. Перед его поистине христианской незлобивостью и благородством поневоле отступала всякая зависть и любая кривда. Он буквально обезоруживал собеседника

своей мудрой терпимостью и великодушием. Трудно назвать в нашей литературной эмиграции соприкасавшегося с ним человека, который бы не нашел у него понимания и поддержки. Да и только ли в литературной!

Его научная деятельность началась в Московском педагогическом институте имени Ленина, откуда он, молодым кандидатом наук, ушел в начале войны в ополчение, с которым попал в плен с последующими затем беженскими скитаниями по всему свету, а закончилась на кафедре славянских литератур Нью-Йоркского университета. За эти годы он опубликовал десятки интереснейших статей и исследований в данной области, подготовил сотни специалистов по ее дисциплинам, оставив после себя множество учеников и последователей. Его докладов, лекций и сообщениям о русской литературе буквально нет числа, как нет числа и их разноязычным слушателям. Авторитет русской литературы на Западе во многом является результатом усилий таких ее пропагандистов-подвижников, как Леонид Ржевский.

Писатель с обостренным чувством к тайнам бытия зачастую предчувствует, в чем в конце концов «таится гибель его». Я не могу отделаться от этого своего убеждения, вспоминая концовку последнего романа писателя «Две строчки времени»:

«Прислонясь к мокрому столбу с каким-то дорожным сигналом, я ждал, покуда сердце, подрагивая, возвращалось на место и отпускала в предплечья боль. Желток фонаря плющился у меня под ногами в черной, пляшущей луже.

— Господи! — повторял я снова. — Что же это было? Что?.. Неужели не суждено мне дознаться обо всем до конца?

Или это и был — конец?..»

Как он и предчувствовал, у него внезапно остановилось сердце. Но все же я убежден, что если это и был конец, то конец только чисто физический — литературная жизнь писателя Леонида Ржевского по-прежнему продолжается.

Владимир Максимов

«НОВЫЙ ЖУРНАЛ»

книга 163-я

Сорок пятый год издания

Почетный редактор – **Роман Гуль**

Редактор – Юрий Кашкаров

ПРОЗА: Ю. Кашкаров – East-West; В. Крейд – Гость из Англии; С. Гоziас – Белая и черная коза; Дм. Шляпентох – Революция; В. Петров – Калиостро. Воспоминания и размышления о Михаиле Кузмине; Н. Ровская – Сергей Шаршун; Сергей Шаршун – Из листовок, публикация Рене Герра; Е. Таубер – О поэзии Ольги Анстей; Б. Шер – Клад прошлого.

СТИХИ: Е. Таубер, О. Капабланка-Кларк; Л. Кузнецова; И. Чиннов, Г. Семенов, О. Ильинский.

ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ: Роман Гуль – Ледяной Поход; Из истории Гражданской войны (Письма, доклады и записи Н. И. Астрова для ген. А. И. Деникина. Публ. Ю. Фельштинского). «СТАРЫЕ ГОДЫ» – Вступит. ст. Д. Скалона; Б. Татищев – Семейная хроника; гр. Ю. Олсуфьев – В Никольском-Обольянове.

ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА: П. Палий – Чаения народа или чаяния народов? К. Померанцев – Христианство и коммунизм; Игум. Геннадий Эйкалович – «Федоровиана»; А. Иванов – Экология исторических памятников и могил: Посмертная судьба Д. В. Веневитинова, Судьба А. С. Грибоедова.

ПАМЯТИ УШЕДШИХ: Д. Бобышев – Слово об Иваске; В. Блинов – Памяти Ю. П. Иваска; В. Перелешин – Ю. Иваск; Е. Климов – Художник Эрик Прэн (1894 – 1985).

БИБЛИОГРАФИЯ: **Ю. Иваск** – О. Ronen. An Approach to Mandelstam; Е. Валин – Феликс Светов, «Опыт биографии».

Цена одной книги – 10 долларов

Подписная цена на 1986 год – 35 долларов

Заказы адресовать по адресу: The New Review,
2700 Broadway, New York, N. Y. 10025

По страницам журналов

«СТРЕЛЕЦ» – ЖУРНАЛ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО
(№ 1 – 8, 1986)

Периодика нашей эмиграции так богата газетами и журналами, что кажется, будто невозможно создать еще один журнал, со своим особым обликом, кругом авторов, кругом читателей. И, однако, это почти невозможное совершил Александр Глезер. В одиночку, без редколлегии и без штата сотрудников, уже три года Глезер выпускает ежемесячный журнал в 48 убористых страниц большого формата, стремясь отразить в нем российский литературно-художественный процесс – от начала века до нашего времени – во всей его многогранности и сложности, включая литературу и искусство как метрополии, так и наших эмиграций.

Что же было напечатано в «Стрельце» в первых восьми номерах 1986 года? В разделе «Проза» Глезер помещает произведения современных авторов. Несомненно, наиболее яркая публикация года – это отрывки из нового романа Владимира Максимова «Звезда Адмирала» («Егорычев», № 1 и «Она», № 6), который полностью только что вышел в издательстве «Третья волна». Роман Максимова посвящен легендарной и трагической фигуре адмирала Колчака, Верховного Правителя России, его жизни и страшной гибели. Это роман о судьбах России, но также и о необыкновенной, страстной и чистой любви, озабившей последние годы жизни Адмирала, о героине этой любви, о людях, с которыми сплелась его судьба.

Запоминаются и грустный рассказ Сергея Юрьенена «Эмигрантка Эмма» (№ 1), и рассказ Александра Журжина «Агитаторы» об эпохе коллективизации и раскулачивания (№ 2), и написанная в 1963-66 гг. повесть Вадима Нечаева «Свет войны», отрывок из которой уже был напечатан в № 38 «Континента».

Отрывки из новой книги Василия Аксенова «В поисках грустного бэби» (№ 2), а также рассказ Хагит Гиоры «Как соблюсти границу» (№ 7) словно опровергают устоявшееся мнение, что российские писатели, оказавшиеся в эмиграции, не в состоянии вжиться в новую жизнь и новую проблематику. Аксенов блестяще жонглирует русскими воспоминаниями и американской действительностью, создавая забавный и фантастический русско-американский мирок, символ которого – Ленин в майке с надписью «Kazan University». Неровный, но очень

талантливый рассказ Хагит Гиоры – поразительный пример русско-израильской прозы, быстро возникающего в Израиле чувства принадлежности к земле и кровной связи с народом.

Особо следует отметить два невыдуманных рассказа – «Майор Гаврилов» Александра Хахулина (№5) и «Страх» Анатолия Вербицкого (№6). Подлинные истории о зверствах советского режима неизменно превосходят пределы нашего робкого воображения. В рассказе «Страх» описывается красный террор в Одессе в феврале 1918 года. Большевики вывозили арестованных в море, привязывали к их ногам тяжелые гири и бросали с корабля живьем. Через несколько месяцев водолаз Коваленко спустился на морское дно и очутился среди мертвецов: «Электрический фонарь осветил огромное сборище мужчин: они стояли свечками, притянутые ко дну гирями, покачивались, жестикулировали... Глаза у многих были широко открыты, они смотрели в упор на водолаза и улыбались, смеялись, хохотали... Это было морское кладбище живых покойников: у некоторых лица и руки были уже изъедены, растерзаны... (Коваленко) занесло в самую гущу этой толпы, люди толкали его, били по лицу руками... Водолаз кидался во все стороны, стремясь вырваться из этого страшного окружения, но мертвецов становилось все больше и больше. Сколько их – сотни, тысячи?»

Богат и разнообразен отдел поэзии «Стрельца». В этом году Глезер опубликовал стихи нескольких прекрасных самиздатских поэтов (Олег Охупкин, Виктор Кривулин, Елена Шварц, Генрих Сапгир, Елена Игнатова, Ольга Седакова), а также поэтов-эмигрантов (Юрий Кублановский, Валентина Синкевич, Вадим Крейд, Рина Левинзон и другие). Для меня особым подарком были новые стихи из самиздатского сборника Кривулина «Парадигма». Это действительно парадигма – российской действительности, русской поэзии, сложного взаимоотношения с эмиграцией. Стихи с почти разговорной интонацией, емкие, сильные, страшные.

Подруга моя в больнице
друзья мои кто в тюрьме
кто пишет из-за границы
умирая в каждом письме
просто? куда уж проще
вторая неделя Поста
хлеб горячий на ощупь
но крупчатый вкус песка...

Тема Родины и эмиграции преследует Елену Игнатову. Ее новые стихи – о внутренней невозможности уехать, о природе и советской цивилизации.

...Мы живем в новостроенном мире – горошками блок,
и на карту страны оседает кровавый парок,
и на глобусе пятая часть отливает рудою...
Говори мне: отчизна и Отче, отчаянье, чад,
расскажи мне, как в каменных рощах подранки кричат,
Я люблю и страшусь, ненавижу, приемлю такую!...

Поэтическая переключка создает какое-то особое чувство присутствия для читателя-эмигранта, отделенного от самиздатских поэтов непроходимой границей. В №3 читаешь стихи Елены Шварц, посвященные Ольге Седаковой:

Вот сижу я при реках своих Вавилонских,
Вот я плачу (ли плачу?) над Черною Невкой,
Низко арфу повесив на иву, обнявшись
С жизнью – верткой пиявкой, ухабистой девкой...

А в №6 – стансы Ольги Седаковой, посвященные Елене Шварц:

...Кто день за днем, как нищий в поездах,
с притворными слезами на глазах,
в ворованную шапку собирал –
тот, безнадежность, знает твой хорал...

Несколько интересных публикаций ожидают читателя в разделе «Литературный архив», где перепечатываются труднодоступные сегодня произведения первых десятилетий нашего века. К важным литературным документам конца 20-х годов принадлежат «полурассказ» Артема Веселого «Босая правда» (№1) и пьеса Михаила Зощенко «Уважаемый товарищ» (№3). «Стрелец» вводит в литературный оборот современного читателя небольшой, но весьма знаменательный для творчества Алексея Ремизова роман «Пятая язва» (№6-8), тонкий рассказ Гайто Газданова «Вечерний спутник» (№4), а также рассказы Зинаиды Гиппиус («Судьба», №2) и Бориса Садовского (№5), творчеству и жизни которого посвящен, кстати, прекрасный очерк Вадима Крейда (там же).

К первым десятилетиям века возвращают нас и некоторые мемуары. Воспоминания Юрия Терапиано посвящены эпизоду из литературной жизни русского Парижа – вражде между Георгием Ивановым и Владиславом Ходасевичем (№2). Юрий Иваск воссоздает атмосферу своей молодости в Таллине (тогдашнем Ревеле), прошедшей под знаком поклонения поэзии, когда жизнь строилась по стихам и персонажам Блока, Ахматовой, Белого, а где-то вдали маячила «растущая из ЭсЭсЭсЭр огромная азийская Скифия» (№4). Любопытны и отрывки из изданных в 1933 г. в Париже мемуаров графини Тенишевой, описывающие ее финансовое участие в «Мире Искусства», а также ее знакомство с Репиным (№5). С несомненным интересом читаются живые и куда более близкие к нашим дням воспоминания художника Гавриила Гликмана о Марке Шагале, кинорежиссере Фридрихе Эрмлере и о мордовском скульпторе Эрзя (№№6-8).

В разделе «Литературная критика» Глезер помещает как статьи российских авторов, так и переводы статей западных критиков о русской литературе. В целом, этот раздел неровный. Наряду со статьями высокопрофессиональными, интересными (статьи В. Бетаки о ленинградских поэтах и о Марине Темкиной, №№1, 4, 7; Ирины Вайль – о стихах Валентины Синкевич, №5; Р. Лужного – о религиозных течениях в современной русской литературе, №3), встречаются статьи скучноватые, просто пересказывающие содержание книг (например, статьи И. Косинского о Шаламове и Карабчиевском).

Куда более высокого уровня – два других раздела, «Память» и «Общественно-политическая мысль», которые тоже, по существу, относятся к области литературной критики. В разделе «Память», помимо уже упомянутого очерка Вадима Крейда о Борисе Садовском, читатель найдет его же очерк о Владимире Пясте, воскрешающий облик несправедливо забытого поэта и литературного критика (№6). В этом разделе опубликованы и размышления С. Юрьенена о жизни и судьбе Высоцкого («Жизнь после смерти», №1). Вообще С. Юрьенен – один из самых плодovitых авторов «Стрельца». Ему принадлежат почти все публикации раздела «Общественно-политическая мысль» – статьи о Шолохове, о драматурге Николае Эрдмане, о визите советских писателей в ФРГ (№№3, 4, 7).

Неплох и раздел, посвященный изобразительному искусству. Как и в области литературной критики, Глезер печатает здесь статьи о русских художниках, написанные как российскими, так и западными критиками. В этом году журнал отразил на своих страницах творчество таких разных художников, как В. Комар и А. Меламид, Ю. Купер, С. Голлербах, В. Немухин, В. Овчинников, М. Шемякин, скульптор

Л. Лерман. Журнал часто возвращается к творчеству одних и тех же художников, публикуя статьи разных авторов о них и создавая тем самым своеобразную дискуссию. Так, за восемь месяцев журнал опубликовал три статьи о творчестве Комара и Меламида (№№ 2, 8) и три – о творчестве ленинградского художника-нонконформиста Овчинникова (№№ 4, 5, 8), в том числе глубокую, серьезную статью ленинградского искусствоведа Виктора Антонова. Кстати, как на обложке, так и внутри журнала часто публикуются черно-белые репродукции картин, а также фотографии вернисажей, самих художников и даже пригласительных открыток на художественные выставки, что придает дополнительную привлекательность журналу.

И, наконец, несколько слов о разделе «Интервью». Все интервью, которые берет А. Глезер – с литераторами и о литературе. Отметим здесь два, на мой взгляд, лучших – беседу с писателем Г. Владимовым (№ 2) и прелюбопытный рассказ англичанина Питера Хопкинса о самиздатских журналах Ленинграда (№ 3).

Кажется, сказанного здесь достаточно, чтобы убедить нашего пресыщенного русской прессой читателя: «Стрелец» – оригинальный и информативный литературно-художественный журнал. Его надо читать.

Галина Келлерман

ВОЙЦЕХ ЯРУЗЕЛЬСКИЙ И ЕГО ЭМИГРАНТСКИЕ АПОЛОГЕТЫ «Время и мы», № 84

В 84-м номере нью-йоркского журнала «Время и мы» опубликована статья Е. Клепиковой и В. Соловьева «Гамлетовы сомнения Кремля: что делать с Польшей». В сноске к публикации редакция сообщает, что статья супругов – это отрывок из готовящейся к печати книги и что некоторые положения, высказанные авторами, спорны. После такой редакционной преамбулы Е. Клепикова и В. Соловьев получили почти тридцать журнальных страниц для рассуждений о нашем западном соседе, его «национальном герое» – Войцехе Ярузельском и «низвергнутом идоле» Валэнсе (да простится мне умышленное смещение имен: в журнале под первым номером выступает мужчина –

Соловьев, а потом уж следует его жена – Клепикова. Так же, как истинный поляк, я всегда уступаю первенство женщине...)

Историческая концепция Е. Клепиковой и В. Соловьева предельно проста: если бы не военизированная Ярузельским Польша, если бы не этот славный генерал, «выкованный, подобно Ромулу и Рему, из чистой стали», если бы не его макиавеллиевская политика в отношениях с Кремлем – страна, расположенная между Бугом и Нисой, подверглась бы новому разделу; иначе говоря, полумистические солнечные генеральские очки – вот «реалполитик», а не полупилсудские усы Валэнсы.

Поначалу кажется, что авторы довольно легко возводят своего героя на постамент истории: тут его горняцкое прошлое в Караганде и лесорубское на Алтае (это при еврейском происхождении), славные воинские успехи Войцеха во Второй армии Берлинга, близость к Гомулке и разрыв с ним в судьбоносные декабрьские дни 1970 года. Остановиться бы авторам вовремя, но для вящей убедительности своих постулатов проводят они широкие экскурсии в историю Польши и тут демонстрируют нам не голенького короля, а свое незнание предмета, что убедительнее всего компрометирует всю их концепцию, или, как сказал поэт, – история не бьет баклуши...

Краеугольным камнем советско-польских отношений вот уже скоро полвека является Катынь. Знает об этом каждый поляк, слышали это и наши авторы. Процитируем их: «Национальная катастрофа в Катынском лесу, под Смоленском, где по приказу Сталина были расстреляны отступавшие от немцев 4321 польских офицера, была вызвана традиционным военным страхом русских перед поляками...» Разобраться в этой абракадабре, к сожалению, просто. По авторам следует, что Сталин приказал расстрелять польских офицеров под Смоленском во время наступления немцев, значит, в августе 1941 года. Они, поляки, отступали и под Смоленском были настигнуты вермахтом и тут-то Сталин их предал. Ничего более кошунственного, оскорбляющего память жертв, даже в советской прессе, мне читать не приходилось.

Клепикова и Соловьев искажают и цифры злодеяния, ими называется уменьшенное количество жертв – 4321 (с какой целью?). Сколько точно погибло в Катынском лесу польских офицеров, так и неизвестно. Вот что по этому поводу пишет самый компетентный специалист по истории этого преступления Леопольд Ежевский: «Из катынских могил вырыли в сумме 4143 трупа. Из последней, восьмой могилы (в которой лежали убитые в мае 1940 года, о чем свидетельствует летняя форма одежды) не удалось вынуть всех, так как работу

пришлось прервать... Кто-то расстрелял свыше 14000 (выделено мною. – Э. Ш.) польских военнопленных, в том числе 4500 офицеров, найденных в братских могилах Катыни. Если Германия оправдана, значит...?» (Л. Ежевский. Катынь 1940. Перевод с польского Э. и О. Штейн. Нью-Йорк, «Телекс», 1983).

В вышеуказанной статье Клепикова и Соловьев заявляют: «По сю пору Катынская трагедия в обеих странах официально приписывается немцам». Вот он, дилетантский апломб эмигрантских публицистов! Да, в сталинской БСЭ была отдельная статья о Катыни, но уже в брежневской она начисто, за ненадобностью, исчезла. И даже, несмотря на сталинскую энциклопедию, изданную для внутреннего пользования, на международной арене СССР с 1946 года предпочел о Катыни помалкивать. «Советский представитель на Нюрнбергском процессе, принимавший активное участие в формулировке приговора, не заявил никакого протеста в связи с полным изъятием из него катынского дела. Из этого следует, что Германия по этому пункту обвинения была единогласно оправдана» (Л. Ежевский. Катынь 1940).

Польская версия Катыни, стало быть, повторила советскую – версию замалчивания. О Катыни во время Нюрнбергского процесса было сказано выше. Обратимся к более позднему документу, к польской Большой Всеобщей Энциклопедии. Многотомник этот, даже с учетом цензурных ограничений, издание объективное. Примеров тому много. Когда Гомулка запретил публикацию в варшавской «Политике» «Одного дня Ивана Денисовича», том 10-й этого издания все же дал статью о Нобелевском лауреате с кратким анализом уже запрещенного произведения. Так вот, в этой польской энциклопедии отмечены все злодеяния, совершенные гитлеровцами на территории страны и за ее пределами. В томе на «К» читатель найдет статьи о Катулле, об алтайской реке Катуни, но, увы, не о Катынском лесу. Статьи такой нет и быть не может, поскольку тогда еще не отменили версию замалчивания.

Искажают наши публицисты и историю ПОРП. Читаем у них: «Владислав Гомулка был единственным польским коммунистическим лидером, уцелевшим после того, как накануне войны Сталин распустил компартию Польши...» Это вымысел. Куда дели авторы Павла Финдера и Марселя Новотко – организаторов и руководителей Польской рабочей партии (ППР)? А ведь именно их Сталин заслал обратно в Польшу 27 декабря 1941 года. И, если говорить о партийной иерархии ППР, то Гомулка, в лучшем случае, занимал в ней тогда третье место. Скорее всего, эмигрантские историки ничего не слышали ни о Финдере, ни о Новотко.

Придя к власти, Гомулка, как известно, провел ряд важных реформ и, как информируют читателя Клепикова и Соловьев – «...в том числе освобождение из тюрьмы (выделено мною. – Э. Ш.) примаса Польши кардинала Стефана Вышинского». И опять чушь: Вышинский в тюрьме не содержался, а три года провел в ссылке в различных монастырях (под охраной и в изоляции).

Вылепливая мужественный лик своего героя-Войцеха, эмигрантские специалисты по Польше проводят параллели, правда, с условно-уступительным «если», между страной Шопена и Кароля Войтылы и «хомейнистским» Ираном. Если бы польским политически-религиозным инстинктам дано было свободно развиваться, не исключено, что на европейской карте появилось бы вовсе не демократическое государство западного образца, но религиозная автократия на манер Ирана аятоллы Хомейни. Так что для тревоги генерала Ярузельского были все основания». Читаешь такое на страницах русской, вроде бы антикоммунистической печати и становится жутко... Лицо Польши и ее народа, «инстинкты» последнего лучше всего, пожалуй, демонстрирует парк-музей Яд-Вашем, где в аллее мужества Европы растут оливковые деревья, в своем большинстве посаженные поляками, теми, кто в годы гитлеровского геноцида спасал евреев.

Подробно описывают в своей статье Клепикова и Соловьев победу Гомулки над Хрущевым, одержанную в Бельведерском дворце 19 октября 1956 года. Но не знают наши авторы историю страны, о которой пишут. Да, уехал из Бельведера Хрущев не солоно хлебавши – это верно, но то, что встреча состоялась-таки в Бельведере, а не в здании ЦК ПОРП – было большой победой советской стороны. Почему? Дело в том, что и Бельведер, и расположенное в непосредственной близости от президентского дворца здание советского посольства – символы вечного закрепощения Польши. Ведь Бельведер-то русский, с 1830 года там жил великий князь Константин Павлович, а потом дворец служил резиденцией Государя во время его пребывания в Варшаве – это-то и напомнила Гомулке свита Хрущева.

Неизвестен полякам девиз – «Не сгинела Польша!», он плод фантазии супругов. Девиз этот, как известно всем, предусматривает одно условие – «пока мы живы», поэтому-то и начинается девиз с емкого в контексте «Еще!» (дело тут не в этимологии, а в непонимании психики народа). Все эти ляпсусы и многочисленные исторические абракадабры используются авторами, чтобы создать нереальный генеральский лик...

Вспоминается присуждение Борису Пастернаку Нобелевской премии. Министерство обороны ПНР решило тогда потягаться с

Нобелевским комитетом и присудило свою премию тоже Пастернаку, только не Борису, а Леону – за якобы правдивое изображение польской армии и ее генералитета. Думаю, что Клепикова и Соловьев с их польским Мессией – Войцехом Ярузельским – прекрасные кандидаты на МОНовскую премию. Войцех Ярузельский у супружеской четы – это красавец-орел, окруженный черными воронами «Солидарности» и голодными кремлевскими царьками, герой без страха и сомнения, нашедший стойку против Третьего Рима и его Чернобыля.

Э. Штейн

«СТРЕЛЕЦ» – 1987

Журнал «Стрелец», ежемесячник литературы, искусства и общественно-политической мысли, вступает в четвертый год своего существования и объявляет подписку на 1987 год.

В портфеле редакции новые прозаические произведения Георгия Владимова, Юрия Гальперина, Владимира Максимова, Юрия Мамлеева, Сергея Юрьенена, стихи Дмитрия Бобышева, Василия Бетаки, Натальи Горбаневской, Бахыта Кенжеева, Юрия Кублановского, неофициальных поэтов Москвы и Ленинграда. В первых номерах журнала мы предложим вам интервью с Юрием Любимовым, воспоминания художника Гавриила Гликумана, забытые и вовсе неопубликованные рассказы писателей двадцатых-тридцатых годов, публицистику Доры Штурман, Иосифа Косинского, Сергея Юрьенена.

В 1987 г. в журнале появится новый раздел «Писатели о писателях», в котором Владимир Максимов и Михаил Геллер будут обсуждать творчество современных русских прозаиков.

Главный редактор – Александр Глезер.

Стоимость годовой подписки – 36 ам. долл., 336 фр. фр., 89 нем. марок. Для подписавшихся до 15 декабря установлена льготная подписка – 30 ам. долл., 280 фр. фр., 60 нем. марок.

Заказы и чеки направлять по адресу:

в Европе – Alexandre Gleser, Chateau du Moulin de Senlis, 91230 Montgeron, France; в США – Alexander Gleser, 286 Barrow str., Jersey City, N. J. 07302, USA

ПАМЯТИ АНГЕЛИНЫ ГАЛИЧ

30 сентября трагически погибла АНГЕЛИНА ГАЛИЧ. Трагически, при несчастном случае, как если бы и в смерти хотела следовать тому, с кем провела большую часть своей жизни и памятью о ком жила все последние годы — Александру Галичу. Как если бы примерилась так, чтобы было похоже, чтобы было созвучно.

Она была Ньюшей, его женой. Есть ли такая профессия — жена поэта, жена писателя, жена художника? Ни в штатных расписаниях, ни в зарплатных ведомостях ее не существует, но, видит Бог, — она есть. Да и людям это хорошо известно. И должность эта — не самая легкая и далеко не всегда самая завидная. И нигде ей не учат, и нет для нее никаких рецептов и правил. Есть ли эта особая способность раствориться в другом человеке — однажды и навсегда? Себя при этом сохраняя, но только в пределах видимого и осязаемого, а там, где кончается доступное простому глазу, там — перелиться в него, перепутать две души, заплести в неразделимое, в нерасторжимое? Видеть, слышать, замечать, произносить — его глазами, его голосом? И уже не знать, где свой, где — его?

Никто не может с точностью сказать, так ли это или не так. Тут уж наверняка никто не знает, как надо, как правильно, как разумно.

Она была Ньюшей, его женой. Она любила Александра Галича. Она нашла его после долгой разлуки. Она с ним теперь. Как раньше. Как всегда.

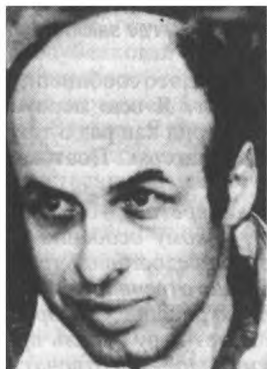
«Континент»

Наша анкета

ИНТЕРВЬЮ С АНАТОЛИЕМ ЩАРАНСКИМ

ведет Наталья Горбаневская

– Толя, вы отсидели почти девять лет из 13-ти, к которым вас приговорили по обвинению в шпионаже. Наконец, в феврале 1985 года вас освободили, притом не просто освободили,



а в рамках «обмена шпионами». Естественно, на Западе ни для кого не был секретом совершенно липовый характер как предъявленного вам обвинения, так и включения вас советской стороной в «обмен шпионами». Тем не менее, на страницах западной печати случалось встретить – даже со стороны журналистов, которые, радуясь факту вашего освобождения, возмущались его формой, – оценку этого освобождения как «гуманного шага советского руководства». Видите ли вы в этом хоть какой-то гуманизм?

– О каком же гуманизме может идти речь! Меня арестовали по грубо фальсифицированному обвинению, чудовищному обвинению. Запугивая расстрелом, пытались меня деморализовать, сломать и использовать потом в борьбе с моими друзьями, в компрометации западного общественного мнения и т. д. и т. п. А когда им это не удалось, они стали использовать меня, просто как используют террористы своих заложников, в попытке шантажировать Запад, давить на него, получить как можно большие уступки. Их шантаж не был успешным, и не только из-за моей позиции, но и благодаря мощной кампании, которая поднялась, кампании поддержки евреями, неевреями, политическими деятелями Запада. В итоге, они пришли к мысли, что в их же собственных интересах меня освободить, и постарались за это получить хотя бы что-нибудь. Одним словом, они вели себя как обанкротившиеся

террористы. Так что ни о какой благодарности не может быть и речи.

– На Западе очень хотят верить в доброту и гуманность советского руководства. Кроме чисто западной наивности, тут срабатывают и прямые меры дезинформации. Как раз вокруг вас в первую же неделю вашего пребывания за пределами Советского Союза развернулся шумный скандал, связанный с дезинформацией. Две газеты – итальянская «Коррьере делла сера» и парижская «Журналь дю диманш» – опубликовали подробное «интервью» с вами, якобы проведенное в «высоких кругах» Израиля и ставшее доступным прессе в результате утечки. В этом интервью вам в уста вкладывались слова о том, как замечательно живется в советских лагерях, где заключенных кормят мясом...

– Да-да, я сейчас только вспоминаю: мне это сообщили, я в каком-то интервью тотчас же опроверг. Я всю первую неделю непрерывно давал интервью и говорил как раз о том, как ухудшились за все эти годы условия в лагерях. Поэтому, откуда все это взялось, – легко понять.

– Когда принялись выяснять это конкретное «откуда», оказалось, что это некое лондонское, никому особенно не известное агентство печати, которому предоставил текст опять-таки «некий» Николас Бенедикт – как отвечали в агентстве по телефону, «очень известный журналист, который работает под псевдонимом». Но еще через пару недель при наборе номера агентства автоматический голос стал отвечать, что по этому номеру никого и ничего нет, и агентство вообще исчезло. Ожидали ли вы, что в первые же дни на Западе столкнетесь с такого рода приключением?

– На Западе КГБ имеет возможность проводить свои провокации. Всем хорошо известно, что, например, Виктор Луи устраивал всякие провокации вокруг мемуаров Аллилуевой – это еще за много лет до моего ареста, еще какие-то другие, – теперь устраивает вокруг Сахарова, с этими псевдофильмами о его прекрасной жизни в Горьком. Но что поделаешь? Это обратная сторона свободы и демократии, которыми могут пользоваться не только честные и порядочные люди, но и прямые агенты КГБ.

– Но вот то, что так легко поддались на удочку...

– А, вот это – да!

– Скажем, «Журналь дю диманш» – газета несерьезная,

полубульварная, но «Коррьере делла сера» – газета очень авторитетная, отнюдь не просоветская, ее главный редактор был корреспондентом в Москве и разбирается что почем. И вдруг он спокойно печатает это интервью, в котором вы «рассказываете» то, чего уж никак не могли рассказать.

– Тут, может быть, две причины. Первая, меньшая, – то, что западная пресса (это я хорошо увидел за время со своего приезда) вообще очень ориентирована на сенсацию. Поэтому если я завтра, например, выйду голым, то это, наверно, появится на первых страницах всех газет. Или если вдруг скажут, что я «перекаялся» и стал коммунистом, никто ничего не будет проверять: сначала опубликуют, а только потом станут выяснять – просто потому, что испугаются, как бы кто другой не опубликовал это первым. Но, когда речь идет о газете, как вы говорите, серьезной, тут может быть и другая причина, тоже серьезная, характерная не только для прессы, но вообще для Запада. Я проведу аналогию с тем, что происходит во время следствия. Человека допрашивает КГБ, запугивает, он, естественно, начинает бояться – за свою жизнь, за то, что будет долго сидеть, – а те на него давят. Он, боясь, начинает искать возможности с ними посотрудничать, начинает думать: это такие же люди, у них такие же принципы, ну, они любят коммунизм, а я, скажем, люблю капитализм, но неужели нельзя договориться? – и начинает за них искать аргументы, убеждать себя: а почему бы не вступить с ними в компромисс? И точно так же Запад, боясь ядерной войны – а как же ее не бояться? – начинает сам себя пытаться обманывать: что-де, в конце концов, Советский Союз – такая же страна, как все остальные, которая тоже не хочет войны, – и при этом забывает о совершенно иных моральных принципах, на которых эта система построена. И принимается искать всякий предлог для самооправдания за свой страх, и начинает интуитивно «видеть» изменения к лучшему, принимать желаемое за действительное. Это происходит на высоком политическом уровне – не исключено, что это происходит и на уровне средств массовой информации. Я сам не читал этой статьи – этого «интервью», мне тогда было, честно сказать, не до этого, но думаю, что объясняется это именно так.

– Почти девять лет лагеря и тюрем – это очень тяжело, мучительно – как физически, так и психологически. Но я хотела бы спросить, считаете ли вы эти годы потерянными?

Или они стали для вас еще чем-то, кроме страданий и мучений?

– Рисовать все это одной черной краской категорически нельзя. Были трудные моменты: морально трудные – особенно в самом начале, после ареста; физически трудные – особенно после моей 110-дневной голодовки, когда я чувствовал, что просто умираю, и тут они, буквально в последний момент, пошли на уступки. Очень тяжело было думать о том, насколько тяжелее моей жене, как бесцельно проходят у нее эти годы, – но каждое ее письмо подтверждало, что и для нее эти годы проходят не бесцельно. Что я имею в виду? Эти годы были наполнены очень сильными чувствами, была возможность испытать себя в экстремальных ситуациях, понять, что такое в чистом виде добро и зло, что такое настоящая любовь, и что такое настоящая ненависть, и что такое настоящая дружба. В лагере я взаимодействовал с людьми самых разных направлений мысли, религиозных и национальных ориентаций. Это был уникальный опыт – опыт поиска общих ценностей, поиска того, как люди могут сосуществовать и противостоять злу. Ну и, конечно, очень часто я попросту испытывал огромный интерес к этой жизни, чистое любопытство. Находясь под угрозой расстрела, когда я себя немножечко укрепил и приспособил к этой ситуации, я тоже начал испытывать чисто человеческое любопытство: а как же это дальше будет развиваться? как же я себя поведу? как же они себя поведут? Я чувствовал себя не просто слепым участником, а как бы режиссером этого действия. И я скажу: это были девять лет очень интересной жизни.

– *Помню, когда я вышла из психиатрической тюрьмы, меня спросил Алик Вольпин: «Вот ты просидела два года с небольшим, а лагерного срока тебе дали бы три года. Ты по-прежнему убеждена, что лучше было получить лагерь, три года лагеря?» Я ответила: «Даже семь». Ваши слова для меня являются некоторым подтверждением: в лагере все же жизнь, его можно вспоминать, за проведенные вами там годы вы не уставали интересоваться и любопытствовать, а психиатрическая тюрьма – это черная дыра. Черная дыра в прошлом, черная дыра в том настоящем, которым было тогда нынешнее прошлое, и какая-то тень над сегодняшним настоящим. Именно поэтому я хотела бы спросить вас о человеке, который пошел в лагерь и тюрьму за то, что защищал людей от*

психиатрических репрессий, – об Анатолии Корягине? Вы были с ним одновременно в Чистопольской тюрьме. Вы его встречали?

– Я чуть-чуть отступлю назад. Вы не помните, но я с вами встречался один раз, когда вышла из лагеря Сильва Залмансон. Я приехал с ней познакомиться, вы были там, и я вас спросил: «А как вы думаете, тяжелее ли это, чем обычная тюрьма?» – потому что это была моя первая встреча с человеком, который сидел в психушке. И вы мне ответили, что считаете, что это намного тяжелее, потому что нет срока, потому что вам дают какие-то уколы или таблетки, кажется, и вы не можете собраться, сконцентрироваться. Вы говорили, что вот вам надо было написать письмо, а вы не можете собраться с силами. И я потом каждый раз вспоминал: когда не мог написать письмо, потому что они не давали, вспоминал, что вы не могли написать письмо по совсем другим причинам. Это к слову. Я сравнивать не берусь – у меня нет опыта сидения в психушке. Что касается Анатолия Корягина, то я с ним встречался, но не лично: мы перестукивались с ним азбукой Морзе или переговаривались через унитаз. Должен сказать, что это исключительно мужественный человек, который занимает очень твердую позицию. 10 декабря 1982 года он заявил – написал письмо Генеральному прокурору или, кажется, в президиум Верховного Совета, – что он считает норму 9б – это самая низкая норма, которую в тюрьме дают в карцере или на строгом режиме, – пыткой, что он как врач, который всегда боролся против психиатрических и иных пыток, считает, что обязан протестовать единственным доступным ему способом: каждый раз, когда он будет получать пищу по норме 9б, он будет отказываться ее брать и тем самым будет начинать голодовку, и только тогда, когда они ему станут давать еду, которая позволит ему выйти из этой голодовки, восстановить свои силы, он начнет ее принимать. В результате, у него была одна длительная, шестимесячная голодовка – мы поддерживали его: проводили голодовки солидарности, писали заявления протеста, вели переговоры с администрацией тюрьмы. В конце концов, в момент этакой полуоттепели, которая продолжалась месяц-полтора, вскоре после прихода Андропова к власти – наш начальник тюрьмы вообще тогда повесился, у них были большие чистки, все они были напуганы, – они пошли на уступки, в частности, в вопросе с Анатолием Коря-

гиным, и создали ему возможность выйти из голодовки. После шести месяцев. А потом началась другая голодовка, и примерно на шестой или седьмой месяц ее я уезжал в лагерь и не знал, как это кончится, – он мне тогда простучивал, что он как врач не сомневается, просто чувствует, что с искусственным питанием в него вводятся психотропные средства, которые подавляют волю и делают человека слабее. Но он держался. Потом он приехал в лагерь, и у меня было сообщение, что в лагере к нему вроде бы более или менее нормальное отношение. И тут меня освободили. И когда я оказался на Западе, я узнал, что в то самое время, когда к нему было якобы «более или менее нормальное отношение», ему на самом деле продлили срок. Анатолий Корягин – это человек, у которого из всех, кого я встречал в тюрьме и в лагере, была одна из самых твердых позиций в его противостоянии злу.

– Мы обычно кончаем наши интервью вопросом: «Что хотели бы вы сказать читателям нашего журнала?» На этот раз я хочу сузить этот вопрос. Я думаю, что среди читателей «Континента» – я не говорю о тех, кто на Западе, – есть такие, кто никогда не сидел, но зато будет сидеть. Что вы хотели бы им сказать?

– Я хотел бы им сказать, что ситуация этой абсолютной изоляции от внешнего мира по-своему очень тяжела, но они не должны никогда забывать, что главное – это не физический контакт с внешним миром, главное – это та духовная связь, те моральные принципы, которые нас, людей добра, связывают в нашем противостоянии злу. Я убедился на своем собственном опыте, что – как бы нас ни изолировали – если мы тверды в этих принципах, если мы не идем ни на какие компромиссы, чувствуем твердо ту границу, которая отделяет нас от них, то мы всегда можем остаться изолированными от КГБ, даже находясь в кабинете следователя, и всегда можем быть вместе со своими друзьями. И можно выстоять. Я в этом убедился, и я призываю всех быть твердыми до конца в борьбе со злом.



ЭРМИТАЖ

В 1986 ГОДУ ВЫ МОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ В НАШЕМ ИЗДАТЕЛЬСТВЕ:

АВЕРИНЦЕВ, Сергей. "Религия и литература". (Статьи, 143 с.)	6,00
АКСЕНОВ, Василий. "Аристофаниана с лягушками". (Пьесы, 380 с.)	10,00
АКСЕНОВ, Василий. "Право на остров". (Рассказы, 202 с.)	7,00
АЛЬТШУЛЛЕР, Марк, ДРЫЖАКОВА, Елена. "Путь отречения". (Русская литература 1953—1968, 352 с.)	16,50
АРАНОВИЧ, Феликс. "Надгробие Антокольского". (180 с., илл.)	8,00
БРАКМАН, Рита. "Выбор в аду". (О творч. Солженицына, 144 с.)	7,50
ВАЙЛЬ, П. ГЕНИС. А. "Современная русская проза". (192 с.)	8,50
ВОЛОХОНСКИЙ, Анри. "Стихотворения". (160 с.)	8,00
ГИРШИН, Марк. "Убийство эмигранта". (Роман, 145 с.)	5,50
ГОРЕНШТЕЙН, Фридрих. "Искушение". (Роман, 160 с.)	8,50
ГУБЕРМАН, Игорь. "Бумеранг". (Стихи, 120 с. Рис. Д. Мирецкого)	6,00
ДОВЛАТОВ, Сергей. "Заповедник". (Повесть, 128 с.)	6,00
ДОВЛАТОВ, Сергей. "Зона". (Повесть, 128 с.)	6,00
ДРУСКИН, Лев. "У неба на виду". (Избр. стихи, 230 с.)	9,50
ЕЗЕРСКАЯ, Белла. "Мастера". (Сборник интервью, 120 с., илл.)	8,00
ЕФИМОВ, Игорь. "Архивы Страшного суда". (Роман, 320 с.)	8,50
ЕФИМОВ, Игорь. "Как одна плоть". (Роман, 120 с.)	5,00
ЕФИМОВ, Игорь. "Метаполитика". (Философия истории, 250 с.)	7,00
ЕФИМОВ, Игорь. "Практическая метафизика". (Филос., 340 с.)	8,50
ЖОЛКОВСКИЙ, А. и ЩЕГЛОВ, Ю. "Мир автора и структура текста". (Статьи о русской литературе, 400 с.)	15,00
ЗАЙЧИК, Марк. "Феномен". (Рассказы, 184 с.)	8,50
ЗЕРНОВА, Руфь. "Женские рассказы". (160 с.)	7,50
ИЗБРАННЫЕ РАССКАЗЫ ШЕСТИДЕСЯТЫХ (352 с.) *	13,50
КЛЕЙМАН, Людмила. "Ранняя проза Федора Сологуба". (220 с.)	14,00
КОРОТЮКОВ, А. "Нелегко быть русским шпионом". (Роман, 140 с.)	8,00
КРЕПС, Михаил. "Булгаков и Пастернак как романисты". (140 с.)	9,00
ЛОСЕВ, Лев. "Закрытый распределитель". (Очерки, 190 с.)	7,00
ЛОСЕВ, Лев. "Чудесный десант". (Стихи, 150 с.)	9,00
ЛУНГИНА, Т. "Вольф Мессинг — человек-загадка". (270 с., илл.)	12,00
МЕРЕЖКОВСКИЙ, Д. "Маленькая Тереза". (Роман-жизнеоп., 230 с.)	9,50
НЕИЗВЕСТНЫЙ, Эрнст. "О синтезе в искусстве". (Альбом, 60 илл.)	12,00
ПОПОВСКИЙ, Марк. "Дело академика Вавилова". (280 с., 20 илл.)	10,00
РАТУШИНСКАЯ, Ирина. "Стихи". (На рус., англ., фран., 140 с.)	8,50
РЖЕВСКИЙ, Леонид. "Звездопад". (Повести, 270 с.)	12,00
РОЗИНЕР, Феликс. "Весенние мужские игры". (Пов., рас., 208 с.)	8,50
РЫСКИН, Григорий. "Осень на Виндзорской дороге". (2 пов., 200 с.)	8,50
СВИРСКИЙ, Григорий. "Прорыв". (Роман об эмигр. 1970-х, 560 с.)	18,00
СУСЛОВ, Илья. "Рассказы о т. Сталине и др. товарищах". (140 с.)	7,50
СУСЛОВ, Илья. "Мои автографы". (Рассказы, 200 с.)	10,00
ТЕЛЕСИН, Юлиус. "1001 анекдот". (220 с.)	10,00
ТИМОФЕЕВ, Лев. "Последняя надежда выжить". (Очерки, 200 с.)	10,00
ЧЕРТОК, Семен. "Последняя любовь Маяковского". (128 с., илл.)	7,00
ШТЕРН, Людмила. "Под знаком четырех". (Повести, 200 с.)	8,50
ШТУРМАН, Дора. "Земля за холмом". (Статьи, 256 с.)	7,00
ШУЛЬМАН, Соломон. "Инопланетяне над Россией". (208 с., илл.)	12,00

Заказы отпр. по адресу: Hermitage, P.O. Box 410, Tenafly, N.J. 07670, USA

К стоимости заказа добавьте 1.50 дол. на пересылку (независимо от числа заказываемых книг). При покупке 3-х и более книг — скидка 20%.

Почему такая великолепная теория уже столько лет приводит к совершенно противоположным результатам?

Ян Прохазка

*Плохие свойства человека как такового?
Плохие руководители? Плохие народы?
Плохая история? Может ли централизованное
в масштабах государства производство и
распределение сосуществовать с правами человека
и со свободным обращением информации в обществе?
И ПОЧЕМУ МОЖЕТ ИЛИ НЕ МОЖЕТ?*

На эти вопросы отвечает книга

Доры Штурман

«НАШ НОВЫЙ МИР»

ТЕОРИЯ. ЭКСПЕРИМЕНТ. РЕЗУЛЬТАТ

Рукопись книги, циркулировавшая в Самиздате с начала 1970-х гг., была нелегально вывезена из СССР. Автор, выехавший вслед, издал ее в 1981 году, дополнив (спустя десять лет) новыми фактами и статистическими данными, которые убедительно показали достоверность «подпольного» анализа.

Новое издание расширено и дополнено материалами 1980-х гг., еще более четко подтвердившими первоначальные прогнозы.

Объем книги – 460 страниц. **Цена** – 15 долларов (в Израиле – 20 шекелей). **Пересылка:** в Израиле – 1,4 шек.; в Европу и США морской почтой – 1,7 долл.; авиапочтой: в Европу – 2,5 долл., в США – 3,5 долл.

Книгу можно получить, отправив чек по адресу:

S. Tictin, 422/6 Mizrakh Talpiot,

Jerusalem 93802, Israel.

Tel. 02 - 721633.

КОНТИНЕНТ

Г о д о в а я п о д п и с к а (4 н о м е р а)
40,– ДМ, или 20. – US\$, включая пересылку.

Вы экономите 8,– ДМ, или 4. – US\$
от розничной цены!

Желаю оформить подписку на 1 год (4 номера),
начиная с №.....

Имя:

Адрес:

.....

.....

Оплату произвожу:

приложенным чеком ☐ почтовым переводом ☐
через банк ☐

Платеж и заполненный талон просим направлять:

A. NEIMANIS BUCHVERTRIEB

Bauerstr. 28, 8000 München 40, West Germany

Bankkonto: Bayerische Vereinsbank München Nr. 6304630

Postscheckkonto: München 147391-804





ИНТЕРНАЦИОНАЛ СОПРОТИВЛЕНИЯ. ПАРИЖ.

Глубокоуважаемый господин Максимов!

Вы организуете выставку на тему «Права человека» по случаю конференции в Вене по проверке соблюдения Хельсинкских соглашений.

Ваше намерение заново напомнить европейской общественности важность проблемы прав человека и их соблюдения может вызвать только уважение и поддержку.

Мы знаем, что без уважения прав и свободы для человека настоящий мир во всем мире невозможен.

Поэтому Федеративная Республика Германии считает принципы, закрепленные в третьей корзине Хельсинкского договора, касающиеся прав человека, основной гарантией процесса безопасности и сотрудничества в Европе.

Как и Вы, мы сожалеем, что права человека далеко не всюду соблюдаются в Европе.

Но мы будем и далее прилагать все наши усилия в борьбе за соблюдение прав человека во всех странах Европы.

Я желаю Вашей инициативе в Вене успеха в достижении этой замечательной цели.

С сердечным приветом,

Хельмут Коль,
Канцлер ФРГ

К 60-ЛЕТИЮ ГАЛИНЫ ВИШНЕВСКОЙ

Когда речь идет о юбилее певца, актера — человека театра, невозможно избавиться от мысли, что возраст его, в сущности, должен быть составной из возрастов всех его персо-



нажей — всех тех, кого он одарил своим лицом, своим голосом, своими движениями. И тогда его собственные, «несценические» годы покажутся едва ли не юностью, вне зависимости от того, сколько их набралось на самом деле на невидимом счетчике.

Юбилей Галины Вишневской сегодня мог бы праздновать Большой театр, не будь Большой театр всего только игрушкой в руках властей предрежащих и не относись они к национальной славе как к предмету личного обихода. Ибо имя Галины Вишневской к национальной славе, к национальным ценностям, ставшим духовным достоянием народа, имеет прямое отношение: она — часть этого достояния.

Она прошла головокружительный путь, на котором страданий, горя и одиночества было много больше, чем в любой ординарной судьбе. Но ординарная судьба никогда и ни в чем не была ее уделом. Каждый виток этой фантастической дороги поражает неожиданностью, непредсказуемостью, неповторимостью. Как неповторим ее голос. Как неповторимы тонкие черты ее лица.

Если рукоплескания, восторг, любовное постоянство непостоянного по своей природе зрительного зала могут служить компенсацией за горькие часы, минуты, годы, — то Галина Вишневская эту компенсацию воистину получила. Ей аплодировала не только ее родина, но и множество других стран, других народов, других зрительных залов — на незнакомом звучащих языках — приносили ей свою благодарность.

Она продолжает петь — в концертах. Учит петь других. Ставит оперные спектакли. Она продолжает жить в искусстве и искусством, работать в нем, дышать им — и уставать от него тоже, и отходить на миг, и — возвращаться, ибо иное для нее — немислимо. И дай Бог, чтобы заряда, сил, азарта хватило еще на многие десятилетия! Мы всей душой с Вами в Ваш день, Галина Павловна!

«КОНТИНЕНТ»